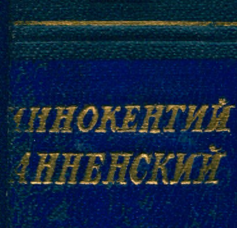


ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ

ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ







БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА

М. ГОРЬКИМ

Большая серия

Второе издание

ЛЕНИНГРАД • 1959

ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ТРАГЕДИИ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
А. В. Ф е д о р о в а

ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ИННОКЕНТИЯ АННЕНСКОГО

Судьба творческого наследия Иннокентия Анненского — выдающегося русского лирика начала XX века, переводчика, драматурга и критика — сложилась очень неудачно. В 1959 году исполняется уже пятьдесят лет со дня его смерти, в историю новейшей русской поэзии прочно вошло его имя, а между тем творчество его, будившее живой отклик у Блока и у Маяковского, остается известным сейчас, в сущности, лишь людям, по-настоящему начитанным в русской поэзии, ее знатокам. Даже и самые книги Анненского, как при жизни его, так и после смерти выходившие в свет малыми тиражами, мало переиздававшиеся, становятся все большей редкостью, тем самым они всё менее доступны той многочисленной категории читателей, которая интересуется прошлым нашей поэзии во всем ее разнообразии — со всеми ее противоречиями и подлинными достижениями. Цель настоящего издания — восполнить этот пробел в картине развития русской поэзии начала нашего столетия.

1

Опубликованный материал, относящийся к биографии И. Анненского, невелик. Наиболее полным, хотя и далеко не исчерпывающим, источником для истории жизни поэта является статья Валентина Кривича (псевдоним его сына, тоже поэта-лирика) «Иннокентий Анненский по семейным воспоминаниям и рукописным материалам».[1] Сам поэт оставил очень краткий автобиогра-

---

[1] Альманах «Литературная мысль», 3. Л., 1925.

фический набросок.[1] К этому можно прибавить еще статьи в энциклопедиях, некрологи и т. п.

Основные фактические данные, какие можно извлечь из этих источников, сводятся к следующему. Иннокентий Федорович Анненский родился 20 августа 1856 года в Омске, где в то время служил его отец. Пребывание семьи в Сибири не было длительным, и вскоре — И. Анненский был еще совсем маленьким ребенком — его родители переехали в Петербург, где жили до этого. С Петербургом связана почти вся жизнь поэта.

Он рано лишился родителей и воспитывался в семье своего старшего брата Николая Федоровича Анненского, известного общественного деятеля, популярного журналиста, человека демократических взглядов, в дальнейшем неоднократно подвергавшегося преследованиям со стороны царского правительства. Будущий поэт, в детские годы свои очень болезненный, среднее образование получил дома. Сдав экстерном экзамены на аттестат зрелости, он поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, который окончил в 1879 году по отделению сравнительного языкознания. В том же году он женился, и тогда же началась его педагогическая деятельность — в гимназиях и на Высших женских курсах. Преподавал он древние языки и историю античной литературы, русский язык и теорию словесности.

В 1890 году Анненский был назначен в Киев директором Коллегии Павла Галагана, закрытого среднего учебного заведения, соответствовавшего старшим четырем классам гимназии. Киевский период в его жизни был недолгим: через три года, в 1893 году, он вернулся в Петербург, куда его перевели на должность директора 8-й гимназии. В 1896 году Анненского назначили директором гимназии в Царском Селе, где он жил уже до самой смерти.

От директорства в Царскосельской гимназии Анненский был в 1906 году отстранен за то, что выгородил нескольких старших гимназистов, участвовавших в волнениях учащейся молодежи в 1905—1906 годах, и переведен на должность инспектора Петербургского учебного округа, требовавшую частых разъездов по северным губерниям — Вологодской, Олонецкой, посещения небольших уездных городов. Последний год жизни (1909) он читал лекции по истории греческой литературы на Высших женских историко-литературных курсах Раева.

Прошение Анненского об отставке от государственной службы

---

[1] См. сборник «Первые литературные шаги», составленный Ф. Ф. Фидлером. М., 1911.

было удовлетворено Министерством просвещения только за несколько часов до его смерти — 30 ноября 1909 года. Скончался он внезапно — от разрыва сердца, на подъезде Царскосельского (ныне Витебского) вокзала в Петербурге. «Неожиданная и безвременная смерть Анненского, — вспоминал художник А. Я. Головин, — произвела удручающее впечатление на всех, кто знал этого замечательного поэта. Похороны его в Царском Селе собрали огромное количество людей, особенно много учащейся молодежи, которая искренно любила Анненского».[1]

В том виде, как жизнь поэта обрисована в воспоминаниях его сына, она кажется очень благополучной — и в отношении внешнем, и в смысле душевных переживаний. Это, однако, объясняется прежде всего тем, что В. И. Кривич совершенно не коснулся некоторых сторон в жизни отца, в частности его отношения к русской действительности того времени, к службе, ко всему строю окружающей жизни, даже не упоминая о перемещении с должности директора гимназии на должность инспектора учебного округа, которое, во всяком случае, имело характер административной меры, направленной против слишком гуманного педагога. Правда, сам Анненский редко жаловался на судьбу, и В. Кривич, очевидно, в какой-то мере следовал здесь традиции отца. Но ошибкой было бы думать, что Анненский занимал прекрасное, независимое положение в жизни и что он был чужд недовольства условиями своей деятельности.

Даже и те сравнительно немногочисленные письма Анненского (последнего периода его жизни), которые сохранились, да еще некоторые архивные материалы показывают, что дело обстояло совсем не так. Службой, административной деятельностью, своей ролью как официального лица он глубоко тяготился. Будучи человеком честным и принципиальным, врагом педагогической рутины, сторонником преподавания, имеющего подлинно научные основы, Анненский постоянно наталкивался на враждебное отношение со стороны всякого рода начальства.

Первый и самый недолгий период его административно-педагогической деятельности — директорство в Коллегии Павла Галагана в Киеве — ознаменовался конфликтом с почетной попечительницей этого учебного заведения — Екатериной Галаган Обстоятельства этого конфликта неясны, и о нем позволяет судить лишь дошедшее до нас официальное письмо Е. Галаган от 30 июня

[1] А. Я. Головин. Встречи и впечатления. Воспоминания художника. М. — Л., 1940, стр. 98—99.

1892 года, письмо, где она упрекает Анненского в том, что он во все время управления Коллегией «систематически нарушал основные положения, ясно выраженные в высочайше утвержденном уставе ее». В конце письма она сообщает: «Действуя таким образом, Вы поставили меня в необходимость обратиться к высшему начальству с просьбой дать Вам другое назначение, более соответствующее воззрениям Вашим на учебно-воспитательное дело».[1] Последние слова явно указывают на педагогические принципы Анненского, которые в данном случае и вызвали нарекания. А мы знаем из всех других имеющихся источников биографии поэта, что эти принципы всегда отличались глубокой гуманностью.

Противоречия между этими принципами, культурными интересами и всем внутренним миром поэта, с одной стороны, и всякого рода казенщиной, с другой, приобретают чрезвычайную остроту в царскосельский период жизни Анненского. В частном письме он, например, сообщает: «Завтра тяжелый день — я должен быть в белом галстуке и завтракать с протодиаконом... Уходят минуты... может, мои последние, когда я еще чувствую розовый подбой на белой птице... моей птице».[2]

В письме к А. В. Бородиной, относящемся еще ко времени директорства в Царскосельской гимназии, Анненский не менее пренебрежительно отзывается о своей службе: «Завтра опять — гимназия, и постылое, и тягостное дело, которому я себя закрепостил... Не знаю, долго ли мне придется быть директором гимназии, так как за последнее время мои отношения со всем моим начальством стали очень деликатными. Клею, насколько могу, коробку моей служебной карьеры, но я не отличаюсь «умными руками», и дело валится у меня из рук. Как назло, если бы Вы только знали, как у меня работает теперь голова, сколько я пишу, перевожу, творю malgré tout».[3]

В другом письме к тому же адресату он говорит о своем несбывшемся желании — покинуть службу: «А вот уж и лето на исходе. Меньше чем через неделю берусь за лямку. Сказать, что весной я еще был почти уверен, что к ней не вернусь. Помните,

---

[1] Центральный гос. архив литературы и искусства (дальше всюду — ЦГАЛИ).

[2] Из письма к Н. П. Бегичевой от 20 января 1907 г.; цитирую по статье Е. Р. Малкиной «И. Анненский» в «Литературном современнике», 1940, № 6—7.

[3] Из неопубликованного письма от 7 января 1901 г. (рукописн. Отд. Гос. публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, дальше — ГПБ). Malgré tout (франц.) — несмотря ни на что.

у гоголевского чиновника украли его шинель, и тогда его «капот» выглядит еще плачевнее. Вот и я похож на Акакия Акакиевича с моими несбывшимися надеждами».[1]

И дело было не только в том, что служба, административные обязанности директора или инспектора мешали Анненскому предаваться его любимым занятиям — поэзии, переводам, отнимали у него время. Они сами по себе внушали ему отвращение. В еще более раннем письме к А. В. Бородиной он сообщает: «Вы не можете себе представить, что приходится теперь переживать... Если Вы читали когда-нибудь пародии Добролюбова, то, может быть, примените ко мне по этому случаю его знаменитое:

Мы сознали: в грязной луже
Мы давно сидим,
И чем далее, тем хуже
Все себя грязним.

Вы спросите меня: «Зачем Вы не уйдете?» О, сколько я думал об этом... Сколько я об этом мечтал... Может быть, это было бы и не так трудно. Но знаете, как Вы думаете серьезно? Имеет ли нравственное право убежденный защитник классицизма бросить его знамя в такой момент, когда оно со всех сторон окружено злым неприятелем?[2] Бежать не будет стыдно? И вот мое сердце, моя мысль, моя воля, весь я разрываюсь между двумя решениями. Речь не о том, что легче, от чего сердце дольше будет исходить кровью, вопрос о том: что благороднее? Что менее подло? Чтоб выразиться скромнее, какое уж благородство в службе!»[3]

Автор одного из некрологов Анненского, Б. В. Варнеке, говоря о чувстве тревоги, которое сообщалось ему при чтении критических статей поэта, замечает: «Моя скорбь была тем сильнее, что частные письма И. Ф. Анненского эту же самую тревогу, не думаю, чтобы эстетического происхождения, обнажали еще ярче, еще болезненнее».[4] Тот же Б. Варнеке далее говорит об одиночестве Анненского в той среде, с которой связана была его служба, его преподавательская деятельность: «Особенно трудно было ему нести свои педагогические обязанности. Как самолюбивый человек, он редко жаловался вслух на эту тяготу, но внимательный на-

---

[1] Из неопубликованного письма от 2 августа 1905 г. (ГПБ).

[2] Имеются в виду участившиеся в это время нападки (в печати и в публичных выступлениях) на классическое образование.

[3] Из неопубликованного письма от августа 1900 г. (ГПБ).

[4] «Журнал Министерства народного просвещения», 1910, № 3, отд. IV, стр. 45.

блюдатель чувствовал ее сразу. Искренне он хотел быть настоящим педагогом, по-настоящему вести свою школу, но духовная пропасть, лежащая между ним и его сотрудниками-учителями, учениками и их родителями, создавала большие неудобства для обеих сторон».[1]

Для Анненского служба была материальной необходимостью: вплоть до самых последних лет своей жизни он не был профессиональным литератором, существующим только на гонорар; не было у него — в отличие от иных литературных деятелей прошлого времени — и наследственного состояния. Сослуживец поэта А. А. Мухин замечает по поводу первых лет деятельности Анненского как педагога: «Нужно еще удивляться, откуда он брал время и силы для литературной работы: имея, при слабом с самого детства здоровье, до 56 уроков в неделю, он только чудом уцелел к двенадцатому году службы, когда его назначили директором Коллегии Павла Галагана в Киеве».[2]

Литературная биография Анненского своеобразна. Писать стихи он начал очень рано. В упомянутой выше автобиографической заметке он говорит: «Как большинство людей моего поколения, если они, как я, выросли в литературных и даже точнее — литераторских традициях, я рано начал писать. Мой брат Н. Ф. Анненский и его жена А. Н. Анненская, которым я всецело обязан моим «интеллигентным» бытием, принадлежали к поколению 60-х годов. Но я все-таки писал только стихи, и так как в те годы (70-е) еще не знали слова «символист», то был мистиком в поэзии и бредил религиозным жанром Мурильо, который старался «оформлять словами». Черт знает что! Мои приятели, теперь покойные, лирики Николай Кобылин и Анатолий Вигилянский (Вий), уже брали штурмом несколько редакций из тех, что поскромнее. Но я твердо держался глубоко запавших мне в душу слов моего брата Николая Федоровича: «До тридцати лет не надо печататься...» В университете — как отрезало со стихами. Я влюбился в филологию и ничего не писал, кроме диссертаций. Потом я стал учителем, но — увы! до тридцати лет не дождался — стишонки опять прокинулись, — слава богу, только они не были напечатаны. Зато соблазнил меня на научные рецензии Леонид Николаевич Майков...»

Ранние стихи, о которых упоминает здесь Анненский, частично сохранились. Они еще не самостоятельны, в них чувствуется силь-

---

[1] «Журнал Министерства народного просвещения», 1910, № 3, отд. IV, стр. 47—48.

[2] «Гермес», 1909, № 20, стр. 609.

нейшее влияние русской поэзии середины XIX века, и отражаются не столько своеобразные черты того или иного из ее представителей, сколько общие места — традиционные образы высокой, «чистой» поэзии, поэтические штампы. Показательны в этом смысле и самые заглавия некоторых стихотворений: «На любимую Мадонну», «Романс», «Березка», «Певцу», «Звезды».

В одном из поздних стихотворений в прозе — «Сентиментальное воспоминание» — у Анненского есть такие строки:

«...а я глядел... на радугу и сочинял стихи.

Это были плохие стихи, совсем плохие стихи, то была даже не стихотворная риторика, а что-то еще жалче.

Но, боже мой, как я их чувствовал... и как я любил радугу... Мои банальные рифмы, мои жалкие метафоры!..

Отчего я не могу воскресить вас, о бедные нимфы с линялорозовым кушаком на белой кисее чехлов, с жидкими, но гладко причесанными косами, с мечтательными глазами и в веснушках, предательских желтых веснушках на тонкой петербургской коже...»[1]

Характеристика, которую Анненский дает здесь своим стихам о радуге, может быть отнесена ко всему его раннему творчеству: при всей искренности оно еще очень бедно выразительными средствами.[2] Анненский, по свидетельству его сына, «к ранним стихам своим никогда не возвращался, их не берег, о них не говорил да, вероятно, и не вспоминал... Если и сохранились какие-нибудь поэтические обломки и отрывки давних лет, то исключительно благодаря его близким».[3] Исключение составляло лишь стихотворение «Из поэмы „Mater dolorosa“» (первоначально имевшее заглавие: «Из иллюзий»). Оно относится к 1874 году, но поэт сохранял его вместе со стихами, возникшими много позднее; правда, сам он его все-таки не напечатал. Это стихотворение довольно ярко выделяется среди юношеской лирики Анненского: в преломлении образов природы, в приглушенности и сдержанности эмоционального тона, в неподслащенной и не совсем обычной простоте словаря, во всем своеобразии письма здесь уже проступают отдельные черты, по которым угадывается облик зрелой поэзии Анненского. Приводим это стихотворение:

---

[1] Посмертные стихи Иннокентия Анненского под ред. Валентина Кривича. Пг., 1923, стр. 100—101.

[2] Художественная слабость и неоригинальность ранних стихотворений Анненского — причина, по которой они не включены в состав настоящего собрания.

[3] «Литературная мысль», 3. Л., 1925, стр. 223.

Как я любил от городского шума
Укрыться в сад, и шелесту берез
Внимать, в запущенной аллее сидя...
Да жалкую шарманки отдаленной
Мелодию ловить. Ее дрожащий
Сродни закату голос: о цветах
Он говорит увядших и обманах.
Пронзая воздух парный, пролетит
С минутным шумом по ветвям ворона,
Да где-то там далеко прокричит
Петух, на запад солнце провожая,
И снова смолкнет всё, — душа полна
Какой-то безотчетной грустной думы,
Кого-то ждешь, в какой-то край летишь,
Мечте безвестный, горячо так любишь
Кого-то... чьих-то ждешь задумчивых речей
И нежной ласки, и в вечерних тéнях
Чего-то сердцем ищешь... И с тем сном
Расстаться и не может и не хочет
Душа... Сидишь забытый и один,
И над тобой поникнет ночь ветвями...
О, майская, томительная ночь,
Ты севера дитя, его поэтов
Любимый сон... Кто может спать, скажи,
Кого постель горячая не душит,
Когда, как грезу нежную, опустишь
Ты на сады и волны золотые
Прозрачную завесу, и за ней,
Прерывисто дыша, умолкнет город —
И тоже спать не может, и влюбленный
С мольбой тебе, задумчивой, глядит
В глаза своими тысячами окон... [1]

Некоторый (хотя, может быть, и меньший) художественный интерес представляет стихотворение «Звезды». Этот монолог запечатлевает три момента из жизни лирического героя, произносящего его: свидание с возлюбленной в его молодые годы, воспоминание о ее измене и примирение с жизнью, совершившееся под

[1] «Литературная мысль», 3. Л., 1925, стр. 223—224; приведено и здесь по этому же тексту, совпадающему со списками ЦГАЛИ, ф. 6, ед. хр. 27 и 29. Несмотря на заглавие, является совершенно самостоятельным стихотворением.

влиянием Евангелия — «звезд-мыслей», которые нашел в нем герой. Стихотворение привлекает внимание тем, как в нем сочетаются, объединяясь образом «звезд», простое и высокое, будничножитейское и патетическое. Вот его начало:

Весна и ночь... Высоко надо мною
Трепещут мириады звезд небесных;
Они давно всем смертным пригляделись,
Холодный блеск их в душу не заронит
Ни пламени любви, ни сожаленья,
Но я влюблен... мне дела нет до звезд!

Середина — рассказ героя о своем разочаровании в жизни — окрашивается чуть ли не в мелодраматические тона, а разрешается ироническим контрастом — упоминанием об орденской «звезде»:

В отчаяньи и страхе безотчетном,
Везде встречая зло и поношенья,
Я проклял мир, я всё возненавидел...
О боже мой! как жизнь ужасна мне!
Ведь та, которая мне душу озарила
И для меня была — кумир святой,
Всё позабыла, отдалась другому,
Прельщенная звездою Станислава.[1]

Одним из самых ранних произведений Анненского является большая поэма «Магдалина» (1874—1875), в ней около 4 тысяч строк.[2] Героиня поэмы — евангельская Магдалина, а основное содержание составляет ее любовь к Христу, его видения в Гефсиманском саду, его душевная борьба, смерть на кресте и гибель Магдалины в морских волнах, куда она бросается, следуя за призраком Христа. Надо при этом отметить, что евангельский сюжет трактован не в традиционно религиозных тонах, что любовь героини — земная, человеческая.

Другие ранние сочинения поэта — это или сентиментально-романсные стихи, или стихотворения «на случай» (например, на празднование годовщины Петербургского университета). Порою мелькают мотивы и образы, которые в дальнейшем займут боль-

---

[1] Отрывки приводятся впервые по списку ЦГАЛИ.
[2] ЦГАЛИ.

шое место в лирике Анненского (мотивы смерти, бессонниц и снов, некоторые образы природы), но в целом все это носит еще совершенно дилетантский характер, и кажется, что это писал другой человек. Даже и фактура стиха в большинстве случаев очень далека от характерных для Анненского особенностей поэтического мастерства: в частности, бросается в глаза бедность и неточность рифмы, обилие суффиксальных рифм. Чисто техническая слабость ранней лирики поэта явно отражает отсутствие общения с профессиональной литературной средой и еще малое внимание к формальной стороне поэзии. Тем более значительным представляется перелом, который позднее произошел в творчестве Анненского, очевидно, прежде всего в результате огромной внутренней работы, пристального чтения поэтов — русских и иностранных, наблюдений над живой речью народа, раздумий о сущности и целях поэзии. Несомненную роль сыграли при этом и занятия филологией — классической и славянской, — и изучение русского фольклора.

В той среде, которая окружала Анненского в 80-е и 90-е годы, литературные интересы играли большую роль, насколько можно судить по воспоминаниям сына, но образ, который, рассказывая о своем отце, рисует в мемуарном очерке В. И. Кривич-Анненский, — это образ поэта, пишущего случайные стихи и шутливые экспромты не для печати, а для себя, для узкого круга родных и знакомых. И такое представление о молодом Анненском вполне согласуется с содержанием и формой его стихов раннего периода.

Брат поэта Николай Федорович, который был намного старше, занимался публицистической деятельностью, преимущественно как специалист по экономическим вопросам. Александра Никитична, жена его, — детская писательница, пользовавшаяся в свое время большой популярностью (мимоходом отметим здесь, что ей И. Анненский посвятил стихотворение «Сестре»). Это были люди, душевно близкие поэту, но их литературная деятельность была очень далека от того вида творчества, к которому тяготел он сам. Лирики, его приятели Кобылин и Вигилянский, — имена совершенно забытые ныне, да и в свое время мало заметные. Личных связей с выдающимися поэтами конца XIX века (старшего поколения) у него не возникает. В личном, биографическом плане он связан преимущественно лишь с академической средой.

Печатные выступления Анненского имели вначале (в первые десять лет) исключительно академический характер. Это немногочисленные статьи и заметки по филологическим вопросам или на педагогические темы. В начале 90-х годов Анненский приступил

к огромному труду — к полному переводу трагедий Еврипида, который ему и удалось довести до конца. Параллельно с работой над Еврипидом продолжается писание научных статей, заметок, рецензий для таких изданий, как «Журнал Министерства народного просвещения», «Русская школа», «Филологическое обозрение»

Только в начале 1900-х годов Анненский впервые выступил в печати с оригинальными поэтическими произведениями. В 1901 году выходит его трагедия «Меланиппа-философ», в 1902 — трагедия «Царь Иксион» (обе — на сюжеты античной мифологии), в 1904 — книга стихов «Тихие песни» с приложением сборника стихотворных переводов «Парнасцы и проклятые», изданная под псевдонимом Ник. Т — о («Никто»). В 1906 году появилась (в сборнике «Северная речь») третья мифологическая трагедия — «Лаодамия», и в том же году Анненский выступил со сборником критических статей — «Книга отражений». В 1907 году вышел первый том отдельного издания трагедий Еврипида в его переводе. Большой известности все это ему как поэту, как художнику еще не дало. «Тихие песни» прошли почти незамеченными.

И Блок, и Брюсов, отозвавшиеся весьма сочувственными рецензиями на появление этого сборника, писали о нем как о книге совсем неизвестного, начинающего, «подающего надежды» автора (недаром он укрылся под псевдонимом «Ник. Т — о»). В обоих отзывах чувствуется тон некоторого снисхождения «Будем ждать его работы над самим собой», — заканчивал свою оценку Брюсов.[1] В рецензии же Блока, наряду с признанием высокой ценности многих стихотворений, были и упреки: «Бо́льшая часть стихов г. Ник. Т — о носит на себе печать хрупкой тонкости и настоящего поэтического чутья, несмотря на наивное безвкусие некоторых строк и декадентские излишества, которые этот поэт себе позволяет. Легко и совсем пропустить эту книгу по безобразной внешности ее, по корявости строк, выпадающих при беглом просмотре, по невзрачному эпиграфу и сомнительному псевдониму. Но, вдруг заинтересовавшись как-то, прочтешь, — и становится хорошо, и не веришь, что прочтенное писал г. Ник. Т — о».[2]

Лишь в последний год своей жизни Анненский начал приобретать некоторую (далеко еще не широкую) известность

---

[1] «Весы», 1904, № 4, стр. 62—63 (под псевдонимом «Аврелий»).

[2] А. Блок. Собр. соч., т. 10. Л., 1935, стр. 286 (первоначально в газете «Слово», 1906, № 403, 6 марта, «Литературное приложение» № 5).

именно как поэт. В этом же году (1909) вышла и «Вторая книга отражений» — второй сборник его критических статей.[1]

Смерть Анненского дала повод к ряду статей, освещающих его деятельность, еще столь мало известную публике. Второй сборник его стихов «Кипарисовый ларец» вышел как книга посмертная (1910). Рецензии на нее были довольно многочисленны. Некоторые из них были безусловно хвалебные (как рецензия в «Аполлоне») или сдержанно одобрительные (как рецензия Брюсова в «Русской мысли»), но во всяком случае отдавали дань высокому мастерству поэта и рассматривали его книгу как значительное явление в поэзии. Другие же были полны недоумений по поводу того, что Анненский вознесен своими апологетами на пьедестал, и выражали взгляд на его стихи, как на нечто несерьезное, претенциозное, мелкое. В «Киевской мысли» рецензент писал: «Поэты, подобные Анненскому, так же неизбежны в литературе, как майские жуки или полевая кашка в природе... У И. Анненского... небольшое и нежное поэтическое дарование. Это — типичная полевая кашка, попавшая какими-то судьбами на садовую клумбу, где ее махровые листочки уже стали терять свой природный аромат. Тем не менее у стихов И Анненского нашлись бы свои поклонники, если бы друзья не попытались взгромоздить его на колоссальные трагические ходули, откуда он со своими невинными кашками и ромашками производит довольно комическое впечатление».[2]

Один из людей, близких к Анненскому как к филологу и педагогу — выше уже упомянутый Б. В. Варнеке, — дав очень развернутый очерк его филологической и педагогической деятельности, с некоторым осуждением коснувшись «Книг отражений», почти что умолчал о стихах, вернее, дал понять, что видит в них лишь печальное заблуждение их автора: «Своим отзывом об этих стихах я мог бы обнаружить только никому не интересное свое личное отношение к этой (модернистической. — *А. Ф.*) школе поэзии...

---

[1] Ср. следующее место из письма М. Волошина (1909 г., без даты) к Анненскому: «Вы существовали для меня до самого последнего времени не как один, а как несколько писателей. Я знал переводчика Эврипида, но вовсе не соединял его с тем, кто писал о ритмах Бальмонта и Брюсова. Я помнил, как однажды Алекс. Вас. Гольдштейн (Вебер), говоря о Михайловском, прибавила: «Михайловский образованный человек? Все, что он знал о литературе, он знал из разговоров И. Ф. Анненского». И, конечно, этого И. Ф. Анненского я не мог соединить с И. Анненским, «молодым» поэтом, которого «Гриф» со строгим выбором печатал в „Перевале“» (ЦГАЛИ).

[2] «Киевская мысль», 1910, № 205, 27 июля.

Кому не нравятся ни «Тихие песни», ни обе «Книги отражений», тот легко сможет заставить их на полках своей библиотеки томом театра Еврипида и кипой оттисков хотя бы «Педагогических писем». Эти работы постоят за себя сами».[1]

Итак, даже в 1909—1910 годах, в то время, когда за сравнительно краткий срок появилось более всего произведений Анненского — стихов и статей, — и когда, вскоре после смерти поэта, представлялся случай наиболее полно оценить все его творчество, поэзия его заняла место далеко не бесспорное.

Но проходит и этот момент, новые книги с именем Анненского больше не появляются, и разговоры о нем в критике замолкают. На авторитет его неоднократно ссылаются лишь поэты-акмеисты, постоянно подчеркивающие свою близость к нему и желающие быть его преемниками, да в очень узком кругу поэтов и критиков, группирующихся около книгоиздательства «Жатва», возникает нечто вроде «культа» его имени.

В 1913 году выходит в количестве 100 нумерованных экземпляров последняя из мифологических трагедий Анненского — «Фамира-кифарэд».[2] Через 10 лет после этого, в 1923 году, появляются «Посмертные стихи Иннокентия Анненского», где «собраны почти исключительно те стихи И. Ф. Анненского, которые, по их времени и характеру, могли бы войти в его первую и вторую книги стихов... «Тихие песни»... и «Кипарисовый ларец».[3] Тогда же вторым изданием выходят «Тихие песни» и «Кипарисовый ларец».

Наконец, в 1939 году, со вступительной статьей и под редакцией пишущего эти строки вышли в малой серии «Библиотеки поэта» избранные стихотворения И. Анненского. Книга эта вызвала в журналах несколько статей, в которых лирика Анненского была оценена как одно из важных и художественно живых для нас явлений русской поэзии начала XX века.

2

Иннокентий Анненский оставил обширное и разнообразное литературное наследие. В состав этого наследия входит и русский Еврипид, и резко индивидуальная импрессионистическая

---

[1] «Журнал Министерства народного просвещения», 1910, № 3, отд. IV, стр. 45.

[2] Переиздана в 1919 году.

[3] Посмертные стихи. Пг., 1923, стр. 5. Предисловие В. Кривича (Анненского).

критика, только частью собранная в двух «Книгах отражений» (за пределами их осталось множество статей, разбросанных по различным журналам за несколько десятилетий), и лирические трагедии на сюжеты античных мифов, и, наконец, его лирика — оригинальная и переводная.

В количественном отношении его лирические стихи занимают небольшое место во всем его наследии. Как лирик он был неплодовит.

История литературы относит Анненского к числу русских декадентов начала XX века, противопоставлявших свою деятельность традициям реалистического искусства, не отрицавших упадочнического характера своего творчества (отсюда и название «декаданс», от французского «décadence» — «упадок») и видевших именно в этой черте некое новаторство, особое проявление новизны и современности (отсюда термин «модернизм», от французского «moderne» — «новейший»).

Как в области литературы, так и в области живописи, театра, музыки, декадентство в целом представляет собой искусство буржуазного упадка. Философская основа этого течения — субъективный идеализм в его крайнем выражении. Идейно-эстетические принципы декадентства характеризуются либо подчеркнутым индивидуализмом, культом личности самого художника-творца, либо мистическим служением некоему божественному началу, либо сочетанием того и другого. Эстетический принцип декадентства — «чистое искусство», «искусство для искусства», противопоставленное «грубой» правде жизни и всякого рода общественным требованиям, зато легко сочетающееся с мистикой, со стремлением постигнуть «миры иные».

В творчестве декадентов — и русских и западноевропейских — преобладают настроения пессимизма, нередко выливающиеся в отрицание радостей жизни, в воспевание смерти и небытия; привлекают этих писателей и всякого рода извращенные переживания.

Основной художественный метод декадентства как поэтической школы — иносказание, широкое использование символа, т. е. такого словесного образа, которому, помимо его прямого, обычного, вещественного смысла, могут быть приписаны еще и другие, параллельные с ним значения и который тем самым допускал бы многоплановое толкование (отсюда название одной из важных ветвей этого течения — символизм). Художественную манеру некоторых декадентов в связи с этим отличает пристрастие к особой форме речи — нарочито возвышенной, загадочной, любовь к недосказанному, к неясному.

Впервые декадентство возникает в западноевропейской литературе, во Франции. Русские поэты-декаденты усердно следуют примеру своих зарубежных предшественников, распространяют их идеи об искусстве, используют их приемы иносказательного стиля, переводят их и пропагандируют в журналах. Вместе с тем, иные из них пытаются опереться и на авторитет русских поэтов XIX века, ищут своих предшественников и среди них, проявляя большой интерес к творчеству великих поэтов — Пушкина, Лермонтова и выдающихся лириков — Тютчева, Баратынского, Фета, даже к гражданской поэзии Некрасова, казалось бы, столь чуждой им, но все это они переосмысляют по-своему, нередко — весьма произвольно.

Для отнесения Анненского к числу декадентов есть достаточно веские основания. С их деятельностью, с их эстетическими принципами его поэзию сближает ряд черт и особенностей. В некоторых своих стихотворениях (особенно в сборнике «Тихие песни») поэт отдает дань — правда, не очень щедрую — мистико-эстетическим увлечениям (стихотворения «Поэзия», «Девиз Таинственной похож...», «?», «Двойник», «Который?»). Очень многие стихотворения Анненского проникнуты глубоким пессимизмом; немалое место занимает в его лирике тема умирания и смерти. Иносказательность с чрезвычайной яркостью выступает в его стиле, где постоянно ощутимо стремление придать слову многозначность. Так же, как и другие его современники, русские поэты-символисты, Анненский много переводил французских лириков конца XIX века, так называемых «парнасцев» и «проклятых поэтов».

И все же в творчестве Анненского много было такого, что не укладывается в рамки идеологии и эстетики декаданса. Эти черты отличия у Анненского настолько значительны, что они-то и определяют ценность его поэзии для нас. Поэзия Анненского — явление примерно того же порядка (но, конечно, другого масштаба), что и творчество двух других, притом крупнейших русских поэтов начала XX века — Брюсова и Блока. Первый из них был основоположником русского символизма, признанным главою «школы», второй — начал свой путь как символист-мистик, певец «Прекрасной дамы», но оба они со всею искренностью откликнулись на революционные события своего времени, оба они пережили глубокую внутреннюю борьбу — конфликт между символистскими канонами и правдой жизни, правдой истории — и оба они переросли свою первоначальную литературную среду и вышли на широкий путь искусства, связанного с жизнью и не боящегося ее правды.

Кругозор поэзии Анненского более узок, но и в его творчестве

происходила острая борьба между кругом декадентских идей и принципов, с одной стороны, и миром правдивых чувств, правдой жизни, жизни человеческой души, открываемой поэтом, с другой. «Правда чувства не живет в ладу со схемой. У поэта подлинного правда чувства вытесняет декадентскую схему».[1] Это положение, высказанное именно по поводу поэзии Анненского, дает очень точную формулировку ее тенденций в постоянной их борьбе.

Большинство писавших об Анненском (в том числе и те, кто не признавал особой ценности его поэзии) видело достоинство его лирики в ее глубокой человеческой искренности. «Его поэзия поразительно искренна», — писал Брюсов[2] Брюсов же, применяя к Анненскому слова Баратынского, сказал о его стихотворениях, что они объединены «лица не общим выраженьем».[3] Блок в рецензии на «Тихие песни» отметил правдивость переживаний поэта, а в декадентских особенностях формы усмотрел своеобразное средство маскировки, которым Анненский пытается скрыть или приглушить слишком личное содержание своих стихов: «Чувствуется человеческая душа, убитая непосильной тоской, дикая, одинокая и скрытная. Эта скрытность питается даже какой-то инстинктивной хитростью, — душа как бы прячет себя от себя самой, переживает свои чистые ощущения в угаре декадентских форм».[4] Для Блока, таким образом, декадентские черты поэзии первого сборника Анненского — нечто почти наносное, не органически свойственное существу его лирики.

Среди русских поэтов начала XX века Анненский занимает своеобразное положение и по характеру того лирического тона, в котором написаны его стихи.

Для многих поэтов русского символизма, особенно в его раннем периоде, для Брюсова, Вяч. Иванова, Бальмонта, характерна особая, так сказать, «жреческая» поза, подчеркивание священной миссии поэта, ставящей его над обществом, над толпой, и попутно с этим — так называемое «эпатирование буржуа». И Бальмонт, и Брюсов (в раннем периоде его деятельности), и многие их подражатели из числа второстепенных поэтов хвастались самовлюбленностью, своим эгоизмом. Эта «поэтическая» поза, как в кривом зеркале, отразилась потом в стихах Игоря Северянина, да и

---

[1] В. Перцов. Реализм и модернистские течения в русской литературе начала XX века. — «Вопросы литературы», 1957, № 2, стр. 67.

[2] В. Брюсов. Далекие и близкие. М., 1912, стр. 160.

[3] Там же, стр. 159.

[4] А. Блок. Собрание сочинений, т. 10. Л., 1935, стр. 286.

у Бальмонта в его писаниях более позднего периода она принимала карикатурные формы. В связи с этим и то «я», от имени которого говорил поэт, у них нередко становилось театральным персонажем, вокруг него создавалось нечто вроде декорации. Поэзии Анненского чужда эта условность позы; герой его стихов — простое человеческое «я», взятое вне каких бы то ни было героических декораций и театральных костюмов. Личное, интимное он раскрывал без самолюбования, не возводя его в степень чего-то необыкновенного, хотя и вкладывая в него всегда обобщающее значение. Это отсутствие позы безусловно отличало Анненского от поэтов-символистов; оно, на фоне современных ему стихов, даже могло быть воспринято как архаическая черта, черта старомодности. Самые заглавия книг Анненского — «Тихие песни» и «Кипарисовый ларец» — звучали скромно и просто на фоне громких, торжественных названий стихотворных сборников Бальмонта («Горящие здания», «Будем как солнце»), Брюсова («Me eum esse» — «Это я», «Urbi et Orbi» — «Риму и Миру», «Tertia vigilia» — «Третья стража») или Вяч. Иванова («Cor ardens» — «Пылающее сердце»). Что касается заглавия «Кипарисовый ларец», то оно имело, кстати сказать, чисто «домашнее» происхождение, — было связано с кипарисовой шкатулкой, в которой хранились рукописи поэта. Лирику Анненского, внешне простую, не бьющую на эффект, лишенную всякой торжественности, сперва не заметили, а потом, когда пришла посмертная известность, когда поэт стал значительной (хотя и спорной) величиной в «большой» литературе, критика литературно-консервативная удивлялась тому, что это произошло.[1]

В статьях, написанных об Анненском апологетами его поэзии, немало было сказано о том, что главное для него — красота, что его творчество ставит чисто эстетические задачи. «Мученик красоты», «Эстетическое донкихотство» — вот заголовки двух статей, появившихся после смерти поэта.[2] На чисто эстетических особенностях поэзии Анненского особенно настаивали акмеисты, объявившие себя — без видимых к тому оснований — его учениками.

Между тем совершенно бесспорным является тот факт, что Анненский никогда не замыкался в кругу традиционных «высоких»

---

[1] См. цитированную выше рецензию «Киевской мысли» (1910, № 205) на «Кипарисовый ларец».

[2] А. Бурнакин. Мученик красоты. — «Искра», 1909, № 3; А. Бурнакин. Эстетическое донкихотство. Литературные заметки. — «Новое время», 1910, № 12398.

художественных мотивов, что для него нисколько не характерна та тематика, которая обычно отличает сторонников теории «искусства для искусства» (например, обращение к памятникам искусства, к эффектным, декоративным моментам истории), что он никогда не отворачивался от реальной жизни, не стремился создать себе мир незыблемых и самодовлеющих эстетических ценностей.

Искусство и жизнь не разделены для Анненского непреходимой чертой. В статье «Проблема Гамлета» он говорит: «...не думать о Гамлете, *для меня, по крайней мере,* иногда значило бы отказаться и от мыслей об искусстве, то есть от жизни». [1]

Характерен и метод Анненского-критика в «Книгах отражений», где, рассматривая произведения литературы, он никогда не отграничивается от тех жизненных переживаний, которые за ними стоят. Для него существует искусство, подлинно связанное с жизнью, и искусство надуманное. Так, заканчивая вторую часть статьи «Достоевский до катастрофы», посвященную «Господину Прохарчину», он признается: «Я люблю и до сих пор перечитывать эти чадные, молодые, но уже такие насыщенные мукой страницы, где ужас жизни исходит из ее реальных воздействий и вопиет о своих жертвах, вместо того чтобы, как в наше время, навеваться шумом деревьев, криками клубных маркеров или описками телеграфистов и отобщать каждого из нас от всего мира призраком будто бы лично ему и только ему грозящей смерти». [2] Последние строки даже несколько полемичны по отношению к типичным атрибутам декадентства — западноевропейского и русского.

Если Анненский до конца жизни и примыкал к декадентам, то, как позволяют судить некоторые его высказывания, он испытывал глубокую неудовлетворенность, даже раздражение от того, что в модных литературных кругах животрепещущие для него этические вопросы становятся предметом праздных дебатов, что «богоискательство» превращается в некое времяпрепровождение; его возмущает фальшь, наигранность интереса к важным жизненным проблемам. Заслуживает в этом смысле внимания его письмо от 6 февраля 1909 года к Т. А. Богданович, приславшей ему в письме от 4 февраля пригласительный билет на собрание «Литературного общества», где Б. Г Столпнер должен был читать доклад «Достоевский — борец против русской интеллигенции». Анненский от-

---

[1] «Вторая книга отражений», СПб., 1909, стр. 75.
[2] «Книга отражений», СПб., 1906, стр. 57.

казывается ехать на этот вечер и дает волю своему раздражению, которое возбуждают на этот раз не только критики, действительно спекулирующие на больших проблемах, как Мережковский, но даже и подлинно искренние и благородные люди, во многом близкие ему, как Блок.

Анненский пишет: «Взвесив соблазн видеть тебя и удовольствие поговорить еще, может быть, с несколькими интересными людьми, с одной стороны, и перспективу вечера, где Достоевский был бы лишь поводом для партийных перебранок и пикировок да для вытья на луну всевозможных мережковских и меделянских пуделей, я решил все же, что не имею права отнимать вечер от занятий. О, нет никаких сомнений, что если бы предстоял разговор о Достоевском, я бы приехал и, вероятно, стал бы тоже говорить. Но что Столпнеру Достоевский? Или Мякотину? или Блоку? [1] Для них это не то, что для нас — не высокая проблема, не целый источник мыслей и загадок, а лишь знамя, даже менее — орифламма, — и это еще в лучшем случае, — а то так и прямо-таки *деталь в собственном страдании,* в том, что Я, вы понимаете, Я... Мы говорим на разных языках со всеми ними или почти со всеми. Я жадно ищу понять и учиться. Но для меня не было бы более торжественного и блаженного дня, когда бы я разбил последнего идола. Освобожденная, пустая и все еще жадно лижущая пламенем черные стены свои душа — вот чего я хочу. А ведь для них сомнение — это риторический прием. Ведь он, каналья, все решил и только тебя испытывает: а ну?! а ну?!..»

И далее, там же: «Политиков все же нельзя не уважать. Это люди *мысли,* люди *отвлеченности.* Они безмерно выше Мережковских уже по одному тому, что у них, у Мережковских, отвлеченности-то и нет, что у них только инстинкты да самовлюбленность проклятая, что у них не мысль, а золотое кольцо на галстуке. С эс-деком [2] можно грызться, даже нельзя не грызться, иначе он глотку перервет, но в Блоке ведь можно только увязнуть. Искать бога — Фонтанка 83. Срывать аплодисменты на боге, на совести. Искать бога по пятницам... Какой цинизм!» [3]

Эти строки ярко рисуют то отношение, которое у Анненского

---

[1] В «Литературном обществе» собирались литераторы весьма разных направлений и разной политической ориентации (В. А. Мякотин — публицист и историк, деятель полукадетской Трудовой народно-социалистической партии, Б. Г. Столпнер — философ, сочетавший занятия марксизмом с интересами к «богоискательству»).

[2] т. е. социал-демократом.

[3] ЦГАЛИ.

вызывает одна из разновидностей русского декаданса — богоискатели, вещатели религиозно-философских «истин». Испытывая глубокое отвращение к их разглагольствованиям, где соединяются и мистика, и общественные вопросы, он оказывается очень близок именно к задеваемому здесь Блоку, который с подобных же позиций обличал «болтовню» в Религиозно-философском обществе. Характерно и другое в цитированном письме: модным литературным деятелям, предающимся безудержному суесловию, Анненский противопоставляет людей дела и мысли, к которым он чувствует уважение, несмотря на то, что не разделяет их взглядов. Замечательно также то место, где поэт говорит о своей готовности отказаться от любых иллюзий, лишь бы прийти к истине.

Критическое отношение Анненского к «столпам» символистской школы сказывается, в частности, в двух впервые публикуемых нами пародиях — «Из Бальмонта» и «В море любви». Предметом его насмешки становятся здесь чисто литературные особенности произведений как Бальмонта, так и Брюсова, попутно задеваемого им. Анненский иронизирует здесь — и достаточно зло — над претенциозностью образов, над самовозвеличением поэта, над бессодержательностью и многословием.

Хронология поэтического творчества Анненского, последовательность создания отдельных его стихотворений, не установлена (за отсутствием в большинстве случаев датировок или косвенных хронологических показателей), поэтому трудно говорить о деталях его эволюции как поэта за последние 10—15 лет его жизни. Однако один факт может быть бесспорно установлен: стихи, входящие в состав «Тихих песен», по крайней мере в подавляющем своем большинстве, предшествуют стихам из тетрадей, хранившихся в кипарисовой шкатулке и образовавших содержание сборника «Кипарисовый ларец» и большую часть «Посмертных стихов» (изд. 1923 г.). А если сравнить «Тихие песни» с «Кипарисовым ларцом» и со стихами, безусловно современными ему (имеющими определенную дату или поддающимися приблизительной датировке, как, например, «Старые эстонки», связанные с событиями 1905—1906 годов), то нельзя будет не признать определенной эволюции поэта в сторону отказа от мистической темы, а также и от темы самодовлеющего значения поэзии, в сторону большего приближения к темам действительности. Даже в процессе подготовки к изданию «Тихих песен» были ослаблены некоторые специфически декадентские утверждения самодовлеющей ценности искусства и выражения пристрастия к «искусственному». Так, не увидел света следующий эпиграф, имеющийся в одном автографе

стихотворения «Декорация»: «На меня действует только та природа, которая похожа на декорацию. Из „Самопризнаний"». И если уже в «Тихих песнях» есть стихотворение «В дороге», где в зародыше выступает социальная тема и осуждается социальная несправедливость, где появляются детали, связанные с реальной русской действительностью, то таких стихотворений в тетрадях последних лет значительно больше: вспомним стихотворения «Картинка», «Кулачишка», «Прерывистые строки», «Опять в дороге», «Старые эстонки» и некоторые другие (относятся они к последним 3—4 годам жизни поэта).

Среди материалов архива Анненского сохранилась папка под названием «„Autopsia" и другие стихотворения в прозе».[1] Это — черновые наброски; местами в них очень большая стилистическая правка. Здесь — 25 монологов, или фрагментов, каждый со своим заглавием; относятся они к тому промежуточному между поэзией и прозой жанру, который называют либо «лирической прозой», либо «стихотворениями в прозе». Фраза в них более или менее ритмизована, и все они отличаются повышенной эмоциональностью: некоторые из них имеют отчетливо патетический характер, другие же окрашены в тона лирического раздумья или созерцания.

Для представления о круге идей Анненского этот цикл дает много неожиданного. Здесь — в отличие от ранних лирических стихов — главное место занимает социальная тема. Монологи, посвященные человеческим судьбам, чередуются, правда, с лирическими пейзажами, но в преобладающей части цикла проходят образы простых людей — рабочих, ремесленников, скромных тружеников и тружениц. Автор говорит о них с любовью и скорбит о их тяжелой и безрадостной судьбе, видя причину их бедствий в существующем устройстве общества. Вот он описывает похороны рабочего — жертвы несчастного случая — и размышляет по этому поводу:

«Они идут густой толпой, мрачные, строгие, с непокрытыми головами. Ящик с покойником покрыт черной волнующейся тканью. Задумчивая скорбь врезалась у них на челе среди морщин, и напрасно улыбается им сверху небо; прорвется тихий плач, и никто его не поддержит. Он покоится среди сбитых досок, сжатый и раздавленный. Он работал на крыше и, свалившись, разбил себе голову о камни мостовой, полный надежд и бодрой жизни, прекрасный как титан, он упал, и вот холодная и морщинистая

[1] ЦГАЛИ.

рука сжала сердце пришибленной вдовы и уносит его в суровую обитель сна и забвения... Ведь ремесленник тот же солдат. Они это знают. Грудь вздымается от дум и бледнеет лицо. Они Геркулесы и бодры, их мечты так скромны — семья да веселый домик, и, может быть, завтра они на работе так же свалятся с крыши или их раздавит стена, завалит арка. Никто не слышит кричащего и не поймет жертвы» («Над брешью»).[1]

Аналогичную тему Анненский предполагал, видимо, развить под заглавием «Рука в машине», но замысел остался неосуществленным, набросано было только начало: «В ремнях вертятся колеса, свистят машины, неутомимые в труде рабочие ревут веселые песни. Но вдруг раздается сумасшедший крик...»[2]

Среди «стихотворений в прозе» есть одно, озаглавленное «Побежденные». В нем говорится о пасынках земли, о тех, кого отверг труд. Слово «безработные», правда, не сказано, но что речь о них — вполне ясно из контекста:

«Сколько их — сотня, тысяча, миллионы...

Их без числа и счета.

Сдержанный гул несется издалека из их темных рядов.

Они идут средь сурового ветра ровным и медленным шагом с голой головой, в грубых одеждах, с воспаленным взглядом. Они ищут меня.

Они меня настигли все, и вот толпа серых фигур, масса изможденных лиц колеблющейся волной окружила меня, сдавила, скрыла, замкнула. Я слышу хриплое дыхание, долгий плач звучит в тумане, проклятья, вздохи...»

И далее — от лица «побежденных»:

«Мы искали труда, который бодрит, возрождает, и он отверг нас.

Где же надежда? Где сила?

О, пощади, пощади нас. Мы побеждены.

Над нами и вокруг нас в сильном золотом свете солнечных лучей ярко разносится веселый и громкий гимн лобзаний и труда.

Железной змеей с шумом влетает поезд под горные своды. Промышленность военной трубой зовет умы и руки на жатву...

А нас ненужно. Кто бросил нас на эту злую землю, злую мачеху?

Кто не дает нам свободно дышать? Кто гнетет и давит нас? Чья ненависть тяготеет над нами?..»[3]

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 6, оп. 1, ед. хр. 57.
[2] Там же.
[3] Там же.

То тяжелое положение социальных низов, которое в авторе «стихотворений в прозе» вызывает такую скорбь и сочувствие, не мыслится им как нечто роковое, от века предустановленное, неизменное. Другие «стихотворения в прозе» говорят о счастливом грядущем, которое будет завоевано не только трудом, но и борьбой:

«Вперед, вы, которые ищете счастья в труде! Вперед на честный бой, на благородное состязание пилы, заступа, кирки, топора!

Вы, с кипящей кровью во вздувшихся жилах, вы с лобзаниями солнца на лице, впивая амброзию свежего утра, вскормленные плодородной землей... Дерзайте, вы, новые и славные борцы.

Вас ожидает свободный век» («Машина свистит»).[1]

Оптимизмом, верой в будущее, верой в социальный прогресс проникнута и «Песня заступа», которая кончается такими словами:

«Я грежу о новой заре, когда, как сельское победное знамя на солнце, что золотит воздух, в ясном блеске над вдохновенной толпой, я восстану над плодородной землей, сияя жизнью и мощью... Под молодецкими ударами, раздавленная, умрет змея ненависти, и с земли, насыщенной любовью, благоухающей розами, очищенной юным пылом, до самой небесной лазури будет доноситься шум грубых человеческих голосов, не то гимн, не то вопль: Мира, труда, хлеба...»[2]

Другое «стихотворение» цикла («Не тревожь меня») тоже завершается картиной блаженного будущего, когда на земле воцарится вечный мир и свобода:

«Все зацветает розами, надеждой, чистой верующей думой, торжествующим трудом, благородным одушевлением, талантом, подвигом.

Не пьет больше крови скорбная земля.

Война, эта свирепая и непокорная колдунья, не наводит больше ружей, и не разражаются больше пушки яростными выстрелами, а на боевом поле не слышно больше военных песен.

Весь мир — одно отечество, и всех оживляет один священный энтузиазм, и песня торжественной и кроткой любви летит с одного берега на другой.

Паровик дышит, плуг разрывает плодородную грудь Земли,

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 6, оп. 1, ед. хр. 57.
[2] Там же.

ревут и стучат машины, пылают очаги, и над этим диким ревом Земли в брожении Свобода распустила свои белые крылья, и гул их гордо разносится по ветру».[1]

Заслуживает быть отмеченной еще одна черта лирико-прозаического цикла: часть «стихотворений» объединена образом героини, от лица которой в них ведется речь, и это — девушка из народа, чистая, благородная, глубоко человечная и жизнелюбивая. В монологе «Здравствуй, нищета» она говорит: «В моих жилах течет кровь, горячая и гордая мужицкая кровь. Попираю страх, и слезы, и гнев и стремлюсь в грядущее...»[2]

Хотя представления поэта о том, какими путями человечество придет к счастливому будущему, неопределенны, хотя во всем лирико-прозаическом цикле преобладают мотивы скорбного страдания рабочего люда, а картины труда и образы людей из народа остаются очень расплывчатыми, все же демократичность содержания «стихотворений в прозе» — вне сомнения. Лирико-прозаический цикл является если и не прямым, то своеобразно преломленным отражением взглядов той части прогрессивной русской интеллигенции, с которой тесно связан был брат поэта Н. Ф. Анненский и с которой многократно соприкасался сам поэт. Судя по манере письма, еще мало похожей на позднейшие стихи и на лирическую прозу 1900-х годов, «„Autopsia“ и другие стихотворения в прозе» намного предшествуют периоду полной зрелости поэта. Их, однако, можно рассматривать как переход от его ранней лирики к более широкой тематике и проблематике его стихотворений 1900-х годов, в которых поэт откликнется на «реальные воздействия жизни».

Интересно и то, что с этим циклом лирической прозы зрелое творчество поэта сближает стремление опираться на конкретную жизненную ситуацию. Каждое из ранних «стихотворений в прозе», как и многие позднейшие стихотворения, представляет небольшой монолог, предполагающий определенную обстановку, иногда и сюжет, определенное соотношение повествующего «я» с другими персонажами.[3] И думается, что от «стихотворений в прозе», написанных то ли в 80-х, то ли в 90-х годах, тянется линия —

[1] ЦГАЛИ, ф. 6, оп. 1, ед. хр. 57.

[2] Там же.

[3] Анненский ни разу не обращался к жанру повествовательной прозы или драмы на бытовой современный сюжет. Тем более требует упоминания сохранившийся в его архиве автограф — отрывок плана неизвестного, по-видимому, драматического произведения с бытовым содержанием. Приводим его: «Действие происходит через год после смерти старшего Мамертынского... Край-

пусть и неровная — к таким сильным стихотворениям 1900-х годов, как «Квадратные окошки», «Прерывистые строки», «Бессонные ночи» и другие.

Для оценки Анненского важен еще один факт. Этот замечательный филолог-классик, переводчик Еврипида, знаток античного мира и ценитель его художественных памятников, в своих собственных стихах совершенно не обращается к античной тематике, к античным мотивам, которые всегда давали такой эстетически благодарный материал поэтам, желавшим бежать от жизни в «башню из слоновой кости», в мир «чистой красоты». Для Анненского античная тема в его собственных стихах ограничивается редкими упоминаниями о статуях царскосельского парка, изображающих мифологических героев (например, «Там тоскует по мне Андромеда с искалеченной белой рукой»).

Вместе с тем в своих оригинальных трагедиях на мифологические сюжеты он выводит своих героев людьми с современной душой, близкими современному читателю, придает их речи чисто разговорные современные черты, лирическую простоту, сдержанность, приглушенность, более напоминающую новую драму, сознательно вводит анахронизмы.

Своей первой трагедии «Меланиппа-философ», по времени выхода в свет еще предшествующей «Тихим песням» и датированной 1899 годом, он предпосылает такое признание: «Автор трактовал античный сюжет и в античных схемах, но, вероятно, в его пьесе отразилась душа современного человека. Эта душа столь же несоизмерима классической древности, сколь жадно ищет тусклых лучей, завещанных нам античной красотою. Автор томится среди образчиков современных понятий о прекрасном, но он первый бы бежал не только от общества персонажей еврипидовской трагедии, но и от гостеприимного стола Архелая и его увенчанных розами собеседников с самим Еврипидом во главе».

А предисловие к «Лаодамии» Анненский завершает ироническим замечанием: «В трагедии, которая следует, скептический и задумчивый Гермес-созерцатель не претендует быть ничем, кроме бледного отражения своего классического собрата. Если на богов

няя нужда. Пристают кредиторы. Всё мало-помалу продают. Старуха Мамертынская не злая, но чванная и глуповатая женщина, фантазерка. Дочь нервная, учительница музыки. Сын — бывший студент. Молодая Мамертынская. Женихи. Массажистка. Мальчик в колонии. Поэт, который делается контролером конно-железных дорог. Я решил задачу жизни. Мы должны существовать для блага домовладельцев. . .» (ЦГАЛИ).

Олимпа не распространяется закон эволюции, им суждено по крайней мере вырождаться».

И недаром этот божественный персонаж — Гермес — сам не верит в свою божественность, в свое бессмертие, как бог Олимпа: стоя на страже, пока совершается брак Лаодамии с призраком ее убитого мужа, он говорит:

А потом,
Когда веков минует тьма и стану
Я мраморным и позабытым богом,
Не пощажен дождями, где-нибудь
На севере, у варваров, в аллее
Запущенной и темной, иногда
В ночь белую или июльский полдень,
Сон отряхнув с померкших глаз, цветку
Я улыбнусь или влюбленной деве,
Иль вдохновлю поэта красотой
Задумчивой забвенья...

В «Фамире-кифарэде» драматург в один из самых трагических моментов развития действия, когда появляется тень отца героя, заставляет сатиров перейти от стихов к прозе совершенно бытового и вполне современного характера. Иллюзия античности разрушается, хотя бы в пределах данной сцены.

Жизненный путь Анненского оборвался в 1909 году, когда его великий современник Блок, со всей страстностью искавший в искусстве большой жизненной правды, «выхода в жизнь», был близок к цели. Этого выхода искал и Анненский, как показывают многие его стихотворения. Поэтический мир Анненского полон противоречий, напряженная борьба которых и сообщает его творчеству такой трагический характер. Борьба эта — борьба между властью мира внутреннего, полного тоски, отчаяния, населенного болезненными видениями, и стремлением к миру реальной жизни, «реальных воздействий жизни». Эти реальные воздействия жизни на последнем этапе творчества поэта все более властно заявляют о себе и получают все более правдивое и сильное выражение.

8

Лирическое творчество Анненского — в отличие от поэзии Брюсова с ее разнообразием тем, личных, социальных, исторических, географических и т. п., или от поэзии Блока с ее широкими идейно-тематическими масштабами — замкнуто в гораздо более

узкий круг мотивов и личных переживаний, имеет более «камерный» характер. Анненский прежде всего тонкий мастер в изображении внутреннего мира человека. То, что выделяет его среди поэтов-современников, что обусловливает его особое и очень значительное место в русской поэзии начала XX века — это огромная смысловая насыщенность и эмоциональная напряженность его стихов при довольно постоянном и устойчивом круге образов и чувств, строгая стилистическая мотивированность в отборе разнообразных выразительных средств и в применении тех или иных стихотворных новшеств.

Характеризовать писателя, исходя из частого повторения тех или иных тем, мотивов, образов, — дело легкое, но неплодотворное, ибо количественным признаком содержание творчества не определяется. Между тем к Анненскому так подходили многие критики, писавшие о нем, и поскольку в его книгах много стихотворений, говорящих о смерти, об умирании, его нередко и характеризовали как «поэта отчаяния смерти» и т. п. Если тема смерти играет в поэзии Анненского известную роль, то этой темой ее содержание нисколько не исчерпывается, и тема эта не может служить показателем своеобразия его лирики, богатой и сложной по внутреннему содержанию, полной раздумий не столько о смерти, сколько о смысле жизни, о жизни человеческой души во всей ее сложности и со всеми ее противоречиями.

Современники Анненского — Брюсов и Блок — неоднократно с большой смелостью подходили вплотную к теме грядущей гибели старого мира, не выказывая жалости к нему. Анненский не касается этой темы, как и вообще тем философско-исторических. Исключением является у него только одно стихотворение — «Петербург». Сознание исторической обреченности царской России с полной ясностью проступает в одной из строф:

А что было у нас на земле,
Чем вознесся орел наш двуглавый,
В темных лаврах гигант на скале, —
Завтра станет ребячьей забавой.

И хотя поэт говорит «у нас» и «орел наш», но сочувствия к социальному строю, символом которого служит этот орел, у него нет. А зачеркнутый вариант строфы свидетельствует и о прямом осуждении этого строя: второй стих первоначально был таков:

Чем силен еще хищник двуглавый.

(ЦГАЛИ)

Все стихотворение проникнуто мыслью о бесплодности и обреченности того государственного строя, символом которого здесь выбран императорский Петербург.

Но к этой теме поэт больше нигде не обращается. И если тема социальной гибели того класса, к которому он сам принадлежит, обреченности того строя, при котором он живет, так мало представлена в его творчестве, то место ее занимает (хотя бы отчасти) другая тема — тема личной обреченности. Анненский — лирик очень искренний, и эта тема для него болезненно волнующа. Но глубочайшей ошибкой было бы думать, что это — любование некой «страшной» и к тому же модной темой или что все здесь сводится к простому страху перед собственной смертью.

По письмам Анненского мы можем судить о том, что смерть вовсе не была для него, как для человека (заметим, человека, страдавшего тяжелой болезнью сердца), навязчивой идеей, о ней он пишет мало, и беспокоит его только мысль о том, что он, например, не успеет кончить работу над Еврипидом. В своих статьях — как, например, в конце статьи о Прохарчине, цитированной выше, или в статье о Лермонтове — он явно осуждает тяготение современной буржуазно-декадентской литературы к теме смерти. Не собственная жизнь как таковая, во всей ее неповторимости, не существование как самоцель, а творчество — вот что является ценностью в его глазах. И стихотворение «Другому» служит поэтическим доказательством этой мысли, свидетельствуя вместе с тем, что творчество, по Анненскому, единственная непреходящая ценность. И творчество, тем самым, единственный для него путь к людям, путь к другому человеку. Мысль о творчестве, о поэзии — единственное, что создает некоторый просвет в самых трагических, самых напряженных переживаниях. Доказательство тому такие стихотворения, как «Рождение и смерть поэта», «Мучительные сонеты», «Смычок и струны», «Старая шарманка» с ее знаменательной концовкой:

Но когда б и понял старый вал,
Что такая им с шарманкой участь,
Разве б петь, кружась, он перестал
Оттого, что петь нельзя не мучась?

Не столько сознание личной обреченности, не столько мысль о неизбежной физической гибели своего «я» волнует поэта, сколько представление о слепой разрушительной силе, которая уничтожает всякую человеческую жизнь, прерывает творчество и

служит как бы воплощением несправедливости и бессмысленности мирового порядка. То, чего он также не приемлет, — это жестокость жизни, несправедливость мира, в котором столько существ обречены вести жалкое и бессмысленное существование.

Вспомним последнюю строфу стихотворения «В дороге» (из «Тихих песен»):

Дед идет с сумой и бос,
Нищета заводит повесть:
О, мучительный вопрос!
Наша совесть... Наша совесть...

Или стихотворение «Кулачишка» с его трагическим завершением:

Скормить Помыканьям и Злобам
И сердце, и силы дотла —
Чтоб дочь за глазетовым гробом,
Горбатая, с зонтиком шла.

Окружающая действительность вызывает у Анненского и недовольство, и прямое, хотя и выраженное в сдержанной форме, осуждение. Непосредственно или косвенно оно все время дает о себе знать в его поэзии, а с предельной четкостью и выразительностью оно проявляется в стихотворении «Бессонные ночи» и в «Нервах» — «пластинке для граммофона», выразительной и верной картинке русского интеллигентского быта годов реакции. Сознание социальной несправедливости, социального неблагополучия, воспринимаемого, правда, сверху, с точки зрения «барина», представителя верхов, окрашивает собой и стихотворения «Картинка», «Опять в дороге» и, наконец, «Старые эстонки».

Названные стихотворения принадлежат к числу самых знаменательных в творчестве поэта, а среди них особенно выделяется стихотворение «Старые эстонки», являющееся откликом на карательные меры царского правительства против революционных выступлений в Прибалтике в 1905—1906 годах. Суровый пафос негодования обращен здесь и против самых основ государственного строя тюрьмы народов — Российской империи, и против безвольной и бездушной либеральной интеллигенции, которая неспособна ни на какую реальную борьбу со своим правительством, да в ней и не заинтересована, но не прочь лицемерно посокрушаться о жертвах контрреволюционного террора. Стихотворение пронизано сознанием моральной ответственности каждого за все совер-

шающееся вокруг и в беспощадном свете рисует всякую попытку бежать от этой ответственности, всякое проявление робости духа, всякий компромисс с совестью. Если в других стихотворениях, затрагивающих тему социальной несправедливости, Анненский обычно лишь намечает ситуацию, которой читатель уже сам должен придать обобщенный смысл, то в «Старых эстонках» вывод подчеркнут, обобщению придана необычайная яркость; и голос поэта, который горькие упреки обращает к самому себе, звучит с небывалой у него страстностью. Единственный раз у Анненского выступает здесь тема народного гнева, возмездия:

Погоди — вот накопится петель,
Так словечко придумаем, скажем.

Сурового пафоса полно и стихотворение «Бессонные ночи», направленное против общественных верхов, против «высшего света» и бичующее его пустоту, лицемерие, злобность, бессовестность:

Опять там улыбались язве
И гоготали, славя злость...
Христа не распинали разве,
И то затем, что не пришлось...

Опять там каверзный вопросик
Спускали с плеч, не вороша...
И всё там было — злобность мосек
И пустодушье чинуша́.

Эти строфы вызывают в памяти блоковское стихотворение «Сытые», полное глубокого осуждения по адресу старого мира и сочувствия к революции. До вывода о необходимости покончить со старым миром, уничтожить его, заменить другим Анненский не доходит. Но все его существо возмущается косностью, несправедливостью, бессердечностью, царящими «на зеркалах вощеных зал».

Правда, чувство протеста почти подавляется сознанием безвыходности, и ощущение собственного одиночества, как здесь, так и в других стихотворениях, становится у поэта еще острее, сознание же своей ответственности перед страдающими людьми делается еще более болезненным. Внешний мир превращается в фантасмагорию, где живой человек и неодушевленная природа уже не отграничены друг от друга, и жалость поэта распростра-

няется в равной мере на страдающих людей и на камни, на цветы, на куклу, бросаемую в воду, — на предметы, одушевляемые им:

Иль я не с вами таю, дни?
Не вяну с листьями на кленах?
Иль не мои умрут огни
В слезах кристаллов растопленных?

Иль я не весь в безлюдье скал
И черном нищенстве березы?
Не весь в том белом пухе розы,
Что холод утра оковал?..

(«Когда б не смерть, а забытье...»)

И попытка выйти к социальной теме, в мир «реальных воздействий жизни» оказывается для поэта только более мучительной, вызывая в нем еще более трагические переживания, еще более обостряя в нем сознание невозможности вырваться за пределы своего психического мира, все равно обреченного гибели.

Тема смерти сочетается для Анненского с темой тоски о времени, которое не вернуть, а личная жизнь того «я», от имени которого поэт ведет речь, становится символом жизни вообще и осознается им как неудача, как нечто непоправимое (стихотворения «Трактир жизни», «С четырех сторон чаши», «Далеко... далеко...», «Когда высоко под дугою...»). И еще — как обман. Эта жизнь, эта действительность пугает и отталкивает поэта своим безобразием, пошлостью, нарушением неких «идеальных» эстетических норм. И протест против действительности временами приводит поэта к восприятию жизни, природы, мира как чего-то призрачного, нереального. Тема призрачности, колдовства, раздвоенности, кошмара играет у Анненского немалую роль, сочетаясь, однако, с четко выписанными образами реальной житейской обстановки, которые впечатляют именно своей жестокой обыденностью. Яркий пример тому — стихотворение «Квадратные окошки», где оживляемый воспоминанием образ женщины, когда-то страстно любимой, встает как манящий призрак, чтобы потом превратиться в фантастический гротеск на фоне сугубо будничных деталей.

Она... да только с рожками,
С трясучей бородой —
За чахлыми горошками,
За мертвой резедой...

Восприятию окружающего мира и жизни как обмана, как призрачной декорации в стихах Анненского противостоит и иная тенденция, не позволяющая его поэзии, как целому, превратиться в фантасмагорию, утратить конкретность и наглядность. Анненский не только поэт кошмаров, но и зоркий наблюдатель жизни, замечательный мастер реалистического пейзажа, живых и метких деталей обстановки, живой разговорной речи, элементы которой (иногда в виде реплик отдельных персонажей стихотворения, иногда в составе речи «от автора») он часто включает в свои стихи. Нередко даже в трагических стихотворениях, посвященных теме кошмара, бреда, галлюцинаций, точная образность слова, четкость выражения, наглядная конкретность обстановки контрастирует с самой темой и, контрастируя, оттеняет ее, сообщает ей бо́льшую выпуклость. Там же, где поэт смотрит на мир, на природу как на реальную данность, не сомневаясь в ней, в описательных стихах более спокойного и трезвого тона, становится ясна его связь с русской лирикой XIX века, в частности — с Тютчевым.

Лучшие русские поэты начала нашего века перекликались (правда, каждый по-своему и по-разному) с русской поэзией прошлого столетия, с различными ее представителями (так, например, у Блока — тяготение к поэзии Лермонтова, Фета, Полонского). У Анненского глубокая, органическая связь с русской философской лирикой и с поэзией природы, с Тютчевым и Баратынским. Именно тютчевское начало временами очень отчетливо дает себя чувствовать в лирике Анненского, особенно в сравнениях и обобщениях, которые он дает в концовках своих стихотворений:

От золотой его одежды
Осталась бурая кайма
Да горький чад... воспоминанья
. . . .
Как обгорелого письма
Неповторимое признанье.

(«Еще один»)

А сердцу, может быть, милей
Высокомерие сознанья,
Милее мука, если в ней
Есть тонкий яд воспоминанья.

(«Что счастье?»)

Связь с Тютчевым дает о себе знать и в таких чисто пейзажных стихотворениях, как «Ноябрь» или «Ветер», как «Солнечный сонет», и в таких, где за описанием следует сентенция, где частное и конкретное (образ из мира природы) становится формой выражения мысли более общего порядка, относящейся к человеческой жизни. Так, в «Майской грозе»:

Когда бы бури пролетали
И все так быстро и светло...
Но не умчит к лазурной дали
Грозой разбитое крыло.

Природа тоже не дает поэту желанного и полного успокоения. Противоречие между внутренней жизнью и внешним миром остается. Страстно переживая то, что совершается в мире неодушевленной природы, Анненский, как об этом уже пришлось говорить, наделяет ее прежде всего способностью страдать по-человечески.

Русский декаданс и символизм тесно связан с идеалистической философией. То ощущение разрыва между миром внешним и внутренним миром поэта, которое так характерно для Анненского, отличает и ряд других поэтов — его современников. Но Анненский, в отличие от столь многих из их числа, не смотрит на свое «я» как на нечто самодовлеющее и независимое от остального мира.

Об этом красноречиво говорит начало сохранившегося в архиве поэта и впервые публикуемого сейчас стихотворения под заглавием «Поэту»:

В раздельной четкости лучей
И в чадной слитности видений
Всегда над нами — власть вещей
С ее триадой измерений.

И грани ль ширишь бытия
Иль формы вымыслом ты множишь,
Но в самом *Я* от глаз *Не Я*
Ты никуда уйти не можешь.

В отличие от многих своих современников-модернистов, Анненский не пытается также искать «божественных» утешений и отвергает иллюзии религии и мистики. При всем своеобразии смыслового стиля поэзии Анненского, о котором речь будет

дальше, при всей емкости его поэтических образов, можно все же сказать, что целый ряд этих образов свидетельствует о явном сомнении в бессмертии, даже о неверии в бессмертие.

В «Вербной неделе» проходит образ «Лазарей, забытых в черной яме»; в «Осеннем романсе» поэт спрашивает:

Бог знает, мы свидимся ль *там?*

Или — в «Дочери Иаира»:

Только мне в пасхальном гимне
Смерти слышится призыв...

Разумеется, ко всем этим цитатам из стихов — к этим метафорам, перифразам, этим лирическим вопросам — нельзя относиться как к философским формулировкам. Несомненно, однако, то, что мировоззрение, стоящее за всем этим, не совпадает с идеализмом религиозным, утешающим человека мыслью о загробном воздаянии за земные муки. Анненский отказывается от мистических и религиозных иллюзий идеализма. Если не считать кантаты «Рождение и смерть поэта», произведения сравнительно раннего (1899), притом такого, где многое относится за счет традиционных и условных поэтизмов, то загробного мира, а тем более загробной награды не существует для него. Вот откуда — «обманы бытия», выражение, которое в разных контекстах встречается у него и в стихах, и в критической прозе.

Мир в поэзии Анненского, внутренний мир поэта, так часто населяемый призраками и бредовыми видениями, и мир одухотворенной, страдающей природы, и мир окружающих поэта людских отношений — все это нечто вполне земное, вещественно материальное: за его пределами для него нет ничего.

И в свете отношения Анненского к основиым философским проблемам и таким религиозным понятиям, как понятие личного бессмертия, особый смысл приобретают его трагедии на сюжеты мифов и вообще весь его интерес к античности.

4

Ко времени деятельности зрелого Анненского традиционное представление об античной мифологии как о выражеиии гармонического культа красоты и радости жизни было сильно поколеблено некоторыми новыми исследованиями, в частности исследованиями

о культе Диониса, «страдающего бога». Новый взгляд на верования античного мира получил весьма эффектное выражение в труде реакционного немецкого философа Ницше, очень модного в некоторых слоях русской интеллигенции конца XIX — начала XX века. Но у Анненского античность — это не мир страдающего бога, это прежде всего мир страдающего человека, которого боги не могут защитить, судьбой которого они играют по своему произволу и которого за гробом — независимо от его добродетелей — ожидают только страдания, только тоска по утраченной земной жизни. Гермес в «Лаодамии» говорит, обращаясь к корифею хора:

Да, женщина, и стадо мертвых грустно
. . . .
И если в нем есть сын и мать, не дам
Я матери обнять ее ребенка,
И сын ее испуганно бежит...
Но мертвые послушны в общем... Любят
Они покой... воспоминанья им
Приятней разговора...

Персонажи трагедий Анненского нередко говорят о бессилии богов что-либо изменить в их трагической судьбе, в несчастиях, виновниками которых эти боги сами нередко и являются.

Да и о чем молиться? Разве до́ма
Сокровища сгоревшие, иль имя,
Покрытое позором, может Зевс
В их красоте загубленной восставить?
Из пламени жену вернуть, иль мне
Другое сердце дать... —

так вопрошает Иксион.

Но Зевс не только не может, он и не хочет облегчить муку человека. Гермес в конце трагедии, описав пытку, которой будет наказан герой — царь Иксион, — добавляет:

...Кронид
Рассчетлив как никто. Близ ложа солнца,
На влажном и багровом ложе ты
Два раза в год подремлешь. Не отраду
Тебе отец дарует. Он продлить
Твои, о царь преступный, муки хочет.

Герои трагедий Анненского очень сдержанны в своих речах, для которых характерны полутона, отнюдь не восклицания (они так же сдержанны, как и лирическое «я» поэта в его стихотворениях). Но от этого мир, в котором живут поэт и его трагические герои, не теряет в яркости красок. Недоговоренное или несформулированное поэтом и его героями может вполне отчетливо договорить читатель — и договорить, руководствуясь не субъективным и произвольным домыслом, а прямым смыслом происходящего на сцене.

Выше — в иной связи — уже было отмечено, что в драматургии Анненского, по собственному его признанию, «отразилась душа современного человека». Его четыре трагедии, хотя они и написаны на сюжеты античных мифов с использованием приемов строения античной трагедии (партии хора), все же по существу своему не являются стилизацией этой драматической формы.

Драматургия Анненского складывалась в рамках русского декадентства, в общем круге модернистских интересов и исканий, но, как и все творчество поэта, в эти рамки не укладывалась.

Русские декаденты отдали драматическому жанру довольно щедрую дань. В этой области работали и Блок, и Брюсов, и Сологуб, и Вяч. Иванов, и М. Кузмин. В их драматургии представлены и сюжеты античных мифов (Сологуб — «Дар мудрых пчел», Брюсов — «Протесилай-умерший», Вяч. Иванов — «Тантал») и средневековых легенд (Сологуб — «Победа смерти»), и христианских «житий святых» (М. Кузмин), и вымышленные сюжеты, развертывающиеся то на фоне современной жизни, воспринимаемой сквозь призму фантастики (Блок — «Незнакомка»), то вне времени и пространства (Блок — «Балаганчик» и «Король на площади»), то в будущих временах (Брюсов — «Земля»). Часть этих драм — стихотворные (Брюсов — «Протесилай-умерший», Вяч. Иванов — «Тантал»), часть — прозаические (пьесы Сологуба), часть — представляет сочетание стихов и прозы (театр Блока). Стилизация, попытки воспроизведения старых театральных форм играют при этом немалую роль (обращение к маскам итальянской импровизационной комедии у Блока в «Балаганчике», обращение к античному триметру в трагедиях Брюсова и Вяч. Иванова на античные сюжеты).

Лишь совсем немногие из этих пьес попадали на сцену, но в репертуаре и они не удерживались. Театр русского декадентства в целом оказался театром для чтения. И это не потому, что пьесы были лишены внешней занимательности, что в них не было «острых» ситуаций, театральных эффектов и эффектных ролей.

Сценической жизни большинства этих пьес мешало отсутствие подлинно жизненного содержания (хотя бы и раскрытого в обобщенно-иносказательных формах), жизненной правды, и тем самым правды художественной, отсутствие характеров у персонажей. [1]

Анненский писал свои драмы как поэтические произведения и, по-видимому, не думал для них о сценическом будущем. Последняя из них — «Фамира-кифарэд» — дождалась и сценического воплощения (правда, много лет спустя после смерти поэта): в 1917 году она шла в Москве в Камерном театре, где ее ставил А. Я. Таиров. Но театральная жизнь ее тоже была недолгой. Таким образом, драматургия Анненского в отношении сценической судьбы разделяет судьбу драматургии его современников-декадентов.

Но право на внимание читателей она сохраняет благодаря человечности содержания, правде характеров и глубокой лиричности. «Душа современного человека» сказывается здесь всюду — и в психологии действующих лиц, и, главное, в подходе автора к ним, в распределении его симпатий и антипатий.

Каждая из четырех трагедий Анненского — это трагедия одного героя или героини. Герои и героини трагедий Анненского — все молоды. Эта черта роднит их так же, как и цельность их натур. Меланиппа — прежде всего мать, защитница своих детей и вместе с тем носитель высокой философской мысли, противостоящей суеверию, даже, в сущности, и традиционной вере. Лаодамия — любящая и преданная жена, вся ушедшая в свое чувство и ради него жертвующая всем — даже жизнью. Фамира — весь во власти своей страсти к музыке, ради которой он тоже готов жертвовать всем. Все они — чисты, благородны, полны стремления к справедливости. Фамира наделен и чертами особой наивности, он — «не от мира сего». Сложнее других героев — Иксион; к началу трагедии он уже — преступник, нарушивший священные законы гостеприимства, убивший своего тестя и тем оскорбивший богов; но преступление совершено им не столько ради корыстной цели, не для того чтобы сохранить свое богатство, сколько из своеобразного этического побуждения — для того, чтобы наказать и уничтожить жадного и отвратительного старика:

---

[1] На общем фоне модернистской драматургии выделяется силой и правдой своего лиризма театр Блока — поэта, сумевшего дать и характеры персонажам своей последней, наиболее зрелой, драмы «Роза и Крест», которая недаром заинтересовала Станиславского.

...Царь алчен был
И глух и стар. На золото одно
Потухшие зеницы разгорались.
Дрожавшая не рукоять меча
Рука сжимать любила, только деньги.
...О, он не дочь горел тогда увидеть,
А сундуки гиртонские открыть
И выкуп взять бессчетный...

После того как Иксион вышел из состояния безумия, которым его покарали боги, он сперва переживает глубокую тоску от сознания бесцельности бытия, а потом, испив на пиру богов напиток бессмертия, целиком отдается своей страсти к Гере — жене Зевса, готов любой ценой расплатиться за минутное блаженство и безропотно подвергается страшной каре в конце трагедии, хотя подлинное блаженство ему не было дано: ему явлен был только призрак Геры.

Симпатии драматурга и зрителя-читателя — всецело на стороне этих юношей и молодых женщин. И — в отличие от морального кодекса античной трагедии — характерно, что им противостоят и причиною их гибели становятся злые старики или неразумные старшие, которые и вызывают осуждение со стороны драматурга и читателя. Меланиппу губят пророческие опасения ее деда Геллена, Лаодамию — подозрение и злое упрямство ее отца Акаста, Фамиру — легкомыслие его матери, нимфы Аргиопэ, Иксиона — произвол обманувших его богов. И всех героев постигает страшная судьба: Меланиппу ослепляют, Фамира в приступе отчаяния сам выжигает себе глаза, Иксион распят на вращающемся около солнца колесе, и так как он бессмертен, то эта казнь будет длиться вечно; Лаодамия погибает в огне, бросившись вслед восковой статуе своего убитого мужа, которую велел отнять у нее и сжечь ее неразумный и злой отец Акаст.

Удары судьбы не могут сломить героев и героинь этих трагедий. Они до конца остаются верными тому основному, что движет их жизнью: Меланиппа — своей любви к детям и высоким мыслям об устройстве мира, Лаодамия — своей любви к убитому Иолаю, Фамира — своей страсти к музыке (несмотря на разочарование в собственном музыкальном даре). И ни боль, ни скорбь не могут сломить их, вырвать у них крик отчаяния, принизить их. Они до конца остаются воплощением человеческого достоинства перед лицом судьбы, перед лицом неправедных богов, по

своему произволу распоряжающихся людьми. Эпиграфом ко всей драматургии Анненского могло бы служить тютчевское:

Пускай Олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец.
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь роком,
Тот вырвал из рук их победный венец.

Подобная мысль, правда, не высказана ни прямо, ни косвенно ни одним из персонажей трагедий Анненского, но именно моральная победа человека над олимпийцами, его нравственное превосходство — вот окончательный смысл каждой из трагедий. Он, может быть, особенно явствен в «Лаодамии», где героиня — молодая, только что начинающая жить «смертная» женщина — расстается с земной жизнью, чтобы соединиться с погибшим мужем в мрачном подземном мире, не сулящем никаких утешений и радостей.

В то же время трагедии Анненского ни в какой степени не являются проповедью отречения от земного мира, воспеванием смерти, небытия. Интересно в этом смысле сравнить конец «Лаодамии» Анненского с финалом двух трагедий, написанных на тот же сюжет его современниками — Ф. Сологубом («Дар мудрых пчел») и В. Брюсовым («Протесилай-умерший»).

«Дар мудрых пчел», написанный ритмизованной прозой, завершается хором подруг героини и следующей за ним «поэтизованной» ремаркой: «Подруги: Умерла, умерла Лаодамия. О, дивная смерть! Плачьте, плачьте о милой Лаодамии, но с плачем соедините и великую радость и славьте, славьте небесную очаровательницу, роковую Афродиту! Слава, слава тебе, Афродита! Над смертью торжествуешь ты, небесная, и в пламенном дыхании твоем тает земная жизнь, как тает воск.

Ликующие лучи восшедшего над землею солнца заливают всю сцену. Пламя костра пылает, подымаясь прямо кверху, яркое, но бледное. Светлою завесою от востока закрывается сцена, завеса чистая и белая — ясная смерть».[1]

«Мораль» этого финала в том, что любовь торжествует над смертью, но торжествует все же вместе с ней, а содержание последней ремарки — именно апофеоз смерти.

Характер фаталистической покорности судьбе имеет и партия хора в конце брюсовского «Протесилая»:

---

[1] Федор Сологуб. Собрание сочинений, т. 8, СПб., стр. 130—131 (первоначально — в «Золотом руне», 1907, № 2—3).

Час последний, час губящий, близок, близок смертный час,
Стерегут седые Парки, человек, твой каждый шаг!
Нити вьются и крутятся, лезвие к ним склонено,
И рукой старухи водит Мойра, правящая всем...
...Не ищи бороться с роком, не старайся избежать
Темной смерти, но не должно бега жизни упреждать...[1]

Хор, завершающий «Лаодамию» Анненского, не морализирует, не высказывает глубокомысленных суждений о любви, смерти и судьбе, и в его последних словах — неожиданное после трагических событий всех четырех актов и подлинно поэтическое восхваление мечты и героического безумия, жизнеутверждающих по своему существу:

Если дума плечам тяжела,
Точно бремя лесистое Эты, —
Лунной ночью *ты* сердцу мила,
О, мечты золотая *игла,* —
А безумье прославят поэты.

Самопожертвование трагических персонажей Анненского, их скромный героизм, чуждый громких фраз, имеет тем большую цену, что окружающий их мир — мир яркий, полнокровный, радостный. Анненский, знаток античной драмы, как известно, почти не знающей ремарок и сохранившейся, главным образом, лишь как совокупность речей действующих лиц и хоров, вовсе не стремится к стилизации: соблюдая принцип единства времени и места действия, он широко пользуется средствами новейшей драматургии, в частности — богатой, развернутой, стилистически насыщенной ремаркой. С ее помощью он создает многокрасочные пейзажи, сравнимые с мифологическими пейзажами Клода Лоррена, и выразительные внешние портреты действующих лиц. Благодаря ремарке трагедия на сюжет античного мифа временами почти приближается к романтической феерии или к картине художника-импрессиониста. Характерны в этом отношении названия сцен в «Фамире»: «бледно-холодная», «еще багровых лучей», «голубой эмали», «темно-сапфирная», «белых облаков», «черепаховых облаков», «темно-золотого солнца», «сухой грозы», «сквозь облака пробившегося солнца», «лунно-голубая», «пыльно-лунная», «ярко-лунная», «белесоватая», «заревая».

---

[1] Валерий Брюсов. Полное собрание сочинений и переводов, т. XV. СПб., 1914, стр. 124.

Характер пейзажа, все содержание ремарок, зачастую говорящее об эмоциональном отношении автора к совершающемуся на сцене, — не случайны с точки зрения идейного смысла драматургии Анненского. Они лишний раз — и притом очень убедительно — оттеняют и подчеркивают их земной, человеческий пафос.[1]

Характерно, что, несмотря на отдельные моменты, когда иллюзия античности преднамеренно нарушается Анненским, все же античный фон в целом воспроизведен в его трагедиях чрезвычайно выпукло, и это не потому, что драматург стремится к археологической точности, а потому, что в древней Греции он — как у себя дома. И это позволяет ему полностью отрешиться от некоторых традиционных, но неверных представлений, накладывавших свою печать на многие пьесы и поэмы, посвященные античным сюжетам. Герои трагедий Анненского — это царь Иксион, царица Лаодамия, царская дочь Меланиппа, но сами-то древнегреческие царства, над которыми властвуют или должны властвовать персонажи, — это, в смысле территории и населения, только средних размеров поместья. Анненскому, как действительному знатоку античности, это известно, и внешняя обстановка действия, при всем богатстве природного пейзажа, обходится без особой внешней пышности, без грандиозных атрибутов царской власти. Если у Брюсова в «Протесилае» действие происходит «перед дворцом», а у Сологуба в «Даре мудрых пчел» фигурируют «чертоги Лаодамии», то у Анненского дворец царя Филаки в большинстве ремарок и в речах действующих лиц именуется просто «домом», Фон действия — особенно в «Меланиппе» и «Лаодамии» — приобретает убедительно жизненную, даже бытовую окраску — в противоречии с традиционной условностью жанра «трагедии на античный сюжет». И тем самым вполне мотивированным становится естественный, непринужденный характер взаимоотношений «царственных персонажей» — будь то Эол или Меланиппа, Акаст или Лаодамия — и хора, состоящего из местных жительниц, с которыми цари, царицы и царевны находятся с детских лет в непосредственном общении.

Идеалом декадентского театра был не человек на сцене, не человек с его подлинными, живыми чувствами, стремлениями, страстями, а кукла, марионетка, маска. Об этом заявляли в своих теоретических статьях и книгах декаденты, писавшие о театре (например, Ф. Сологуб), этого же они добивались и в своей дра-

---

[1] Этой же задаче служат и художественные особенности языка действующих лиц, о чем см. ниже, в следующей главе.

матургической практике. Театр Анненского глубоко чужд этому декадентскому «идеалу». Если и нельзя отрицать полностью связей, соединяющих трагедии Анненского с пьесами его современников-декадентов, то все же несравненно явственнее в них живое гуманистическое начало и самостоятельный голос самого поэта. Вот почему мы имеем право сказать, что пьесы Анненского не укладываются в рамки декадентской драматургии, что они представляют явление глубокое и значительное и имеют право на внимание современного читателя.

Анненский умер, не разрешив противоречий своего творчества, и те важные и плодотворные тенденции его поэзии, которые противостояли декадентским канонам, не получили должного развития. Но мир поэзии Анненского, при всей фантасмагоричности отдельных образов, при всем пристрастии поэта к бредовому и призрачному, на самом деле отнюдь не был изолирован от «страшного мира» современной ему действительности. Поэзия Анненского в своеобразной форме преломила в себе существенные черты этой действительности, ее «реальные воздействия». Впечатляющая сила этого преломления связана с высоким поэтическим мастерством Анненского.

5

Когда мы подходим к поэзии Анненского с точки зрения стиля, художественного мастерства, то едва ли не самой существенной ее чертой выступает характер ее смыслового строения, те принципы, по которым поэт пользуется значениями слов и сочетает их, организуя образную ее сторону. В этих принципах ряд особенностей отражает общие положения поэтики символизма, другие особенности восходят к традициям русской поэзии XIX века, многое же является индивидуальным новшеством самого Анненского; в целом же, сливаясь вместе в живом художественном единстве, все это создает нечто специфически своеобразное, не совпадающее с творческой практикой других современников.

Вопрос о поэтическом языке русских декадентов и примыкавших к ним писателей — сложен; он не допускает прямолинейного решения, которое ограничивалось бы положительной или отрицательной оценкой достигнутого в этой области. Дело здесь в том, что результаты их работы в области языка оказались важны и для дальнейшего развития поэзии — русской и советской, в частности для Маяковского. Горький, разоблачавший реак-

ционную идеологию, нашедшую свое выражение в деятельности декадентов, и в частности символистов, тем не менее, как известно, неоднократно давал высокую оценку их усилиям по обновлению русского поэтического языка. В письме к поэтессе Ларисе Барышевой (от 28 августа 1931), упрекая ее в следовании поэтическим шаблонам прошлого, он отмечал: «Вы очень плохо знаете тот язык стиха, который выработан Брюсовым, Блоком и др. поэтами 90—900 гг. В наши дни — нельзя писать стихи, не опираясь на этот язык».[1]

В отношении языка поэтическое творчество русских декадентов представляло собой борьбу против привычных, застывших норм словоупотребления, утративших, с их точки зрения, художественную действенность, против привычных и «стертых» значений слов — как прямых, так и переносных. Цель этой борьбы была — дать слову новую значительность, возможность многообразного и разностороннего осмысления, возможность вызывать сложные смысловые ассоциации и эмоциональные отклики. Поэзия символистов по самому ее принципу строилась на основе слова с неточным, нетвердым, колеблющимся значением, на зыбких смысловых оттенках, на образах, которые не всегда можно осмыслить логически. Отдельные слова и вызываемые ими образы, помимо своего прямого, конкретного, вещественного значения, должны были давать повод к более глубокому, более общему истолкованию. Это истолкование не должно было быть заранее задано, оно должно было быть не вполне определенным и ясным, в известных — и довольно широких — пределах оно должно было давать простор фантазии читателя. Поэту-символисту важно было, чтобы стихотворение заставляло читателя стремиться к его «символистическому» раскрытию, но чтобы при этом оно указывало лишь самое общее направление для работы мысли и чувства, давая возможность протянуть разные нити от слов и образов к стоящим за ними более общим и отвлеченным понятиям.

Анненский в духе такого символистического истолкования задач стихотворной речи следующим образом высказался о достоинствах поэтического слова (в статье 1909 года «О современном лиризме»): «Мне вовсе не надо обязательности одного и общего понимания. Напротив, я считаю достоинством лирической пьесы, если

---

[1] Архив ИМЛИ им. Горького АН СССР. Цитата приводится из статьи В. О. Перцова «Реализм и модернистские течения в русской литературе начала XX века. — «Вопросы литературы», 1957, № 2, стр. 65.

ее можно понять двумя или более способами, или, недопоняв, лишь почувствовать ее и потом доделывать мысленно самому. Тем-то и отличается поэтическое словосочетание от обыденного, что... иногда какой-нибудь стих задевает в вашем чувствилище такие струны, о которых вы и думать позабыли. Но я не люблю качаться, и мне вовсе не надо ни ребусов, ни анаграмм».[1]

В той же статье Анненский резко разграничил понятие «декадентства» и понятие символической поэзии: «Поэтическим декадентством (византинизм — как лучше любят говорить теперь французы) можно называть введение в общий литературный обиход разнообразных ухищрений в технике стихотворчества, которые не имеют ближайшего отношения к целям поэзии, то есть намерению внушить другим через влияние словесное, но близкое к музыкальному, свое мировосприятие и миропонимание».[2] Иное дело для него символическая поэзия: «Слова открыты, прозрачны; слова не только текут, но и светятся... Никакой другой, кроме символической, она (поэзия) не была, да и быть не может».[3]

Последнее утверждение означает, таким образом, что для Анненского «символическая поэзия» — категория внеисторическая, вечная, не связанная с литературной обстановкой конца XIX — начала XX века. Тенденция к такому истолкованию понятия «символическое» была и у других символистов, пытавшихся таким путем опереться на авторитет великих поэтов прошлого, которых они объявляли тоже символистами. Вообще, в конце XIX — начале XX века в России и в Западной Европе в понятие «символизм» вкладывалось нередко чрезвычайно широкое и неверное содержание, вневременное по своему характеру. Что же касается Анненского, то в своем определении символической поэзии он был прав лишь в той мере, в какой он мог это определение отнести к собственному творчеству, и постольку, поскольку это творчество именно выходило за пределы художественной практики символизма, опираясь на традиции великих лириков прошлого — Лермонтова, Тютчева, Баратынского.

Анненский в большей и лучшей части своей лирики, а также в драматургии стремился не столько к тому, чтобы придать своим поэтическим образам многозначность (тем менее — расплывчатость, загадочность), сколько к тому, чтобы они несли бо́льшую

---

[1] «Аполлон», 1909, № 1, стр. 17.
[2] Там же, стр. 20.
[3] Там же, стр. 22.

смысловую «нагрузку», чтобы насытить их богатым эмоциональным содержанием.[1]

При этом он шел путем смещения (а отчасти и разрушения) граней между прямым и переносным, между вещественно-конкретным и отвлеченным, между частным и общим смыслом слов. И постоянство, повторяемость одних и тех же мотивов и образов в его поэзии содействовала этому. Смысл жизни — вот, в сущности, самая общая и самая основная тема, которая объединяет собой в творчестве Анненского другие, более частные, правда, тесно связанные друг с другом темы — тему смерти с отдельными ее аллегорическими разновидностями (темой угасания, увядания, темой вечера, темой болезни), тему времени, тему бытия и т. д. Слова, употребляемые в прямом своем значении в связи с этими темами, в результате постоянства такой связи, даже будучи употреблены в значении переносном (например, слова «умирать» или «мертвый» в применении к миру неодушевленному), сохраняют следы прямого, конкретного смысла в гораздо большей степени, чем это бывает у других поэтов, и как бы заражают своей эмоциональной окраской, обусловленной их прямым значением, другие слова, находящиеся по соседству. Вместе с тем слова, постоянно употребляемые в переносном значении («угасание», «увядание», «вечер»), или слова, связанные с образом «дороги», который у Анненского часто сочетается с темой жизни как странствия, или с образом «часов», связанным с темой времени и т. п., будучи употреблены в прямом смысле, сохраняют след своего переносного значения, оттенок иносказательности. Когда, например, в стихотворении «Петербург» поэт, имея в виду фальконетовский памятник Петру I, говорит: «В темных лаврах гигант на скале», эпитет «темных» выступает в прямом своем смысле, обозначая черный цвет литья; но в общей атмосфере лирики Анненского, где значения слов в разных своих функциях все время переплетаются, у этого эпитета появляется в потенции как бы второе значение, пусть совсем смутное, но вполне возможное в контексте («темные» лавры — лавры, вызывающие трагические воспоминания, лавры, достигнутые ценою огромных человеческих жертв). Если полнота, конкретность и яркость отдельных образов, вещественных деталей не дает теме стихотворения сделаться отвлеченной и схематичной, то употребление слов в переносном смысле, в ал-

---

[1] Интересный стилистический анализ отдельных стихотворений Анненского был дан Б. А. Лариным в статье: «О „Кипарисовом ларце"» (альманах «Литературная мысль», 2, Пг., 1923).

легорической роли не позволяет им застыть в частном и едином значении. Общее и отвлеченное все время «просвечивает» сквозь частное и конкретное. Это обусловливает многоплановость лирики Анненского. Примеры тому — стихотворения «Опять в дороге» («Когда высоко под дугою. . .»), «Трактир жизни», «С четырех сторон чаши», «Лунная ночь в исходе зимы» и многие другие.

Разрывы логической связи между словами и словосочетаниями, внезапные переходы от одного к другому не приводят к пустотам, а напротив, рассчитаны на то, чтобы читатель сам восполнял образующиеся пробелы, протягивал нити от одного звена к другому на основе тех ассоциаций, которые ими легко намечаются.

Контрасты между «высокой», отвлеченной, общей темой, иногда лишь еле намеченной (например, в заглавии), и будничными образами, прозаическими, обиходно-разговорными словами и оборотами, принимающими то шутливую, то тривиальную окраску, создают противоречивое, порою ироническое сочетание и вызывают такое впечатление, словно поэт скептически относится к своей высокой теме, к ее традиционной трагичности или «красивости» (например, «У св. Стефана»; контрастом связаны и все три стихотворения, входящие в «Трилистник балаганный»). В стихах Анненского, одного из самых трагических русских лириков начала XX века, ирония играет немалую роль.

Глубоко своеобразен язык и в трагедиях Анненского. В речах действующих лиц здесь тоже существенное значение имеет своеобразное использование принципа контраста: это контраст между традицией самого жанра, предполагающего некую обязательную торжественность и приподнятость, и той простотой, интимностью, местами — почти будничностью, которой отмечены монологи и диалоги его персонажей. В цитированном выше предисловии к трагедии «Меланиппа-философ» Анненский говорит: «Для трактования античного сюжета в распоряжении автора было два способа: *условно археологический,* более легкий, и *мифический,* который показался ему заманчивее. Этот метод, допускающий анахронизмы и фантастическое, позволил автору глубже затронуть вопросы психологии и этики и более, как ему казалось, слить мир античный с современною душою».

Не входя в обсуждение того, насколько точен термин «мифический метод» в применении к творческой практике драматурга, следует подчеркнуть, что путем отказа от внешне археологического правдоподобия или от стилизации поэт действительно достиг своей цели — и не только в «Меланиппе», но в особенности в последующих трагедиях, где слияние античного с современным получает

порой еще более стилистически подчеркнутое выражение. Так, например, в последнем явлении «Царя Иксиона» герой трагедии и пришедший объявить приговор Гермес обмениваются следующими репликами:

Иксион

(сдержанно и кланяясь)

Вот наконец развязка. Мой привет
Приспешникам державного Кронида.

Гермес

(отдавая поклон)

Царь Иксион простит мне каламбур,
Но для него в *развязке* будут *узы.*

Или другой пример. В конце третьего действия «Лаодамии», в «третьем музыкальном антракте», есть строки, содержащие упоминание о скрипке и смычке, которых не знала музыкальная культура античного мира:

Айлинон... Айлинон... Между колонн
    Тени мешаются, тая.
Черен смычок твой, о Феб Аполлон,
    Скрипка зачем золотая?

И замечательно, что ни ввод нарочито современных, явно неантичных слов (как «каламбур»), ни упоминание реалий более позднего времени (как «скрипка») не вызывают диссонанса в общем колорите действия, в общей тональности трагедии. Вполне уживаясь с подлинно мифологическими образами и именами, подобные слова и упоминания, может быть, лишь явственнее оттеняют более широкий, обобщенно-иносказательный смысл трагедии, распространяя его за пределы античного мифа и античного мира.

Хотя мифологические образы и имена в трагедиях Анненского занимают немалое место и драматург сопроводил некоторые из своих пьес специальными мифологическими пояснениями (в предисловии или примечаниях), не они определяют их сущность. Более всего впечатляет здесь почти бытовая разговорная простота речей персонажей, особенно героев. Безрифменный пятистопный ямб, который здесь преобладает и на фоне которого более красочно выделяются партии хоров, разнообразные, даже причудливые по ритмам и большей частью рифмованные, оказывается весьма благоприятной средой, где развивается глубоко эмоциональная, раз-

нообразная по своим синтаксическим формам, то длинная, то короткая, иногда необычная по порядку слов, но почти всегда непринужденная в своей живости фраза.

Это и роднит язык драматургии Анненского с языком его лирики.

Как драматургии, так и лирике Анненского, при всей их технической изощренности, чужды формальные эксперименты над стихом и словом, столь характерные для русских декадентов и нередко заслонявшие собой, затемнявшие смысл. Любопытно, что в «Кипарисовом ларце» есть особый «Трилистник шуточный», где и сосредоточены, именно под видом «шутки», разные трюки — метрические (перенос части слова из одного стиха в другой, так что в рифме оказывается слово усеченное) и словесные (игра на междометиях). Это не значит, что Анненский не был новатором в поэзии. Но дело в том, что формальные особенности (например, новые и необычные ритмы или приемы инструментовки) всегда мотивированы у него в смысловом отношении, связаны с целым, которое представляет собой стихотворение, и как бы отражают душевное состояние говорящего (например, в стихотворении «Прерывистые строки» или в стихотворении «Колокольчики»).

Ритм у Анненского всегда связан со смыслом и синтаксисом, а синтаксис его характеризуется повышенным эмоциональным тоном с оттенком разговорно-речевой эмфазы. Анненский смело вводит в свою поэзию элементы прозаические, как в области ритма, так и в области словаря и синтаксиса, разрушая традиционные «красивости», использует черты бытового диалога или монолога, пишет стихотворение в форме раешника («Шарики детские»), в строки лирического стихотворения вкрапливает чисто разговорные словечки:

А в сенях, *поди,* не жарко.

(«Трактир жизни»)

Или:

Из сердца за Иматру лет
Ничто, *мол,* у нас не уходит.

(«Дождик»)

Или еще:

Чухонец-то был справедливый,
За дело полтину взял.

(«То было на Валлен-Коски»)

Не боится Анненский и грубо-жестоких слов:

Дыханья, что ли, он хотел
Туда, в пустую грудь?
(«Черная весна»)

Он применяет нарочито современную прозаическую речь в трагедии, в стихотворные монологи и диалоги античных персонажей вносит прозаизмы нашего современного языка. Использование прозаизма — обиходно-разговорного или книжно-делового (порою даже с канцелярским оттенком) — давало недружелюбным критикам повод упрекать Анненского в «тривиальности», «непоэтичности».[1] А критики-апологеты именно на эту черту внимания не обращали.

В словаре Анненского нет ни особых новшеств, ни вообще каких-либо нарочитых сложностей. Он не прибегает к методу словотворчества, к образованию новых слов, излюбленному русскими декадентами. Правда, в «Тихих песнях» есть стихотворение «На пороге», где поэт «сочиняет» эпитет «древожизненные», но это для него — редкое исключение. Редки у него и архаизмы. Словарное своеобразие языка, которым писал Анненский, один из его критиков, рано умерший поэт В. Гофман, охарактеризовал так: «...богатый, полный, живой язык, в котором иногда — простонародная меткость и что-то подчеркнуто и традиционно русское. Анненского не назовешь французским декадентом, пишущим по-русски. У него именно живой разговорный язык, а не тот условный, искусственно приготовленный стиль, которым так часто пишут теперь поэты, гордящиеся тем, что их не читают».[2]

Анненский — мастер языка и знаток его словарных богатств, из которых он, однако, избегает черпать какие-либо раритеты. Чутье живой речи особенно отчетливо приносит свои плоды в стихах, где поэт приближается к быту, к будничной жизни, к бытовой обстановке, к реалистическому пейзажу. «Простонародность», вернее народность, — основной элемент языка в таких стихотворениях, как «Песни с декорацией», «Ванька-ключник в тюрьме», «Шарики детские»; и это — не стилизация, не «стильрюсс», а подлинное использование живого народного словаря.

Это применение разнообразнейших и даже противоположных черт языка, всего его богатства, эта живость речевой окраски и

---

[1] Критик «Биржевых ведомостей» (1910, № 11809, 11 июля), цитируя «Нервы», говорит о «тривиальном безвкусии» поэта и о том, что «можно было бы привести бесконечное число цитат, ...свидетельствующих все о том же — о недостатке вкуса и о прозаичности поэта».

[2] «Новый журнал для всех», 1910, № 21, стр. 122.

наглядность образов приводит к тому, что жизненное содержание, выражаемое словами, приобретает подлинную вещественную конкретность. То, что видит поэт, обрисовывается ярко и четко. И так обстоит дело у Анненского почти во всем его зрелом творчестве.

Если Анненский не сделался популярным в символистских кругах поэтом, если он даже не добился широкого признания, если он долгое время даже не мог и рассчитывать на него, это не было следствием случайных причин, свойств личного характера — скромности или замкнутости.[1] Это определяется прежде всего тем, что его поэзия в своем целом пришла в известное столкновение с догматами символизма. Недаром начало популярности Анненского-лирика, подготовка почвы для издания «Кипарисового ларца» и самый выход книги, уже посмертной, совпадают по времени именно с кризисом символизма. Самое же творчество Анненского в целом ряде отношений представляло противоречие между началом символистическим и неуклонным стремлением поэта к жизненной правде. Последнее и одерживало все более решительные победы в его стихах периода зрелости. Не случайно именно в тех стихотворениях, где он вступает в прямое соприкосновение с правдой жизни, то есть в стихотворениях гражданского содержания («Бессонные ночи», «Старые эстонки», «Гармонные вздохи», «В дороге»), слова его приобретают глубоко реалистическую выразительность.

Не только искренность, не только глубина и человечность содержания, но и большая сила словесного мастерства определила роль Анненского для развития русской поэзии. Напомним, что Блок — поэт столь искренний в каждом своем отзыве и вместе с тем чуткий и взыскательный критик — в частном письме к Анненскому, цитируя строки из «Тихих песен», сказал: «Это навсегда в памяти. Часть души осталась в этом».[2]

---

[1] Догадки некоторых критиков о том, что Анненский мало интересовался судьбой своих стихов (например, предположения Виктора Гофмана в «Новом журнале для всех», 1910, № 21, стр. 121, что он «не чувствовал, по-видимому, большой необходимости печатать свои стихи»), отнюдь не соответствуют документальным данным — письмам самого Анненского. Так, в письмах от 1909 года к редактору «Аполлона» С. К. Маковскому (архив покойного М. Л. Лозинского) он проявляет явную заинтересованность в том, чтобы его стихи были опубликованы, выражает недовольство по поводу того, что напечатание их откладывается из номера в номер.

[2] А. Блок. Сочинения в двух томах, т. 2. М., 1955, стр. 564.

Анненский для Маяковского занимал место в ряду выдающихся лириков, хотя бы и чуждых ему по кругу идей и эмоций. Об этом говорит одна из строчек в стихотворении «Надоело»:

Не высидел дома.
Анненский, Тютчев, Фет...

Поэтический метод Анненского, его искусство развертывания образов и мастерство смыслового построения стихов — все это, вероятно, не прошло мимо Маяковского, а подготовило почву и для его творчества, где так неожиданно и многогранно сочетаются разные значения слов — и прямое и образное, где такую роль играют контрасты между «высоким» и «грубым», где лирическое и разговорное начало так друг друга дополняют.[1]

6

Поиски Анненским богатых и разнообразных языковых средств не преследовали формальных целей как таковых; они были для него путем к выражению неразрывного с ними поэтического содержания. Эти поиски вместе с тем параллельны его стремлению выйти за пределы узко личного мира мыслей и чувств. Это же стремление расширить круг идейных мотивов, образов и словесных оттенков, эти поиски более широких путей отличают и его переводы.

В деятельности Анненского стихотворные переводы занимают значительное место — и по своему количеству, и по своему художественному характеру.

Своеобразен круг авторов, к которым он обращается: младший из трех великих трагиков античной Греции — Еврипид, Гораций — как автор «од», величайшие лирики Германии — Гёте и Гейне и рядом с ними второстепенный немецкий поэт-романтик Вильгельм Мюллер, классик американской литературы Лонгфелло и французы конца XIX века — так называемые «парнасцы» (Леконт де Лиль, Сюлли Прюдом) и «проклятые» (Бодлер, Рембо, Верлен и другие), те самые, которых усердно пропагандировали и русские модернисты.

Переводы Анненского — и лирические (французы, Гейне), и драматические (Еврипид) — тесно связаны с его собственным поэ-

[1] Вопроса о значении творчества Анненского для Маяковского касается В. Перцов в статье «Реализм и модернистские течения в русской литературе начала XX века». — «Вопросы литературы», 1957, № 2, стр. 67.

тическим творчеством. Выбор произведений, переведенных им, определяется в большинстве случаев их тематикой и эмоциональной близостью к его поэзии. Это касается, в первую очередь, его работы над Еврипидом, который был для него не представителем далекой древности, а поэтом близким и современным, выразителем тех же тревог, которые переживал он. Касается это и Гете, и Гейне, и тех французских лириков — и Леконта де Лиля, и Бодлера, и Малларме, — которые для Анненского, по собственным его признаниям, имели большое значение.

Основная проблема, связанная с поэзией «Парнаса» (то есть в первую очередь Леконта де Лиля) — это социальное содержание и социальные предпосылки теории так называемого «чистого искусства» или «искусства для искусства» в середине XIX века. Особенность этого явления литературы нельзя определить, если не учесть, что в принципах «чистого искусства» у поэтов-парнасцев (равно как и у Флобера) были заключены элементы недовольства современным им социальным строем. Уход на позиции «чистого искусства» для Леконта де Лиля и его единомышленников отнюдь не представлял собой пути к примирению с действительностью, к благополучному приятию существующих порядков, а, напротив, был результатом крайне отрицательного отношения к ним, своеобразной формой пассивного протеста против них, далекого, разумеется, от революционности. Это было продолжение и видоизменение мятежных настроений романтиков, принявших в новых исторических условиях характер глубокой безнадежности. Аполитичность парнасцев, настойчиво подчеркивавшаяся ими, была на самом деле вполне определенной реакцией на политику Второй империи и Третьей республики во Франции.[1] Но тот крайний индивидуализм, с которым теснейшим образом было связано подобное отношение к окружающей жизни, вызывал самое резкое искажение перспективы, в которой сторонникам «чистого искусства» — парнасцам так же, как и Флоберу — представлялась сама эта жизнь и роль в ней художника. Нежелание служить интересам существующего общественного строя приводило их к реакционному выводу — к отрицанию всякой общественной роли искусства, по-

[1] Впрочем, на события франко-прусской войны и Коммуны Леконт де Лиль отозвался стихотворением «Вечер после битвы» («Le soir d'une bataille»), где он, предав проклятию войну с ее бедствиями, благословляет любые жертвы, если они принесены во имя свободы. Тогда же он написал анонимно изданный «Республиканский народный катехизис», вызвавший бурю возмущения со стороны версальцев.

рождало полное неверие в будущее и вызывало уход в «башню из слоновой кости» — к историческим и экзотическим темам, далеким от современности. В интересах справедливости необходимо, впрочем, отметить, что историю и экзотику Леконт де Лиль, глава «парнасской школы», во многих своих стихотворениях нисколько не идеализировал, что он с большой реалистической силой умел показывать жестокость и изуверство феодальных нравов и что его «Варварские поэмы» и «Трагические поэмы» своими реалистическими чертами резко контрастируют с идеализированной «Легендой веков» В. Гюго.

«Проклятые» и их родоначальник Бодлер заняли по отношению к окружающей действительности иную позицию: они тоже резко отрицательно относились к ней,[1] но они не закрывали на нее глаза, они высмеивали ее, они напоминали о ней грубыми и «низкими» образами своих стихов, они отражали ее в формах гротеска. Поэзия их тоже далека от настоящей революционности, их протест направлен главным образом против рутины в искусстве и в быту, против художественных штампов, с которыми они борются методами «эпатирования буржуа», и против многообразных проявлений мещанства. Поэзия эта, так же как и поэзия парнасцев, полна глубокого социального пессимизма, и настроения упадка — «декаданса» — занимают в ней огромное место. Но то, что стихи «проклятых поэтов» не были невинным упражнением в словесности, доказывается той злобой, с которой на их деятельность долгое время реагировали в лице «добропорядочной» прессы блюстители буржуазной нравственности и порядка.

Для Анненского парнасцы (Леконт де Лиль, Сюлли Прюдом), наряду с Верленом, имели в общем большое значение, чем «проклятые». Однако самый факт его интереса к последним и обращения к их поэзии заслуживает внимания. Переводы из «проклятых» поэтов были не только «эпатированием» русского буржуазно-интеллигентского читателя, это был также и вызов, брошенный в лицо «высокой», жреческой поэзии символистов, их бесстрастному искусству, их увлечению мистикой, поворот в сторону простого и жизненного, иногда гротескного образа.

Переводы Анненского очень специфичны. В большинстве своем они неточны. Любопытно, что и располагал он их не по авторам, а в особом порядке, чаще всего обусловленном тематическими

[1] Следует вспомнить о том, что Бодлер сражался на баррикадах во время революции 1848 года, а Рембо был участником борьбы Парижской коммуны, и оба они всю жизнь тяжело переживали крушение своих революционных надежд.

соответствиями между отдельными стихотворениями разных поэтов: так он (в «Тихих песнях») помещает рядом стихотворение Бодлера «Погребение проклятого поэта» и стихотворение Леконт де Лиля «Над умершим поэтом», «Богему» Роллина и «Богему» Рембо.[1]

На перевод у Анненского были свои взгляды, теоретически сформулированные в одной из его специальных статей.[2] Ради передачи художественного целого и того впечатления, которое оно производит, поэт допускает значительные отступления от смысловой точности, только требуя от переводчика «соблюдения меры в субъективизме». Сам он, впрочем, слишком часто нарушал эту меру. Как переводчик, он исключительно не похож на Брюсова, которого отличает научно-объективный подход к оригиналу, но вместе с тем порою и некоторая сухость манеры. Переводя, Анненский многое опускает, многое вносит от себя, одни особенности подлинника утрирует, другие ослабляет, и переводы его — прежде всего продолжение собственного творчества на материале иностранных поэтов.

Но Анненский — глубокий знаток этого материала, и то даже (в отдельных случаях) немногое, что он берет из иностранного стихотворения — те или иные образы, ряды повторений, необычные, яркие звукосочетания — всегда специфично для оригинала, а благодаря творческой заинтересованности поэта-переводчика все это в передаче на русский язык сохраняет свою яркость и остроту. Анненский в лирических переводах выхватывает порою лишь отдельные характерные элементы и на них сосредоточивает внимание, передавая их точно, а все остальное воспроизводит, исходя уже из них, создавая фон, на котором должны выделяться более красочные пятна. Это — метод показывания общего через частное и отдельное, которое играет типизирующую роль. Такой метод перевода далек от господствующих в наше время переводческих принципов, к тому же Анненский в отдельных случаях сильно руссифицирует оригинал, и тем не менее только благодаря творческой созвучности переводчика с переводимым поэтом переводы эти сохраняют художественное значение не только как стихи Анненского, но и как материал, дающий знание об иноязычных образцах.

---

[1] В настоящем издании этот порядок не мог быть соблюден по причинам, которые изложены во вступительной заметке к примечаниям.

[2] «Разбор стихотворного перевода лирических стихотворений Горация П. Ф. Порфирьева». 1904 (отдельная брошюра).

Впрочем, наряду с признаками несомненной творческой связи между переводимыми оригиналами и собственной лирикой Анненского в его переводах нередки также черты, у него самого отсутствующие. Это — исторические и экзотические мотивы (в переводах из Леконта де Лиля), известная экспериментальность, нарочитость и даже тенденция к «эпатированию» (в переводах из Корбьера, Рембо, Кро).

Перевод, таким образом, становится путем, позволяющим поэту выйти за пределы собственного круга творческих средств, и дает ему возможность говорить от лица других авторов, с одной стороны, в той или иной мере ему созвучных, с другой же — не похожих на него целым рядом своих особенностей, а порою он заставляет поэта применять «объективные» формы стихотворного повествования от третьего лица (как, например, в переводах эпических произведений Леконта де Лиля). И если часто между оригинальными стихами и переводами у Анненского есть несомненная общность в темах и образах, в их эмоциональной трактовке, если, например, гейневский «Двойник» явно перекликается с «Квадратными окошками» из «Трилистника призрачного», если от «Слепых» Бодлера протягиваются нити к стихам Анненского о сострадании и жалости, если «Шарманщик» из «Зимнего пути» В. Мюллера уже предвещает «Старую шарманку», то в иных случаях перевод требует от поэта (даже при условии полной тематической созвучности) переключения на иной эмоциональный тон. В собственных своих стихах, самых мрачных и трагических, Анненский проявляет большую эмоциональную сдержанность: нет в них ни взволнованных возгласов, ни риторических усилений и нажимов, вообще — очень мало «громких слов»; личные переживания проходят в плоскости то вопрошающе-удивленного, то созерцательного раздумья. Зато во многих стихотворениях, переведенных Анненским, самый оригинал требует отказа от этой сдержанности, заставляет поэта говорить более полным и громким голосом, не вуалировать трагических положений, давать сгущенные краски, проявлять больше страстности, называть своими именами многое из того, что в оригинальном творчестве он описал бы иносказательно. Так обстоит дело в его переводах из Бодлера, Леконта де Лиля (например, «Пускай избитый зверь. . .»), отчасти — Верлена («Я устал и бороться, и жить, и страдать. . .») и других.

Замечательно еще и другое: в направлении прозаизации словаря и образов Анненский-переводчик идет иногда очень далеко («Сушеная селедка» Кро, четыре стихотворения из Ганса Мюл-

лера, «Богема» Рембо, «Богема» Роллина), не отставая от автора «Нервов», «Гармонных вздохов», «Шариков детских». И социальная направленность прозаизмов, грубых, снижающих стиль слов в переводимых им оригиналах имеет очень определенный характер: это протест против традиций буржуазной эстетики, против художественной рутины или — как перевод из Шарля Кро «Do, re, mi, fa, sol, la, si, do» — против косности, безнадежной неподвижности мещанского быта.

Переводы Анненского, ярко запечатлевшие разнообразие его литературных интересов и вкусов, вместе с тем отразили и основные противоречия его творчества, сочетание и столкновение упадочных, декадентских тенденций со стремлением к жизненной правде, которое пробивается порой даже и сквозь болезненно-фантастические образы. Печать огромной искренности, человеческой взволнованности лежит и на переводах Анненского, которые образуют тесное единство с его лирической поэзией и его лирическими трагедиями.

* * *

Поэтическое творчество Иннокентия Анненского — его лирика, его драматургия, его переводы — связано с эпохой, которая его породила, а для нас ушла уже в далекое прошлое. Но созданное Анненским — выдающимся трагическим поэтом — продолжает жить для нас не только как впечатляющий человеческий документ, как красочный памятник своего времени, но и как художественное целое — со всеми пристрастиями и влияниями, отразившимися на нем, со всеми его особенностями, из которых иные и чужды нам, однако так нерасторжимо слились с другими его чертами, что остаются неотъемлемой его принадлежностью. Творчество Анненского продолжает волновать картиной борьбы упадочного и живого, ложного и правдивого. Смерть Анненского не дала завершиться этой борьбе, в которой живое и правдивое заметно одерживало верх. Все же русской действительности своего времени он успел сказать слово жестокого осуждения. Глубина поэтического содержания, сила внутреннего конфликта, запечатленного в творчестве, выразительность созданных образов — все это определяет место Анненского в ряду лучших русских поэтов его времени.

Андрей Федоров

СТИХОТВОРЕНИЯ

ТИХИЕ ПЕСНИ

Из заветного фиала
В эти песни пролита,
Но увы! не красота...
Только мука идеала.

Никто.

ПОЭЗИЯ

Над высью пламенной Синая
Любить туман Ее лучей,
Молиться Ей, Ее не зная,
Тем безнадежно горячей,

Но из лазури фимиама,
От лилий праздного венца,
Бежать... презрев гордыню храма
И славословие жреца,

Чтоб в океане мутных далей,
В безумном чаяньи святынь,
Искать следов Ее сандалий
Между заносами пустынь.

∞

Девиз Таинственной похож
На опрокинутое 8:
Она — отраднейшая ложь
Из всех, что мы в сознаньи носим.

В кругу эмалевых минут
Ее свершаются обеты,
А в сумрак звездами блеснут
Иль ветром полночи пропеты.

Но где светил погасших лик
Остановил для нас теченье,
Там Бесконечность — только миг,
Дробимый молнией мученья.

У ГРОБА

В квартире прибрано. Белеют зеркала.
Как конь попоною, одет рояль забытый:
На консультации вчера здесь Смерть была
И дверь после себя оставила открытой.
Давно с календаря не обрывались дни,
Но тикают еще часы его с комода,
А из угла глядит, свидетель агоний,
С рожком для синих губ подушка кислорода.
В недоумении открыл я мертвеца...
Сказать, что это *я*... весь этот ужас тела...
Иль Тайна бытия уж населить успела
Приют покинутый всем чуждого лица?

ДВОЙНИК

Не я, и не он, и не ты,
И то же, что я, и не то же:
Так были мы где-то похожи,
Что наши смешались черты.

В сомненьи кипит еще спор,
Но, слиты незримой четою,
Одной мы живем и мечтою,
Мечтою разлуки с тех пор.

Горячешный сон волновал
Обманом вторых очертаний,
Но чем я глядел неустанней,
Тем ярче себя ж узнавал.

Лишь полога ночи немой
Порой отразит колыханье
Мое и другое дыханье,
Бой сердца и мой и не мой...

И в мутном круженьи годин
Всё чаще вопрос меня мучит:
Когда наконец нас разлучат,
Каким же я буду один?

КОТОРЫЙ?

Когда на бессонное ложе
Рассыплются бреда цветы,
Какая отвага, о боже,
Какие победы мечты!..

Откинув докучную маску,
Не чувствуя уз бытия,
В какую волшебную сказку
Вольется свободное *я!*

Там всё, что на сердце годами
Пугливо таил я от всех,
Рассыплется ярко звездами,
Прорвется, как дерзостный смех...

Там в дымных топазах запястий
Так тихо мне Ночь говорит;
Нездешней мучительной страсти
Огнем она черным горит...

Но я... безучастен пред нею
И нем, и недвижим лежу...
. . . .
На сердце ее я, бледнея,
За розовой раной слежу,

За розовой раной тумана,
И пьяный от призраков взор
Читает там дерзость обмана
И сдавшейся мысли позор.

. . . .

О царь Недоступного Света,
Отец моего бытия,
Открой же хоть сердцу поэта,
Которое создал ты *я.*

НА ПОРОГЕ

(Тринадцать строк)

Дыханье дав моим устам,
Она на факел свой дохнула,
И целый мир на Здесь и Там
В тот миг безумья разомкнула,
Ушла, — и холодом пахнуло
По древожизненным листам.

С тех пор Незримая, года
Мои сжигая без следа,
Желанье жить всё жарче будит,
Но нас никто и никогда
Не примирит и не рассудит,
И верю: вновь за мной когда
Она придет — меня не будет.

ЛИСТЫ

На белом небе всё тусклей
Златится горняя лампада,
И в доцветании аллей
Дрожат зигзаги листопада.

Кружатся нежные листы
И не хотят коснуться праха...
О, неужели это ты,
Всё то же наше чувство страха?

Иль над обманом бытия
Творца веленье не звучало,
И нет конца и нет начала
Тебе, тоскующее *я?*

В ОТКРЫТЫЕ ОКНА

Бывает час в преддверьи сна,
Когда беседа умолкает,
Нас тянет сердца глубина,
А голос собственный пугает,

И в нарастающей тени
Через отвóренные окна,
Как жерла, светятся одни,
Свиваясь, рыжие волокна.

Не Скуки ль там Циклоп залег,
От золотого зноя хмелен,
Что, розовея, уголек
В закрытый глаз его нацелен?

ИДЕАЛ

Тупые звуки вспышек газа
Над мертвой яркостью голов,
И скуки черная зараза
От покидаемых столов,

И там, среди зеленолицых,
Тоску привычки затая,
Решать на выцветших страницах
Постылый ребус бытия.

МАЙ

Так нежно небо зацвело,
А майский день уж тихо тает,
И только тусклое стекло
Пожаром запада блистает.

К нему прильнув из полутьмы,
В минутном млеет позлащеньи
Тот мир, которым были мы...
Иль будем, в вечном превращеньи?

И разлучить не можешь глаз
Ты с пыльно-зыбкой позолотой,
Но в гамму вечера влилась
Она тоскующею нотой

Над миром, что, златим огнем,
Сейчас умрет, не понимая,
Что счастье искрилось не в нем,
А в золотом обмане мая,

Что безвозвратно синева,
Его златившая, поблекла...
Что только зарево едва
Коробит розовые стекла.

ИЮЛЬ

1

СОНЕТ

Когда весь день свои костры
Июль палит над рожью спелой,
Не свежий лес с своей капеллой,
Нас тешат: демонской игры

За тучей разом потемнелой
Раскатно-гулкие шары,
И то оранжевый, то белый
Лишь миг живущие миры;

И цвета старого червонца
Пары сгоняющее солнце
С небес омыто-голубых.

И для ожившего дыханья
Возможность пить благоуханья
Из чаши ливней золотых.

2

Палимая огнем недвижного светила,
Проклятый свой урок отлязгала кирьга
И спящих грабаров с землею сколотила,
Как ливень черные, осенние стога.

Каких-то диких сил последнее решенье,
Луча отвесного неслышный людям зов,
И абрис ног худых меж чадного смешенья
Всклокоченных бород и рваных картузов.

Не страшно ль иногда становится на свете?
Не хочется ль бежать, укрыться поскорей?
Подумай: на руках у матерей
Всё это были розовые дети.

1900

АВГУСТ

1

ХРИЗАНТЕМА

Облака плывут так низко,
Но в тумане всё нежней
Пламя пурпурного диска
Без лучей и без теней.

Тихо траурные кони
Подвигают яркий гнет,
Что-то чуткое в короне
То померкнет, то блеснет...

...Это было поздним летом
Меж ракит и на песке,
Перед бледно-желтым цветом
В увядающем венке,

И казалось мне, что нежной
Хризантема головой
Припадает безнадежно
К яркой крышке гробовой...

И что два ее свитые
Лепестка на сходнях дрог —
Это кольца золотые
Ею сброшенных серег.

2
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СВЕТ В АЛЛЕЕ

О, не зови меня, не мучь!
Скользя бесцельно, утомленно,
Зачем у ночи вырвал луч,
Засыпав блеском, ветку клена?

Ее пьянит зеленый чад,
И дум ей жаль разоблаченных,
И слезы осени дрожат
В ее листах раззолоченных, —

А свод так сладостно дремуч,
Так миротворно слиты звенья...
И сна, и мрака, и забвенья...
О, не зови меня, не мучь!

СЕНТЯБРЬ

Раззолочённые, но чахлые сады
С соблазном пурпура на медленных недугах,
И солнца поздний пыл в его коротких дугах,
Невластный вылиться в душистые плоды.

И желтый шелк ковров, и грубые следы,
И понятая ложь последнего свиданья,
И парков черные, бездонные пруды,
Давно готовые для спелого страданья...

Но сердцу чудится лишь красота утрат,
Лишь упоение в завороженной силе;
И тех, которые уж лотоса вкусили,
Волнует вкрадчивый осенний аромат.

НОЯБРЬ
Сонет

Как тускло пурпурное пламя,
Как мертвы желтые утра!
Как сеть ветвей в оконной раме
Всё та ж сегодня, что вчера...

Одна утеха, что местами
Налет белил и серебра
Мягчит пушистыми чертами
Работу тонкую пера...

В тумане солнце, как в неволе...
Скорей бы сани, сумрак, поле,
Следить круженье облаков, —

Да, упиваясь медным свистом,
В безбрежной зыбкости снегов
Скользить по линиям волнистым...

ВЕТЕР

Люблю его, когда, сердит,
Он поле ржи задернет флёром
Иль нежным лётом бороздит
Волну по розовым озерам;

Когда грозит он кораблю
И паруса свивает в жгутья;
И шум зеленый я люблю,
И облаков люблю лоскутья...

Но мне милей в глуши садов
Тот ветер теплый и игривый,
Что хлещет жгучею крапивой
По шапкам розовым дедо́в.

НЕНУЖНЫЕ СТРОФЫ

Сонет

Нет, не жемчужины, рожденные страданьем,
Из жерла черного метала глубина:
Тем до рожденья их отверженным созданьям
Мне одному, увы! известна лишь цена...

Как чахлая листва, пестрима увяданьем
И безнадежностью небес позлащена,

Они полны еще неясным ожиданьем,
Но погребальная свеча уж зажжена.

Без лиц и без речей разыгранная драма:
Огонь под розами мучительно храним,
И светозарный бог из черной ниши храма...

Он улыбается, он руки тянет к ним.
И дети бледные Сомненья и Тревоги
Идут к нему приять пурпуровые тоги.

В ДОРОГЕ

Перестал холодный дождь,
Сизый пар по небу вьется,
Но на пятна нив и рощ
Точно блеск молочный льется.

В этом чаяньи утра́
И предчувствии мороза
Как у черного костра
Мертвы линии обоза!

Жеребячий дробный бег,
Пробы первых свистов птичьих
И кошмары снов мужичьих
Под рогожами телег.

Тошно сердцу моему
От одних намеков шума:
Всё бы молча в полутьму
Уводила думу дума.

Не сошла и тень с земли,
Уж в дыму овины тонут,
И с бадьями журавли,[1]
Выпрямляясь, тихо стонут.

---

[1] На колодцах.

Дед идет с сумой и бос,
Нищета заводит повесть:
О, мучительный вопрос!
Наша совесть... Наша совесть...

СРЕДИ НАХЛЫНУВШИХ ВОСПОМИНАНИЙ

1

ПЕРЕД ЗАКАТОМ

Гаснет небо голубое,
На губах застыло слово;
Каждым нервом жду отбоя
Тихой музыки былого.

Но помедли, день, врачуя
Это сердце от разлада!
Всё глазами взять хочу я
Из темнеющего сада...

Щетку желтую газона,
На гряде цветок забытый,
Разоренного балкона
Остов, зеленью увитый.

Топора обиды злые,
Всё, чего уже не стало...
Чтобы сердце, сны былые
Узнавая, трепетало...

2

ПОД НОВОЙ КРЫШЕЙ

Сквозь листву просвет оконный
Синью жгучею залит,
И тихонько ветер сонный
Волоса мне шевелит...

Не доделан новый кокон,
Точно трудные стихи:

Ни дверей, ни даже окон
Нет у пасынка стихий,

Но зато по клетям сруба
В темной зелени садов
Сапожищи жизни грубо
Не оставили следов,

И жилец докучным шумом
Мшистых стен не осквернил:
Хорошо здесь тихим думам
Литься в капельки чернил.

. . . .

Схоронили пепелище
Лунной ночью в забытье...
Здравствуй, правнуков жилище, —
И мое, и не мое!

ТРАКТИР ЖИЗНИ

Вкруг белеющей Психеи
Те же фикусы торчат,
Те же грустные лакеи,
Тот же гам и тот же чад...

Муть вина, нагие кости,
Пепел стынущих сигар,
На губах — отрава злости,
В сердце — скуки перегар...

Ночь давно снега одела,
Но уйти ты не спешишь;
Как в кошмаре, то и дело:
«Алкоголь или гашиш?»

А в сенях, поди, не жарко:
Там, поднявши воротник,
У плывущего огарка
Счеты сводит гробовщик.

ТАМ

Ровно в полночь гонг унылый
Свел их тени в черной зале,
Где белел Эрот бескрылый
Меж искусственных азалий.

Там, качаяся, лампады
Пламя трепетное лили,
Душным ладаном услады
Там кадили чаши лилий.

Тварь единая живая
Там тянула к брашну жало,
Там отрава огневая
В кубки медные бежала.

На оскала смех застылый
Тени ночи наползали,
Бесконечный и унылый
Длился ужин в черной зале.

?

Пусть для ваших открытых сердец
До сих пор это — светлая фея
С упоительной лирой Орфея,
Для меня это — старый мудрец.

По лицу его тяжко проходит
Бороздой Вековая Мечта,
И для мира немые уста
Только бледной улыбкой поводит.

ПЕРВЫЙ ФОРТЕПЬЯННЫЙ СОНЕТ

Есть книга чудная, где с каждою страницей
Галлюцинации таинственно свиты:
Там полон старый сад луной и небылицей,
Там клен бумажные заворожил листы,

Там в очертаниях тревожной пустоты,
Упившись чарами луны зеленолицей,
Менады белою мятутся вереницей,
И десять реет их по клавишам мечты.

Но, изумрудами запястий залитая,
Меня волнует дев мучительная стая:
Кристально чистые так бешено горды.

И я порвать хочу серебряные звенья. . .
Но нет разлуки нам, ни мира, ни забвенья,
И режут сердце мне их узкие следы. . .

ЕЩЕ ОДИН

И пылок был, и грозен День,
И в знамя верил голубое,
Но ночь пришла, и нежно День
Берет усталого без боя.

Как мало их! Еще один
В лучах слабеющей Надежды
Уходит гордый паладин:
От золотой его одежды

Осталась бурая кайма,
Да горький чад. . . воспоминанья
. . . .
Как обгорелого письма
Неповторимое признанье.

С ЧЕТЫРЕХ СТОРОН ЧАШИ

Нежным баловнем мамаши
То большиться, то шалить. . .
И рассеянно из чаши
Пену пить, а влагу лить. . .

Сил и дней гордясь избытком,
Мимоходом, на лету

Хмельно-розовым напитком
Усыплять свою мечту.

Увидав, что невозможно
Ни вернуться, ни забыть...
Пить поспешно, пить тревожно,
Рядом с сыном, может быть,

Под наплывом лет согнуться,
Но, забыв и вкус вина...
По привычке всё тянуться
К чаше, выпитой до дна.

VILLA NAZIONALE[1]

Смычка заслушавшись, тоскливо
Волна горит, а луч померк, —
И в тени душные залива
Вот-вот ворвется фейерверк.

Но в мутном чаяньи испуга,
В истоме прерванного сна,
Не угадать Царице юга
Тот миг шальной, когда она

Развяжет, разоймет, расщиплет
Золотоцветный свой букет
И звезды робкие рассыплет
Огнями дерзкими ракет.

ОПЯТЬ В ДОРОГЕ

Когда высóко под дугою
Звенело солнце для меня,
Я жил унылою мечтою,
Минуты светлые гоня...

Они пугливо отлетали,
Но вот прибился мой звонок:
И где же вы, златые дали?
В тумане — юг, погас восток...

[1] Перевод и объяснения см. в примечаниях.

А там стена, к закату ближе,
Такая страшная на взгляд...
Она всё выше... Мы всё ниже...
«Постой-ка, дядя!» — «Не велят».

НА ВОДЕ

То луга ли, скажи, облака ли, вода ль
Околдована желтой луною:
Серебристая гладь, серебристая даль
Надо мной, предо мною, за мною...

Ни о чем не жалеть... Ничего не желать...
Только б маска колдуньи светилась
Да клубком ее сказка катилась
В серебристую даль, на сребристую гладь.

1900

КОНЕЦ ОСЕННЕЙ СКАЗКИ

Сонет

Неустанно ночи длинной
Сказка черная лилась,
И багровый над долиной
Загорелся поздно глаз;

Видит: радуг паутина
Почернела, порвалась,
В малахиты только тина
Пышно так разубралась.

Видит: пар белесоватый
И ползет, и вьется ватой,
Да из черного куста

Там и сям сочатся грозди
И краснеют... точно гвозди
После снятого Христа.

УТРО

Эта ночь бесконечна была,
Я не смел, я боялся уснуть:
Два мучительно-черных крыла
Тяжело мне ложились на грудь.

На призывы ж тех крыльев в ответ
Трепетал, замирая, птенец,
И не знал я, придет ли рассвет
Или это уж полный конец...

О, смелее... Кошмар позади,
Его страшное царство прошло;
Вещих птиц на груди и в груди
Отшумело до завтра крыло...

Облака еще плачут, гудя,
Но светлеет и нехотя тень,
И банальный, за сетью дождя,
Улыбнуться попробовал День.

ВАНЬКА-КЛЮЧНИК В ТЮРЬМЕ

Крутясь-мутясь да сбилися
Желты́ пески с волной,
Часочек мы любилися,
Да с мужнею женой.

Ой, цветики садовые,
Да некому полить!
Ой, прянички медовые!
Да с кем же вас делить?

А уж на что уважены:
Проси,— не улечу,
У стеночки посажены,
Да не плечо к плечу.

Цепочечку позванивать
Продели у ноги,

Позванивать, подманивать:
«А ну-тка, убеги!»

А мимо птицей мычется
Злодей — моя тоска...
Такая-то добытчица,
Да не найти крюка?!

СВЕЧКА ГАСНЕТ

В темном пламени свечи
Зароившись как живые,
Мигом гибнут огневые
Брызги в трепетной ночи,
Но с мольбою голубые
Долго теплятся лучи
В темном пламени свечи.

Эх, заснуть бы спозаранья,
Да страшат набеги сна,
Как безумного желанья
Тихий берег умиранья
Захлестнувшая волна.
Свечка гаснет. Ночь душна...
Эх, заснуть бы спозаранья...

ДЕКОРАЦИЯ

Это — лунная ночь невозможного сна,
Так уныла, желта и больна
В облаках театральных луна,

Свет полос запыленно-зеленых
На бумажных колеблется кленах.

Это — лунная ночь невозможной мечты...
Но недвижны и странны черты:
— Это маска твоя или ты?

Вот чуть-чуть шевельнулись ресницы...
Дальше... вырваны дальше страницы.

БЕССОННИЦЫ

1

БЕССОННИЦА РЕБЕНКА

От душной копоти земли
Погасла точка огневая,
И плавно тени потекли,
Конту́ры странные сливая.

И знал, что спать я не могу:
Пока уста мои молились,
Те, неотвязные, в мозгу
Опять слова зашевелились.

И я лежал, а тени шли,
Наверно зная и скрывая,
Как гриб выходит из земли
И ходит стрелка часовая.

2

«ПАРКИ — БАБЬЕ ЛЕПЕТАНЬЕ»

Сонет

Я ночи знал. Мечта и труд
Их наполняли трепетаньем, —
Туда, к надлунным очертаньям,
Бывало, мысль они зовут.

Томя и нежа ожиданьем,
Они, бывало, промелькнут,
Как цепи розовых минут
Между запиской и свиданьем.

Но мая белого ночей
Давно страницы пожелтели...
Теперь я слышу у постели

Веретено, — и, как ручей,
Задавлен камнями обвала,
Оно уж лепет обрывало...

8
ДАЛЕКО... ДАЛЕКО...

Когда умирает для уха
Железа мучительный гром,
Мне тихо по коже старуха
Водить начинает пером.
Перо ее так бородато,
Так плотно засело в руке...
. . . .
Не им ли я кляксу когда-то
На розовом сделал листке?
Я помню — слеза в ней блистала,
Другая ползла по лицу:
Давно под часами усталый
Стихи выводил я отцу...
. . . .
Но жаркая стынет подушка,
Окно начинает белеть...
Пора и в дорогу, старушка,
Под утро душна эта клеть.
Мы тронулись... Тройка плетется,
Никак не найдет колеи,
А сердце... бубенчиком бьется
Так тихо у потной шлеи...

ЛИЛИИ

1
ВТОРОЙ МУЧИТЕЛЬНЫЙ СОНЕТ

Не мастер Тира иль Багдата,
Лишь девы нежные персты
Сумели вырезать когда-то
Лилеи нежные листы, —

С тех пор в отраве аромата
Живут, таинственно слиты,
Обетованье и утрата
Неразделенной красоты,

Живут любовью без забвенья
Незаполнимые мгновенья...
И если чуткий сон аллей

Встревожит месяц сребролукий
Всю ночь потом уста лилей
Там дышат ладаном разлуки.

2

ЗИМНИЕ ЛИЛИИ

Зимней ночи путь так долог,
Зимней ночью мне не спится:
Из углов и с книжных полок
Сквозь ее тяжелый полог
Сумрак розовый струится.

Серебристые фиалы
Опрокинув в воздух сонный,
Льют лилеи небывалый
Мне напиток благовонный, —

И из кубка их живого
В поэтической оправе
Рад я сладостной отраве
Напряженья мозгового...

В белой чаше тают звенья
Из цепей воспоминанья,
И от яду на мгновенье
Знаньем кажется незнанье.

3

ПАДЕНИЕ ЛИЛИЙ

Уж черной Ночи бледный День
Свой факел отдал, улетая:
Темнеет в небе хлопьев стая,
Но, веселя немую сень,

В камине вьется золотая
Змея, змеей перевитая.
Гляжу в огонь — работать лень:
Пускай по стенам, вырастая,
Дрожа, колеблясь или тая,
За тенью исчезает тень,
А сердцу снится тень иная,
И сердце плачет, вспоминая.
Сейчас последние, светлей
Златисто-розовых углей,
Падут минутные строенья:
С могил далеких и полей
И из серебряных аллей
Услышу мрака дуновенье...
В постель скорее! .. Там теплей,
А ты, волшебница, налей
Мне капель чуткого забвенья,
Чтоб ночью вянущих лилей
Мне ярче слышать со стеблей
Сухой и странный звук паденья.

3 февраля 1901

С БАЛКОНА

Полюбила солнце апреля
Молодая и нежная ива.
Не прошла и Святая неделя,
Распустилась бледная ива
В жаркой ласке солнца апреля.

Но недвижны старые клены:
Их не греет солнце апреля,
Только иве дивятся зеленой,
Только шепчут под небом апреля
Обнаженные мшистые клены:

«Не на радость, о бледная ива,
Полюбила ты солнце апреля:
Безнадежно больное ревниво
И сожжет тебя солнце апреля,
Чтоб другим не досталась ты, ива».

МОЛОТ И ИСКРЫ

Молот жизни, на плéчах мне камни дробя,
Так мучительно груб и тяжел,
А ведь, кажется, месяц еще не прошел,
Что я сказками тешил себя...
Те, скажи мне, завянуть успели ль цветы,
Что уста целовали, любя,
Или, их обогнав, улетели мечты,
Те цветы... Я не знаю: тебя
Я люблю или нет... Не горит ореол
И горит — это ты и не ты,
Молот жизни мучительно, адски тяжел,
И ни искры под ним... красоты...
А ведь, кажется, месяц еще не прошел.

1901

ТОСКА ВОЗВРАТА

Уже лазурь златить устала
Цветные вырезки стекла,
Уж буря светлая хорала
Под темным сводом замерла;

Немые тени вереницей
Идут чрез северный портал,
Но ангел Ночи бледнолицый
Еще кафизмы не читал...

В луче прощальном, запыленном
Своим грехом неотмоленным
Томится День пережитой,

Как серафим у Боттичелли,
Рассыпав локон золотой...
На гриф умолкшей виолончели.

РОЖДЕНИЕ И СМЕРТЬ ПОЭТА

(Кантата)

Баян

Над Москвою старой златоглавою
Не звезда в полу́ночи затеплилась,
Над ее садочками зелеными,
Ой зелеными садочками кудрявыми
Молодая зорька разгоралася.
Не Вольга-богатырь нарождается,
Нарождается надёжа — молодой певец,
Удалая головушка кудрявая.
Да не златая трубочка вострубила,
Молодой запел душа-соловьюшка,
Пословечно соловей да выговаривал,
(Тут не рыбы-то по заводям хоронятся,
Да не птицы-то уходят во поднебесье,
Во темных лесах не звери затулилися[1]),
Как услышали соловьюшку малешенького,
Все-то птичушки в садочках приуслушались,
Малы детушки по зыбкам разыгралися,
Молодые-то с крылечек улыбаются,
А и старые по кельям пригорюнились.

Один голос

Рыданье струн седых развей,
О нет, Баян, не соловей,
Певец волшебно-сладострастный,
Нас жег в безмолвии ночей
Тоскою нежной и напрасной.
И не душистую сирень
Судьба дала ему, а цепи,
Снега забытых деревень,
Неволей выжженные степи.
Но бог любовью окрылил
Его пленительные грезы,
И в чистый жемчуг перелил
Поэт свои немые слезы.

---

[1] Былинная формула.

Хор

Среди измен, среди могил
Он, улыбаясь, сыпал розы,
И в чистый жемчуг перелил
Поэт свои немые слезы.

Другой голос

О, свиток печальный!
Безумные строки,
Как гость на пиру
В небрачной одежде,
Читаю и плачу...
Там ночи туманной
Холодные звезды,
Там вещего сердца
Трехдневные муки,
Там в тяжком бреду
Томительный призрак
Свой черный вуаль,
Вуаль донны Анны,
К его изголовью
Склоняя, смеется...

Мужской хор

Но в поле колдунья ему
Последние цепи сварила
И тихо в немую тюрьму
Ворота за ним затворила.

Женский хор

Творцу волшебных песнопений
Не надо ваших слез и пеней:
Над ним горит бессмертный день
В огнях лазури и кристалла,
И окровавленная тень
Там тенью розовою стала,
А здесь печальной чередою
Всё ночь над нами стелет сень,
О тень, о сладостная тень,
Стань вифлеемскою звездою,
Алмазом на ее груди —
И к дому бога нас веди!..

Общий хор

С немого поля,
Где без ненастья,
Дрожа, повисли
Тоски туманы, —
Туда, где воля,
Туда, где счастье,
Туда, где мысли
Простор желанный!

3 апреля 1899

«МУХИ КАК МЫСЛИ»

(Памяти Апухтина)

Я устал от бессонниц и снов,
На глаза мои пряди нависли:
Я хотел бы отравой стихов
Одурманить несносные мысли.

Я хотел бы распутать узлы...
Неужели там только ошибки?
Поздней осенью мухи так злы,
Их холодные крылья так липки.

Мухи-мысли ползут, как во сне,
Вот бумагу покрыли, чернея...
О, как, мертвые, гадки оне...
Разорви их, сожги их скорее.

ПОД ЗЕЛЕНЫМ АБАЖУРОМ

Короли, и валеты, и тройки!
Вы так ласково тешите ум:
От уверенно-зыбкой постройки
До тоскливо замедленных дум
Вы так ласково тешите ум,
Короли, и валеты, и тройки!

В вашей смене, дразнящей сердца,
В вашем быстро мелькающем крапе

Счастье дочери, имя отца,
Слово чести, поставленной на-пе,
В вашем быстро мелькающем крапе,
В вашей смене, дразнящей сердца...

Золотые сулили вы дали
За узором двойных королей,
Когда вами невестам гадали
Там, в глуши, за снегами полей,
За узором двойных королей
Золотые сулили вы дали...

А теперь, из потемок на свет
Безнадежно ложася рядами,
Равнодушное *да* или *нет*
Повторять суждено вам годами,
Безнадежно ложася рядами
Из зеленых потемок на свет.

ТРЕТИЙ МУЧИТЕЛЬНЫЙ СОНЕТ

Строфы

Нет, им не суждены краса и просветленье;
Я повторяю их на память в полусне,
Они — минуты праздного томленья,
Перегоревшие на медленном огне.

Но всё мне дорого — туман их появленья,
Их нарастание в тревожной тишине,
Без плана, вспышками идущее сцепленье:
Мое мучение и мой восторг оне.

Кто знает, сколько раз без этого запоя,
Труда кошмарного над грудою листов,
Я духом пасть, увы! я плакать был готов,

Среди неравного изнемогая боя;
Но я люблю стихи — и чувства нет святей:
Так любит только мать, и лишь больных детей.

ВТОРОЙ ФОРТЕПЬЯННЫЙ СОНЕТ

Над ризой белою, как уголь волоса,
Рядами стройными невольницы плясали,
Без слов кристальные сливались голоса,
И кастаньетами их пальцы потрясали...

Горели синие над ними небеса,
И осы жадные плясуний донимали,
Но слез не выжали им муки из эмали,
Неопалимою сияла их краса.

На страсти, на призыв, на трепет вдохновенья
Браслетов золотых звучали мерно звенья,
Но, непонятною не трогаясь мольбой,

Своим властителям лишь улыбались девы,
И с пляской чуткою, под чашей голубой,
Их равнодушные сливалися напевы.

ПАРАЛЛЕЛИ

1

Под грозные речи небес
Рыдают косматые волны,
А в чаще, презрения полный,
Хохочет над бурею бес.

Но утро зажжет небеса,
Волна золотится и плещет,
А в чаще холодной роса
Слезою завистливой блещет.

2

Золотя заката розы,
Клонит солнце лик усталый,
И глядятся туберозы
В позлащенные кристаллы.

Но не надо сердцу алых, —
Сердце просит роз поблеклых,
Гиацинтов небывалых,
Лилий, плачущих на стеклах.

1901

ТОСКА

По бледно-розовым овалам,
Туманом утра облиты,
Свились букетом небывалым
Стального ко́лера цветы.

И мух кочующих соблазны,
Отраву в глянце затая,
Пестрят, назойливы и праздны,
Нагие грани бытия.

Но, лихорадкою томимый,
Когда неделями лежишь,
В однообразьи их таимый
Поймешь ты сладостный гашиш,

Поймешь, на глянце центифолий
Считая бережно мазки...
И строя ромбы поневоле
Между этапами Тоски.

ЖЕЛАНИЕ

Когда к ночи усталой рукой
Допашу я свою полосу,
Я хотел бы уйти на покой
В монастырь, но в далеком лесу,

Где бы каждому был я слуга
И творенью господнему друг,
И чтоб сосны шумели вокруг,
А на соснах лежали снега...

А когда надо мной зазвонит
Медный зов в беспросветной ночи,
Уронить на холодный гранит
Талый воск догоревшей свечи.

КИПАРИСОВЫЙ ЛАРЕЦ

ТРИЛИСТНИКИ

ТРИЛИСТНИК СУМЕРЕЧНЫЙ

СИРЕНЕВАЯ МГЛА

Наша улица снегами залегла,
По снегам бежит сиреневая мгла.

Мимоходом только глянула в окно,
И я понял, что люблю ее давно.

Я молил ее, сиреневую мглу:
«Погости-побудь со мной в моем углу,

Не мою тоску ты давнюю развей,
Поделись со мной, желанная, своей!»

Но лишь издали услышал я ответ:
«Если любишь, так и сам отыщешь след,

Где над омутом синеет тонкий лед,
Там часочек погощу я, кончив лёт,

А у печки-то никто нас не видал...
Только те мои, кто волен да удал».

ТОСКА МИМОЛЕТНОСТИ

Бесследно канул день. Желтея, на балкон
Глядит туманный диск луны, еще бестенной,
И в безнадежности распахнутых окон,
Уже незрячие, тоскливо-белы стены.

Сейчас наступит ночь. Так черны облака...
Мне жаль последнего вечернего мгновенья:
Там всё, что прожито, — желанье и тоска,
Там всё, что близится, — унылость и забвенье.

Здесь вечер как мечта: и робок и летуч,
Но сердцу, где ни струн, ни слез, ни ароматов,
И где разорвано и слито столько туч...
Он как-то ближе розовых закатов.

Лето 1904
Ялта

СВЕЧКУ ВНЕСЛИ

Не мерещится ль вам иногда,
Когда сумерки ходят по дому,
Тут же возле иная среда,
Где живем мы совсем по-другому?

С тенью тень там так мягко слилась,
Там бывает такая минута,
Что лучами незримыми глаз
Мы уходим друг в друга как будто.

И движеньем спугнуть этот миг
Мы боимся, иль словом нарушить,
Точно ухом кто возле приник,
Заставляя далекое слушать.

Но едва запылает свеча,
Чуткий мир уступает без боя,
Лишь из глаз по наклонам луча
Тени в пламя сбегут голубое.

ТРИЛИСТНИК СОБЛАЗНА

МАКИ

Веселый день горит... Среди сомлевших трав
Все маки пятнами — как жадное бессилье,
Как губы, полные соблазна и отрав,
Как алых бабочек развернутые крылья.

Веселый день горит... Но сад и пуст и глух.
Давно покончил он с соблазнами и пиром, —
И маки сохлые, как головы старух,
Осенены с небес сияющим потиром.

МАКИ В ПОЛДЕНЬ

(Вариант)

Безуханно и цветисто
Чей-то нежный сгиб разогнут, —
Крылья алого батиста
Развернулись и не дрогнут.

Всё, что нежит — даль да близь,
Оскорбив пятном кровавым,
Жадно маки разрослись
По сомлевшим тучным травам.

Но не в радость даже день им,
Темны пятна маков в небе,
И тяжелым сном осенним
Истомлен их яркий жребий.

Сном о том, что пуст и глух
Будет сад, а в нем, как в храме,
Тяжки головы старух...
Осененные Дарами.

СМЫЧОК И СТРУНЫ

Какой тяжелый, темный бред!
Как эти выси мутно-лунны!
Касаться скрипки столько лет
И не узнать при свете струны!

Кому ж нас надо? Кто зажег
Два желтых лика, два унылых...
И вдруг почувствовал смычок,
Что кто-то взял и кто-то слил их.

«О, как давно! Сквозь эту тьму
Скажи одно: ты та ли, та ли?»
И струны ластились к нему,
Звеня, но, ластясь, трепетали.

«Не правда ль, больше никогда
Мы не расстанемся? довольно?..»
И скрипка отвечала *да,*
Но сердцу скрипки было больно.

Смычок всё понял, он затих,
А в скрипке эхо всё держалось...
И было мукою для них,
Что людям музыкой казалось.

Но человек не погасил
До утра свеч... И струны пели...
Лишь солнце их нашло без сил
На черном бархате постели.

В МАРТЕ

Позабудь соловья на душистых цветах,
Только *утро* любви не забудь!
Да ожившей земли в неоживших листах
Ярко-черную грудь!

Меж лохмотьев рубашки своей снеговой
Только раз и желала она, —
Только раз напоил ее март огневой,
Да пьянее вина!

Только раз оторвать от разбухшей земли
Не могли мы завистливых глаз,
Только раз мы холодные руки сплели
И, дрожа, поскорее из сада ушли...
Только раз... в этот раз...

ТРИЛИСТНИК СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ

ОДУВАНЧИКИ

Захлопоталась девочка
В зеленом кушаке,
Два желтые обсевочка
Сажая на песке.

Не держатся и на́-поди:
Песок ли им не рад?..
А солнце уж на западе
И золотится сад.

За ручкой ручку белую
Малютка отряхнет:
«Чуть ямочку проделаю,
Ее и заметет...

Противные, упрямые!»
— Молчи, малютка дочь,
Коль неприятны ямы им,
Мы стебельки им прочь.

Вот видишь ли: всё к лучшему —
Дитя, развеселись,

По холмику зыбучему
Две звездочки зажглись.

Мохнатые, шафранные
Звездинки из цветов...
Ну вот, моя желанная,
И садик твой готов.

Отпрыгаются ноженьки,
Весь высыплется смех,
А ночь придет — у боженьки
Постельки есть для всех...

Заснешь ты, ангел-девочка,
В пуху, на локотке...
А желтых два обсевочка
Распластаны в песке.

26 июня 1909
Куоккала

СТАРАЯ ШАРМАНКА

Небо нас совсем свело с ума:
То огнем, то снегом нас слепило,
И, ощерясь, зверем отступила
За апрель упрямая зима.

Чуть на миг сомлеет в забытьи —
Уж опять на брови шлем надвинут,
И под наст ушедшие ручьи,
Не допев, умолкнут и застынут.

Но забыто прошлое давно,
Шумен сад, а камень бел и гулок,
И глядит раскрытое окно,
Как трава одела закоулок.

Лишь шарманку старую знобит,
И она в закатном мленьи мая
Всё никак не смелет злых обид,
Цепкий вал кружа и нажимая.

И никак, цепляясь, не поймет
Этот вал, что не к чему работа,
Что обида старости растет
На шипах от муки поворота.

Но когда б и понял старый вал,
Что такая им с шарманкой участь,
Разве б петь, кружась, он перестал
Оттого, что петь нельзя, не мучась?..

ВЕРБНАЯ НЕДЕЛЯ

В. П. Хмара-Барщевскому

В желтый сумрак мертвого апреля,
Попрощавшись с звездною пустыней,
Уплывала Вербная неделя
На последней, на погиблой снежной льдине;

Уплывала в дымах благовонных,
В замираньи звонов похоронных,
От икон с глубокими глазами
И от Лазарей, забытых в черной яме.

Стал высоко белый месяц на ущербе,
И за всех, чья жизнь невозвратима,
Плыли жаркие слезы по вербе
На румяные щеки херувима.

14 апреля 1907
Царское Село

ТРИЛИСТНИК ОСЕННИЙ

ТЫ ОПЯТЬ СО МНОЙ

Ты опять со мной, подруга осень,
Но сквозь сеть нагих твоих ветвей
Никогда бледней не стыла просинь,
И снегов не помню я мертвей.

Я твоих печальнее отребий
И черней твоих не видел вод,
На твоем линяло-ветхом небе
Желтых туч томит меня развод.

До конца всё видеть, цепенея...
О, как этот воздух странно нов...
Знаешь что... я думал, что больнее
Увидать пустыми тайны слов...

АВГУСТ

Еще горят лучи под сводами дорог,
Но там, между ветвей, всё глуше и немее:
Так улыбается бледнеющий игрок,
Ударов жребия считать уже не смея.

Уж день за сторами. С туманом по земле
Влекутся медленно унылые призывы...
А с ним всё душный пир, дробится в хрустале
Еще вчерашний блеск, и только астры живы...

Иль это — шествие белеет сквозь листы?
И там огни дрожат под матовой короной,
Дрожат и говорят: «А ты? Когда же ты?»
На медном языке истомы похоронной...

Игру ли кончили, гробница ль уплыла,
Но проясняются на сердце впечатленья;
О, как я понял вас: и вкрадчивость тепла,
И роскошь цветников, где проступает тленье...

ТО БЫЛО НА ВАЛЛЕН-КОСКИ

То было на Валлен-Коски.
Шел дождик из дымных туч,
И желтые мокрые доски
Сбегали с печальных круч.

Мы с ночи холодной зевали,
И слезы просились из глаз;
В утеху нам куклу бросали
В то утро в четвертый раз.

Разбухшая кукла ныряла
Послушно в седой водопад,
И долго кружилась сначала,
Всё будто рвалася назад.

Но даром лизала пена
Суставы прижатых рук, —
Спасенье ее неизменно
Для новых и новых мук.

Гляди, уж поток бурливый
Желтеет, покорен и вял;
Чухонец-то был справедливый,
За дело полтину взял.

И вот уж кукла на камне,
И дальше идет река...
Комедия эта была мне
В то серое утро тяжка.

Бывает такое небо,
Такая игра лучей,
Что сердцу обида куклы
Обиды своей жалчей.

Как листья тогда мы чутки:
Нам камень седой, ожив,
Стал другом, а голос друга,
Как детская скрипка, фальшив.

И в сердце сознанье глубоко,
Что с ним родился только страх,
Что в мире оно одиноко,
Как старая кукла в волнах...

ТРИЛИСТНИК ЛУННЫЙ

ЗИМНЕЕ НЕБО

Талый снег налетал и слетал,
Разгораясь, румянились щеки.
Я не думал, что месяц так мал
И что тучи так дымно-далеки...

Я уйду, ни о чем не спросив,
Потому что мой вынулся жребий,
Я не думал, что месяц красив,
Так красив и тревожен на небе.

Скоро полночь. Никто и ничей,
Утомлен самым призраком жизни,
Я любуюсь на дымы лучей
Там, в моей обманувшей отчизне.

ЛУННАЯ НОЧЬ В ИСХОДЕ ЗИМЫ

Мы на полустанке,
Мы забыты ночью,
Тихой лунной ночью,
На лесной полянке...
Бред — или воочью
Мы на полустанке
И забыты ночью?
Далеко зашел ты,
Паровик усталый!
Доски бледно-желты,
Серебристо-желты,
И налип на шпалы
Иней мертво-талый.
Уж туда ль зашел ты,
Паровик усталый?
Тишь-то в лунном свете,
Или только греза

Эти тени, эти
Вздохи паровоза
И, осеребренный
Месяцем жемчужным,
Этот длинный, черный
Сторож станционный
С фонарем ненужным
На тени узорной?
Динь-динь-динь — и мимо,
Мимо грезы этой,
Так невозвратимо,
Так непоправимо
До конца не спетой,
И звенящей где-то
Еле ощутимо.

27 марта 1906
Почтовый тракт Вологда — Тотьма

TRÄUMEREI[1]

Сливались ли это тени,
Только тени в лунной ночи мая?
Это блики, или цветы сирени
Там белели, на колени
        Ниспадая?
Наяву ль и тебя ль безумно
        И бездумно
Я любил в томных тенях мая?
    Припадая к цветам сирени
Лунной ночью, лунной ночью мая,
    Я твои ль целовал колени,
Разжимая их и сжимая,
В томных тенях, в томных тенях мая?
Или сад был одно мечтанье
Лунной ночи, лунной ночи мая?
Или сам я лишь тень немая?

---

[1] Мечтанье, грезы (нем.). — *Ред.*

Иль и ты лишь мое страданье,
Дорогая,
Оттого, что нам нет свиданья
Лунной ночью, лунной ночью мая...

Ночь с 16 на 17 мая 1906 (?)
Вологодский поезд

ТРИЛИСТНИК ОБРЕЧЕННОСТИ

БУДИЛЬНИК

Обручена рассвету
Печаль ее рулад...
Как я игрушку эту
Не слушать был бы рад...

Пусть завтра будет та же
Она, что и вчера...
Сперва хоть громче, глаже
Идет ее игра.

Нот вот, уж не читая
Давно постылых нот,
Гребенка золотая
Звенит, а не поет...

Цепляясь за гвоздочки,
Весь из бессвязных фраз,
Напрасно ищет точки
Томительный рассказ,

О чьем-то недоборе
Косноязычный бред...
Докучный лепет горя
Ненаступивших лет,

Где нет ни слез разлуки,
Ни стылости небес,
Где сердце — счетчик муки,
Машинка для чудес...

И скучно разминая
Пружину полчаса,
Где прячется смешная
И лишняя Краса.

СТАЛЬНАЯ ЦИКАДА

Я знал, что она вернется
И будет со мной — Тоска.
Звякнет и запахнется
С дверью часовщика...

Сердца стального трепет
Со стрекотаньем крыл
Сцепит и вновь расцепит
Тот, кто ей дверь открыл...

Жадным крылом цикады
Нетерпеливо бьют:
Счастью ль, что близко, рады,
Муки ль конец зовут?..

Столько сказать им надо,
Так далеко уйти...
Розно, увы! цикада,
Наши лежат пути.

Здесь мы с тобой лишь чудо,
Жить нам с тобою теперь
Только минуту — покуда
Не распахнулась дверь...

Звякнет и запахнется,
И будешь ты так далека...
Молча сейчас вернется
И будет со мной — Тоска.

ЧЕРНЫЙ СИЛУЭТ

Сонет

Пока в тоске растущего испуга
Томиться нам, живя, еще дано,
Но уж сердцам обманывать друг друга
И лгать себе, хладея, суждено;

Пока прильнув сквозь мерзлое окно,
Нас сторожит ночами тень недуга,
И лишь концы мучительного круга
Не сведены в последнее звено, —

Хочу ль понять, тоскою пожираем,
Тот мир, тот миг с его миражным раем...
Уж мига нет — лишь мертвый брезжит свет...

А сад заглох... и дверь туда забита...
И снег идет... и черный силуэт
Захолодел на зеркале гранита.

ТРИЛИСТНИК ОГНЕННЫЙ

АМЕТИСТЫ

Когда, сжигая синеву,
Багряный день растет неистов,
Как часто сумрак я зову,
Холодный сумрак аметистов.

И чтоб не знойные лучи
Сжигали грани аметиста,
А лишь мерцание свечи
Лилось там жидко и огнисто.

И, лиловея и дробясь,
Чтоб уверяло там сиянье,
Что где-то есть не наша *связь,*
А лучезарное *слиянье*...

СИЗЫЙ ЗАКАТ

Близился сизый закат.
Воздух был нежен и хмелен,
И отуманенный сад
Как-то особенно зелен.

И, о Незримой твердя
В тучах таимой печали,
В воздухе, полном дождя,
Трубы так мягко звучали.

Вдруг — точно яркий призыв,
Даль чем-то резко разъялась:
Мягкие тучи пробив,
Медное солнце смеялось.

ЯНВАРСКАЯ СКАЗКА

Светилась колдуньина маска,
Постукивал мерно костыль. . .
Моя новогодняя сказка,
Последняя сказка, не ты ль?

О счастье уста не молили,
Тенями был полон покой,
И чаши открывшихся лилий
Дышали нездешней тоской.

И, взоры померкшие нежа,
С тоской говорили цветы:
«Мы те же, что были, всё те же,
Мы будем, мы вечны. . . а ты?»

Молчите. . . Иль грезить не лучше,
Когда чуть дымятся угли? . .
Январское солнце не жгуче,
Так пылки его хрустали. . .

ТРИЛИСТНИК КОШМАРНЫЙ

КОШМАРЫ

«Вы ждете? Вы в волненьи? Это бред.
Вы отворять ему идете? Нет!
Поймите: к вам стучится сумасшедший,
Бог знает где и с кем всю ночь проведший,
Оборванный, и речь его дика,
И камешков полна его рука;
Того гляди — другую опростает,
Вас листьями сухими закидает,
Иль целовать задумает, и слез
Останутся следы в смятеньи кос,
Коли от губ удастся скрыть лицо вам,
Смущенным и мучительно пунцовым.

. . . .

Послушайте!.. Я только вас пугал:
Тот далеко, он умер... Я солгал.
И жалобы, и шепоты, и стуки —
Всё это «шелест крови», голос муки...
Которую мы терпим, я ли, вы ли...
Иль вихри в плен попались и завыли?
Да нет же! Вы спокойны... Лишь у губ
Змеится что-то бледное... Я глуп...
Свиданье здесь назначено другому...
Всё понял я теперь: испуг, истому
И влажный блеск таимых вами глаз».
Стучат? Идут? Она приподнялась.
Гляжу — фитиль у фонаря спустила,
Он розовый... Вот косы отпустила.
Взвились и пали косы... Вот ко мне
Идет... И мы в огне, в одном огне...
Вот руки обвились и увлекают,
А волосы и колют, и ласкают...
Так вот он ум мужчины, тот гордец,
Не стоящий ни трепетных сердец,
Ни влажного и розового зноя!

. . . .
И вдруг я весь стал существо иное. . .
Постель. . . Свеча горит. На грустный тон
Лепечет дождь. . . Я спал и видел сон.

КИЕВСКИЕ ПЕЩЕРЫ

Тают зеленые свечи,
Тускло мерцает кадило,
Что-то по самые плечи
В землю сейчас уходило,

Чьи-то беззвучно уста
Молят дыханья у плит,
Кто-то, нагнувшись, «с креста»
Желтой водой их поит. . .

«Скоро ль?» — Терпение, скоро. . .
Звоном наполнились уши,
А чернота коридора
Всё безответней и глуше...

Нет, не хочу, не хочу!
Как? Ни людей, ни пути?
Гасит дыханье свечу?
Тише. . . Ты должен ползти. . .

ТО И ЭТО

Ночь не тает. Ночь как камень.
Плача тает только лед,
И струит по телу пламень
Свой причудливый полет.

Но лопочут, даром тая,
Ледышки́ на голове:
Не запомнить им, считая,
Что подушек только две.

И что надо лечь в угарный,
В голубой туман костра,
Если тошен луч фонарный
На скользоте топора.

Но отрадной до рассвета
Сердце дремой залито,
Всё простит им... если это
Только *Это,* а не *То.*

ТРИЛИСТНИК ПРОКЛЯТИЯ

ЯМБЫ

О, как я чувствую накопленное бремя
Отравленных ночей и грязно-бледных дней!
Вы, карты, есть ли что в одно и то же время
Приманчивее вас, пошлее и страшней!

Вы страшны нежностью похмелья, и науке,
Любви, поэзии — всему вас предпочтут.
Какие подлые не пожимал я руки,
Не соглашался с чем? .. Скорей! Колоды ждут...

Зеленое сукно — цвет малахитов тины,
Весь в пепле туз червей на сломанном мелке...
Подумай: жертву накануне гильотины
Дурманят картами и в каменном мешке.

КУЛАЧИШКА

Цвести средь немолчного ада
То грузных, то гулких шагов,
И стонущих блоков и чада,
И стука бильярдных шаров.

Любиться, пока полосою
Кровавой не вспыхнул восток,
Часочек, покуда с косою
Не сладился белый платок.

Скормить Помыканьям и Злобам
И сердце, и силы дотла —
Чтоб дочь за глазетовым гробом,
Горбатая, с зонтиком шла.

Ночь с 21 на 22 мая 1906
Грязовец

О НЕТ, НЕ СТАН

О нет, не стан, пусть он так нежно-зыбок,
Я из твоих соблазнов затаю
Не влажный блеск малиновых улыбок, —
Страдания холодную змею.

Так иногда в банально-пестрой зале,
Где вальс звенит, волнуя и моля,
Зову мечтой я звуки Парсифаля,
И Тень, и Смерть над маской короля...
. . . .
Оставь меня. Мне ложе стелет Скука.
Зачем мне рай, которым грезят все?
А если грязь и низость — только мука
По где-то там сияющей красе...

19 мая 1906
Вологда

ТРИЛИСТНИК ПОБЕДНЫЙ

В ВОЛШЕБНУЮ ПРИЗМУ

Хрусталь мой волшебен трикраты.
Под первым устоем ребра —
Там руки с мученьем разжаты,
Раскидано пламя костра.

Но вновь не увидишь костер ты,
Едва передвинешь устой —
Там бледные руки простерты
И мрак обнимают пустой.

Нажмешь ли устой ты последний —
Ни сжатых, ни рознятых рук,
Но радуги нету победней,
Чем радуга конченных мук! ..

ТРОЕ

Ее факел был огнен и ал,
Он был талый и сумрачный снег:
Он глядел на нее и сгорал,
И сгорал от непознанных нег.

Лоно смерти открылось черно —
Он не слышал призыва: «Живи»,
И осталось в эфире одно
Безнадежное пламя любви.

Да на ложе глубокого рва,
Пенной ризой покрыта до пят,
Одинокая грезит вдова —
И холодные воды кипят...

ПРОБУЖДЕНИЕ

Кончилась яркая чара,
Сердце очнулось пустым:
В сердце, как после пожара,
Ходит удушливый дым.

Кончилась? Жалкое слово,
Жалкого слова не трусь:
Скоро в остатках былого
Я и сквозь дым разберусь.

Что не хотело обмана —
Всё остается за мной...
Солнце за гарью тумана
Желто, как вставший больной.

Жребий, о сердце, твой понят —
Старого пепла не тронь...
Больше проклятый огонь
Стен твоих черных не тронет!

ТРИЛИСТНИК ТРАУРНЫЙ

ПЕРЕД ПАНИХИДОЙ

Сонет

Два дня здесь шепчут: прям и нем
Всё тот же гость в дому,
И вянут космы хризантем
В удушливом дыму.

Гляжу и мыслю: мир ему,
Но нам-то, нам-то всем,
Иль люк в ту смрадную тюрьму
Захлопнулся совсем?

«Ах! Что мертвец! Но дочь, вдова...»
Слова, слова, слова.
Лишь Ужас в белых зеркалах

Здесь молит и поет
И с поясным поклоном Страх
Нам свечи раздает.

БАЛЛАДА

Н. С. Гумилеву

День был ранний и молочно парный,
Скоро в путь, поклажу прикрутили...
На шоссе перед запряжкой парной
Фонари, мигая, закоптили.

Позади лишь вымершая дача...
Желтая и скользкая... С балкона
Холст повис, ненужный там... но спешно,
Оборвав, сломали георгины.

«Во блаженном...» И качнулись клячи:
Маскарад печалей их измаял...
Желтый пес у разоренной дачи
Бил хвостом по ельнику и лаял...

Но сейчас же, вытянувши лапы,
На песке разлегся, как в постели...
Только мы, как сняли в страхе шляпы —
Так надеть их больше и не смели.

...Будь ты проклята, левкоем и фенолом
Равнодушно дышащая Дама!
Захочу — так сам тобой я буду...
— «Захоти, попробуй!» — шепчет Дама.

ПОСЫЛКА

Вам я шлю стихи мои, когда-то
Их вдали игравшие солдаты!
Только ваши, без четверостиший,
Пели трубы горестней и тише...

31 мая 1909

СВЕТЛЫЙ НИМБ

Сонет

Зыбким прахом закатных полос
Были свечи давно облиты,
А куренье, виясь, всё лилось,
Всё, бледнея, сжимались цветы.

И так были безумны мечты
В чадном море молений и слез,
На развившемся нимбе волос
И в дыму ее черной фаты,

Что в ответ замерцал огонек
В аметистах тяжелых серег.
Синий сон благовонных кадил

Разошелся тогда ж без следа...
Отчего ж я фату навсегда,
Светлый нимб навсегда полюбил?

ТРИЛИСТНИК ТОСКИ

ТОСКА ОТШУМЕВШЕЙ ГРОЗЫ

Сердце ль не томилося
    Желанием грозы,
Сквозь вспышки бело-алые?
А теперь влюбилося
    В бездонность бирюзы,
В ее глаза усталые.

Всё, что есть лазурного,
    Излилося в лучах
На зыби златошвейные,
Всё, что там безбурного
    И с ласкою в очах, —
В сады зеленовейные.

В стекла бирюзовые
    Одна глядит гроза
Из чуждой ей обители...
Больше не суровые,
    Печальные глаза,
Любили ль вы, простите ли?..

ТОСКА ПРИПОМИНАНИЯ

Мне всегда открывается та же
Залитая чернилом страница.
Я уйду от людей, но куда же,
От ночей мне куда схорониться?

Все живые так стали далеки,
Всё небытное стало так внятно,
И слились позабытые строки
До зари в мутно-черные пятна.

Весь я там в невозможном ответе,
Где миражные буквы маячут...
...Я люблю, когда в доме есть дети
И когда по ночам они плачут.

ТОСКА БЕЛОГО КАМНЯ

Камни млеют в истоме,
Люди залиты светом,
Есть ли города летом
Вид постыло-знакомей?

В трафарете готовом
Он — узор на посуде...
И не всё ли равно вам:
Камни там или люди?

Сбита в белые камни
Нищетой бледнолицей,
Эта одурь была мне
Колыбелью-темницей.

Коль она не мелькает
Безотрадно и чадно,
Так, давя вас, смыкает,
И уходишь так жадно

В лиловатость отсветов
С высей бледно-безбрежных

На две цепи букетов
Возле плит белоснежных.

Так, устав от узора,
Я мечтой замираю
В белом глянце фарфора
С ободочком по краю.

1904
Симферополь

ТРИЛИСТНИК ДОЖДЕВОЙ

ДОЖДИК

Вот сизый чехол и распорот, —
Не всё ж ему праздно висеть,
И с лязгом асфальтовый город
Хлестнула холодная сеть...

Хлестнула и стала мотаться...
Сама серебристо-светла,
Как масло в руке святотатца,
Глазеты вокруг залила.

И в миг, что́ с лазурью любилось,
Стыдливых молчаний полно, —
Всё темною пеной забилось
И нагло стучится в окно.

В песочной зароется яме,
По трубам бежит и бурлит,
То жалкими брызнет слезами,
То радугой парной горит.

. . . .

О нет! Без твоих превращений,
В одно что-нибудь застывай!
Не хочешь ли дремой осенней
Окутать кокетливо май?

Иль сделаться Мною, быть может,
Одним из упрямых калек,

И всех уверять, что не дожит
И первый Овидиев век:

Из сердца за Иматру лет
Ничто, мол, у нас не уходит —
И в мокром асфальте поэт
Захочет, так счастье находит.

29 июня 1909
Царское Село

ОКТЯБРЬСКИЙ МИФ

Мне тоскливо. Мне невмочь.
Я шаги слепого слышу:
Надо мною он всю ночь
Оступается о крышу.

И мои ль, не знаю, жгут
Сердце слезы, или это
Те, которые бегут
У слепого без ответа,

Что бегут из мутных глаз
По щекам его поблеклым,
И в глухой полночный час
Растекаются по стеклам.

РОМАНС БЕЗ МУЗЫКИ

В непроглядную осень туманны огни,
И холодные брызги летят,
В непроглядную осень туманны огни,
Только след от колес золотят,

В непроглядную осень туманны огни,
Но туманней отравленный чад,
В непроглядную осень мы вместе, одни,
Но сердца наши, сжавшись, молчат...
Ты от губ моих кубок возьмешь непочат,
Потому что туманны огни...

ТРИЛИСТНИК ПРИЗРАЧНЫЙ

NOX VITAE[1]

Отрадна тень, пока крушин
Вливает кровь в хлороз жасмина...
Но... ветер... клены... шум вершин
С упреком давнего помина...

Но... в блекло-призрачной луне
Воздушно-черный стан растений,
И вы, на мрачной белизне
Ветвей тоскующие тени!

Как странно слиты сад и твердь
Своим безмолвием суровым,
Как ночь напоминает смерть
Всем, даже выцветшим покровом.

А всё ведь только что сейчас
Лазурно было здесь, что нужды?
О тени, я не знаю вас,
Вы так глубоко сердцу чужды.

Неужто ж точно, боже мой,
Я здесь любил, я здесь был молод,
И дальше некуда?.. Домой
Пришел я в этот лунный холод?

КВАДРАТНЫЕ ОКОШКИ

О, дали лунно-талые,
О, темно-снежный путь,
Болит душа усталая
И не дает заснуть.

---

[1] Ночь жизни (лат.). — *Ред.*

За чахлыми горошками,
За мертвой резедой
Квадратными окошками
Беседую с луной.

Смиренно дума-странница
Сложила два крыла,
Но не мольбой туманится
Покой ее чела.

«Ты помнишь тиховейные
Те вешние утра,
И как ее кисейная
Тонка была чадра.

Ты помнишь сребролистую
Из мальвовых полос,
Как ты чадру душистую
Не смел ей снять с волос?

И как тоской измученный,
Так и не знал потом —
Узлом ли были скручены
Они или жгутом?»

— «Молчи, воспоминание,
О грудь моя, не ной!
Она была желаннее
Мне тайной и луной.

За чару ж сребролистую
Тюльпанов на фате
Я сто обеден выстою,
Я изнурюсь в посте!»

— «А знаешь ли, что тут она?»
— «Возможно ль, столько лет?»
— «Гляди — фатой окутана...
Узнал ты узкий след?

Так страстно не разгадана,
В чадре живой, как дым,

Она на волнах ладана
Над куколем твоим».

— «Она... да только с рожками,
С трясучей бородой —
За чахлыми горошками,
За мертвой резедой...»

МУЧИТЕЛЬНЫЙ СОНЕТ

Едва пчелиное гуденье замолчало,
Уж ноющий комар приблизился, звеня...
Каких обманов ты, о сердце, не прощало
Тревожной пустоте оконченного дня?

Мне нужен талый снег под желтизной огня,
Сквозь потное стекло светящего устало,
И чтобы прядь волос так близко от меня,
Так близко от меня, развившись, трепетала.

Мне надо дымных туч с померкшей высоты,
Круженья дымных туч, в которых нет былого,
Полузакрытых глаз и музыки мечты,

И музыки мечты, еще не знавшей слова...
О, дай мне только миг, но в жизни, не во сне,
Чтоб мог я стать огнем или сгореть в огне!

ТРИЛИСТНИК ЛЕДЯНОЙ

ЛЕДЯНАЯ ТЮРЬМА

Пятно жерла стеною огибая,
Минутно лед туманный позлащен...
Мечта весны, когда-то голубая,
Твоей тюрьмой горящей я смущен.

Истомлена сверканием напрасным,
И плачешь ты, и рвешься трепеща,
Но для чудес в дыму полудня красном
У солнца нет победного луча.

Ты помнишь лик светила, но иного,
В тебя не те гляделися цветы,
И твой конец на сердце у больного,
Коль под землей не задохнешься ты.

Но не желай свидетелям безмолвным
До чар весны сберечь свой синий плен...
Ты не мечта, ты будешь только тлен
Раскованным и громозвучным волнам.

СНЕГ

Полюбил бы я зиму,
Да обуза тяжка...
От нее даже дыму
Не уйти в облака.

Эта резанность линий,
Этот грузный полет,
Этот нищенски синий
И заплаканный лед!

Но люблю ослабелый
От заоблачных нег —
То сверкающе белый,
То сиреневый снег...

И особенно талый,
Когда, выси открыв,
Он ложится усталый
На скользящий обрыв,

Точно стада в тумане
Непорочные сны —
На томительной грани
Всесожженья весны.

ДОЧЬ ИАИРА

Нежны травы, белы плиты,
И звонит победно медь:
«Голубые льды разбиты,
И они должны сгореть!»

Точно кружит солнце, зимний
Долгий плен свой позабыв;
Только мне в пасхальном гимне
Смерти слышится призыв.

Ведь под снегом сердце билось,
Там тянулась жизни нить:
Ту алмазную застылость
Надо было разбудить...

Для чего ж с конту́ров нежной,
Непорочной красоты
Грубо сорван саван снежный,
Жечь зачем ее цветы?

Для чего так сине пламя,
Раскаленность так бела,
И, гудя, с колоколами
Слили звон колокола?

Тот, грехи подъявший мира,
Осушавший реки слез,
Так ли дочерь Иаира
Поднял некогда Христос?

Не мигнул фитиль горящий,
Не зазыбил ветер ткань...
Подошел спаситель к спящей
И сказал ей тихо: «Встань».

ТРИЛИСТНИК ВАГОННЫЙ

ТОСКА ВОКЗАЛА

О, канун вечных будней,
Скуки липкое жало...
В пыльном зное полудней
Гул и краска вокзала...

Полумертвые мухи
На забитом киоске,
На пролитой известке
Слепы, жадны и глухи.

Флаг линяло-зеленый,
Пара белые взрывы,
И трубы отдаленной
Без отзыва призывы.

И эмблема разлуки
В обманувшем свиданьи —
Кондуктóр однорукий
У часов в ожиданьи...

Есть ли что-нибудь нудней,
Чем недвижная точка,
Чем дрожанье полудней
Над дремотой листочка...

Что-нибудь, но не это...
Подползай — ты обязан;
Как ты жарок, измазан,
Всё равно — ты не это!

Уничтожиться, канув
В этот омут безликий,
Прямо в одурь диванов,
В полосатые тики!..

В ВАГОНЕ

Довольно дел, довольно слов,
Побудем молча, без улыбок,
Снежит из низких облаков,
А горний свет уныл и зыбок.

В непостижимой им борьбе
Мятутся черные ракиты.
«До завтра, — говорю тебе, —
Сегодня мы с тобою квиты».

Хочу, не грезя, не моля,
Пускай безмерно виноватый,
Глядеть на белые поля
Через стекло с налипшей ватой.

А ты красуйся, ты — гори...
Ты уверяй, что ты простила,
Гори полоской той зари,
Вокруг которой всё застыло.

ЗИМНИЙ ПОЕЗД

Снегов немую черноту
Прожгло два глаза из тумана,
И дым остался на лету
Горящим золотом фонтана.

Я знаю — пышущий дракон,
Весь занесен пушистым снегом,
Сейчас порвет мятежным бегом
Завороженной дали сон.

А с ним, усталые рабы,
Обречены холодной яме,
Влачатся тяжкие гробы,
Скрипя и лязгая цепями.

Пока с разбитым фонарем,
Наполовину притушенным,
Среди кошмара дум и дрем
Проходит Полночь по вагонам.

Она — как призрачный монах,
И чем ее дозоры глуше,
Тем больше чада в черных снах,
И затеканий, и удуший;

Тем больше слов, как бы не слов,
Тем отвратительней дыханье,
И запрокинутых голов
В подушках красных колыханье.

Как вор, наметивший карман,
Она тиха, пока мы живы,
Лишь молча точит свой дурман
Да тушит черные наплывы.

А снизу стук, а сбоку гул,
Да всё бесцельней, безымянней...
И мерзок тем, кто не заснул,
Хаос полусуществований!

Но тает ночь... И дряхл и сед,
Еще вчера Закат осенний,
Приподнимается Рассвет
С одра его томившей Тени.

Забывшим за ночь свой недуг
В глаза опять глядит терзанье,
И дребезжит сильнее стук,
Дробя налеты обмерзанья.

Пары желтеющей стеной
Загородили красный пламень,
И стойко должен зуб больной
Перегрызать холодный камень.

ТРИЛИСТНИК БУМАЖНЫЙ

СПУТНИЦЕ

Как чисто гаснут небеса,
Какою прихотью ажурной
Уходят дальние леса
В ту высь, что знали мы лазурной..

В твоих глазах упрека нет:
Ты туч закатных догоранье
И сизо-розовый отсвет
Встречаешь, как воспоминанье.

Но я тоски не поборю:
В пустыне выжженного неба
Я вижу мертвую зарю
Из незакатного Эреба.

Уйдем... Мне более невмочь
Застылость этих четких линий
И этот свод картонно-синий...
Пусть будет солнце или ночь!..

НЕЖИВАЯ

На бумаге синей,
Грубо, грубо синей,
Но в тончайшей сетке,
Разметались ветки,
Ветки-паутинки.
А по веткам иней,
Самоцветный иней,
Точно сахаринки...
По бумаге синей
Разметались ветки,
Слезы были едки.
Бедная тростинка,
Милая тростинка,
И чего хлопочет?

Всё уверить хочет,
Что она живая,
Что, изнемогая —
(Полно, дорогая!) —
И она ждет мая,
Ветреных объятий
И зеленых платьев,
Засыпать под сказки
Соловьиной ласки,
И проснуться, щуря
Заспанные глазки
От огня лазури.
На бумаге синей,
Грубо, грубо синей
Разметались ветки,
Ветки-паутинки.
Заморозил иней
У сухой тростинки
На бумаге синей
Все ее слезинки.

ОФОРТ

Гул печальный и дрожащий
Не разлился — и застыл...
Над серебряною чащей
Алый дым и темный пыл.

А вдали рисунок четкий —
Леса синие верхи,
Как на меди крепкой водкой
Проведенные штрихи.

Ясен путь, да страшен жребий,
Застывая, онеметь, —
И по мертвом солнце в небе
Стонет раненая медь.

Неподвижно в кольца дыма
Черной думы врезан дым...
И она была язвима —
Только ядом долгих зим.

Я НА ДНЕ

Я на дне, я печальный обломок,
Надо мной зеленеет вода.
Из тяжелых стеклянных потемок
Нет путей никому, никуда...

Помню небо, зигзаги полета,
Белый мрамор, под ним водоем,
Помню дым от струи водомета,
Весь изнизанный синим огнем...

Если ж верить тем шепотам бреда,
Что томят мой постылый покой,
Там тоскует по мне Андромеда
С искалеченной белой рукой.

20 мая <1906>
Вологда

БРОНЗОВЫЙ ПОЭТ

На синем куполе белеют облака,
И четко ввысь ушли кудрявые вершины,
Но пыль уж светится, а тени стали длинны,
И к сердцу призраки плывут издалека.

Не знаю, повесть ли была так коротка,
Иль я не дочитал последней половины?..
На бледном куполе погасли облака,
И ночь уже идет сквозь черные вершины...

И стали — и скамья и человек на ней
В недвижном сумраке тяжеле и страшней.
Не шевелись — сейчас гвоздики засверкают,

Воздушные кусты сольются и растают,
И бронзовый поэт, стряхнув дремоты гнет,
С подставки на траву росистую спрыгнёт.

«PACE»[1]

СТАТУЯ МИРА

Меж золоченых бань и обелисков славы
Есть дева белая, а вкруг густые травы.

Не тешит тирс ее, она не бьет в тимпан,
И беломраморный ее не любит Пан,

Одни туманы к ней холодные ласкались,
И раны черные от влажных губ остались.

Но дева красотой по-прежнему горда,
И трав вокруг нее не косят никогда.

Не знаю почему — богини изваянье
Над сердцем сладкое имеет обаянье...

Люблю обиду в ней, ее ужасный нос,
И ноги сжатые, и грубый узел кос.

Особенно, когда холодный дождик сеет,
И нагота ее беспомощно белеет...

О, дайте вечность мне, — и вечность я отдам
За равнодушие к обидам и годам.

ТРИЛИСТНИК ИЗ СТАРОЙ ТЕТРАДИ

ТОСКА МАЯТНИКА

Неразгаданным надрывом
Подоспел сегодня срок:
В стекла дождик бьет порывом,
Ветер пробует крючок.

Точно вымерло всё в доме...
Желт и черен мой огонь,

[1] Мир (итал.). — *Ред.*

Где-то тяжко по соломе
Переступит, звякнув, конь.

Тело скорбно и разбито,
Но его волнует жуть,
Что обиженно-сердито
Кто-то мне не даст уснуть.

И лежу я околдован,
Разве тем и виноват,
Что на белый циферблат
Пышный розан намалеван.

Да по стенке ночь и день,
В душной клетке человечьей,
Ходит-машет сумасшедший,
Волоча немую тень.

Ходит-ходит, вдруг отскочит,
Зашипит — отмерил час,
Зашипит и захохочет,
Залопочет, горячась.

И опять шагами мерить
На стене дрожащий свет,
Да стеречь, нельзя ль проверить,
Спят ли люди или нет.

Ходит-машет, а для такта
И уравнивая шаг,
С злобным рвеньем «так-то, так-то»
Повторяет маниак...

Всё потухло. Больше в яме
Не видать и не слыхать...
Только кто же там махать
Продолжает рукавами?

Нет. Довольно... хоть едва,
Хоть тоскливо даль белеет,
И на пледе голова
Не без сладости хмелеет.

КАРТИНКА

Мелко, мелко, как из сита,
В тарантас дождит туман,
Бледный день встает сердито,
Не успев стряхнуть дурман.

Пуст и ровен путь мой дальний...
Лишь у черных деревень
Бесконечный всё печальней,
Словно дождь косой плетень.

Чу... Проснулся грай вороний,
В шалаше встает пастух,
И сквозь тучи липких мух
Тяжело ступают кони.

Но узлы седых хвостов
У буланой нашей тройки,
Доски свежие мостов,
Доски черные постройки, —

Всё поплыло в хлябь и смесь,
Пересмякло, послипалось...
Ночью мне совсем не спалось,
Не попробовать ли здесь?

Да, заснешь... чтоб быть без шапки.
Вот дела... — Держи к одной! —
Глядь — замотанная в тряпки
Амазонка предо мной.

Лет семи всего — ручонки
Так и впилися в узду,
Не дают плестись клячонке,
А другая — в поводу.

Жадным взглядом проводила,
Обернувшись, экипаж
И в тумане затрусила,
Чтоб исчезнуть, как мираж.

И щемящей укоризне
Уступило забытье:
«Это — праздник для нее.
Это — утро, утро жизни».

СТАРАЯ УСАДЬБА

Сердце дома. Сердце радо. А чему?
Тени дома? Тени сада? Не пойму.

Сад старинный, всё осины — тощи, страх!
Дом — руины.. Тины, тины что в прудах...

Что утрат-то!.. Брат на брата... Что обид!..
Прах и гнилость... Накренилось... А стоит...

Чье жилище? Пепелище?.. Угол чей?
Мертвой нищей логови́ще без печей...

Ну как встанет, ну как глянет из окна:
«Взять не можешь, а тревожишь, старина!

Ишь затейник! Ишь забавник! Что за прыть!
Любит древних, любит давних ворошить...

Не сфальшивишь, так иди уж: у меня
Не в окошке, так из кошки два огня.

Дам и брашна — волчьих ягод, белены...
Только страшно — месяц за год у луны...

Столько вышек, столько лестниц — двери нет...
Встанет месяц, глянет месяц — где твой след?..»

Тсс... ни слова... даль былого — но сквозь дым
Мутно зрима... Мимо, мимо... И к живым!

Иль истомы сердцу надо моему?
Тени дома? Шума сада?... Не пойму...

ТРИЛИСТНИК ТОЛПЫ

ПРЕЛЮДИЯ

Я жизни не боюсь. Своим бодрящим шумом
Она дает гореть, дает светиться думам.
Тревога, а не мысль растет в безлюдной мгле,
И холодно цветам ночами в хрустале.
Но в праздности моей рассеяны мгновенья,
Когда мучительно душе прикосновенье,
И я дрожу средь вас, дрожу за свой покой,
Как спичку на ветру загородив рукой...
Пусть это только миг... В тот миг меня
не трогай,
Я ощупью иду тогда своей дорогой...
Мой взгляд рассеянный в молчаньи заприметь
И не мешай другим вокруг меня шуметь.
Так лучше. Только бы меня не замечали
В тумане, может быть, и творческой печали.

ПОСЛЕ КОНЦЕРТА

В аллею черные спустились небеса,
Но сердцу в эту ночь не превозмочь усталость...
Погасшие огни, немые голоса, —
Неужто это всё, что от мечты осталось?

О, как печален был одежд ее атлас,
И вырез жутко бел среди наплечий черных!
Как жалко было мне ее недвижных глаз
И снежной лайки рук, молитвенно-покорных!

А сколько было там развеяно души
Среди рассеянных, мятежных и бесслезных!
Что звуков пролито, взлелеянных в тиши,
Сиреневых, и ласковых, и звездных!

Так с нити порванной в волненьи иногда,
Средь месячных лучей, и нежны и огнисты,
В росистую траву катятся аметисты
И гибнут без следа.

БУДДИЙСКАЯ МЕССА В ПАРИЖЕ

Ф. Фр. Зелинскому

1

Колонны, желтыми увитые шелками,
И платья pêche[1] и mauve[2] в немного яркой раме
Среди струистых смол и лепета звонков,
И ритмы странные тысячелетних слов,
Слегка смягченные в осенней позолоте, —
Вы в памяти моей сегодня оживете.

2

Священнодействовал базальтовый монгол,
И таял медленно таинственный глагол
В капризно созданном среди музея храме,
Чтоб дамы черными играли веерами
И, тайне чуждые, как свежий их ирис,
Лишь переводчикам внимали строго мисс.

3

Мой взор рассеянный шелков ласкали пятна,
Мне в таинстве была лишь музыка понятна,
Но тем внимательней созвучья я ловил,
Я ритмами дышал, как волнами кадил,
И было стыдно мне пособий бледной прозы
Для той мистической и музыкальной грезы.

4

Обедня кончилась, и сразу ожил зал,
Монгол с улыбкою цветы нам раздавал,
И, экзотичные вдыхая ароматы,
Спешили к выходу певцы и дипломаты,
И дамы, бережно поддерживая трен, —
Чтоб слушать вечером Маскотту иль Кармен.

---

[1] Желтый. цвета персика (франц.). — *Ред.*
[2] Лиловато-розовый (франц.). — *Ред.*

5

А в воздухе жила непонятая фраза,
Рожденная душой в мучении экстаза,
Чтоб чистые сердца в ней пили благодать
И странно было мне, и жутко увидать,
Как над улыбками спускалися вуали
И пальцы нежные цветы богов роняли.

ТРИЛИСТНИК БАЛАГАННЫЙ

СЕРЕБРЯНЫЙ ПОЛДЕНЬ

Серебряным блеском туман
К полудню еще не развеян,
К полудню от солнечных ран
Стал даже желтее туман,
Стал даже желтей и мертвей он,
А полдень горит так суров,
Что мне в этот час неприятны
Лиловых и алых шаров
Меж клочьями мертвых паров
В глаза замелькавшие пятна.
И что ей тут надо скакать,
Безумной и радостной своре,
Всё солнце ловить и искать?
И солнцу с чего ж их ласкать,
Воздушных на мертвом просторе!
Подумать, что помпа бюро,
Огней и парчи серебро,
Должна потускнеть в фимиаме:
Пришли Арлекин и Пьеро,
О, белая помпа бюро!
И стали у гроба с свечами!

ШАРИКИ ДЕТСКИЕ

Шарики, шарики!
Шарики детские!
Деньги отецкие!
Покупайте, сударики, шарики!
Эй, лисья шуба, коли есть лишни,
Не пожалей пятишни:
Запущу под самое нёбо —
Два часа потом глазей, да в оба!
Хорошо ведь, говорят, на воле.
Чирикнуть, ваше степенство, что ли?
Прикажите для общего восторгу,
Три семьдесят пять — без торгу!
    Ужели же менее
    За освободительное движение?
    Что? Пасуешь?..
Эй, тетка! Который торгуешь?
    Мал?
Извините, какого поймал...
    Бывает —
Другой и вырастает,
А наш Тит
Так себя понимает,
Что брюха не растит,
А всё по верхам глядит
От больших от дум!..
Ты который торгуешь?
Да не мни, не кум,
Наблудишь — не надуешь...
    Шарики детски,
    Красны, лиловы,
    Очень дешёвы!
    Шарики детски!
Эй, воротник, говоришь по-немецки?
Так бери десять штук по пáрам,
Остальные даром...
Жалко, ты по-немецки слабенек,
А не то — уговор лучше денег!
Пожалте, старичок!
Как вы — чок в чок —
Вот этот пузатенький,

Желтоватенький
И на сердце с Катенькой...
Цена не цена —
Всего пятак,
Да разве еще четвертак,
А прибавишь гривенник для барства, —
Бери с гербом государства!
Шарики детски, шарики!
Вам, сударики, шарики,
А нам бы, сударики, на шкалики!..

УМИРАНИЕ

Слава богу, снова тень!
Для чего-то спозаранья
Надо мною целый день
Длится это умиранье,
Целый сумеречный день!
Между старых желтых стен,
Доживая горький плен,
Содрогается опалый
Шар на нитке, темно-алый,
Между старых желтых стен!
И бессильный, точно тень,
В этот сумеречный день
Всё еще он тянет нитку
И никак не кончит пытку
В этот сумеречный день...
Хоть бы ночь скорее, ночь!
Самому бы изнемочь,
Да забыться примиренным,
И уйти бы одуренным
В одуряющую ночь!
Только б тот над головой,
Темно-алый, чуть живой,
Подождал пока над ложем
Быть таким со мною схожим...
Этот темный, чуть живой,
Там, над самой головой...

ТРИЛИСТНИК ВЕСЕННИЙ

ЧЕРНАЯ ВЕСНА

Под гулы меди — гробовой
Творился перенос,
И, жутко задран, восковой
Глядел из гроба нос.

Дыханья, что ли, он хотел
Туда, в пустую грудь? . .
Последний снег был темно-бел,
И тяжек рыхлый путь.

И только изморозь, мутна,
На тление лилась,
Да тупо черная весна
Глядела в студень глаз —

С облезлых крыш, из бурых ям,
С позеленелых лиц. . .
А там, по мертвенным полям,
С разбухших крыльев птиц. . .

О люди! Тяжек жизни след
По рытвинам путей,
Но ничего печальней нет,
Как встреча двух смертей.

19 марта 1906
Тотьма

ПРИЗРАКИ

И бродят тени, и молят тени:
«Пусти, пусти!»
От этих лунных осеребрений
Куда ж уйти?

Зеленый призрак куста сирени
Прильнул к окну...
Уйдите, тени, оставьте, тени,
Со мной одну...

Она недвижна, она немая,
С следами слез,
С двумя кистями сиреней мая
В извивах кос...

Но и неслышным я верен пеням,
И, как в бреду,
На гравий сада я по ступеням
За ней сойду...

О бледный призрак, скажи скорее
Мои вины,
Покуда стекла на галерее
Еще черны.

Цветы завянут, цветы обманны,
Но я... я — твой!
В тумане холод, в тумане раны
Перед зарей...

ОБЛАКА

Пережи́ты ли тяжкие проводы,
Иль глаза мне глядят неизбежные,
Как тогда вы мне кажетесь молоды,
Облака, мои лебеди нежные!

Те не снятся ушедшие грозы вам,
Всё бы в небе вам плавать да нежиться,
Только под вечер в облаке розовом
Будто девичье сердце забрезжится...

Но не дружны вы с песнями звонкими,
Разойдусь я, так вы затуманитесь,
Безнадежно, полосками тонкими,
Расплываясь, друг к другу всё тянетесь...

Улетели и песни пугливые,
В сердце радость сменилась раскаяньем,
А вы всё надо мною, ревнивые,
Будто плачете дымчатым таяньем...

ТРИЛИСТНИК ШУТОЧНЫЙ

ПЕРЕБОЙ РИТМА

Сонет

Как ни гулок, ни живуч — Ям —
— б, утомлен и он, затих
Средь мерцаний золотых,
Уступив иным созвучьям.

То-то вдруг по голым сучьям
Прозы утра, град шутих,
На листы веленьем щучьим
За стихом поскачет стих.

Узнаю вас, близкий рампе,
Друг крылатый эпиграмм, Пэ —
— она третьего размер.

Вы играли уж при мер —
— цаньи утра бледной лампе
Танцы нежные Химер.

ПЭОН ВТОРОЙ — ПЭОН ЧЕТВЕРТЫЙ

Сонет

На службу Лести иль Мечты
Равно готовые консорты,
Назвать вас *вы,* назвать вас *ты*,
Пэон второй — пэон четвертый?

Как на монетах, ваши стерты
Когда-то светлые черты,
И строки мшистые плиты
Глазурью льете вы на торты.

Вы — сине-призрачных высот
В колодце снимок помертвелый,
Вы — блок пивной осатанелый,

Вы — тот посыльный в Новый год,
Что орхидеи нам несет,
Дыша в башлык обледенелый.

ЧЕЛОВЕК

Сонет

Я завожусь на тридцать лет,
Чтоб жить, мучительно дробя
Лучи от призрачных планет
На «да» и «нет», на «ах!» и «бя»,

Чтоб жить, волнуясь и скорбя
Над тем, чего, гляди, и нет...
И был бы, верно, я поэт,
Когда бы выдумал себя.

В работе ль там не без прорух,
Иль в механизме есть подвох,
Но был бы мой свободный дух —

Теперь не дух, я был бы бог...
Когда б не *пиль* да не *тубо,*
Да не *тю-тю* после *бо-бо!*..

ТРИЛИСТНИК ЗАМИРАНИЯ

Я ЛЮБЛЮ

Я люблю замирание эхо
После бешеной тройки в лесу,
За сверканьем задорного смеха
Я истомы люблю полосу.

Зимним утром люблю надо мною
Я лиловый разлив полутьмы,
И, где солнце горело весною,
Только розовый отблеск зимы.

Я люблю на бледнеющей шири
В переливах растаявший цвет...
Я люблю всё, чему в этом мире
Ни созвучья, ни отзвука нет.

ЗАКАТНЫЙ ЗВОН В ПОЛЕ

В блестках туманится лес,
В тенях меняются лица,
В синюю пу́стынь небес
Звоны уходят молиться...

Звоны, возьмите меня!
Сердце так слабо и сиро,
Пыль от сверкания дня
Дразнит возможностью мира.

Что он сулит, этот зов?
Или и мы там застынем,
Как жемчуга островов
Стынут по заводям синим?..

ОСЕНЬ

. . . .

Не било четырех... Но бледное светило
Едва лишь купола над нами золотило

И, в выцветшей степи туманная река,
Так плавно двигались над нами облака,

И столько мягкости таило их движенье,
Забывших яд измен и муку расторженья,

Что сердцу музыки хотелось для него...
Но снег лежал в горах, и было там мертво,

И оборвали в ночь свистевшие буруны
Меж небом и землей протянутые струны...

А к утру кто-то нам, развеяв молча сны,
Напомнил шепотом, что мы осуждены.

Гряда не двигалась и точно застывала,
Ночь надвигалась ощущением провала...

ТРИЛИСТНИК ОДИНОЧЕСТВА

ЛИШЬ ТОМУ, ЧЕЙ ПОКОЙ ТАИМ

Лишь тому, чей покой таим,
Сладко дышится...
Полотно над окном моим
Не колышется.

Ты придешь, коль верна мечтам,
Только та ли ты?
Знаю: сад там, сирени там
Солнцем залиты.

Хорошо в голубом огне,
В свежем шелесте;
Только яркой так чужды мне
Чары прелести...

Пчелы в улей там носят мед,
Пьяны гроздами...
Сердце ж только во сне живет
Между звездами..

АРОМАТ ЛИЛЕИ МНЕ ТЯЖЕЛ

Аромат лилеи мне тяжел,
Потому что в нем таится тленье...
Лучше смол дыханье, синих смол,
Только пить его без разделенья...

Оттолкнув соблазны красоты,
Я влюблюсь в ее миражи в дыме...
И огней нетленные цветы
Я один увижу голубыми...

ДАЛЬНИЕ РУКИ

Зажим был так сладостно сужен,
Что пурпур дремоты поблек, —
Я розовых, узких жемчужин
Губами узнал холодок.

О сестры, о нежные десять,
Две ласково дружных семьи,
Вас пологом ночи завесить
Так рады желанья мои.

Вы — гейши фонарных свечений,
Пять роз, обрученных стеблю,
Но нет у Киприды священней
Не сказанных вами *люблю*.

Как мускус мучительный мумий,
Как душный тайник тубероз,
И я только стеблем раздумий
К пугающей сказке прирос...

Мои вы, о дальние руки,
Ваш сладостно-сильный зажим
Я выносил в холоде скуки,
Я счастьем обвеял чужим.

Но знаю... дремотно хмелея,
Я брошу волшебную нить,
И мне будут сниться, алмея,
Слова, чтоб тебя оскорбить.

20—24 октября 1909

СКЛАДНИ

ДОБРОДЕТЕЛЬ

1
РАБОЧАЯ КОРЗИНКА

У раздумий беззвучны слова,
Как искать их люблю в тишине я!
Надо только,
                черна и мертва,
Чтобы ночь позабылась полнее,
Чтобы ночь позабылась скорей
Между редких своих фонарей,
        За углом,
    Как покинутый дом...
Позабылась по тихим столовым,
        Над тобою, в лиловом...
    Чтоб со скатерти трепетный круг
    Не спускал своих желтых разлитий,
    И мерцанья замедленных рук
    Разводили там серые нити,
И чтоб ты разнимала с тоской
Эти нити одну за другой,
    Разнимала и после клубила,
    И сиреневой редью игла
    За мерцающей кистью ходила.
А потом, равнодушно светла,
    С тихим скрипом соломенных петель,
    Бережливо простыни сколов,
    Там заснула и ты, Добродетель,
    Между путанно-нежных мотков...

2

СТРУЯ РЕЗЕДЫ В ТЕМНОМ ВАГОНЕ

Dors, dors, mon enfant! [1]

Не буди его в тусклую рань,
Поцелуем дремоту согрей...
Но сама — вся дрожащая — встань:
Ты одна, ты царишь... Но скорей!
    Для тебя оживил я мечту,
    И минуты ее на счету...

. . . .

Так беззвучна, черна и тепла
Резедой напоенная мгла...
    В голубых фонарях,
    Меж листов на ветвях,
        Без числа
Восковые сиянья плывут,
        И в саду,
        Как в бреду,
    Хризантемы цветут...

. . . .

Всё, что можешь ты *там,* всё ты смеешь теперь,
    Ни мольбам, ни упрекам не верь!

. . . .

    Пока свечи плывут
    И левкои живут,
Пока дышит во сне резеда —
Здесь ни мук, ни греха, ни стыда...
    Ты боишься в крови
    Своих хо́леных ног,
    И за белый венок
    В беспорядке косы?
    О, молчи! Не зови!
    Как минуты — часы
Не таимой и нежной красы.
. . . . .На ветвях,
В фонарях догорела мечта
    Голубых хризантем...

. . . .

[1] Спи, спи, мое дитя! (франц.). — *Ред.*

Ты очнешься — свежа и чиста,
И совсем... о, совсем!
Без смятенья в лице,
В обручальном кольце

. . . .

Стрелка будет показывать *семь*...

11 декабря 1908

КОНТРАФАКЦИИ

ВЕСНА

В жидкой заросли парка береза жила,
И черна, и суха, как унылость...
В майский полдень там девушка шляпу сняла,
И коса у нее распустилась.
Ее милый дорезал узорную вязь,
И на ветку березы, смеясь,
Он цветистую шляпу надел.

. . . .

Это май подглядел
И дивился с своей голубой высоты,
Как на мертвой березе и ярки цветы...

ОСЕНЬ

. . . .

И всю ночь там по месяцу дымы вились,
И всю ночь кто-то жалостно-чуткий
На скамье там дремал, уходя в котелок.

. . . .

А к рассвету в молочном тумане повис
На березе искривленно-жуткий
И мучительно-черный стручок,
Чуть пониже растрепанных гнезд,
А длиной — в человеческий рост...
И глядела с сомнением про́синь
На родившую позднюю осень.

1
НЕБО ЗВЕЗДАМИ В ТУМАНЕ...

Небо звездами в тумане не расцветится,
Робкий вечер их сегодня не зажег...
Только томные по окнам елки светятся,
Да, кружася, заметает нас снежок.

Мех ресниц твоих снежинки закидавшие
Не дают тебе в глаза мои смотреть,
Сами слезы, только сердца не сжигавшие,
Сами звезды, но уставшие гореть...

Это их любви безумною обидою
Против воли твои звезды залиты...
И мучительно снежинкам я завидую,
Потому что ими плачешь ты...

2
МИЛАЯ

— «Милая, милая, где ж ты была
Ночью в такую метелицу?»
— «Горю и ночью дорога светла,
К дедке ходила на мельницу».

— «Милая, милая, я не пойму
Речи с словами притворными.
С чем же ты ночью ходила к нему?»
— «С чем я ходила? Да с зернами».

— «Милая, милая, зерна-то чьи ж?
Жита я нынче не кашивал!»
— «Зерна-то чьи, говоришь? Да твои ж...
Впрочем, хозяин не спрашивал...»

— «Милая, милая, где же мука?
Куль-то, что был под передником?»
— «У колеса, где вода глубока...
Лысый сегодня с наследником...»

15 апреля 1907
Царское Село

ДВА ПАРУСА ЛОДКИ ОДНОЙ

Нависнет ли пламенный зной
Иль, пенясь, расходятся волны,
Два паруса лодки одной,
Одним и дыханьем мы полны.

Нам буря желанья слила,
Мы свиты безумными снами,
Но молча судьба между нами
Черту навсегда провела.

И в ночи беззвездного юга,
Когда так привольно-темно,
Сгорая, коснуться друг друга
Одним парусам не дано...

1904

ДВЕ ЛЮБВИ

С. В. ф.-Штейн

Есть любовь, похожая на дым:
Если тесно ей — она дурманит,
Дай ей волю — и ее не станет...
Быть как дым, — но вечно молодым.

Есть любовь, похожая на тень:
Днем у ног лежит — тебе внимает,
Ночью так неслышно обнимает...
Быть как тень, но вместе ночь и день...

ДРУГОМУ

Я полюбил безумный твой порыв,
Но быть тобой и мной нельзя же сразу,
И, вещих снов иероглифы раскрыв,
Узорную пишу я четко фразу.

Фигурно там отобразился страх,
И как тоска бумагу сердца мяла,
Но по строкам, как призрак на пирах,
Тень движется так деланно и вяло.

Твои мечты — менады по ночам,
И лунный вихрь в сверкании размаха
Им волны кос взметает по плечам.
Мой лучший сон — за тканью Андромаха.

На голове ее эшафодаж,
И тот прикрыт кокетливо платочком,
Зато нигде мой строгий карандаш
Не уступал своих созвучий точкам.

Ты весь — огонь. И за костром ты чист.
Испепелишь, но не оставишь пятен,
И бог ты там, где я лишь моралист,
Ненужный гость, неловок и невнятен.

Пройдут года... Быть может, месяца...
Иль даже дни, и мы сойдем с дороги:
Ты — в лепестках душистого венца,
Я просто так, задвинутый на дроги.

Наперекор завистливой судьбе
И нищете убого-слабодушной,
Ты памятник оставишь по себе,
Незыблемый, хоть сладостно-воздушный...

Моей мечты бесследно минет день...
Как знать? А вдруг с душой, подвижней моря,
Другой поэт ее полюбит тень
В нетронуто-торжественном уборе...

Полюбит, и узнает, и поймет,
И, увидав, что тень проснулась, дышит, —
Благословит немой ее полет
Среди людей, которые не слышат...

Пусть только бы в круженьи бытия
Не вышло так, что этот дух влюбленный,
Мой брат и маг не оказался я
В ничтожестве слегка лишь подновленный.

ОН И Я

Давно меж листьев налились
Истомой розовой тюльпаны,
Но страстно в сумрачную высь
Уходит рокот фортепьянный.

И мука там иль торжество,
Разоблаченье иль загадка,
Но он — ничей, а вы — его,
И вам сознанье это сладко.

А я лучей иной звезды
Ищу в сомненьи и тревожно,
Я, как настройщик, все лады
Перебираю осторожно.

Темнеет... Комната пуста,
С трудом я вспоминаю что-то,
И безответна, и чиста,
За нотой умирает нота.

НЕВОЗМОЖНО

Есть слова — их дыханье, что цвет,
Так же нежно и бело-тревожно,
Но меж них ни печальнее нет,
Ни нежнее тебя, *невозможно*.

Не познав, я в тебе уж любил
Эти в бархат ушедшие звуки:
Мне являлись мерцанья могил
И сквозь сумрак белевшие руки.

Но лишь в белом венце хризантем,
Перед первой угрозой забвенья,
Этих *ве*, этих *зэ*, этих *эм*
Различить я сумел дуновенья.

И, запомнив, невестой в саду
Как в апреле тебя разубрали, —
У забитой калитки я жду,
Позвонить к сторожам не пора ли.

Если слово за словом, что цвет,
Упадает, белея тревожно,
Не печальных меж павшими нет,
Но люблю я одно — *невозможно*.

1907
Царское Село

СЕСТРЕ

А. Н. Анненской

Вечер. Зеленая детская
С низким ее потолком.
Скучная книга немецкая.
Няня в очках и с чулком.

Желтый, в дешевом издании,
Будто я вижу роман...
Даже прочел бы название,
Если б не этот туман.

Вы еще были Алиною,
С розовой думой в очах,
В платье с большой пелериною,
С серым платком на плечах...

В стул утопая коленами,
Взора я с вас не сводил,
Нежные, с тонкими венами,
Руки я ваши любил.

Слов непонятных течение
Было мне музыкой сфер...
Где ожидал столкновения
Ваших особенных *р*...

В медном подсвечнике сальная
Свечка у няни плывет...
Милое, тихо-печальное,
Всё это в сердце живет...

ЗАБВЕНИЕ

Нерасцепленные звенья,
Неосиленная тень, —
И забвенье, но забвенье,
Как осенний мягкий день,

Как полудня солнце в храме
Сквозь узор стекла цветной, —
С заметенною листами,
Но горящею волной...

Нам — упреки, нам — усталость,
А оно уйдет, как дым,
Пережито, но осталось
На портрете молодым.

СТАНСЫ НОЧИ

О. П. Хмара-Барщевской

Меж теней погасли солнца пятна
На песке в загрезившем саду.
Всё в тебе так сладко-непонятно,
Но твое запомнил я: «Приду».

Черный дым, но ты воздушней дыма,
Ты нежней пушинок у листа,
Я не знаю, кем, но ты любима,
Я не знаю, чья ты, но мечта.

За тобой в пустынные покои
Не сойдут алмазные огни,
Для тебя душистые левкои
Здесь ковром раскинулись одни...

Эту ночь я помню в давней грезе,
Но не я томился и желал:
Сквозь фонарь, забытый на березе,
Талый воск и плакал и пылал.

МЕСЯЦ

Sunt mihi bis septem.[1]

Кто сильнее меня — их и сватай...
Истомились — и всё не слились:
Этот сумрак голубоватый
И белесая высь...

[1] Мои дважды семь (лат.). — *Ред.*

Этот мартовский колющий воздух
С зябкой ночью на талом снегу
В еле тронутых зеленью звездах
Я сливаю и слить не могу...

Уж не ты ль и колдуешь, жемчужный,
Ты, кому остальные ненужны,

Их не твой ли развел и ущерб,
На горелом пятне желтосерп,

Ты, скиталец небес праздносумый,
С иронической думой?..

ТОСКА МЕДЛЕННЫХ КАПЕЛЬ

О, капли в ночной тишине,
Дремотного духа трещотка,
Дрожа набухают оне
И падают мерно и четко.

В недвижно-бессонной ночи
Их лязга не ждать не могу я:
Фитиль одинокой свечи
Мигает и пышет тоскуя.

И мнится, я должен, таясь,
На странном присутствовать браке,
Поняв безнадежную связь
Двух тающих жизней во мраке.

ТРИНАДЦАТЬ СТРОК

Я хотел бы любить облака
На заре... Но мне горек их дым:
Так неволя тогда мне тяжка,
Так я помню, что был молодым.

Я любить бы их вечер хотел,
Когда, рдея, там гаснут лучи,
Но от жертвы их розовых тел
Только пепел мне снится в ночи.

Я люблю только ночь и цветы
В хрустале, где дробятся огни,
Потому что утехой мечты
В хрустале умирают они...
Потому что — цветы это ты.

ОРЕАНДА

Ни белой дерзостью палат на высотах,
С орлами яркими в узорных воротах,
Ни женской прихотью арабских очертаний
Не мог бы сердца я лелеять неустанней.
Но в пятнах розовых по силуэтам скал
Напрасно я души, своей души искал...
Я с нею встретился в картинном запустеньи
Сгоревшего дворца — где нежное цветенье
Бежит по мрамору разбитых ступеней,
Где в полдень старый сад печальней и темней,
А синие лучи струятся невозбранно
По блеклости панно и забытью фонтана.
Я будто чувствовал, что там ее найду,
С косматым лебедем играющей в пруду,
И что поделимся мы ветхою скамьею
Близ корня дерева, что поднялся змеею,
Дорогой на скалу, где грезит крест литой
Над просветленною страданьем красотой.

ДРЕМОТНОСТЬ

Сонет

В гроздьях розово-лиловых
Безуханная сирень
В этот душно-мягкий день
Неподвижна, как в оковах.

Солнца нет, но с тенью тень
В сочетаньях вечно новых,
Нет дождя, а слез готовых
Реки — только литься лень.

Полусон, полусознанье,
Грусть, но без воспоминанья,
И всему простит душа...

А, доняв ли, холод ранит,
Мягкий дождик не спеша
Так бесшумно барабанит.

НЕРВЫ

(Пластинка для граммофона)

Как эта улица пыльна, раскалена!
Что за печальная, о господи, сосна!

Балкон под крышею. Жена мотает гарус.
Муж так сидит. За ними холст как парус.

Над самой клумбочкой прилажен их балкон.
«Ты думаешь — не он... А если он?
Всё вяжет, боже мой... Посудим хоть немножко...»
...*Морошка, ягода морошка!..*
— «Вот только бы спустить лиловую тетрадь?»
— «Что, барыня, шпинату будем брать?»
— «Возьмите, Аннушка!»
— «Да там еще на стенке
Видал записку я, так...»
...*Хороши гребэнки!*
— «А... почтальон идет... Петровым писем нет?»
— «Корреспонденции одна газета «Свет».
— «Ну что ж? устроила?» — «Спалила под плитою».
— «Неосмотрительность какая!.. Перед тою?
А я тут так решил: сперва соображу,
И уж потом тебе все факты изложу...
Еще чего у нас законопатить нет ли?»
— «Я всё сожгла». — Вздохнув, считает молча петли...

— «Не замечала ты: сегодня мимо нас
Какой-то господин проходит третий раз?»
— «Да мало ль ходит их...»
— «Но этот ищет, рыщет,
И по глазам заметно, что он сыщик!..»
— «Чего ж у нас искать-то? Боже мой!»
— «А Вася-то зачем не сыщется домой?»
— «Там к барину пришел за пачпортами дворник».
— «Ко мне пришел?.. А день какой?»
— «Авторник».
— «Не выйдешь ли к нему, мой друг? Я нездоров».
...Ландышов, свежих ландышов!
— «Ну что? Как с дворником? Ему бы хоть
прибавить!»
— «Вот вздор какой. За что же?»
...Бритвы праветь...
— «Присядь же ты спокойно! Кись-кись-кись...»
— «Ах, право, шел бы ты по воздуху пройтись!
Иль ты вообразил, что мне так сладко маяться...»
Яица свежие, яица!
Яичек свеженьких?..
Но вылилась и злоба...
Расселись по углам и плачут оба...
Как эта улица пыльна, раскалена!
Что за печальная, о господи, сосна!

12 июля 1909
Царское Село

ВЕСЕННИЙ РОМАНС

Еще не царствует река,
Но синий лед она уж топит;
Еще не тают облака,
Но снежный кубок солнцем допит.

Через притворенную дверь
Ты сердце шелестом тревожишь...
Еще не любишь ты, но верь:
Не полюбить уже не можешь...

ОСЕННИЙ РОМАНС

Гляжу на тебя равнодушно,
А в сердце тоски не уйму...
Сегодня томительно-душно,
Но солнце таится в дыму.

Я знаю, что сон я лелею,
Но верен хоть снам я, — а ты? ..
Ненужною жертвой в аллею
Падут, умирая, листы...

Судьба нас сводила слепая:
Бог знает, мы свидимся ль *там*...
Но знаешь? .. Не смейся, ступая
Весною по мертвым листам!

1903

СРЕДИ МИРОВ

Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя...
Не потому, чтоб я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной молю ответа,
Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света.

1901

МИРАЖИ

То полудня пламень синий,
То рассвета пламень алый,
Я ль устал от четких линий,
Солнце ль самое устало —

Но чрез полог темнолистый
Я дождусь другого солнца

Цвета мальвы золотистой
Или розы и червонца.

Будет взорам так приятно
Утопать в сетях зеленых,
А потом на темных кленах
Зажигать цветные пятна.

Пусть миражного круженья
Через миг погаснут светы...
Пусть я — радость отраженья,
Но не то ль и вы, поэты?

ГАРМОНИЯ

В тумане волн и брызги серебра,
И стертые эмалевые краски...
Я так люблю осенние утра
За нежную невозвратимость ласки!

И пену я люблю на берегу,
Когда она белеет беспокойно...
Я жадно здесь, покуда небо знойно,
Остаток дней туманных берегу.

А где-то там мятутся средь огня
Такие ж *я*, без счета и названья,
И чье-то молодое за меня
Кончается в тоске существованье.

ВТОРОЙ МУЧИТЕЛЬНЫЙ СОНЕТ

Вихри мутного ненастья
Тайну белую хранят...
Колокольчики запястья
То умолкнут, то звенят.

Ужас краденого счастья —
Губ холодных мед и яд
Жадно пью я, весь объят
Лихорадкой сладострастья.

Этот сон, седая мгла,
Ты одна создать могла,
Снега скрип, мельканье тени,

На стекле узор курений,
И созвучье из тепла
Губ, и меха, и сиреней.

БАБОЧКА ГАЗА

Скажите, что сталось со мной?
Что сердце так жарко забилось?
Какое безумье волной
Сквозь камень привычки пробилось?

В нем сила иль мука моя,
В волненьи не чувствую сразу:
С мерцающих строк бытия
Ловлю я забытую фразу...

Фонарь свой не водит ли тать
По скопищу литер унылых?
Мне фразы нельзя не читать,
Но к ней я вернуться не в силах...

Не вспыхнуть ей было невмочь,
Но мрак она только тревожит:
Так бабочка газа всю ночь
Дрожит, а сорваться не может...

ПРЕРЫВИСТЫЕ СТРОКИ

Этого быть не может,
    Это — подлог,
День так тянулся и дожит,
    Иль, не дожив, изнемог? ..
    Этого быть не может...
С самых тех пор
В горле какой-то комок...
        Вздор...
Этого быть не может...
    Это — подлог...
Ну-с, проводил на поезд,
    Вернулся, и solo[1], да!
Здесь был ее кольчатый пояс,
    Брошка лежала — звезда,
Вечно открытая сумочка
    Без замка,
И, так бесконечно мягка,
В прошивках красная думочка...

. . . .

    Зал...
Я нежное что-то сказал,
    Стали прощаться,
Возле часов у стенки...
Губы не смели разжаться,
    Склеены...
Оба мы были рассеянны,
Оба такие холодные...
    Мы...
Пальцы ее в черной митенке
    Тоже холодные...
«Ну, прощай до зимы,
Только не той, и не другой,
И не еще — после другой...
    Я ж, дорогой,
    Ведь не свободная...»
— «Знаю, что ты — в застенке...»

---

[1] Один (итал.). — *Ред.*

После она
Плакала тихо у стенки,
И стала бумажно-бледна...
Кончить бы злую игру...
Что ж бы еще?
Губы хотели любить горячо,
А на ветру
Лишь улыбались тоскливо...
Что-то в них было застыло,
Даже мертво...
Господи, я и не знал, до чего
Она некрасива...
Ну, слава богу, пускают садиться...
Мокрым платком осушая лицо,
Мне отдала она это кольцо...
Слиплись еще раз холодные лица,
Как в забытьи, —
И
Поезд еще стоял —
Я убежал...
Но этого быть не может,
Это — подлог...
День или год и уж дожит,
Иль, не дожив, изнемог...
Этого быть не может...

Июнь 1909
Царское Село

CANZONE[1]

Если б вдруг ожила небылица,
На окно я поставлю свечу,
Приходи... Мы не будем делиться,
Всё отдать тебе счастье хочу!

Ты придешь и на голос печали,
Потому что светла и нежна,
Потому что тебя обещали
Мне когда-то сирень и луна.

[1] Песня (итал.). — *Ред.*

Но... бывают такие минуты,
Когда страшно и пусто в груди...
Я тяжел — и немой и согнутый...
Я хочу быть один... уходи!

ДЫМЫ

В белом поле был пепельный бал,
Тени были там нежно-желанны,
Упоительный танец сливал,
И клубил, и дымил их воланы.

Чередой, застилая мне даль,
Проносились плясуньи мятежной,
И была вековая печаль
В нежном танце без музыки нежной.

А внизу содроганье и стук
Говорили, что ужас не прожит;
Громыхая цепями, Недуг
Там сковал бы воздушных — не может.

И была ль так постыла им степь,
Или мука капризно-желанна, —
То и дело железную цепь
Задевала оборка волана.

ДЕТИ

Вы за мною? Я готов.
Нагрешили, так ответим.
Нам — острог, но им — цветок...
Солнца, люди, нашим детям!

В детстве тоньше жизни нить,
Дни короче в эту пору...
Не спешите их бранить,
Но балуйте... без зазору.

Вы несчастны, если вам
Непонятен детский лепет,
Вызвать шепот — это срам,
Горший — в детях вызвать трепет.

Но безвинных детских слез
Не омыть и покаяньем,
Потому что в них Христос,
Весь, со всем своим сияньем.

Ну, а те, что терпят боль,
У кого как нитки руки...
Люди! Братья! Не за то ль
И покой наш только в муке...

МОЯ ТОСКА

М. А. Кузмину

Пусть травы сменятся над капищем волненья,
И восковой в гробу забудется рука,
Мне кажется, меж вас одно недоуменье
Всё будет жить мое, одна моя Тоска...

Нет, не о тех, увы! кому столь недостойно,
Ревниво, бережно и страстно был я мил...
О, сила любящих и в муке так спокойна,
У женской нежности завидно много сил.

Да и при чем бы здесь недоуменья были —
Любовь ведь светлая, она кристалл, эфир...
Моя ж безлюбая — дрожит, как лошадь в мыле!
Ей — пир отравленный, мошеннический пир!

В венке из тронутых, из вянущих азалий
Собралась петь она... Не смолк и первый стих,
Как маленьких детей у ней перевязали,
Сломали руки им и ослепили их.

Она бесполая, у ней для всех улыбки,
Она притворщица, у ней порочный вкус —

Качает целый день она пустые зыбки,
И образок в углу — сладчайший Иисус...

Я выдумал ее — и всё ж она виденье,
Я не люблю ее — и мне она близка,
Недоумелая, мое недоуменье,
Всегда веселая, она моя тоска.

12 ноября 1909
Царское Село

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В СБОРНИКИ

NOCTURNO[1]

(Другу моему С. К. Буличу)

Темную выбери ночь и в поле, безлюдном и голом,
В мрак окунись... пусть ветер, провеяв, утихнет,
Пусть в небе холодном тусклые звезды, мигая,
задремлют...
Сердцу скажи, чтоб ударов оно не считало...
Шаг задержи и прислушайся! Ты не один... Точно
крылья
Птицы, намокшие тяжко, плывут средь тумана.
Слушай... это летит хищная, властная птица,
Время ту птицу зовут, и на крыльях у ней твоя
сила,
Радости сон мимолетный, надежд золотые лохмотья...

26 февраля 1890

* * *

(Музыка отдаленной шарманки)

Посвящено Е. М. Мухиной

Падает снег,
Мутный и белый и долгий,
Падает снег,
Заметая дороги,
Засыпая могилы,
Падает снег...
Белые влажные звезды!
Я так люблю вас,
Тихие гостьи оврагов!

---

[1] Ночное. — *Ред.*

Холод и нега забвенья
Сердцу так сладки...
О, белые звезды... Зачем же,
Ветер, зачем ты свеваешь,
Жгучий мучительный ветер,
С думы и черной и тяжкой,
Точно могильная насыпь,
Белые блестки мечты?..
В поле зачем их уносишь?

Если б заснуть
Но не навеки,
Если б заснуть
Так, чтобы после проснуться,
Только под небом лазурным...
Новым, счастливым, любимым...

26 ноября 1900

* * *

Для чего, когда сны изменили,
Так полны обольщений слова?
Для чего на забытой могиле
Зеленей и шумнее трава?

Для чего эти лунные выси,
Если сад мой и темен и нем?..
Завитки ее кос развилися,
Я дыханье их слышу... зачем?

1902

КЭК-УОК НА ЦИМБАЛАХ

Молоточков лапки цепки,
Да гвоздочков шапки крепки,
    Что не раз их,
    Пустоплясых,
    Там позастревало.



Молоточки топотали,
Мимо точки попадали,
Что ни мах,
На струнах
Как и не бывало.

Пали звоны топотом, топотом,
Стали звоны ропотом, ропотом,
То сзываясь,
То срываясь,
То дробя кристалл.

В струнах, полных холода, холода,
Пели волны молодо, молодо,
И буруном
Гул по струнам
Следом пролетал.

С звуками кэк-уока,
Ожидая мокка,
Во мгновенье ока
Что мы не съедим...
И Махмет-Мамаям,
Ни зимой, ни маем
Нами не внимаем,
Он необходим.

Молоточков цепки лапки,
Да гвоздочков крепки шапки,
Что не раз их,
Пустоплясых,
Там позастревало.

Молоточки налетают,
Мало в точки попадают,
Мах да мах,
Жизни... ах,
Как и не бывало.

<Осень 1904>

ОПЯТЬ В ДОРОГЕ

Луну сегодня выси
Упрятали в туман...
Поди-ка, подивися,
Как щит ее медян.

И поневоле сердцу
Так жутко моему...
Эх, распахнуть бы дверцу
Да в лунную тюрьму!

К тюрьме той посплывались
Не тучи — острова,
И все оторочались
В златые кружева.

Лишь дымы без отрады
И устали бегут:
Они проезжим рады,
Отсталых стерегут,

Где тени стали ложны
По вымершим лесам...
Была ль то ночь тревожна
Иль я — не знаю сам...

Раздышки всё короче,
Ухабы тяжелы...
А в дыме зимней ночи
Слилися все углы...

По ведьминой рубахе
Тоскливо бродит тень,
И нарастают страхи,
Как тучи в жаркий день.

Кибитка всё кривее...
Что ж это там растет?
— «Эй, дядя, поживее!»
— «Да человек идет...

Без шапки, без лаптишек,
Лицо-то в кулачок,
А будто из парнишек. . .»
— «Что это — дурачок?»

— «Так точно, он — дурашный. . .
Куда ведь забрался,
Такой у нас бесстрашный
Он, барин, задался.

Здоров ходить. Морозы,
А нипочем ему. . .»
И стыдно стало грезы
Тут сердцу моему.

Так стыдно стало страху
От скраденной луны,
Что ведьмину рубаху
Убрали с пелены. . .

Куда ушла усталость,
И робость, и тоска. . .
Была ли это жалость
К судьбишке дурака, —

Как знать? . . Луна высоко
Взошла — так хороша,
Была не одинока
Теперь моя душа. . .

30 марта 1906
Вологодский поезд

ЕЛЬ МОЯ, ЕЛИНКА

Вот она — долинка,
Глуше нет угла, —
Ель моя, елинка!
Долго ж ты жила. . .
Долго ж ты тянулась
К своему оконцу,
Чтоб поближе к солнцу.
Если б ты видала,

Ель моя, елинка,
Старая старинка,
Если б ты видала
В ясные зерка́ла,
Чем ты только стала!
На твою унылость
Глядя, мне взгрустнулось...
Как ты вся согнулась,
Как ты обносилась.
И куда ж ты тянешь
Сломанные ветки:
Краше ведь не станешь
Молодой соседки.
Старость не пушинка,
Ель моя, елинка...
Бедная... Подруга!
Пусть им солнце с юга,
Молодым побегам...
Нам с тобой, елинка,
Забытье под снегом.
Лучше забытья мы
Не найдем удела,
Буры стали ямы,
Белы стали ямы,
Нам-то что за дело?
Жить-то, жить-то будем
На завидки людям,
И не надо свадьбы.
Только — не желать бы,
Да еще — не помнить,
Да еще — не думать.

30 марта 1906
Вологодский поезд

ПРОСВЕТ

Ни зноя, ни гама, ни плеска,
Но роща свежа и темна,
От жидкого майского блеска
Всё утро таится она...

Не знаю, о чем так унылы,
Клубяся, мне дымы твердят,
И день ли то пробует силы,
Иль это уж тихий закат,

Где грезы несбыточно-дальней
Сквозь дымы златятся следы? ..
Как странно... Просвет... а печальней
Сплошной и туманной гряды.

Под вечер 17 мая <1906>
Вологодский поезд

* * *

Le silence est l'âme des choses.
Rollinat. [1]

Ноша жизни светла и легка мне,
И тебя я смущаю невольно;
Не за бога в раздумье на камне,
Мне за камень, им найденный, больно.

Я жалею, что даром поблекла
Позабытая в книге фиалка,
Мне тумана, покрывшего стекла
И слезами разнятого, жалко.

И не горе безумной, а ива
Пробуждает на сердце унылость,
Потому что она, терпеливо
Это горе качая... сломилась.

Ночь на 26 ноября 1906

ЛИРА ЧАСОВ

Часы не свершили урока,
А маятник точно уснул,
Тогда распахнул я широко
Футляр их — и лиру качнул.

---

[1] Безмолвие — душа вещей. *Роллина* (франц.). — *Ред.*

И, грубо лишенная мира,
Которого столько ждала,
Опять по тюрьме своей лира,
Дрожа и шатаясь, пошла.

Но вот уже ходит ровнее,
Вот найден и прежний размах.
. . . .
О сердце! Когда, леденея,
Ты смертный почувствуешь страх,

Найдется ль рука, чтобы лиру
В тебе так же тихо качнуть,
И миру, желанному миру,
Тебя, мое сердце, вернуть? . .

7 января 1907
Царское Село

EGO[1]

Я — слабый сын больного поколенья
И не пойду искать альпийских роз,
Ни ропот волн, ни рокот ранних гроз
Мне не дадут отрадного волненья.

Но милы мне на розовом стекле
Алмазные и плачущие горы,
Букеты роз увядших на столе
И пламени вечернего узоры.

Когда же сном объята голова,
Читаю грез я повесть небылую,
Сгоревших книг забытые слова
В туманном сне я трепетно целую.

* * *

Когда, влача с тобой банальный разговор
Иль на прощание твою сжимая руку,
Он бросит на тебя порою беглый взор,
Ты в нем умеешь ли читать любовь и муку?

[1] Я (лат.). — *Ред.*

Иль грустной повести неясные черты
Не тронут никогда девической мечты? . .
Иль, может быть, секрет тебе давно знаком,
И ты за ним не раз следила уж тайком...

И он смешил тебя, как старый, робкий заяц,
Иль хуже... жалок был — тургеневский малаец
С его отрезанным для службы языком.

ЕЩЕ ЛИЛИИ

Когда под черными крылами
Склонюсь усталой головой
И молча смерть погасит пламя
В моей лампаде золотой...

Коль, улыбаясь жизни новой,
И из земного жития
Душа, порвавшая оковы,
Уносит атом бытия, —

Я не возьму воспоминаний,
Утех любви пережитых,
Ни глаз жены, ни сказок няни,
Ни снов поэзии златых,

Цветов мечты моей мятежной
Забыв минутную красу,
Одной лилеи белоснежной
Я в лучший мир перенесу
И аромат и абрис нежный.

* * *

— Сила господняя с нами,
Снами измучен я, снами...

Хуже томительной боли,
Хуже, чем белые ночи,
Кожу они искололи,
Кости мои измололи,
Выжгли без пламени очи...

— Что же ты видишь, скажи мне,
Ночью холодною зимней?
Может быть, сердце врачуя,
Муки твои облегчу я,
Телу найду врачеванье.
— Сила господняя с нами,
Снами измучен я, снами...
Ночью их сердце почуя
Шепчет порой и названье,
Да повторять не хочу я...

* * *

(Вариант)

Сила господняя с нами,
Снами измучен я, снами...
Снами, где тени не вьются,
Звуки не плачут, и слезы,
Даже и слезы не льются,
Снами, где нет даже грезы...
Снами, которым названья
Даже подобья не знаю,
Снами, где я расставанье
С жизнью порой начинаю.

ПЕЧАЛЬНАЯ СТРАНА

Печален из меди
Наш символ венчальный,
У нас и комедий
Финалы печальны...
Веселых соседей
У нас инфернальны
Косматые шубы...
И только... *банальны*
Косматых медведей
От трепетных снедей
Кровавые губы.

С КРОВАТИ

(Моей garde-malade[1]*)*

Просвет зелено-золотистый
С кусочком голубых небес —
Весь полный утра, весь душистый,
Мой сад — с подушки — точно лес.

И ароматы... и движенье,
И шум, и блеск, и красота —
Зеленый бал — воображенья
Едва рожденная мечта...

Я и не знал, что нынче снова
Там, за окном, веселый пир.
Ну, солнце, угощай больного,
Как напоило целый мир.

ИЗ ОКНА

За картой карта пали биты,
И сочтены ее часы,
Но, шелком палевым прикрыты,
Еще зовут ее красы...

И этот призрак пышноризый
Под солнцем вечно молодым
Глядит на горы глины сизой,
Похожей на застывший дым...

ЗИМНИЙ СОН

Вот газеты свежий нумер,
Объявленье в черной раме:
Несомненно, что я умер,
И, увы! не в мелодраме.

Шаг родных так осторожен,
Будто всё еще я болен,

[1] Сиделке (франц.). — *Ред.*

Я ж могу ли быть доволен,
С тюфяка на стол положен?

День и ночь пойдут Давиды,
Да священники в енотах,
Да рыданье панихиды
В позументах и камлотах.

А в лицо мне лить саженным
Копоть велено кандилам,
Да в молчаньи напряженном
Лязгать дьякону кадилом.

Если что-нибудь осталось
От того, что было *мною*,
Этот ужас, эту жалость
Вы обвейте пеленою.

В белом поле до рассвета
Свиток белый схороните...
. . . .
А покуда... удалите
Хоть басов из кабинета.

СОН И НЕТ

Нагорев и трепеща,
Сон навеяла свеча...
В гулко-каменных твердынях
Два мне грезились луча,
Два любимых, кротко-синих
Небо видевших луча
В гулко-каменных твердынях.

Просыпаюсь. Ночь черна.
Бред то был или признанье?
Путы жизни, чары сна,
Иль безумного желанья
В тихий мир воспоминанья
Забежавшая волна?
Нет ответа. Ночь душна.

* * *

Не могу понять, не знаю...
Это сон или Верлен?..
Я люблю иль умираю?
Это чары или плен?

Из разбитого фиала
Всюду в мире разлита
Или му́ка идеала,
Или му́ки красота.

Пусть мечта не угадала,
Та она или не та,
Перед светом идеала,
Пусть мечта не угадала,
Это сон или Верлен?
Это чары или плен?

Но дохнули розы плена
На замолкшие уста,
И под музыку Верлена
Будет петь моя мечта.

МОЙ СТИХ

Недоспелым поле сжато;
И холодный сумрак тих...
Не теперь... давно когда-то
Был загадан этот стих...

Не отгадан, только прожит,
Даже, может быть, не раз,
Хочет он, но уж не может
Одолеть дремоту глаз.

Я не знаю, кто он, чей он,
Знаю только, что не мой, —
Ночью был он мне навеян,
Солнцем будет взят домой.

Пусть подразнит — мне не больно:
Я не с ним, я в забытьи...
Мук с меня и тех довольно,
Что, наверно, все — мои...

Видишь — он уж тает, канув
Из серебряных лучей
В зыби млечные туманов...
Не тоскуй: он был — ничей.

* * *

Развившись, волос поредел,
Когда я молод был,
За стольких жить мой ум хотел,
Что сам я жить забыл.

Любить хотел я, не любя,
Страдать — но в стороне,
И сжег я, молодость, тебя
В безрадостном огне.

Так что ж под зиму, как листы,
Дрожишь, о сердце, ты...
Гляди, как черная гру́да
Под саваном тверда.

А он уж в небе ей готов,
Сквозной и пуховой...
На поле белом меж крестов —
Хоть там найду ли свой?..

НА СЕВЕРНОМ БЕРЕГУ

Бледнеет даль. Уж вот он — день разлуки,
Я звал его, а сердцу всё грустней...
Что видел здесь я, кроме зла и муки,
Но всё простил я тихости теней.

Всё небесам в холодном их разливе,
Лазури их прозрачной, как недуг,
И той меж ив седой и чахлой иве —
Товарищам непоправимых мук.

И грустно мне, не потому, что беден
Наш пыльный сад, что выжжены листы,
Что вечер здесь так утомленно бледен,
Так мертвы безуханные цветы,

А потому, что море плещет с шумом,
И синевой бездонны небеса,
Что будет *там* моим закатным думам
Невмоготу их властная краса...

ЧЕРНОЕ МОРЕ

Простимся, море... В путь пора.
И ты не то уж: всё короче
Твои жемчужные утра,
Длинней тоскующие ночи,

Всё дольше тает твой туман,
Где всё белей и выше гребни,
Но далей красочный обман
Не будет, он уж был волшебней.

И тщетно вихри по тебе
Роятся с яростью звериной,
Всё безучастней к их борьбе
Твои тяжелые глубины.

Тоска ли там или любовь,
Но бурям чуждые безмолвны,
И к нам из емких берегов
Уйти твои не властны волны.

Суровым отблеском ножа
Сверкнешь ли, пеной обдавая, —
Нет! Ты не символ мятежа,
Ты — Смерти чаша пировая.

СОЛНЕЧНЫЙ СОНЕТ

Под стоны тяжкие метели
Я думал — ночи нет конца:
Таких порывов не терпели
Наш дуб и тополь месяца.

Но солнце брызнуло с постели
Снопом огня и багреца,
И вмиг у моря просветлели
Морщины древнего лица...

И пусть, как ночью, ветер рыщет,
И так же рвет, и так же свищет, —
Уж он не в гневе божество.

Кошмары ночи так далеки,
Что пыльный хищник на припеке —
Шалун — и больше ничего.

ТОСКА КАНУНА

О, тусклость мертвого заката,
Неслышной жизни маята,
Роса цветов без аромата,
Ночей бессонных духота.

Чего-чего, канун свиданья,
От нас надменно ты не брал,
Томим горячкой ожиданья,
Каких я благ не презирал?

И, изменяя равнодушно
Искусству, долгу, сам себе,
Каких уступок, малодушный,
Не делал, Завтра, я тебе?

А для чего все эти муки
С проклятьем медленных часов?..
Иль в миге встречи нет разлуки,
Иль фальши нет в эмфазе слов?

ТОСКА СИНЕВЫ

Что ни день, теплей и краше
Осенен простор эфирный
Осушенной солнцем чашей:
То лазурной, то сапфирной.

Синью нежною, как пламя,
Горды солнцевы палаты,
И ревниво клочья ваты
Льнут к сафирам облаками.

Но возьми их, солнце, — душных,
Роскошь ка́мней всё банальней, —
Я хочу высот воздушных,
Но прохладней и кристальней.

Или лучше тучи сизой,
Чутко-зыбкой, точно волны,
Сумнолицей, темноризой,
Слез, как сердце, тяжко полной.

ЖЕЛАНЬЕ ЖИТЬ

Сонет

Колокольчика ль гулкие пени,
Дымной тучи ль далекие сны...
Снова снегом заносит ступени,
На стене полоса от луны.

Кто сенинкой играет в тристене,
Кто седою макушкой копны.
Что ни есть беспокойные тени,
Все кладби́щем луне отданы.

Свисту меди послушен дрожащей,
Вижу — куст отделился от чащи
На дорогу меня сторожить...

Следом чаща послала стенанье,
И во всем безнадежность желанья:
«Только б жить, дольше жить, вечно
жить...»

ДЫМНЫЕ ТУЧИ

Солнца в высях нету.
Дымно там и бледно,
А уж близко где-то
Луч горит победный.

Но без унованья
Тонет взор мой сонный
В трепете сверканья
Капли осужденной.

Этой неге бледной,
Этим робким чарам
Страшен луч победный
Кровью и пожаром.

ТОСКА САДА

Зябко пушились листы,
Сад так тоскливо шумел.
— Если б любить я умел
Так же свободно, как ты.

Луч его чащу пробил...
— Солнце, люблю ль я тебя?
Если б тебя я любил
И не томился любя.

Тускло ль в зеленой крови
Пламень желанья зажжен,
Только раздумье и сон
Сердцу отрадней любви.

ПОЭЗИЯ

Сонет

Творящий дух и жизни случай
В тебе мучительно слиты,
И меж намеков красоты
Нет утонченней и летучей...

В пустыне мира зыбко-жгучей,
Где мир — мираж, влюбилась ты
В неразрешенность разнозвучий
И в беспокойные цветы.

Неощутима и незрима,
Ты нас томишь, боготворима,
В просветы бледные сквозя,

Так неотвязно, неотдумно,
Что, полюбив тебя, нельзя
Не полюбить тебя безумно.

МИГ

Столько хочется сказать,
Столько б сердце услыхало,
Но лучам не пронизать
Частых перьев опахала, —

И от листьев точно сеть
На песке толкутся тени...
Всё, — но только не глядеть
В том, упавший на колени.

Чу... над самой головой
Из листвы вспорхнула птица:
Миг ушел — еще живой,
Но ему уж не светиться.

ЗАВЕЩАНИЕ

Вале Хмара-Барщевскому

Где б ты ни стал на корабле,
У мачты иль кормила,
Всегда служи своей земле:
Она тебя вскормила.

Неровен наш и труден путь —
В волнах иль по ухабам —

Будь вынослив, отважен будь,
Но не кичись над слабым.

Не отступай, коль принял бой,
Платиться — так за дело, —
А если петь — так птицей пой
Свободно, звонко, смело.

* * *

В ароматном краю в этот день голубой
Песня близко: и дразнит, и вьется;
Но о том не спою, что́ мне шепчет прибой,
Что́ вокруг и цветет, и смеется.

Я не трону весны — я цветы берегу,
Мотылькам сберегаю их пыль я,
Миг покоя волны на морском берегу
И ладьям их далекие крылья.

А еще потому, что в сияньи сильней
И люблю я сильнее в разлуке
Полусвет-полутьму наших северных дней,
Недосказанность песни и муки...

НА ПОЛОТНЕ

Платки измятые у глаз и губ храня,
Вдова с сиротами в потемках затаилась.
Одна старуха мать у яркого огня:
Должно быть, с кладбища, иззябнув, воротилась.

В лице от холода сквозь тонкие мешки
Смесились сизые и пурпурные краски,
И с анкилозами на пальцах две руки
Безвольно отданы камина жгучей ласке.

Два дня тому назад средь несказанных мук
У сына сердце здесь метаться перестало,
Но мать не плачет — нет, в сведенных кистях рук
Сознанье — надо жить во что бы то ни стало.

К ПОРТРЕТУ ДОСТОЕВСКОГО

В нем Совесть сделалась пророком и поэтом,
И Карамазовы и бесы жили в нем, —
Но что для нас теперь сияет мягким светом,
То было для него мучительным огнем.

К ПОРТРЕТУ

Тоска глядеть, как сходит глянец с благ,
И знать, что всё ж вконец не опротивят,
Но горе тем, кто слышит, как в словах
Заигранные клавиши фальшивят.

МАЙСКАЯ ГРОЗА

Среди полуденной истомы
Покрылась ватой бирюза...
Люблю сквозь первые симптомы
Тебя угадывать, гроза...

На пыльный путь ракиты гнутся,
Стал ярче спешный звон подков,
Нет-нет — и печи распахнутся
Средь потемневших облаков.

А вот и вихрь, и помутненье,
И духота, и сизый пар...
Минута — с неба наводненье,
Еще минута — там пожар.

И из угла моей кибитки
В туманной сетке дождевой
Я вижу только лоск накидки
Да черный шлык над головой.

Но вот уж тучи будто выше,
Пробились жаркие лучи,
И мягко прыгают по крыше
Златые капли, как мячи.

И тех уж нет... В огне лазури
Закинут за спину один,
Воспоминаньем майской бури
Дымится черный виксатин.

Когда бы бури пролетали
И все так быстро и светло...
Но не умчит к лазурной дали
Грозой разбитое крыло.

ЛЮБОВЬ К ПРОШЛОМУ

Сыну.

Ты любишь прошлое, и я его люблю,
Но любим мы его по-разному с тобою,
Сам бог отвел часы прибою и отбою,
Цветам дал яркий миг и скучный век стеблю.

Ты не придашь мечтой красы воспоминаньям, —
Их надо выстрадать, и дать им отойти,
Чтоб жгли нас издали мучительным сознаньем
Покатой легкости дальнейшего пути.

Не торопись, побудь еще в обманах мая,
Пока дрожащих ног покатость, увлекая,
К скамейке прошлого на отдых не сманит —
Наш юных не берет заржавленный магнит...

ЧТО СЧАСТЬЕ?

Что счастье? Чад безумной речи?
Одна минута на пути,
Где с поцелуем жадной встречи
Слилось неслышное *прости?*

Или оно в дожде осеннем?
В возврате дня? В смыканьи вежд?
В благах, которых мы не ценим
За неприглядность их одежд?

Ты говоришь... Вот счастья бьется
К цветку прильнувшее крыло,
Но миг — и ввысь оно взовьется
Невозвратимо и светло.

А сердцу, может быть, милей
Высокомерие сознанья,
Милее мука, если в ней
Есть тонкий яд воспоминанья.

БРАТСКИЕ МОГИЛЫ

Волны тяжки и свинцовы,
Кажет темным белый камень,
И кует земле оковы
Позабытый небом пламень.

Облака повисли с высей,
Помутнелы— ослабелы,
Точно кисти в кипарисе
Над могилой сизо-белы.

Воздух мягкий, но без силы,
Ели, мшистые каменья...
Это — братские могилы,
И полней уж нет забвенья.

Севастополь

* * *

Нет, мне не жаль цветка, когда его сорвали,
Чтоб он завял в моем сверкающем бокале.

Сыпучей черноты меж розовых червей,
Откуда вырван он, — что может быть мертвей?

И нежных глаз моих миражною мечтою
Неужто я пятна багрового не стою,

Пятна, горящего в пустыне голубой,
Чтоб каждый чувствовал себя одним собой?

Увы, и та мечта, которая соткала
Томление цветка с сверканием бокала,

Погибнет вместе с ним, припав к его стеблю,
Уж я забыл ее, — другую я люблю...

Кому-то новое готовлю я страданье,
Когда не все мечты лишь скука выжиданья.

СИРЕНЬ НА КАМНЕ

Клубятся тучи сизоцветно.
Мой путь далек, мой путь уныл.
А даль так мутно-безответна
Из края серого могил.

Вот кем-то врезан крест замшенный
В плите надгробной и, как тень,
Сквозь камень, Лазарь воскрешенный,
Пробилась чахлая сирень.

Листы пожёлкли, обгорели...
То гнет ли неба, камня ль гнет, —
Но говорят, что и в апреле
Сирень могилы не цветет.

Да и зачем? Цветы так зыбки,
Так нежны в холоде плиты,
И лег бы тенью свет улыбки
На изможденные черты.

А в стражах бледного Эреба
Окаменело столько мук...
Роса, и та для них недуг,
И смерть их — голубое небо.

Уж вечер близко. И пути
Передо мной еще так много,
Но просто силы нет сойти
С завороженного порога.

И жизни ль дерзостный побег,
Плита ль пробитая жалка мне, —
Дрожат листы кустов-калек,
Темнее крест на старом камне.

ПЕТЕРБУРГ

Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты...
Я не знаю, где *вы* и где *мы*,
Только знаю, что крепко мы слиты.

Сочинил ли нас царский указ?
Потопить ли нас шведы забыли?
Вместо сказки в прошедшем у нас
Только камни да страшные были.

Только камни нам дал чародей,
Да Неву буро-желтого цвета,
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета.

А что было у нас на земле,
Чем вознесся орел наш двуглавый,
В темных лаврах гигант на скале, —
Завтра станет ребячьей забавой.

Уж на что был он грозен и смел,
Да скакун его бешеный выдал,
Царь змеи раздавить не сумел,
И прижатая стала наш идол.

Ни кремлей, ни чудес, ни святынь,
Ни миражей, ни слез, ни улыбки...
Только камни из мерзлых пустынь
Да сознанье проклятой ошибки.

Даже в мае, когда разлиты
Белой ночи над волнами тени,
Там не чары весенней мечты,
Там отрава бесплодных хотений.

DECRESCENDO[1]

Из тучи с тучей в безумном споре
Родится шквал, —
Под ним зыбучий в пустынном море
Вскипает вал.

Он полон страсти, он мчится гневный,
Грозя брегам.
А вслед из пастей за ним стозевный
И рев и гам...

То, как железный, он канет в бездны
И роет муть,
То, бык могучий, нацелит тучи
Хвостом хлестнуть...

Но ближе... ближе, и вал уж ниже,
Не стало сил,
К ладье воздушной хребет послушный
Он наклонил...

И вот чуть плещет, кружа осадок,
А гнев иссяк...
Песок так мягок, припек так гладок:
Плесни — и ляг!

ЗА ОГРАДОЙ

Глубоко́ ограда врыта,
Тяжкой медью блещет дверь...
— Месяц! месяц! так открыто
Черной тени ты не мерь!
Пусть зарыто, — не забыто...
Никогда или теперь.
Так луною блещет дверь.

Мало ль сыпано отравы?..
Только зори ль здесь кровавы

[1] Ослабевая (итал.) — музыкальный термин, означающий постепенное убывание звучности. — *Ред.*

Или был неистов зной,
Но. под лунной пеленой
От росы сомлели травы...
Иль за белою стеной
Страшно травам в час ночной?..

Прыгнет тень и в травы ляжет,
Новый будет ужас нажит...
С ней и месяц заодно ж —
Месяц в травах точит нож.
Месяц видит, месяц скажет:
«Убежишь... да не уйдешь»...
И по травам ходит дрожь.

* * *

Если больше не плачешь, то слезы сотри:
Зажигаясь, бегут по столбам фонари,
Стали дымы в огнях веселее
И следы золотыми в аллее...
Только веток еще безнадежнее сеть,
Только небу, чернея, над ними висеть...

Если можешь не плакать, то слезы сотри:
Забелелись далеко во мгле фонари.
На лице твоем, ласково-зыбкий,
Белый луч притворился улыбкой...
Лишь теней всё темнее за ним череда,
Только сердцу от дум не уйти никуда.

* * *

В небе ли меркнет звезда,
Пытка ль земная всё длится;
Я не молюсь никогда,
Я не умею молиться.

Время погасит звезду,
Пытку ж и так одолеем...
Если я в церковь иду,
Там становлюсь с фарисеем.

С ним упадаю я нем,
С ним и воспряну, ликуя...
Только во мне-то зачем
Мытарь мятется, тоскуя?..

МЕЛОДИЯ ДЛЯ АРФЫ

Мечту моей тоскующей любви
Твои глаза с моими делят немо...
О белая, о нежная, живи!
Тебя сорвать мне страшно, хризантема.

Но я хочу, чтоб ты была одна,
Чтоб тень твоя с другою не сливалась
И чтоб одна тобою любовалась
В немую ночь холодная луна...

* * *

Когда б не смерть, а забытье,
Чтоб ни движения, ни звука...
Ведь если вслушаться в нее,
Вся жизнь моя — не жизнь, а мука.

Иль я не с вами таю, дни?
Не вяну с листьями на кленах?
Иль не мои умрут огни
В слезах кристаллов растопленных?

Иль я не весь в безлюдье скал
И черном нищенстве березы?
Не весь в том белом пухе розы,
Что холод утра оковал?

В дождинках этих, что нависли,
Чтоб жемчугами ниспадать?..
А мне, скажите, в муках мысли
Найдется ль сердце сострадать?

ПЕСНИ С ДЕКОРАЦИЕЙ

1
ГАРМОННЫЕ ВЗДОХИ

Фруктовник. Догорающий костер среди туманной ночи под осень. Усохшая яблоня. Оборванец на деревяшке перебирает лады старой гармоники. В шалаше на соломе разложены яблоки.

Под яблонькой, под вишнею
Всю ночь горят огни, —
Бывало, выпьешь лишнее,
А только ни-ни-ни.

. . . .

Под яблонькой кудрявою
Прощались мы с тобой, —
С японскою державою
Предполагался бой.

С тех пор семь лет я плаваю,
На шапке «Громобой», —
А вы остались павою,
И хвост у вас трубой...

. . . .

Как получу, мол, пенцию,
В Артуре стану бой,
Не то, так в резиденцию
Закатимся с тобой...

. . . .

Зачем скосили с травушкой
Цветочек голубой?
А ты с худою славушкой
Ушедши за гульбой?

. . . .

Ой, яблонька, ой, грушенька,
Ой, сахарный миндаль, —
Пропала наша душенька,
Да вышла нам медаль!

. . . .

На яблоне, на вишенке
Нет гусени числа...
Ты стала хуже нищенки
И вскоре померла.

Поела вместе с листвием
Та гусень белый цвет...

. . . .

Хоть нам и всё единственно,
Конца японцу нет.

. . . .

Ой, реченька желты-пески,
Куплись в тебе другой...
А мы уж, значит, к выписке...
С простреленной ногой...

. . . .

Под яблонькой, под вишнею
Сиди да волком вой...
И рад бы выпить лишнее,
Да лих карман с дырой.

2

БЕЗ КОНЦА И БЕЗ НАЧАЛА

(Колыбельная)

Изба. Тараканы. Ночь. Керосинка чадит. Баба над зыбкой борется со сном.

Баю-баюшки-баю,
Баю деточку мою!

Полюбился нам буркот,
Что буркотик, серый кот...

Как вечор на речку шла,
Ночевать его звала.

«Ходи, Васька, ночевать,
Колыбель со мной качать!»

. . . .

Выйду, стану в ворота,
Встрену серого кота...

Ба-ай, ба-ай, бай-баю,
Баю милую мою...

. . . .

Я для то́го для дружка
Нацедила молока...

. . . .

Кот латушку облизал,
Облизавши, отказал.

. . . .

Отказался напрямик:
(Будешь спать ты, баловник?)

«Вашей службы не берусь:
У меня над губой ус.

Не иначе, как в избе
Тараканов перебей.

Тараканы ваши злы.
Съели в избе вам углы.

Как бы после тех углов
Да не съели мне усов».

. . . .

Баю-баю, баю-бай,
Поскорее засыпай.

. . . .

Я кота за те слова
Коромыслом оплела...

Коромыслом по губы:
«Не порочь моей избы.

Молока было не пить,
Чем так подло поступить?»

. . . .

(Сердито.)

Долго ж эта маята?
Кликну черного кота...

Черный кот-то с печки шасть, —
Он ужо тебе задасть...

Вынимает ребенка из зыбки и закачивает.

(Тише.)

А ты, котик, не блуди,
Приходи к бело́й груди.

(Еще тише.)

Не один ты приходи,
Сон-дрему с собой веди...

(Сладко зевая.)

А я дитю перевью,
А кота за верею.

Пробует положить ребенка. Тот начинает кричать.

(Гневно.)

Расстрели тебя пострел,
Ай ты нынче очумел?

. . . .

Тщетно борется с одолевающим сном.

Баю-баюшки-баю...
Баю-баюшки-баю...

. . . .

8

КОЛОКОЛЬЧИКИ

Глухая дорога. Колокольчик в зимнюю ночь рассказывает путнику свадебную историю.

Динь-динь-динь,
Дини-дини...
Дидо Ладо, Дидо Ладо,
Лиду диду ладили,
Дида Лиде ладили,
Ладили, не сладили,
Деду надосадили.
День делали,
Да день не делали,
Дела не доделали,
Головы-то целы ли?
Ляду дида надо ли —
Диду баню задали.
Динь-динь-динь, дини-динь...
Колоко́лы-балабо́лы,
Колоколы-балаболы,
Накололи, намололи,
Дале боле, дале боле...
Накололи, намололи,
Колоколы-балаболы.
Лопотуньи налетели,
Болмоталы навязали,
Лопотали — хлопотали,
Лопотали, болмотали,
Лопоталы поломали.
Динь!
Ты бы, дид, не зе́ньками,
Ты бы, диду, деньгами...
Де́ньгами, деньгами...
Долго ли, не долго ли,
Лиде шубу завели...
Холили — не холили,
Волили — неволили,
Мало ль пили, боле лили,
Дида Ладу золотили.
Дяди ли, не дяди ли,
Ладили — наладили...

Ой, пила, пила, пила,
Диду пива не дала:
Диду Лиду надобе,
Ляду дида надобе.
Ой, динь, динь, динь — дини, динь, дини динь,
Деньги дида милые,
А усы-то сивые...
Динь!
День.
Дан вам день...
Долго ли вы там?
Мало было вам?
Вам?
Дам
По губам.
По головам
Дам.
Буби-буби-бубенцы-ли,
Мы ли ныли, вы ли ныли,
Бубенцы ли, бубенцы ли...
День, дома бы день,
День один...
Колоколы-балаболы,
Мало лили, боле пили,
Балаболы потупили...
Бубенцы-бубенчики,
Малые младенчики,
Болмоталы вынимали,
Лопоталы выдавали,
Лопотали, лопотали...
Динь...
Колоколы-балаболы...
Колоколы-балаболы...

30 марта 1906
Вологодский поезд

ТРИ СЛОВА

Явиться ль гостем на пиру,
Иль чтобы ждать, когда умру

Поэту

В родимом [illegible] лесе
И в гадкой [illegible]
Всегда над нами — [illegible]
Сиял [illegible]

И [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
Ты никуда уйти не [illegible]

[illegible]

Весь [illegible] [illegible] . . .

Краса открытого мира
[illegible]

С крестом купельным, на спине ли,
И во дворце иль на панели...

Сгорать ли мне в ночи немой,
Свечой послушной и прямой,
Иль спешно, бурно, оплывая...
Или как капля дождевая, —

Но чтоб *уйти,* как в лоно вод
В тумане камень упадет,
Себе лишь тягостным паденьем
Туда, на дно, к другим каменьям.

ЗИМНИЙ РОМАНС

Застыла тревожная ртуть,
И ветер ночами несносен...
Но, если ты слышал, забудь
Скрипенье надломанных сосен!

На черное глядя стекло,
Один, за свечою угрюмой,
Не думай о том, что прошло;
Совсем, если можешь, не думай!

Зима ведь не сдастся: тверда!
Смириться бы, что ли... Пора же!
Иль лира часов и тогда
Над нами качалась не та же?..

БЕССОННЫЕ НОЧИ

Какой кошмар! Всё та же повесть...
И кто, злодей, ее снизал?
Опять там не пускали совесть
На зеркала вощеных зал...

Опять там улыбались язве
И гоготали, славя злость...
Христа не распинали разве,
И то затем, что не пришлось...

Опять там каверзный вопросник
Спускали с плеч, не вороша.
И всё там было — злобность мосек
И пустодушье чинуша.

Но лжи и лести отдал дань я.
Бьет пять часов — пора домой;
И наг, и тесен угол мой...
Но до свиданья, до свиданья!

Так хорошо побыть без слов,
Когда до капли óцет допит...
Цикада жадная часов,
Зачем твой бег меня торопит?

Всё знаю — ты права опять,
Права, без устали токуя...
Но прав и я, — и дай мне спать,
Пока во сне еще не лгу я.

ТОСКА МИРАЖА

Погасла последняя краска,
Как шепот в полночной мольбе...
Что надо, безумная сказка,
От этого сердца тебе?

Мои ли без счета и меры
По снегу не тяжки концы?
Мне ль дали пустые не серы?
Не тускло звенят бубенцы?

Но ты-то зачем так глубоко
Двоишься, о сердце мое?
Я знаю — она далеко,
И чувствую близость ее.

Уж вот они, снежные дымы,
С них глаз я свести не могу:
Сейчас разминуться должны мы
На белом, но мертвом снегу.

Сейчас кто-то сани нам сцепит
И снова расцепит без слов.
На миг, но томительный лепет
Сольется для нас бубенцов...

. . . .

Он снился... Но больше друг друга
Мы в тусклую ночь не найдем...
В тоске безысходного круга
Влачусь я постылым путем...

. . . .

Погасла последняя краска,
Как шепот в полночной мольбе...
Что надо, безумная сказка,
От этого сердца тебе?

Л. И. МИКУЛИЧ

Там на портретах строги лица,
И тонок там туман седой,
Великолепье небылицы
Там нежно веет резедой.
Там нимфа с таицкой водой,
Водой, которой не разлиться,
Там стала лебедем Фелица
И бронзой Пушкин молодой.

Там воды зыблются светло,
И гордо царствуют березы,
Там были розы, были розы,
Пускай в поток их унесло.
Там всё, что навсегда ушло,
Чтоб навевать сиреням грезы.

. . . .

Скажите: «Царское Село» —
И улыбнемся мы сквозь слезы.

* * *

Я думал, что сердце из камня,
Что пусто оно и мертво:
Пусть в сердце огонь языками
Походит — ему ничего.

И точно: мне было не больно,
А больно, так разве чуть-чуть.
И все-таки лучше довольно,
Задуй, пока можно задуть...

На сердце темно, как в могиле,
Я знал, что пожар я уйму...
Ну вот.. и огонь потушили,
А я умираю в дыму.

В ЗАЦВЕТАЮЩИХ СИРЕНЯХ

Покуда душный день томится, догорая,
Не отрывая глаз от розового края...
Побудь со мной грустна, побудь со мной одна:
Я не допил еще тоски твоей до дна...
Мне надо струн твоих: они дрожат печальней
И слаще, чем листы на той березе дальней...
Чего боишься ты? Я призрак, я ничей...
О, не вноси ко мне пылающих свечей...
Я знаю: бабочки дрожащими крылами
Не в силах потушить мучительное пламя,
И знаю, кем огонь тот траурный раздут,
С которого они сожженные падут...
Мне страшно, что с огнем не спят воспоминанья,
И мертвых бабочек мне страшно трепетанье.

МИНУТА

Узорные ткани так зыбки,
Горячая пыль так бела, —
Не надо ни слов, ни улыбки:
Останься такой, как была;

Останься неясной, тоскливой,
Осеннего утра бледней
Под этой поникшею ивой,
На сетчатом фоне теней...

Минута — и ветер, метнувшись,
В узорах развеет листы,
Минута — и сердце, проснувшись,
Увидит, что это — не ты...

Побудь же без слов, без улыбки,
Побудь точно призрак, пока
Узорные тени так зыбки
И белая пыль так чутка...

АМЕТИСТЫ

Глаза забыли синеву,
Им солнца пыль не золотиста,
Но весь одним я сном живу,
Что между граней аметиста.

Затем, что там пьяней весны
И беспокойней, чем идея,
Огни лиловые должны
Переливаться, холодея.

И сердцу, где лишь стыд да страх,
Нет грезы ласково обманней,
Чем стать кристаллом при свечах
В лиловом холоде мерцаний.

* * *

Только мыслей и слов
Постигая красу, —
Жить в сосновом лесу
Между красных стволов.

Быть как он, быть как все:
И любить, и сгорать...
Жить, но в чуткой красе,
Где листам умирать.

ОСЕННЯЯ ЭМАЛЬ

Сад туманен. Сад мой донят
Белым холодом низин.
Равнодушно он уронит
Свой венец из георгин.

Сад погиб...
А что мне в этом.
Если в полдень глянешь ты,
Хоть эмалевым приветом
Сквозь последние листы?..

СВЕРКАНИЕ

Если любишь — гори!
Забываешь — забудь!
Заметает снегами мой путь.
Буду день до зари
Меж волнистых полян
От сверканий сегодня я пьян.

Сколько есть их по льдам
Там стеклинок — я дам,
Каждой дам я себя опьянить...
Лишь не смолкла бы медь,
Только ей онеметь,
Только меди нельзя не звонить.

Потому что порыв
Там рождает призыв,
Потому что порыв — это ты...
Потому что один
Этих мертвых долин
Я боюсь белоснежной мечты.

У СВ. СТЕФАНА

Обряд похоронный там шел,
Там свечи пылали и плыли,
И крался дыханьем фенол
В дыханья левкоев и лилий.

По «первому классу бюро»
Там были и фраки и платья,
Там было само серебро
С патентом — на новом распятьи.

Но крепа, и пальм, и кадил
Я портил, должно быть, декорум,
И агент бюро подходил
В калошах ко мне и с укором.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всё это похоже на ложь, —
Так тусклы слова гробовые.

. . . .

Но смотрят загибы калош
С тех пор на меня, как живые.

ПОСЛЕДНИЕ СИРЕНИ

Заглох и замер сад. На сердце всё мутней
От живости обид и горечи ошибок...
А ты что сберегла от голубых огней,
И золотистых кос, и розовых улыбок?

Под своды душные за тенью входит тень,
И неизбежней всё толпа их нарастает...
Чу... ветер прошумел — и белая сирень
Над головой твоей, качаясь, облетает.

. . . .

Пусть завтра не сойду я с тинистого дна,
Дождя осеннего тоскливей и туманней,
Сегодня грудь моя желания полна,
Как туча, полная и грома и сверканий.

Но малодушием не заслоняй порыв,
И в этот странный час сольешься ты с поэтом;
Глубины жаркие словам его открыв,
Ты миру явишь их пророческим рассветом.

СУМРАЧНЫЕ СЛОВА

За ветхой сторою мы рано затаились,
И полночь нас мечтой немножко подразнила,
Но утру мы глазами повинились,
И утро хмурое простило...

А небо дымное так низко нависало,
Всё мельче сеял дождь, но глуше и туманней,
И чья-то бледная рука уже писала
Святую ложь воспоминаний.

Всё, всё с собой возьмем. Гляди, как стали четки
И путь меж елями, бегущий и тоскливый,
И глянцевитый верх манящей нас пролетки,
И финн измокший, терпеливый.

Но ты, о жаркий луч! Ты опоздал. Ошибкой
Ты заглянул сюда, — иным златися людям!
Лишь сумрачным словам отныне мы улыбкой
Одною улыбаться будем!

СТАРЫЕ ЭСТОНКИ

Из стихов кошмарной совести

Если ночи тюремны и глухи,
Если сны паутинны и тонки,
Так и знай, что уж близко старухи,
Из-под Ревеля близко эстонки.

Вот вошли, — приседают так строго,
Не уйти мне от долгого плена,
Их одежда темна и убога,
И в котомке у каждой полено.

Знаю, завтра от тягостной жути
Буду сам на себя непохожим...
Сколько раз я просил их: «Забудьте...»
И читал их немое: «Не можем».

Как земля, эти лица не скажут,
Что́ в сердцах похоронено веры...
Не глядят на меня — только вяжут
Свой чулок бесконечный и серый.

Но учтивы — столпились в сторонке...
Да не бойся: присядь на кровати...
Только тут не ошибка ль, эстонки?
Есть куда же меня виноватей.

Но пришли, так давайте калякать,
Не часы ж, не умеем мы тикать.
Может быть, вы хотели б поплакать?
Так тихонько, неслышно... похныкать?

Иль от ветру глаза ваши пухлы,
Точно почки берез на могилах...
Вы молчите, печальные куклы,
Сыновей ваших... я ж не казнил их...

Я, напротив, я очень жалел их,
Прочитав в сердобольных газетах,
Про себя я молился за смелых,
И священник был в ярких глазетах.

Затрясли головами эстонки.
«Ты жалел их... На что ж твоя жалость,
Если пальцы руки твоей тонки,
И ни разу она не сжималась?

Спите крепко, палач с палачихой!
Улыбайтесь друг другу любовней!
Ты ж, о нежный, ты кроткий, ты тихий,
В целом мире тебя нет виновней!

Добродетель... Твою добродетель
Мы ослепли вязавши, а вяжем...
Погоди — вот накопится петель,
Так словечко придумаем, скажем...»

. . . .

Сон всегда отпускался мне скупо,
И мои паутины так тонки...
Но как это печально... и глупо...
Неотвязные эти чухонки...

* * *

Но для меня свершился выдел,
И вот каким его я видел:
Злаченно-белый —
прямо с елки —
Был кифарэд он и стрелец.
Звенели стрелы,
как иголки,
Грозой для кукольных сердец...
Дымились букли
из-под митры,
На струнах нежилась рука,
Но уж потухли звоны цитры
Меж пальцев лайковых божка.
Среди миражей не устану
Его искать — он нужен мне,
Тот безустанный мировражий,
Тот смех огня и смех в огне.

К МОЕМУ ПОРТРЕТУ

Игра природы в нем видна,
Язык трибуна с сердцем лани,
Воображенье без желаний
И сновидения без сна.

К ПОРТРЕТУ А. А. БЛОКА

Под беломраморным обличьем андрогина
Он стал бы радостью, но чьих-то давних грез.
Стихи его горят — на солнце георгина,
Горят, но холодом невыстраданных слез.

* * *

Грозою полдень был тяжелый напоен,
И сад в его уборе брачном
Сияньем солнца мрачным
Был в летаргию погружён.
Стал мрамор как вода, лучами растоплен,
И теплым и прозрачным,
Но в зеркале пруда.
Казалась мрамором недвижная вода.

ПОЭТУ

В раздельной четкости лучей
И в чадной слитности видений
Всегда над нами — власть вещей
С ее триадой измерений.

И грани ль ширишь бытия
Иль формы вымыслом ты множишь,
Но в самом *Я* от глаз — *Не Я*
Ты никуда уйти не можешь.

Та власть маяк, зовет она,
В ней сочетались бог и тленность,
И перед нею так бледна
Вещей в искусстве прикровенность.

Нет, не уйти от власти их
За волшебством воздушных пятен,
Не глубиною манит стих,
Он лишь как ребус непонятен.

Краса открытого лица
Влекла Орфея пиериды.
Ужель достойны вы певца,
Покровы кукольной Изиды?

Люби раздельность и лучи
В рожденном ими аромате.
Ты чаши яркие точи
Для целокупных восприятий.

НАДПИСИ НА КНИГАХ И ШУТОЧНЫЕ СТИХИ

<НАДПИСЬ НА «СОЧИНЕНИЯХ» ОСТРОВСКОГО>

Не самодуров и не тлю
Москвы мильонно-колокольной,
Я горький смех его люблю
И крик отчаянья <невольный>.

1902

<НАДПИСИ НА КНИГЕ «ТИХИЕ ПЕСНИ»>

1

К. Д. Бальмонту

Тому, кто зиждет архитрав
Над гулкой залой новой речи,
Поэту «Придорожных Трав»
Никто — взамен банальной встречи.

2

Н. С. Гумилеву

Меж нами сумрак жизни длинной,
Но этот сумрак не корю,
И мой закат холодно-дынный
С отрадой смотрит на зарю.

3

Е. М. Мухиной

И от песни, что сердце лелеет,
Зной печали слезой освежая,
Сладкозвучная песнь уцелеет, —
    Но для мира чужая.

1904 (?)

МИФОТВОРЦУ — НА БАШНЮ

(Два мифотворения)

1

Где розовела полоса,
Одни белесые отсветы...
Бегут на башню голоса,
Но, ослабев, чуть шепчут: «Где ты?»

А там другой жилец уж — сед
И слеп с побрызгов белой краски,
И смотрят только губы маски
Из распахнувшихся газет.

Июнь 1909

2

Седой!.. Пора... Седому — мат...
Июль углей насыпал в яме,
И ночью, черен и лохмат,
Вздувает голубое пламя...

Где розовела полоса,
Там знойный день в асфальте пытан.
Бегут на башню голоса...
А сверху шепот: «Тише — спит он».

Июль 1909
Царское Село

ИЗ УЧАСТКОВЫХ МОНОЛОГОВ

Сонет

*ПЕ*ро нашло мозоль... К покою нет возврата:
*ТРУ*дись, как А-малю, ломая А-кростих,
*ПО ТЕМ*ным вышкам... Вон! По темпу пиччикато...
*КИ*даю мутный взор, как припертый жених...

НУ что же, что в окно? Свобода краше злата.
*НА*чало есть... Ура!.. Курнуть бы... Чирк — и пых!

«*ПА*рнас. Шато»? Зайдем! Пст... кельнер! Отбивных
*МЯ*систей, и флакон!.. Вальдшлесхен? В честь
соб-брата!

*ТЬ*фу... Вот не ожидал, как я... чертовски — ввысь
*К НИ*зинам невзначай отсюда разлетись
*ГА*зелью легкою... И где ты, прах поэта!!.

*Э*ге... Уж в ялике... Крестовский? О-це бис...
*ТА*бань, табань, не спи!
О «Поплавке» сонета

. . . .

<ПЕТРУ ПОТЕМКИНУ НА ПАМЯТЬ КНИГА ЭТА.>

1909

* * *

Ни яркий май, ни лира Фруга,
Любви послушная игла
На тонкой ткани в час досуга
Вам эту розу родила.
Когда б из кружевного[1] круга
Судьба ей вырваться дала,
Она б едва ли предпочла
Сиянье неба, зелень луга
Приюту Вашего стола.

ИЗ БАЛЬМОНТА

Крадущий у крадущего
не подлежит осуждению.

Из Талмуда.

О, белый Валаам,
Воспетый Скорпионом
С кремлевских колоколен,
О, тайна Далай-Лам,
Зачем я здесь, не там,
И так наалкоголен,
Что даже плыть неволен
По бешеным валам,

---

[1] или плюшевого.

О, белый Валаам,
К твоим грибам сушеным,
Зарям багряно-алым,
К твоим как бы лишенным
Как бы хвостов шакалам,
К шакалам над обвалом,
Козою сокрушенным
Иль Бальмонта кинжалом,
Кинжалом не лежалым,
Что машет здесь и там,
Всегда с одним азартом
По безднам и хвостам,
Химерам и Астартам,
Туда, меж колоколен,
Где был Валерий болен,
Но так козой доволен
Над розовым затоном,
Что впился скорпионом
В нее он здесь и там.
О, бедный Роденбах,
О, бедный Роденбах,
Один ты на бобах...

В МОРЕ ЛЮБВИ

Сонет

Моя душа оазис голубой.

Бальмонт

Моя душа эбеновый гобой,
И пусть я ниц упал перед кумиром,
С тобой, дитя, как с медною трубой,
Мы всё ж, пойми, разъяты целым миром.

О, будем же скорей одним вампиром,
Ты мною будь, я сделаюсь тобой,
Чтоб демонов у Яра тешить пиром,
Будь ложкой мне, а я тебе губой...

Пусть демоны измаялись в холере,
Твоя коза с тобою, мой Валерий,
А Пантеон открыл над нами зонт,

Душистый зонт из шапок волькамерий.
Постой... Но ложь — гобой, и призрак —
горизонт.
Нет ничего нигде — один Бальмонт.

<В. В. УМАНОВУ-КАПЛУНОВСКОМУ>

<В альбом автографов>

Как в автобу́се,
В альбоме этом
Сидеть поэтом
В новейшем вкусе
Меж господами
И боком к даме,
Немного тесно,
Зато чудесно...
К тому же лестно
Свершать свой ход
Меж великанов,
Так гордо канув
Забвенью в рот.

СТИХОТВОРНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ГОРАЦИЙ

(ОД. II, 8)

Когда б измена красу губила,
Моя Барина, когда бы трогать
То зубы тушью она любила,
То гладкий ноготь,

Тебе б я верил, но ты божбою
Коварной, дева, неуязвима,
Лишь ярче блещешь, и за тобою
Хвостом пол-Рима.

Недаром клятвой ты поносила
Родимой пепел, и хор безгласный
Светил, и вышних, над кем невластна
Аида сила...

Расцвел улыбкой Киприды пламень
И нимф наивность, и уж не хмуро
Глядит на алый точильный камень
Лицо Амура.

Тебе, Барина, рабов мы ро́стим,
Но не редеет и старых стая,
Себя лишь тешат, пред новым гостем
Мораль читая.

То мать за сына, то дед за траты
Клянут Барину, а девам сна нет,
Что их утеху на ароматы
Барины манит...

(ОД. III, 7)

Астерия плачет даром:
Чуть немножко потеплеет —
Из Вифинии с товаром
Гига море прилелеет...

Амалфеи жертва бурной,
В Орик Нотом уловленный,
Ночи он проводит дурно,
И озябший и влюбленный.

Пламя страсти — пламя злое,
А хозяйский раб испытан:
Как горит по гостю Хлоя,
Искушая, всё твердит он.

Мол, коварных мало ль жен-то
Вроде той, что без запрета
Погубить Беллерофонта
Научила мужа Прета,

Той ли, чьи презревши ласки,
Был Пелей на шаг от смерти.
Верьте сказкам иль не верьте, —
Всё ж на грех наводят сказки...

Но не Гига... Гиг крепится:
Скал Икара он тупее...
Лишь тебе бы не влюбиться
По соседству, в Энипея, —

Кто коня на луговине
Так уздою покоряет?
В желтом Тибре кто картинней
И смелей его ныряет?

Но от плачущей свирели
Всё ж замкнись, как ночь настанет...
Только б очи не смотрели,
Побранит, да не достанет...

(ОД. III, 26)

Давно ль бойца страшились жены
И славил девы нежный стон?..
И вот уж он, мой заслуженный,
С любовной снастью барбитон.

О левый бок Рожденной в пене
Сложите, отроки, скорей
И факел мой, разивший тени,
И лом, и лук — грозу дверей!

Но ты, о радость Кипра, ты,
В бесснежном славима Мемфисе,
Хоть раз стрекалом с высоты
До Хлои дерзостной коснися.

* * *

Над высью горной
    Тишь.
В листве, уж черной,
  Не ощутишь
  Ни дуновенья.
В чаще затих полет...
О, подожди!.. Мгновенье —
Тишь и тебя... возьмет.

ШАРМАНЩИК

В дальнем закоулке
Дед стоит седой
И шарманку вертит
Дряхлою рукой.

Пó снегу да бóсый
Еле бродит дед, —
На его тарелке
Ни копейки нет.

Мимо идут люди,
Слушать не хотят —
Только псы лихие
Деда теребят.

Уж давно о счастье
Дед не ворожит,
Старую шарманку
Знай себе крутит...

Эй, старик! Не легче ль
Вместе нам терпеть...
Ты верти шарманку,
А я буду петь...

ICH GROLLE NICHT[1]

Я всё простил: простить достало сил,
Ты больше не моя, но я простил.
Он для других, алмазный этот свет,
В твоей душе ни точки светлой нет.

Не возражай! Я был с тобой во сне;
Там ночь росла в сердечной глубине,
И жадный змей всё к сердцу припадал...
Ты мучишься... я знаю... я видал...

МНЕ СНИЛАСЬ ЦАРЕВНА

Мне снилась царевна в затишье лесном,
Безмолвная ночь расстилалась;
И влажным, и бледным царевна лицом
Так нежно ко мне прижималась.

— «Пускай не боится твой старый отец:
О троне его не мечтаю,
Не нужен мне царский алмазный венец;
Тебя я люблю и желаю».

— «Твоей мне не быть: я бессильная тень, —
С тоской мне она говорила, —
Для ласки минутной, лишь скроется день,
Меня выпускает могила».

[1] Я не сержусь (нем.). — *Ред.*

* * *

О страсти беседует чинно
За чаем — их целый синклит:
Эстетиком — каждый мужчина,
И ангелом дама глядит...

Советник скелетоподобный
Душою парит в облаках,
Смешок у советницы злобной
Прикрылся сочувственным «ах!»

Сам пастор мирится с любовью,
Не грубой, конечно, «затем,
Что вредны порывы здоровью»,
Девица лепечет: «Но чем?»

«Для женщины чувство — святыня...
Хотите вы чаю, барон?»
Мечтательно смотрит графиня
На белый баронский пластрон...

Досадно, малютке при этом
Моей говорить не пришлось:
Она изучала с поэтом
Довольно подробно вопрос...

ДВОЙНИК

Ночь, и давно спит закоулок:
Вот ее дом — никаких перемен,
Только жилицы не стало, и гулок
Шаг безответный меж каменных стен.

Тише... Там тень... руки ломает,
С неба безумных не сводит очей...
Месяц подкрался и маску снимает.
«Это — не я: ты лжешь, чародей!

Бледный товарищ, зачем обезьянить?
Или со мной и тогда заодно
Сердце себе приходил ты тиранить
Лунною ночью под это окно?»

СЧАСТЬЕ И НЕСЧАСТЬЕ

Счастье деве подобно пугливой:
Не умеет любить и любима,
Прядь откинув со лба торопливо,
Прикоснется губами, и мимо.

А несчастье — вдова и сжимает
Вас в объятиях с долгим лобзаньем,
А больны вы, перчатки снимает
И к постели садится с вязаньем.

‹ИЗ ГЛАВЫ VIII ПОЭМЫ «АТТА ТРОЛЛЬ»›

«О, не будь ты атеистом.
Атеист — ведь это изверг,
Отвергающий творца
И медведей, и вселенной.

Солнце там, вверху, и месяц,
Также звезды, и с хвостами
И бесхвостые, суть отблеск
Всемогущества господня.

Здесь, внизу, земля и море
Суть лишь эхо божьей славы,
И хвалу ему возносит
Всяка тварь. И даже вошка

Серебристая, которой
Дал приют в седой браде
Старец праведный, — и вошка
Воспевает аллилуйя.

Там вверху, под звездной крышей,
На престоле золотом
Восседает, правя миром,
Колоссальнейший медведь.

Шуба белая на нем
Ярче снега блещет, камни
Драгоценные в короне
Затмевают звезды блеском.

На лице такая важность,
Столько дум, жезлом он машет,
И по небу с треском, звоном
Перед ним миры кружатся.

А у ног его сидит
Сонм святых медведей, муку
На земле приявших; в лапах
Держат пальмовые ветви.

Под наитьем благодати
То один медведь вдруг вскочит,
То другой и перед троном
Начинает дивный танец.

Не искусством — благодатью
Лапы движутся; и дух
Так ликует, что вот-вот,
Смотришь, выпрыгнет из шубы.

О, я грешник недостойный!
Суждено ль и мне, покинув
Дольный мир сей, приобщиться
Ко блаженству в царстве света?

Суждено ль, украсив рыло
Ореолом, с пальмой в лапе,
Упоенному блаженством,
Мне плясать перед престолом?»

ГАНС МЮЛЛЕР

МАТЬ ГОВОРИТ

Аннушка, тут гость сейчас сидел,
Всё на дверь твою, вздыхая, он глядел:
«Пропадаю, мол, без Аннушки с тоски,
Сердца вашего прошу я и руки».

Аннушка, добра желает мать:
Что-то графской и кареты не слыхать.
А у гостя — что шелков, да что белил,
«А постель я с ними б нашу разделил».

И кого-кого не путал этот май,
Принца, видишь, нам из-за моря подай,
А как осень-то неслышно подошла,
Смотришь: каждая приказчичка нашла.

Аннушка, конфетинка моя!
Побеги-ка ж да скажи: согласна я,
Право, бредни-то пора и позабыть,
Не за графом ведь, за лавочником быть.

АРЕТИНО

Сонет

Таддэо Цуккеро, художник слабый, раз
Украдкой с полотном пробрался к Аретину
И говорит ему: «Я вам принес картину,
Вы — мастер, говорят, свивать венки из фраз

Для тех, кто платит вам... Немного тускло... да-с,
И краски вылинять успели вполовину.
Но об искусстве я не утруждаю вас,
Вот вам сто талеров, и с этим вас покину».

Подумал Аретин, потом перо берет
И начинает так: «Могу сказать заране —
Мадонна Цуккеро в потомстве не умрет:

Как розов колер губ, а этот небосвод,
А пепел... Полотно виню в одном изъяне:
На нем нет золота — оно в моем кармане».

ГОВОРИТ СТАРАЯ ЧЕРЕШНЯ

Остов от черешни я, назябся ж я зимой,
Инею-то, снегу-то на ветках, боже мой!

А едва заслышал я твой шаг сквозь забытье,
В воздухе дыхание почувствовал твое,

Весь я точно к Троице разубрался в листы,
Замерцали белые меж листьями цветы.

Было утро снежного и сиверкого дня,
Но когда ты ласково взглянула на меня,

Чудо совершилося — желания зажглись
И на ветках красные черешни налились.

Каждая черешенка так и горит, любя,
Каждая шепнула бы: «Я только для тебя,

Все же мы, любимая, на ласковый твой свет
Сердца благодарного мы — ласковый ответ».

Но со смехом в поле ты, к подругам ты ушла,
И, дрожа, увидел я, как набегала мгла,

Как плоды срывалися, как цвет мой опадал,
Никогда я, кажется, сильнее не страдал.

Но за то не холоден мне больше зимний день.
Если в сетке снежной я твою завижу тень.

А когда б в глаза твои взглянуть мне хоть во сне,
Пусть опять и чудо мне, пусть и мука мне.

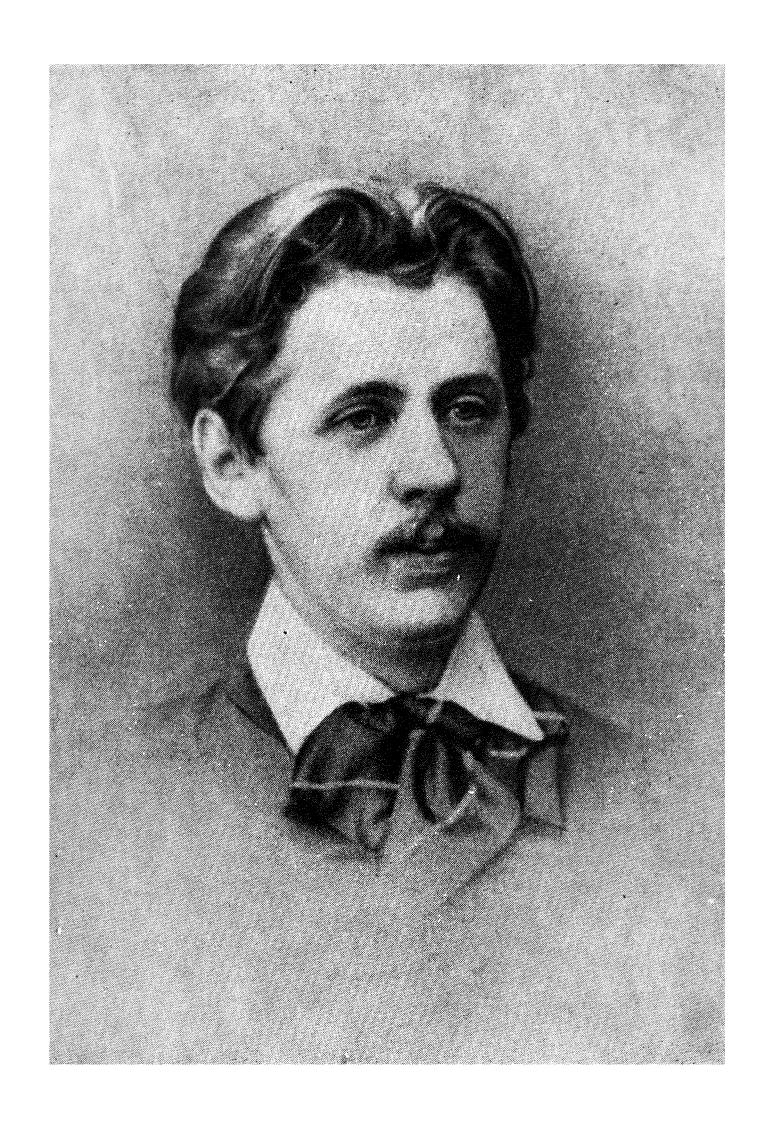
РАСКАЯНИЕ У ЦИРЦЕИ

Красу твою я проклинаю:
Покоя я больше не знаю,
Нет сердцу отрады тепла.

Чем дети мои виноваты?
Кольцо и червонцы взяла ты,
Что знал я, чем был я, взяла,

Я вынес ужасную пытку,
Но губ к роковому напитку,
Клянусь, не приближу я вновь.

С детьми помолюсь я сегодня:
Слова их до бога доходней,
Целительней сердцу любовь.



ГЕНРИ ЛОНГФЕЛЛО

ДНЯ НЕТ УЖ...

Дня нет уж... За крыльями Ночи
Прозрачная стелется мгла,
Как легкие перья кружатся
Воздушной стезею орла.

Сквозь сети дождя и тумана
По окнам дрожат огоньки,
И сердце не может бороться
С волной набежавшей тоски,

С волною тоски и желанья,
Пусть даже она — не печаль,
Но дальше, чем дождь от тумана,
Тоска от печали едва ль.

Стихов бы теперь понаивней,
Помягче, поглубже огня,
Чтоб эту тоску убаюкать
И думы ушедшего дня,

Не тех грандиозных поэтов,
Носителей громких имен,
Чьи стоны звучат еще эхом
В немых коридорах Времен.

Подобные трубным призывам,
Как парус седой кораблю,
Они наполняют нас бурей, —
А я о покое молю.

Мне надо, чтоб дума поэта
В стихи безудержно лилась,
Как ливни весенние хлынув,
Иль жаркие слезы из глаз,

Поэт же и днем за работой,
И ночью в тревожной тиши,
Всё сердцем бы музыку слышал
Из чутких потемок души...

Биенье тревожное жизни
Смиряется песнью такой,
И сердцу она, как молитва,
Несет благодатный покой.

Но только стихи, дорогая,
Тебе выбирать и читать:
Лишь музыка голоса может
Гармонию строф передать.

Ночь будет певучей и нежной,
А думы, темнившие день,
Бесшумно шатры свои сложат
И в поле растают, как тень.

МАГАЛИ
ИЗ ПОЭМЫ «MIRÉIO»

Юноша

Магали, моя отрада,
Слышишь: льются звуки скрипки.
Это — тихая обада
Ясной ждет твоей улыбки.

Небеса в лучах синеют.
Много звезд там золотых...
Но взгляни!.. и побледнеют
Звезды в блеске глаз твоих.

Магали

Не пленит меня собою
Песнь твоя, что шум ветвей.
Лучше рыбкой золотою
Я уйду в простор морей.

Юноша

Магали, но если в волны
Ты уйдешь, я не сробею;
Есть и неводы, и челны:
Скоро будешь ты моею.

Магали

Вот и нет... Как только в море
Ты закинешь невод свой,

Птичкой вольной на просторе
Распрощаюсь я с тобой.

Юноша

Магали! Для милой птички
Я охотником явлюся:
Против пташки невелички
Злым силком вооружуся.

Магали

Ну, уж если жить на воле
Ты и пташке не даешь,
Я былинкой скроюсь в поле,
И меня ты не найдешь.

Юноша

Магали, мой голубочек,
Всё же буду я с тобою —
На душистый тот листочек
Я живой паду росою.

Магали

Ты росой... Я стану тучей...
И туда, на край земли,
Вольной, гордой и могучей
Унесется Магали.

Юноша

Магали! И я с тобою...
Ветром сделаюсь я бурным
И помчу тебя стрелою
По полям светло-лазурным.

Магали

Ну, тогда я стану ярким,
Ярким солнечным лучом,
Что живит лобзаньем жарким
Земли, скованные льдом.

Юноша

Магали! А я — я стану
Саламандрою зеленой

И тебя с небес достану —
Выпью луч тот раскаленный.

Магали

Нет, не быть тебе со мною:
Ползай здесь между кустов!
Я ж... я сделаюсь луною,
Что глядит ночной порою
На косматых колдунов.

Юноша

Магали моя!.. Напрасно
Светлой станешь ты луною...
Как туман, я пеленою
Обовью тебя так страстно.

Магали

И пускай луна в тумане...
Молодая Магали
Свежей розой на поляне
Может спрятаться вдали.

Юноша

Если розой безмятежно
Зацветешь ты в неге сладкой,
Мотыльком я стану нежно
Целовать тебя украдкой.

Магали

О, целуй, коль сердцу любо!
Я ж от солнца и небес
Под кору густого дуба
Скроюсь в темный-темный лес.

Юноша

Магали!.. Я не покину
Дуба... в мох я обращуся...
Прилепившись к исполину,
С лаской вкруг я обовьюся.

Магали

И обнимешь дуб зеленый,
Магали ж твоя уйдет

В монастырь уединенный:
Там приют она найдет.

Юноша

Магали! Не спорь со мною...
И под кровом тем священным
Я явлюсь перед тобою
Исповедником смиренным.

Магали

Ты придешь и крепко спящей
Там увидишь Магали:
Черный гроб и хор молящий
Охладят мечты твои.

Юноша

Магали! Моя родная,
Не расстанусь я с тобою:
Стану я сырой землею,
Милый прах твой обнимая!

Магали

Не на шутку начинаю
Верить я твоей любви.
Вот кольцо мое... лови!
В нем залог я посылаю!

(Показывается в окошке.)

Юноша

Магали! Ты здесь... со мною!
О! ты жизни мне милее...
Посмотри — перед тобою
Звезды сделались бледнее!

1879

ИСКУПЛЕНИЕ

Вы, ангел радости, когда-нибудь страдали?
Тоска, унынье, стыд терзали вашу грудь?
И ночью бледный страх... хоть раз когда-нибудь
Сжимал ли сердце вам в тисках холодной стали?
Вы, ангел радости, когда-нибудь страдали?

Вы, ангел кротости, знакомы с тайной злостью?
С отравой жгучих слез и яростью без сил?
К вам приводила ночь немая из могил
Месть, эту черную назойливую гостью?
Вы, ангел кротости, знакомы с тайной злостью?

Вас, ангел свежести, томила лихорадка?
Вам летним вечером, на солнце у больниц,
В глаза бросались ли те пятна желтых лиц,
Где синих губ дрожит мучительная складка?
Вас, ангел свежести, томила лихорадка?

Вы, ангел прелести, теряли счет морщинам?
Угрозы старости уж леденили вас?
Там в нежной глубине влюбленно-синих глаз
Вы не читали снисхождения к сединам?
Вы, ангел прелести, теряли счет морщинам?

О ангел счастия, и радости, и света!
Бальзама нежных ласк и пламени ланит
Я не прошу у вас, как зябнущий Давид...
Но, если можете, молитесь за поэта
Вы, ангел счастия, и радости, и света!

ПРИВИДЕНИЕ

Ядом взора золотого
Отравлю я сон алькова,
Над тобой немую тьму
Я крылами разойму.

Черным косам в час свиданья —
Холод лунного лобзанья,
Руки нежные твои —
В кольца цепкие змеи.

А заря зазеленеет,
Ложе ласк обледенеет,
Где твой мертвый гость лежал,

И, еще полна любовью,
Прислоненный к изголовью
Ты увидишь там — кинжал.

СОВЫ

Зеницей нацелясь багровой,
Рядами на черных березах,
Как идолы, старые совы
Застыли в мечтательных позах.

И с места не тронется птица,
Покуда, алея, могила
Не примет останков светила
И мрак над землей не сгустится.

А людям пример их — наука,
Что двигаться лишняя мука,
Что горшее зло — суета,

Что если гоняться за тенью
Кого и заставит мечта,
Безумца карает — *Движенье.*

ПОГРЕБЕНИЕ ПРОКЛЯТОГО ПОЭТА

Если тело твое христиане,
Сострадая, земле предадут,
Это будет в полночном тумане,
Там, где сорные травы растут.
И когда на немую путину
Выйдут частые звезды дремать,
Там раскинет паук паутину
И змеенышей выведет мать.
По ночам над твоей головою
Не смолкать и волчиному вою.
Будет ведьму там голод долить,
Будут вопли ее раздаваться,
Старичонки в страстях извиваться,
А воришки добычу делить.

СТАРЫЙ КОЛОКОЛ

Я знаю сладкий яд, когда мгновенья тают
И пламя синее узор из дыма вьет,
А тени прошлого так тихо пролетают
Под вальс томительный, что вьюга им поет.

О, я не тот, увы! над кем бессильны годы,
Чье горло медное хранит могучий вой
И, рассекая им безмолвие природы,
Тревожит сон бойцов, как старый часовой.

В моей груди давно есть трещина, я знаю,
И если мрак меня порой не усыпит
И песни нежные слагать я начинаю —

Всё, насмерть раненный, там будто кто хрипит,
Гора кровавая над ним всё вырастает,
А он в сознаньи и недвижно умирает.

СПЛИН

Бывают дни — с землею точно спаян,
Так низок свод небесный, так тяжел,
Тоска в груди проснулась, как хозяин,
И бледный день встает, с похмелья зол,

И целый мир для нас одна темница,
Где лишь мечта надломленным крылом
О грязный свод упрямо хочет биться,
Как нетопырь, в усердии слепом.

Тюремщик — дождь гигантского размера
Задумал нас решеткой окружить,
И пауков народ немой и серый
Под черепа к нам перебрался жить...

И вдруг удар сорвался как безумный, —
Колокола завыли и гудят,
И к облакам проклятья их летят
Ватагой злобною и шумной.

И вот... без музыки за серой пеленой
Ряды задвигались... Надежда унывает,
И над ее поникшей головой
Свой черный флаг Мученье развевает...

СЛЕПЫЕ

О, созерцай, душа: весь ужас жизни тут
Разыгран куклами, но в настоящей драме.
Они, как бледные лунатики, идут
И целят в пустоту померкшими шарами.

И странно: впадины, где искры жизни нет,
Всегда глядят наверх, и будто не проронит
Луча небесного внимательный лорнет,
Иль и раздумие слепцу чела не клонит?

А мне, когда их та ж сегодня, что вчера,
Молчанья вечного печальная сестра,
Немая ночь ведет по нашим стогнам шумным

С их похотливою и наглой суетой,
Мне крикнуть хочется — безумному безумным:
«Что может дать, слепцы, вам этот свод пустой?»

СМЕРТЬ СИГУРДА

Сигурда больше нет, Сигурда покрывает
От ног до головы из шерсти тяжкий плат,
И хладен исполин среди своих палат,
Но кровь горячая палаты заливает.

И тут же, на земле, подруги трех царей:
И безутешная вдова его Гудруна,
И с пленною женой кочующего гунна
Царица дряхлая норманских рыбарей.

И, к телу хладному героя припадая,
Осиротевшие мятутся и вопят,
Но сух и воспален Брингильды тяжкий взгляд,
И на мятущихся глядит она, немая.

Вот косы черные на плечи отвела
Герборга пленная, и молвит: «О царица,
Горька печаль твоя, но с нашей не сравнится:
Еще ребенком я измучена была...

Огни костров лицо мое лизали,
И трупы братние у вражеских стремян
При мне кровавый след вели среди полян,
А свевы черепа их к седлам привязали.

Рабыней горькою я шесть ужасных лет
У свева чистила кровавые доспехи:
На мне горят еще господские утехи —
Рубцы его кнута и цепи подлый след».

Герборга кончила. И слышен плач норманки:
«Увы! тоска моя больней твоих оков...
Нет, не узреть очам норманских берегов,
Чужбина горькая пожрет мои останки.

Давно ли сыновей шум моря веселил...
Чуть закипит прибой, как ветер встрепенутся,
Но кос моих седых уста их не коснутся,
И моет трупы их морей соленый ил...

О жены! Я стара, а в ком моя опора?
В дугу свело меня и ропот сердца стих...
И внуки нежные — мозг из костей моих —
Не усладят — увы — слабеющего взора»...

Умолкла старая. И властною рукой
Брингильда тяжкий плат с почившего срывает.
И десять уст она багровых открывает
И стана гордого чарующий покой.

Пускай насытят взор тоскующей царицы
Те десять пылких ран, те жаркие пути,
Которыми душе Сигурдовой уйти
Судил кинжал его сокрытого убийцы.

И, трижды возопив, усопшего зовет
Гудруна: «Горе мне, — взывает, — бесталанной,
Возьми меня с собой в могилу, мой желанный,
Тебя ли, голубь мой, любовь переживет?

Когда на брачный пир, стыдливую, в уборе
Из камней радужных Гудруну привели,
Какой безумный день мы вместе провели...
Смеясь твердила я: «О! с ним не страшно горе!»

Был долог дивный день, но вечер не погас —
Вернулся бранный конь — измученный и в мыле,
Слоями кровь и грязь бока ему покрыли,
И слезы падали из помутневших глаз.

А я ему: «Скажи, зачем один из сечи
Ушел, без короля?» Но грузно он упал

И спутанным хвостом печально замахал,
И стон почудился тогда мне человечий.

Но Гаген подошел, с усмешкой говоря:
— «Царица, ворон твой, с орлом когда-то схожий,
Тебе придти велел на горестное ложе,
Где волки лижут кровь убитого царя».

— «О будь же проклят ты! И, если уцелею,
Ты мне преступною заплатишь головой...
А вы, безумные, покиньте тяжкий вой,
Что значит *ваша* скорбь пред мукою *моею?»*

Но в гневе крикнула Брингильда: «Все молчать!
Чего вы хнычете, болтливые созданья?
Когда бы волю я дала теперь рыданью,
Как мыши за стеной, вы стали бы пищать...

Гудруна! К королю терзалась я любовью,
Но только ты ему казалась хороша,
И злобою с тех пор горит во мне душа,
И десять ран ее залить не могут кровью...

Убить разлучницу я не жалела — знай!
Но он бы плакать стал над мертвою подругой.
Так лучше: будь теперь покинутой супругой,
Терзайся, но живи, старей и проклинай!»

Тут из-под платья нож Брингильда вынимает,
Немых от ужаса расталкивает жен,
И десять раз клинок ей в горло погружен,
На франка падает она и — умирает.

* * *

Над синим мраком ночи длинной
Не властны горние огни,
Но белы скаты и долина.
— Не плачь, не плачь, моя Кристина,
Дитя мое, усни.

— Завален глыбой ледяною,
Во сне меня ласкает он.
Родная, сжалься надо мною.
Отраден лунною порою
Больному сердцу стон.

И мать легла — одна девица,
Очаг, дымя, давно погас.
Уж полночь бьет. Кристине мнится,
Что у порога гость стучится.
— Откуда в поздний час?

— О, отвори мне поскорее
И до зари побудь со мной.
Из-под креста и мавзолея
Несу к тебе, моя лилея,
Я саван ледяной.

Уста сливались, и лобзанья,
Как вечность долгие, росли,
Рождая жаркие желанья.
Но близко время расставанья.
Петуший крик вдали.

ДОЧЬ ЭМИРА

Умолк в тумане золотистом
Кудрявый сад, и птичьим свистом
Он до зари не зазвучит;
Певуний утомили хоры,
И солнца луч, лаская взоры,
Струею тонкой им журчит.

Уж на лимонные леса
Теплом дохнули небеса.
Невнятный шепот пробегает
Меж белых роз, и на газон
Сквозная тень и мирный сон
С ветвей поникших упадает.

За кисеею сень чертога
Царевну охраняла строго,
Но от завистливых очей
Эмир таить не видел нужды
Те звезды ясные очей,
Которым слезы мира чужды.

Аишу-дочь эмир ласкал,
Но в сад душистый выпускал
Лишь в час, когда закат кровавый
Холмов вершины золотит,
А над Кордовой сереброглавой
Уж тень вечерняя лежит.

И вот от мирты до жасмина
Однажды ходит дочь Эддина,
Она то розовую ножку
В густых запутает цветах,
То туфлю скинет на дорожку,
И смех сверкает на устах.

Но в чащу розовых кустов
Спустилась ночь... как шум листов,
Зовет Аишу голос нежный,
Дрожа, назад она глядит:
Пред ней, в одежде белоснежной
И бледный, юноша стоит.

Он статен был, как Гавриил,
Когда пророка возводил
К седьмому небу. Как сиянье,
Клубились светлые власы,
И чисто было обаянье
Его божественной красы.

В восторге дева замирает:
«О гость, чело твое играет,
И глаз лучиста глубина;
Скажи свои мне имена.
Халиф ли ты? И где царишь?
Иль в сонме ангелов паришь?»

И ей с улыбкой — гость высокий:
— «Я — царский сын, иду с востока,
Где на соломе свет узрел...
Но миром я теперь владею,
И, если хочешь быть моею,
Я царство дам тебе в удел».

— «О, быть с тобою — сон любимый,
Но как без крыльев улетим мы?
Отец сады свои хранит:
Он их стеной обгородил,
Железом стену усадил,
И стража верная не спит».

— «Дитя, любовь сильнее стали:
Куда орлы не возлетали,
Трудом любовь проложит след,
И для нее преграды нет.
Что не любовь — то суета,
То сном рожденная мечта».

И вот во мраке пропадают
Дворцы, и тени сада тают.
Вокруг поля. Они вдвоем.
Но долог путь, тяжел подъем...
И камни в кожу ей впились,
И кровью ноги облились.

— «О, видит бог: тебя люблю я,
И боль, и жажду, всё стерплю я...
Но далеко ль идти нам, милый?
Боюсь — меня покинут силы».
И вырос дом — черней земли,
Жених ей говорит: «Пришли.

Дитя, перед тобой ловец
Открытых истине сердец.
И ты — моя! Зачем тревога?
Смотри — для брачного чертога
Рубины крови я сберег
И слез алмазы для серег;

Твои глаза и сердце снова
Меня увидят, и всегда
Среди сиянья неземного
Мы будем вместе... Там...» —«О, да», —
Ему сказала дочь эмира —
И в келье умерла для мира.

* * *

Пускай избитый зверь, влачася на цепочке,
Покорно топчет ваш презренный макадам,
Сердечных ран своих на суд ваш не отдам,
Принарядивши их в рифмованные строчки.

Чтоб оживить на миг огонь заплывших глаз,
Чтоб смех ваш вымолить, добиться сожаленья,
Я ризы светлые стыда и вдохновенья
Пред вами раздирать не стану напоказ.

В цепях молчания, в заброшенной могиле
Мне легче будет стать забвенной горстью пыли,
Чем вдохновением и мукой торговать.

Мне даже дальний гул восторгов ваших жуток, —
Ужель заставите меня вы танцевать
Средь размалеванных шутов и проституток?

ПОСЛЕДНЕЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Глаза открыты и не видят... Я — мертвец...
Я жил... Теперь я только падаю... Паденье,
Как мука, медленно и тяжко, как свинец.

Воронка черная без жалоб, без боренья
Вбирает мертвого. Проходят дни... года,
И ночь, и только ночь, без звука, без движенья.

Я понимаю всё... Но сердце? И сюда
Схожу ли стариком иль пору молодую
Покинул... и любви сияла мне звезда?..

Я — груз, и медленно сползаю в ночь немую;
Растет, сгущается забвенье надо мной...
Но если это сон?.. О нет, и гробовую

Я помню тень и крик, и язву раны злой...
Всё это было... и давно... Иль нет? Не знаю...
О ночь небытия! Возьми меня... я твой...

Там... сердце на куски... Припоминаю.

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ «ПРИЗРАКИ»

1

С душой печальною три тени неразлучны,
Они всегда со мной, и вечно их полет
Пронзает жизни сон, унылый и докучный.

С тоской гляжу на них, и страх меня берет,
Когда чредой скользят они безгласны,
И сердце точит кровь, когда их узнает;

Когда ж зеницы их в меня вольются властно,
Терзает плоть мою их погребальный пыл,
Мне кости леденит их пламень неугасный.

Беззвучно горький смех на их устах застыл,
Они влекут меня меж сорных трав и терний,
Туда, под тяжкий свод, где тесен ряд могил...

Три тени вижу я в часы тоски вечерней.

2

Уста землистые и длани ледяные, —
Но не считайте их за мертвецов.
Увы! Они живут, укоры сердца злые!

О, если бы я мог развеять тучи снов,
О, если б унесла скорее месть забвенья
Цветы последние торжественных венцов!

Я расточил давно мне данные куренья,
Мой факел догорел, и сам алтарь, увы!
В пыли и копоти лежит добычей тленья.

В саду божественном душистой головы
Лилее не поднять, — без страсти, без желаний
Там влагу выпили, там корни выжгли вы,

Уста землистые и ледяные длани.

3

Но что со мной? О нет... Теней светлеют вежды!
Я солнце, я мечту за ними увидал:
В какой блаженный хор слились вокруг Надежды!

О вы, которых я безумно так желал!
Кого я так любил, коль это ваши тени,
Отдайте счастья мне нетронутый фиал!

За робкую любовь, за детский жар молений,
О, засияйте мне, лучи любимых глаз,
Вы, косы нежные, обвейте мне колени!

Нет! Ночь... Всё та же ночь. Мираж любви погас,
И так же, с сумраком таинственно сливаясь,
Три тени белые в немой и долгий час

Мне сердце леденят, тоской в него впиваясь...

1902

ОГНЕННАЯ ЖЕРТВА

С тех пор, как истины приняли люди свет,
Свершилось 1618 лет.
На небе знойный день. У пышного примаса
Гостей по городу толпится с ночи масса;

Слились и яркий звон и гул колоколов,
И море зыблется на площади голов.
По скатам красных крыш и в волны злато льется,
И солнце городу нарядному смеется,

На стены черные обители глядит,
Мосты горбатые улыбкой золотит,
И блещет меж зубцов кривых и старых башен,
Где только что мятеж вставал и зол, и страшен.

Протяжным рокотом, как гулом вешних вод,
Тупик, и улицу, и площадь, и проход,
Сливаясь, голоса и шумы заливают,
И руки движутся, и плечи напирают.

Все в белом иноки: то черный, то седой,
То гладко выбритый, то с длинной бородой,
Тонсуры, лысины, шлыки и капюшоны,
На кровных скакунах надменные бароны,

Попоны, шитые девизами гербов,
И ведьмы старые с огрызками зубов...
И дамы пышные на креслах и в рыдванах,
И белые брыжжи на розовых мещанах,

И винный блеск в глазах, и винный аромат
Меж пестрой челяди гайдучьей и солдат.
Шуты и нищие, ханжи и проститутки,
И кантов пение, и площадные шутки,

И с ночи, кажется, все эти люди тут,
Чтоб видеть, как живым еретика сожгут.
А с высоты костра, по горло цепью скручен,
К столбу дубовому привязан и измучен,

На море зыбкое взирает еретик,
И мрачной горечью подернут строгий лик.
Он видит у костра безумных изуверов,
Он слышит вопли их и гимны лицемеров.

В горячке диких снов воздев себе венцы,
Вот злые двинулись попарно чернецы;
Дрожат уста у них от бешеных хулений,
Их руки грязные бичуют светлый гений,

Из глаз завистливых струится темный яд:
Они пожрать его, а не казнить хотят.

И стыдно за людей прикованному стало...
Вдруг занялся огонь, береста затрещала,

Вот пурпурный язык ступни ему лизнул
И быстро пó пояс змеею обогнул.
Надулись волдыри и лопнули, и точно
Назревшей мякотью плода кто брызнул сочной.

Когда ж огонь ему под сердце подступил,
«О боже, боже мой!» — он в муках возопил.
А с площади монах кричит с усмешкой зверской:
«Что, дьявольская снедь, отступник богомерзкий?

О боге вспомнил ты, да поздно на беду.
Ну, здесь не догоришь — дожаришься в аду».
И муки еретик гордыней подавляя
И страшное лицо из пламени являя,

Где кожу черную кипящий пот багрил,
На жалком выродке глаза остановил
И словом из огня стегнул его, как плетью:
«Холоп, не радуйся напрасно... междометью!»

Тут бешеный огонь слова его прервал,
Но гнев и меж костей там долго бушевал...

ЯВЛЕНИЕ БОЖЕСТВА

Над светлым озером Норвегии своей
Она идет, мечту задумчиво лелея,
И шею тонкую кровь розовая ей
Луча зари златит среди снегов алее.

Берез лепечущих еще прозрачна сень,
И дня отрадного еще мерцает пламя,
И бледных вод лазурь ее качает тень,
Беззвучно бабочек колеблема крылами.

Эфир обвеет ли волос душистых лен,
Он зыбью пепельной плечо ей одевает,
И занавес ресниц дрожит, осеребрен
Полярной ночью глаз, когда их закрывает.

Ни тени, ни страстей им не оставят дни,
Из мира дольнего умчались их надежды:
Не улыбалися, не плакали они,
И в голубую даль глядят спокойно вежды.

И страж задумчивый мистических садов
С балкона алого следит с улыбкой нежной
За легким призраком норвежских берегов
Среди бессмертных волн одежды белоснежной.

17—19 января 1901
Царское Село

НЕГИБНУЩИЙ АРОМАТ

Если на розу полей
Солнце Лагора сияло,
Душу ее перелей
В узкое горло фиала.

Глину ль насытит бальзам
Или обвеет хрусталь,
С влагой божественной нам
Больше расстаться не жаль:

Пусть, орошая утес,
Жаркий песок она пóит,
Розой оставленных слез
Море потом не отмоет.

Если ж фиалу в кусках
Выпадет жребий лежать,
Будет, блаженствуя, прах
Розой Лагора дышать.

Сердце мое как фиал,
Не пощаженный судьбою,
Пусть он недолго дышал,
Дивная влага, тобою;

Той, перед кем пламенел
Чистый светильник любви,
Благословляя удел,
Муки простил я свои.

Сердцу любви не дано, —
Но, и меж атомов атом,
Будет бессмертно оно
Нежным твоим ароматом.

НАД УМЕРШИМ ПОЭТОМ

О ты, чей светлый взор на крыльях горней рати
Цветов неведомых за радугой искал
И тонких профилей в изгибах туч и скал,
Лежишь недвижим ты, — и на глазах печати.

Дышать — глядеть — внимать — лишь ветер, пыль и гарь...
Любить? Фиал златой, увы! но желчи полный.
Как бог скучающий покинул ты алтарь,
Чтобы волной войти туда, где только волны.

На безответный гроб и тронутый скелет
Слеза обрядная прольется или нет,
И будет ли тобой банальный век гордиться,

Но я твоей, поэт, завидую судьбе:
Твой тих далекий дом, и не грозит тебе
Позора — понимать, и ужаса — родиться.

МАЙЯ

О Майя, о поток химер неуловимых,
Из сердца мечешь ты фонтан живых чудес!
Там наслажденья миг, там горечь слез незримых,
И темный мир души, и яркий блеск небес.
И самые сердца рожденных на мгновенье
В цепи теней твоих, о Майя, только звенья.

Миг — и гигантская твоя хоронит тень
В веках прошедшего едва рожденный день
С слезами, воплями и кровью в нежных венах...
Ты молния? Ты сон? Иль ты бессмертья ложь?
О, что ж ты, ветхий мир? Иль то, на что похож,
Ты вихорь призраков, в мелькании забвенных?

* * *

О ты, которая на миг мне воротила
Цветы весенние, благословенна будь.
Люблю я, лучший сон вздымает сладко грудь,
И не страшит меня холодная могила.

Вы, милые глаза, что сердцу утро дней
Вернули, — чарами объятого поныне
Забыть вы можете — вам не отнять святыни:
В могиле вечности я неразлучен с ней.

СОН, С КОТОРЫМ Я СРОДНИЛСЯ

Сонет

Мне душу странное измучило виденье,
Мне снится женщина, безвестна и мила,
Всегда одна и та ж и в вечном измененьи,
О, как она меня глубоко поняла...

Всё, всё открыто ей... Обманы, подозренья,
И тайна сердца ей, лишь ей, увы! светла.
Чтоб освежить слезой мне влажный жар чела,
Она горячие рождает испаренья.

Брюнетка? русая? Не знаю, а волос
Я ль не ласкал ее? А имя? В нем слилось
Со звучным нежное, цветущее с отцветшим;

Взор, как у статуи, и нем, и углублен,
И без вибрации, спокоен, утомлен.
Такой бы голос шел к теням, от нас ушедшим..

LE RÊVE FAMILIER[1]

Мы полюбили друг друга в минуты глубокого сна:
Призрак томительно-сладкий и странный — она.

Маски, и вечно иной, никогда предо мной не снимая,
Любит она и меня понимает, немая...

[1] Привычный сон (франц.). — *Ред.*

Так к изголовью приникнув, печальная нежная мать
Сердцем загадки умеет одна понимать.

Если же греза в морщинах горячую влагу рождает,
Плача лицо мне слезами она прохлаждает...

Цвета назвать не умею ланиты ласкавших волос,
Имя?.. В нем звучное, помню я, с нежным слилось.

Имя — из мира теней, что тоскуют в лазури сияний,
Взоры — глубокие взоры немых изваяний.

Голос — своею далекой, и нежной, и вечной мольбой,
Напоминая умолкших, зовет за собой...

1901

COLLOQUE SENTIMENTAL[1]

Забвенный мрак аллей обледенелых
Сейчас прорезали две тени белых.
Из мертвых губ, подъяв недвижный взор,
Они вели беззвучный разговор;
И в тишине аллей обледенелых
Взывали к прошлому две тени белых:
«Ты помнишь, тень, наш молодой экстаз?»
— «Вам кажется, что он согрел бы нас?»
— «Не правда ли, что ты и там всё та же,
Что снится тень моя тебе?» — «Миражи».
— «Нет, первого нам не дано забыть
Лобзанья жар... Не правда ль?» — «Может быть».
— «Тот синий блеск небес, ту веру в силы?»
— «Их черные оплаканы могилы».
Вся в инее косматилась трава,
И только ночь их слышала слова.

* * *

Начертания ветхой триоди
Нежным шепотом будит аллея,
И, над сердцем усталым алея,
Загораются тени мелодий.

---

[1] Чувствительная беседа (франц.). — *Ред.*

Их волшебный полет ощутив,
Сердце мечется в узах обмана,
Но навстречу ему из тумана
Выплывает банальный мотив.

О, развеяться в шепоте елей...
Или ждать, чтоб мечты и печали
Это сердце совсем закачали
И, заснувши... скатиться с качелей?

ПЕСНЯ БЕЗ СЛОВ

Сердце исходит слезами,
Словно холодная туча...
Сковано тяжкими снами,
Сердце исходит слезами.

Льются мелодией ноты
Шелеста, шума, журчанья,
В сердце под игом дремоты
Льются дождливые ноты...

Только не горем томимо
Плачет, а жизнью наскуча,
Ядом измен не язвимо,
Мерным биеньем томимо.

Разве не хуже мучений
Эта тоска без названья?
Жить без борьбы и влечений
Разве не хуже мучений?

* * *

Я долго был безумен и печален
От темных глаз ее, двух золотых миндалин.

И всё тоскую я, и всё люблю,
Хоть сердцу уж давно сказал: «Уйди, молю»,

Хотя от уз, от нежных уз печали
И ум и сердце вдаль, покорные, бежали.

Под игом дум, под игом новых дум,
Волнуясь, изнемог нетерпеливый ум,

И сердцу он сказал: «К чему ж разлука,
Когда она всё с нами, эта мука?»

А сердце, плача, молвило ему:
«Ты думаешь, я что-нибудь пойму?

Не разберусь я даже в этой муке.
Да и бывают ли и вместе, и в разлуке?»

ПЕРВОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ СБОРНИКА «SAGESSE»[1]

Мне под маскою рыцарь с коня не грозил,
Молча старое сердце мне Черный пронзил,

И пробрызнула кровь моя алым фонтаном,
И в лучах по цветам разошлася туманом.

Веки сжала мне тень, губы ужас разжал,
И по сердцу последний испуг пробежал.

Черный всадник на след свой немедля вернулся,
Слез с коня и до трупа рукою коснулся.

Он, железный свой перст в мою рану вложив,
Жестким голосом так мне сказал: «Будешь жив».

И под пальцем перчатки целителя твердым
Пробуждается сердце и чистым и гордым.

Дивным жаром объяло меня бытие,
И забилось, как в юности, сердце мое.

Я дрожал от восторга и чада сомнений,
Как бывает с людьми перед чудом видений.

[1] Мудрость (франц.). — *Ред.*

А уж рыцарь поодаль стоял верховой;
Уезжая, он сделал мне знак головой,

И досель его голос в ушах остается:
«Ну, смотри. Исцелить только раз удается».

ТОМЛЕНИЕ

Сонет

Я — бледный римлянин эпохи Апостата.
Покуда портик мой от гула бойни тих,
Я стилем золотым слагаю акростих,
Где умирает блеск пурпурного заката.

Не медью тяжкою, а скукой грудь объята,
И пусть кровавый стяг там веет на других,
Я не люблю трубы, мне дики стоны их,
И нестерпим венок, лишенный аромата.

Но яд или ланцет мне дней не прекратят.
Хоть кубки допиты, и паразит печальный
Не прочь бы был почтить нас речью
погребальной!

Пускай в огонь стихи банальные летят:
Я всё же не один: со мною раб нахальный
И скука желтая с усмешкой инфернальной.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛЮБВИ

Средь золотых шелков палаты Экбатанской,
Сияя юностью, на пир они сошлись
И всем семи грехам забвенно предались,
Безумной музыке покорны мусульманской.

То были демоны, и ласковых огней
Всю ночь желания в их лицах не гасили,
Соблазны гибкие с улыбками алмей
Им пены розовой бокалы разносили.

В их танцы нежные под ритм эпиталамы
Смычок рыдание тягучее вливал,
И хором пели там и юноши, и дамы,
И, как волна, напев то падал, то вставал.

И столько благости на лицах их светилось,
С такою силою из глаз она лилась,
Что поле розами далеко расцветилось
И ночь алмазами вокруг разубралась.

И был там юноша. Он шумному веселью,
Увит левкоями, отдаться не хотел;
Он руки белые скрестил по ожерелью,
И взор задумчивый слезою пламенел.

И всё безумнее, всё радостней сверкали
Глаза, и золото, и розовый бокал,
Но брат печального напрасно окликал,
И сестры нежные напрасно увлекали.

Он безучастен был к кошачьим ласкам их,
Там черной бабочкой меж камней дорогих
Тоска бессмертная чело ему одела
И сердцем демона с тех пор она владела.

«Оставьте!» — демонам и сестрам он сказал
И, нежные вокруг напечатлев лобзанья,
Освобождается и оставляет зал,
Им благовонные покинув одеянья.

И вот уж он один над замком, на столпе,
И с неба факелом, пылающим в деснице,
Грозит оставленной пирующей толпе,
А людям кажется мерцанием денницы.

Близ очарованной и трепетной луны
Так нежен и глубок был голос сатаны,
И треском пламени так дивно оттенялся:
«Отныне с богом я, — он говорил, — сравнялся.

Между Добром и Злом исконная борьба
Людей и нас давно измучила — довольно!
И, если властвовать вся эта чернь слаба,
Пусть жертвой падает она сегодня вольной.

И пусть отныне же, по слову сатаны,
Не станет более Ахавов и пророков,
И не для ужасов уродливой войны
Три добродетели воспримут семь пороков.

Нет, змéю Иисус главы еще не стер:
Не лавры праведным, он тернии дарует,
А я — смотрите — ад, здесь целый ад пирует,
И я кладу его, Любовь, на твой костер».

Сказал — и факел свой пылающий роняет...
Миг — и пожар завыл среди полнощной мглы:
Задрались бешено багровые орлы,
И стаи черных мух, играя, бес гоняет.

Там реки золота, там камня гулкий треск,
Костра бездонного там вой, и жар, и блеск;
Там хлопьев шелковых, искряся и летая,
Гурьба пчелиная кружится золотая.

И, в пламени костра бесстрашно умирая,
Веселым пением там величают смерть
Те, чуждые Христа, не жаждущие рая,
И, воя, пепел их с земли уходит в твердь.

А он на вышине, скрестивши гордо руки,
На дело гения взирает своего,
И будто молится, но тихих слов его
Расслышать не дают бесовских хоров звуки

И долго тихую он повторял мольбу,
И языки огней он провожал глазами,
Вдруг — громовой удар, и вмиг погасло пламя,
И стало холодно и тихо, как в гробу.

Но жертвы демонов принять не захотели:
В ней зоркость божьего всесильного суда

Коварство адское открыло без труда,
И думы гордые с творцом их улетели.

И тут страшнейшее случилось из чудес:
Чтоб только тяжким сном вся эта ночь казалась,
Чертог стобашенный из Мидии исчез,
И камня черного на поле не осталось.

Там ночь лазурная и звездная лежит
Над обнаженною евангельской долиной,
Там в нежном сумраке, колеблема маслиной,
Лишь зелень бледная таинственно дрожит.

Ручьи холодные струятся по каменьям,
Неслышно филины туманами плывут,
Так самый воздух полн и тайной, и забвеньем,
И только искры волн — мгновенные — живут.

Неуловимая, как первый сон любви,
С холма немая тень вздымается вдали,
А у седых корней туман осел уныло,
Как будто тяжело ему пробиться было.

Но, мнится, синяя уж тает тихо мгла,
И, словно лилия, долина оживает:
Раскрыла лепестки, и вся в экстаз ушла
И к милосердию небесному взывает.

1901

ВЕЧЕРОМ

Пусть бледная трава изгнанника покоит,
Иль ель вся в инее серебряная кроет,
Иль, как немая тень, исчадье тяжких снов,
Тоскуя бродит он вдоль скифских берегов, —
Пока средь стад своих, с лазурными очами
Сарматы грубые орудуют бичами, —
Свивая медленно с любовию печаль,
Очами жадными поэт уходит в даль...
В ту даль безбрежную, где волны заклубились;
Редея, волосы седеющие сбились,

И ветер, леденя открытое чело,
Уносит из прорех последнее тепло.
Тоскою бровь свело над оком ослабелым,
И волосом щека подернулася белым,
И повесть мрачную страстей и нищеты
Рассказывают нам увядшие черты:
О лжи и зависти они взывают к свету,
И цезаря зовут, бесстрашные, к ответу.
А он всё Римом полн — и болен и гоним,
Он славой призрачной венчает тот же Рим.
На темный жребий мой я больше не в обиде:
И наг, и немощен был некогда Овидий.

1901

* * *

Я устал и бороться, и жить, и страдать,
Как затравленный волк от тоски пропадать.
    Не изменят ли старые ноги,
    Донесут ли живым до берлоги?
Мне бы в яму теперь завалиться и спать.
А тут эти своры... Рога на лугу.
Истерзан и зол я по кочкам бегу.
Далеко от людей схоронил я жилье,
Но у этих собак золотое чутье,
    У Завистливой, Злой да Богатой.
    И в темных стенах каземата
Длится месяцы, годы томленье мое.
На ужин-то ужас, беда на обед,
Постель-то на камне, а отдыха нет.

Я — МАНИАК ЛЮБВИ

Во мне живет любви безвольный маниак:
Откуда б молния ни пронизала мрак,
Навстречу ль красоте, иль доблести, иль силам
Взовьется и летит безумец с жадным пылом.
Еще мечты полет в ушах не отшумит,
Уж он любимую в объятьях истомит.

Я устал и бросил и друг и продать(?)
Как затравленный волк от тоски
пропадать

Не изменят ли старые ноги,
Донесут ли живым до берлоги
Мне теперь в лагу(?) теперь завалиться и спать

А тут эти своры... Рога на луну
Истерзан и рвусь по ногам
бегу

Далеко от людей
~~Напрасно не шуми~~ сорваться в трубе
отпор ~~[illegible]~~
По У собак ~~[illegible]~~ хорошее чутье
Звон да бегают
У завистливой

[illegible]

Долина ... Беда на обеде
по руке ... то
~~[illegible]~~ ужас ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ а отступать
Достанешь то на камни уже

~~Настигли~~
[illegible] В этот день пропаду

[illegible]

Надо ... сердце

Когда ж покорная подруга крылья сложит,
Он удаляется печальный, — он не может
Из сердца вырвать сна — часть самого себя
Он оставляет в нем...
Но вот опять любя
Ладья его летит на острова Иллюзий
За горьким грузом слез... Усладу в этом грузе
В переживаньи мук находит он: свою
Он мигом оснастил крылатую ладью
И, дерзкий мореход, в безвестном океане,
Плывет, как будто путь он изучил заране:
Там берег *должен быть* — обетованье грез!
Пусть разобьет ладью в пути ему утес...
С трамплина нового он землю различает,
Он в волны прыгает, плывет и доплывает
До мыса голого... Измучен, ночь и день
Там жадно кружит он: растет и тает тень,
Безумец всё кружит средь дикости безвестной:
Ни травки, ни куста, ни капли влаги пресной;
Палящий жар в груди, часы голодных мук, —
И жизни ни следа, и ни души вокруг,
Ни сердца, как его... Ну, пусть бы не такого,
Но чтобы билось здесь, реального, живого,
Пусть даже низкого... но сердца... Никого...
Он ждет, он долго ждет... Энергию его
Двоят и жар, и страсть... И долго в отдаленьи
Безумцу грезится забытому спасенье.
Всё парус грезится... Но безответна твердь,
И парус, может быть, увидит только смерть.
Что ж? Он умрет, земли, пожалуй, не жалея...
Лишь эта цепь потерь с годами тяжелее!
О, эти мертвецы! И, сам едва живой,
Души мятущейся природой огневой
В могилах он живет. Усладу грусти нежной
Лишь мертвые несут его душе мятежной.
Как к изголовью, он к их призракам прильнет.
Он с ними говорит, их видит и заснет
Он с мыслию о них, чтоб, бредя, пробудиться...
Я — маниак любви... Что ж делать?
Покориться.

IMPRESSION FAUSSE[1]

(Из сборника «Parallèlement»[2])

Мышь... покатилася мышь
В пыльном поле точкою чернильной...
Мышь... покатилася мышь...
По полям чернильным точкой пыльной.

Звон... или чудится звон...
Узникам моли покойной ночи.
Звон... или чудится звон...
А бессонным ночи покороче.

Сны — невозможные сны,
Если вас сердцам тревожным надо,
Сны — невозможные сны,
Хоть отравленной пойте нас усладой.

Луч... загорается луч...
Кто-то ровно дышит на постели.
Луч... загорается луч...
Декорация... иль месяц в самом деле?

Тень... надвигается тень...
Чернота ночная нарастает.
Тень... надвигается тень...
Но зарею небо зацветает.

Мышь... покатилася мышь,
Но в лучах лазурных розовея.
Мышь... покатилася мышь,
Эй — вы, сони... к тачкам поживее!..

КАПРИЗ

Неуловимый маг в иллюзии тумана,
Среди тобою созданных фигур,
Я не могу узнать тебя, авгур,
Но я люблю тебя, правдивый друг обмана!

---

[1] Галлюцинация, ложное впечатление (франц.). — *Ред.*
[2] Параллельно (франц.). — *Ред.*

Богач комедии и нищий из романа,
То денди чопорный, то юркий балагур,
Ты даже прозу бедную одежды
От фрака строгого до «колеров надежды»
Небрежным гением умеешь оживить:
Здесь пуговицы нет, зато свободна нить,
А там на рукаве в гармонии счастливой
Смеется след чернил и плачет след подливы.
За ярким натянул ты матовый сапог,
А твой изящный бант развязан так красиво,
Что, глядя на тебя, сказать бы я не мог,
Неуловимый маг, и ложный, но не лживый,
Гулять ли вышел ты на розовой заре
Иль вешаться идешь на черном фонаре.
Загадкою ты сердце мне тревожишь,
Как вынутый блестящий нож,
Но если вещий бред поэтов только ложь,
Ты, не умея лгать, не лгать не можешь.
Увив безумием свободное чело,
Тверди ж им, что луна детей озябших греет,
Что от нее сердцам покинутым тепло,
Передавай им ложь про черное крыло,
Что хлороформом смерти нежно веет,
Покуда в сердце зуб больной не онемеет...
Пой муки их, поэт. Но гордо о *своей*
Молчи, — в ответ, увы! Эльвира засмеется.
Пусть сердце ранено, пусть кровью обольется
Незримая мишень завистливых друзей, —
Ты сердца, что любовью к людям бьется,
Им не показывай и терпеливо жди:
Пусть смерть одна прочтет его в груди, —
И белым ангелом в лазурь оно взовьется.

СЮЛЛИ ПРЮДОМ

ПОСВЯЩЕНИЕ

Когда стихи тебе я отдаю,
Их больше бы уж сердце не узнало,
И лучшего, что в сердце я таю,
Ни разу ты еще не прочитала.
Как около приманчивых цветов
Рой бабочек, белея нежно, вьется,
Так у меня о розы дивных снов
Чтó звучных строф крылом жемчужным бьется.

Увы! рука моя так тяжела:
Коснусь до них — и облако слетает,
И с нежного, дрожащего крыла
Мне только пыль на пальцы попадает.
Мне не дано, упрямых изловив,
Сберечь красы сиянье лучезарной,
Иль, им сердец булавкой не пронзив,
Рядами их накалывать попарно.
И пусть порой любимые мечты
Нарядятся в кокетливые звуки,
Не мотыльков в стихах увидишь ты,
Лишь пылью их окрашенные руки.

ИДЕАЛ

Призрачна высь. Своим доспехом медным
Средь ярких звезд и ласковых планет
Горит луна. А здесь, на поле бледном,
Я полон грез о той, которой нет;

Я полон грез о той, чья за туманом
Незрима нам алмазная слеза,
Но чьим лучом, земле обетованным,
Иных людей насытятся глаза.

Когда бледней и чище звезд эфира
Она взойдет средь чуждых ей светил, —
Пусть кто-нибудь из вас, последних мира,
Расскажет ей, что я ее любил.

* * *

С подругой бледною разлуки
Остановить мы не могли:
Скрестив безжизненные руки,
Ее отсюда унесли.

Но мне и мертвая свиданье
Улыбкой жуткою сулит,
И тень ее меня томит
Больнее, чем воспоминанье.

Прощанье ль истомило нас,
Слова ль разлуки нам постыли?..
О, отчего вы, люди, глаз,
Глаз отчего ей не закрыли?

КОГДА Б Я БОГОМ СТАЛ...

Когда б я богом стал, земля Эдемом стала б,
И из лучистых глаз, сияя, как кристалл,
Лишь слезы счастия бежали б, чужды жалоб,
Когда б я богом стал.

Когда б я богом стал, среди душистой рощи
Корой бы нежный плод, созрев, не зарастал,
И самый труд бы стал веселым чувством мощи,
Когда б я богом стал.

Когда б я богом стал, вокруг тебя играя,
Всегда иных небес лазурный сон витал,
Но ты осталась бы всё та же в высях рая,
Когда б я богом стал.

Ночь на 28 декабря 1900

ТЕНИ

Остановлюсь — лежит, иду — и тень идет,
Так странно двигаясь, так мягко выступая;
Глухая слушает, глядит она слепая,
Поднимешь голову, а тень уже ползет.

Но сам я тоже тень. Я облака на небе
Тревожный силуэт. Скользит по формам взор,
И ум мой ничего не создал до сих пор:
Иду, куда влечет меня всевластный жребий.

Я тень от ангела, который сам едва
Один из отблесков последних божества,
Бог повторен во мне, как в дереве кумира,

А может быть, теперь среди иного мира,
К жерлу небытия дальнейшая ступень,
От этой тени тень живет и водит тень.

UN BONHOMME[1]

Когда-то человек и хил, и кроток жил,
Пока гранению им стекла подвергались,
Идею божества он в формулы вложил,
Такие ясные, что люди испугались.

С большою простотой он многих убедил,
Что и добра и зла понятия слагались,
И что лишь нитями незримо подвигались
Те *мы,* которых он к фантомам низводил.

---

[1] Честный малый (франц.). — *Ред.*

Он Библию любил и чтил благочестиво,
Но действий божества он в ней искал мотивы,
И на него горой восстал синедрион.

И он ушел от них — рука его гранила,
Чтобы ученые могли считать светила,
А называется Вару́х Спиноза он.

СОМНЕНИЕ

Белеет Истина на черном дне провала.
Зажмурьтесь, робкие, а вы, слепые, прочь!
Меня безумная любовь околдовала:
Я к ней хочу, туда, туда, в немую ночь.

Как долго эту цепь разматывать паденьем...
Вся наконец и цепь... И ничего... круги...
Я руки вытянул... Напрасно... Напряженьем
Кружим мучительно... Ни точки и ни зги...

А Истины меж тем я чувствую дыханье:
Вот мерным сделалось и цепи колыханье,
Но только пустоту пронзает мой размах...

И цепи, знаю я, на пядь не удлиниться, —
Сиянье где-то там, а здесь, вокруг, — темница,
Я — только маятник, и в сердце — только страх.

* * *

У звезд я спрашивал в ночи:
«Иль счастья нет и в жизни звездной?»
Так грустны нежные лучи
Средь этой жуткой черной бездны.

И мнится, горнею тропой,
Облиты бледными лучами,
Там девы в белом со свечами
Печальной движутся стопой.

Иль всё у вас моленья длятся,
Иль в битве ранен кто из вас, —
Но не лучи из ваших глаз,
А слезы светлые катятся.

АГОНИЯ

Над гаснущим в томительном бреду
Не надо слов — их гул нестроен;
Немного музыки — и тихо я уйду
Туда — где человек спокоен.

Все чары музыки, вся нега оттого,
Что цепи для нее лишь нити;
Баюкайте печаль, но ничего
Печали вы не говорите.

Довольно слов — я им устал внимать,
Распытывать, их чисты ль цели:
Я не хочу того, что надо понимать,
Мне надо, чтобы звуки пели...

Мелодии, чтоб из одной волны
Лились и пенились другие...
Чтоб в агонию убегали сны,
Несла в могилу агония...

Над гаснущим в томительном плену
Не надо слов, — их гул нестроен,
Но если я под музыку усну,
Я знаю: будет сон спокоен.

Найдите няню старую мою:
У ней пасти стада еще есть силы;
Вы передайте ей каприз мой на краю
Моей зияющей могилы.

Пускай она меня потешит, спев
Ту песню, что давно певала;
Мне сердце трогает простой ее напев,
Хоть там и пенья мало.

О, вы ее отыщете — живуч
    Тот род людей, что жнет и сеет,
А я из тех, кого и солнца луч
    Уж к сорока годам не греет.

Вы нас оставите... Былое оживет,
    Презрев туманную разлуку,
Дрожащим голосом она мне запоет,
    На влажный лоб положит тихо руку..

Ведь может быть: из всех она одна
    Меня действительно любила...
И будет вновь душа унесена
    К брегам, что утро золотило.

Чтоб, как лампаде, сердцу догореть,
    Иль, как часам, остановиться,
Чтобы я мог так просто умереть,
    Как человек на свет родится.

Над гаснущим в томительном бреду
    Не надо слов — их гул нестроен;
Немного музыки — и я уйду
    Туда — где человек спокоен.

1901

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Один из голубых и мягких вечеров...
Стебли колючие и нежный шелк тропинки,
И свежесть ранняя на бархате ковров,
И ночи первые на волосах росинки.

Ни мысли в голове, ни слова с губ немых,
Но сердце любит всех, всех в мире без изъятья,
И сладко в сумерках бродить мне голубых,
И ночь меня зовет, как женщина в объятья...

БОГЕМА

Не властен более подошвы истоптать,
В пальто, которое достигло идеала,
И в сане вашего, о Эрато́, вассала
Под небо вольное я уходил мечтать.

Я забывал тогда изъяны... в пьедестале
И сыпал рифмами, как зернами весной,
А ночи проводил в отеле «Под луной»,
Где шелком юбок слух мне звезды щекотали.

Я часто из канав их шелесту внимал
Осенним вечером, и, как похмелья сила,
Весельем на сердце и лаской ночь росила.

Мне сумрак из теней там песни создавал,
Я ж к сердцу прижимал носок моей ботинки
И, вместо струн, щипал мечтательно резинки.

ФЕИ РАСЧЕСАННЫХ ГОЛОВ

На лобик розовый и влажный от мучений
Сзывая белый рой несознанных влечений,
К ребенку нежная ведет сестру сестра,
Их ногти — жемчуга с отливом серебра.
И, посадив дитя пред рамою открытой,
Где в синем воздухе купаются цветы,
Они в тяжелый лен, прохладою омытый,
Впускают грозные и нежные персты.
Над ним мелодией дыханья слух балуя,
Незримо розовый их губы точит мед;
Когда же вздох порой его себе возьмет,
Он на губах журчит желаньем поцелуя.
Но черным веером ресниц их усыплен
И ароматами, и властью пальцев нежных,
Послушно отдает ребенок сестрам лен,
И жемчуга щитов уносят прах мятежных.
Тогда истомы в нем подъемлется вино,
Как мех гармонии, когда она вздыхает...
И в ритме ласки их волшебной заодно
Всё время жажда слез, рождаясь, умирает.

ДАР ПОЭМЫ

О, не кляни ее за то, что Идумеи
На ней клеймом горит таинственная ночь!
Крыло ее в крови, а волосы как змеи,
Но это дочь моя, пойми: родная дочь.
Когда чрез золото и волны аромата
И пальмы бледные холодного стекла
На светоч ангельский денница пролила
Свой первый робкий луч и сумрак синеватый
Отца открытием нежданным поразил,
Печальный взор его вражды не отразил,
Но ты, от мук еще холодная, над зыбкой
Ланиты бледные ты склонишь ли с улыбкой
И слабым голосом страданий и любви
Шепнешь ли бедному творению: «Живи»?
Нет! Если б даже грудь над ней ты надавила
Движеньем ласковым поблекшего перста,
Не освежить тебе, о белая Сивилла,
Лазурью девственной сожженные уста.

ГРОБНИЦА ЭДГАРА ПОЭ

Лишь в смерти ставший тем, чем был он изначала,
Грозя, заносит он сверкающую сталь
Над непонявшими, что скорбная скрижаль
Царю немых могил осанною звучала.

Как гидра некогда отпрянула, виясь,
От блеска истины в пророческом глаголе,
Так возопили вы, над гением глумясь,
Что яд философа развел он в алкоголе.

О, если туч и скал осиля тяжкий гнев,
Идее не дано отлиться в барельеф,
Чтоб им забвенная отметилась могила,

Хоть ты, о черный след от смерти золотой,
Обломок лишнего в гармонии светила,
Для крыльев Дьявола отныне будь метой.

ШАРЛЬ КРО

СУШЕНАЯ СЕЛЕДКА

Видали ль вы белую стену — пустую, пустую, пустую?
Не видели ль лестницы возле — высокой, высокой,
высокой?
Лежала там близко селедка — сухая, сухая сухая...
Пришел туда мастер, а руки — грязненьки, грязненьки,
грязненьки.
Принес молоток свой и крюк он — как шило, как шило,
как шило...
Принес он и связку бечевок — такую, такую, такую.
По лестнице мастер влезает — высоко, высоко, высоко,
И острый он крюк загоняет — да туки, да туки, да туки!
Высоко вогнал его в стену — пустую, пустую, пустую;
Вогнал он и молот бросает — лети, мол, лети, мол,
лети, мол!
И вяжет на крюк он бечевку — длиннее, длиннее,
длиннее,
На кончик бечевки селедку — сухую, сухую, сухую.
И с лестницы мастер слезает — высокой, высокой,
высокой,
И молот с собою уносит — тяжелый, тяжелый, тяжелый,
Куда, неизвестно, но только — далеко, далеко, далеко.
С тех пор и до этих селедка — сухая, сухая, сухая,
На кончике самом бечевки — на длинной, на длинной,
на длинной,
Качается тихо, чтоб вечно — качаться, качаться,
качаться...

Сложил я историю эту — простую, простую, простую,
Чтоб важные люди, прослушав, сердились, сердились,
сердились,
И чтоб позабавить детишек таких вот... и меньше...
и меньше...

СМЫЧОК

У нее были косы густые
И струились до пят, развитые,
Точно колос полей, золотые.

Голос фей, но странней и нежней,
И ресницы казались у ней
От зеленого блеска черней.

Но ему, когда конь мимо пашен
Мчался, нежной добычей украшен,
Был соперник ревнивый не страшен,

Потому что она никогда
До него, холодна и горда,
Никому не ответила: «Да».

Так безумно она полюбила,
Что когда его сердце остыло,
То в своем она смерть ощутила.

И внимает он бледным устам:
«На смычок тебе косы отдам:
Очаруешь ты музыкой дам».

И, лобзая, вернуть он не мог
Ей румянца горячего щек, —
Он из кос ее сделал смычок.

Он лохмотья слепца надевает,
Он на скрипке кремонской играет
И с людей подаянье сбирает.

И, чаруя, те звуки пьянят,
Потому что в них слезы звенят,
Оживая, уста говорят.

Царь своей не жалеет казны,
Он в серебряных тенях луны
Увезенной жалеет жены.

. . . .

Конь усталый с добычей не скачет,
Звуки льются... Но что это значит,
Что смычок упрекает и плачет?

Так томительна песня была,
Что тогда же и смерть им пришла;
Свой покойница дар унесла;

И опять у ней косы густые,
И струятся до пят, развитые,
Точно колос полей, золотые...

* * *

Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Ням-ням, пипи, аа, бобо.
Do, si, la, sol, fa, mi, re, do.

Папаша бреется. У мамы
Шипит рагу. От вечной гаммы,
Свидетель бабкиных крестин,
У дочки стонет клавесин...
Ботинки, туфельки, сапожки
Прилежно ваксит старший сын
И на ножищи, и на ножки...
Они все вместе в Luxembourg [1]
Идут сегодня делать тур,

---

[1] Люксембургский сад (в Париже), произносится· Люксамбур (франц.). — *Ред.*

Но будут дома очень рано
И встанут в шесть... чтоб неустанно

Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Ням-ням, пипи, аа, бобо.
Do, si, la, sol, fa, mi, re, do.

БОГЕМА

Сонет

Последний мой приют — сей пошлый макадам,
Где столько лет влачу я старые мозоли
В безумных поисках моей пропавшей доли,
А голод, как клеврет, за мною по пятам.

Твоих, о Вавилон, вертепов блеск и гам
Коробку старую мою не дразнят боле!
Душа там скорчилась от голода и боли,
И черви бледные гнездятся, верно, там.

Я призрак, зябнущий в зловонии отребий,
С которыми сравнял меня завидный жребий,
И даже псов бежит передо мной орда;

Я струпьями покрыт, я стар, я гнил, я — парий.
Но ухмыляюсь я презрительно, когда
Помыслю, что ни с кем не хаживал я в паре.

БИБЛИОТЕКА

Я приходил туда, как в заповедный лес:
Тринадцать старых ламп, железных и овальных,
Там проливали блеск мерцаний погребальных
На вековую пыль забвенья и чудес.

Тревоги тайные мой бедный ум гвоздили,
Казалось, целый мир заснул иль опустел;
Там стали креслами тринадцать мертвых тел.
Тринадцать желтых лиц со стен за мной следили.

Оттуда, помню, раз в оконный переплет
Я видел лешего причудливый полет,
Он извивался весь в усильях бесполезных:

И содрогнулась мысль, почуяв тяжкий плен, —
И пробили часы тринадцать раз железных
Средь запустения проклятых этих стен.

БЕЗМОЛВИЕ

(тринадцать строк)

Безмолвие — это душа вещей,
Которым тайна их исконная священна,
Оно бежит от золота лучей,
Но розы вечера зовут его из плена;
С ним злоба и тоска безумная забвенна,
Оно бальзам моих мучительных ночей,
Безмолвие — это душа вещей,
Которым тайна их исконная священна.
Пускай роз вечера живые горячей, —
Ему милей приют дубравы сокровенной,
Где спутница печальная ночей
Подолгу сторожит природы сон священный...
Безмолвие — это душа вещей.

1901

ПРИЯТЕЛЬ

Одетый в черное, он бледен был лицом,
И речи, как дрова, меж губ его трещали,
В его глазах холодный отблеск стали
Сменялся иногда зловещим багрецом.

Мы драмы мрачные с ним под вечер читали,
Склонялись вместе мы над желтым мертвецом,

Высокомерие улыбки и печали
Сковали вместе нас таинственным кольцом.

Но это черное и гибкое созданье
В конце концов меня приводит в содроганье.
«Ты — дьявол», — у меня сложилось на губах.

Он мигом угадал: «Вам боженька милее,
Так до свидания, живите веселее!
А дьявол вам дарит Неисцелимый Страх».

ДВА ПАРИЖА

1
НОЧЬЮ

Ты — море плоское в тот час, когда отбой
Валы гудящие угнал перед собой,
А уху чудится прибоя ропот слабый,
И тихо черные заворошились крабы.

Ты — Стикс, но высохший, откуда, кончив лов,
Уносит Диоген фонарь, на крюк надетый,
И где для удочек «проклятые» поэты
Живых червей берут из собственных голов.

Ты — щетка жнивника, где в грязных нитях рони
Прилежно роется зловонный рой вороний,
И от карманников, почуявших барыш,
Дрожа спасается облезлый житель крыш.

Ты — смерть. Полиция храпит, а вор устало
Рук жирно розовых в засос целует сало.
И кольца красные от губ на них видны
В тот час единственный, когда ползут и сны.

Ты — жизнь, с ее волной певучей и живою
Над лакированной тритоньей головою,
А сам зеленый бог в мертвецкой и застыл,
Глаза стеклянные он широко раскрыл.

2

ДНЕМ

Гляди, на небесах, в котле из красной меди
Неисчислимые для нас варятся снеди.
Хоть из остаточков состряпано, зато
Любовью сдобрено и потом полито!

Пред жаркой кухнею толкутся побирашки,
Свежинка с запашком заманчиво бурлит,
И жадно пьяницы за водкой тянут чашки,
И холод нищего оттертого долит.

Не думаешь ли, брат, что, растопив червонцы,
Журчаще-жаркий жир[1] для всех готовит солнце?
Собачьей мы и той похлебки подождем.

Не всем под солнцем быть, кому и под дождем.
С огня давно горшок наш черный в угол сдвинут,
И желчью мы живем, пока нас в яму кинут.

---

[1] Le gras grouillon grouillant.

* * *

Когда для всех меня не станет меж живыми,
С глазами, как жуки на солнце, голубыми,
Придешь ли ты, дитя? Безвестною тропой
Пойдем ли мы одни... одни, рука с рукой?
О, я не жду тебя дрожащей, без одежды,
Лилея чистая между стыдливых дев,
Я знаю, ты придешь, склоняя робко вежды,
Корсажем розовым младую грудь одев.
И, даже братского не обменив лобзанья,
Вдоль терний мы пойдем, расцветших для терзанья,
Где паутин повис трепещущий намет,
Молчанья чуткого впивая жадно мед.
И иногда моей смущенная слезою,
Ты будешь нежною рукой мою сжимать,
И мы, волнуясь, как сирени под грозою,
Не будем понимать... не будем понимать...

ОСЕНЬ

Как холодный дождь изменницей слывет,
Точно ветер и глуха, да оборвет.
Подозрительней, фальшивей вряд ли есть,
Имя осень ей — бродяжит нынче здесь...
Слышишь: палкой-то по стенке барабанит,
    Выйди за дверь: право, с этой станет.
Выйди зá дверь. Пристыди ж ты хоть ее,
Вот неряха-то. Не платье, а тряпье.
Грязи, грязи-то на ботах накопила,
Да не слушай, что бы та ни говорила.
Не пойдет сама... швыряй в нее каменья,
А вопить начнет — не бойся. Представленье.
    Мы давно знакомы... Год назад
    Здесь была, ходила с нами в сад,
Улыбалась, виноградом нас дарила,
Так о солнышке приятно говорила:
«Слышишь, летний, мол, лепечет ветерок,
Поработал, так приятно — на бочок».
Ужин подали — уселась вечерять.
Этой женщины, да чтобы не узнать.
Дали нового отведать ей винца,
Принесли потом в сарай мы ей сенца.
Спать ложилася меж телкой и кобылой,
Смотрим: к утру и вода в сенях застыла.
    Лист дождем посыпался с тех пор.
Нет, шалишь. Теперь и ставни на запор.
    Пусть идет в другие греться сени:
    Нынче места нет на нашем сене,

Околачивать других ищи ступéней...
Листьев, листьев-то у ней по волосам,
А глаза-то смотрят точно бы из ям.
Голос хриплый — ну, а речи точный мед;
Только нас теперь и этим не возьмет.
Золотом обвесься — нас не тронет,
Подвяжи звонок-то, пусть трезвонит.
Да дровец бы для Мороза припасти,
Не зашел бы дед Морозко по пути.

АНРИ ДЕ РЕНЬЕ

ПРОГУЛКА

Заветный час настал. Простимся и иди!
Пробудь в молчании, одна с своею думой,
Весь этот долгий день — он твой и впереди.
О тени, где меня оставила, не думай.

Иди, свободная и легкая, как сны,
В двойном сиянии улыбки, в ореолах
И утра, и твоей проснувшейся весны;
Ты не услышишь вслед шагов моих тяжелых.

Есть дуб, как жизнь моя, увечен и живуч,
Он к меланхоликам и скептикам участлив
И приютит меня — а покраснеет луч,
В его молчании уж тем я буду счастлив,

Что ветер ласковым движением крыла,
Отвеяв от меня докучный сумрак грезы,
Цветов, которые ты без меня рвала,
Мне аромат домчит, тебе оставя розы.

ТРАГЕДИИ

МЕЛАНИППА-ФИЛОСОФ

Трагедия



Посвящается Борису Васильевичу Варнеке

I

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В десятых годах V века до Р. X., в Афинах, знаменитый трагический писатель Еврипид, уже стариком, поставил на сцену пьесу, которая носила то же название, что и помещаемая ниже, — «Меланиппа-философ». Эта пьеса не дошла до нас. Об ней сохранились только довольно редкие отзывы, да из нее цитировали 13—16 строк. По счастью, миф, точнее основа драматического сюжета, хотя и не вполне, сохранилась у одного историка античной эры (I века до Р. X.), Дионисия Галикарнасского, и у византийца XII века нашей эры, Григория Коринфского. Автор воспользовался этим мифом, а равно и всем, что осталось от легенды о Меланиппе и эолидах. Но этого оказалось слишком мало даже для контура, и автору пришлось быть не только драматургом, но и мифургом. Ни расписные вазы, ни саркофаги не помогали ему при этом. Схемы он взял античные. Это было не случайно, и уже во всяком случае не потому, чтобы автор взял на себя неблагодарную задачу подделываться под Еврипида. По его глубокому убеждению, античный миф органически связан с тою формой, в которой он изображался на сцене афинскими трагиками V века. Шекспировские формы драмы существуют для более сложных фабул. *Ограниченность времени* (в этой трагедии около 18 часов), которую, если хотите, можно назвать *единством времени,* имела для автора весьма существенное значение. Он представлял себе трагедию не в комнате, а под чистым небом, а различные ее стадии в связи с положением солнца на горизонте или за горизон-

том. Начинается трагедия в исходе ночи; в жаркий полдень завязывается ее страшный узел. Трогательный закат связан с апофеосой и т. д. *Единство места* вызывалось желанием автора сохранить в трагедии *хор.* Но хор новой «Меланиппы» совсем не тот, что был в античной трагедии. Он индивидуализирован, составляя гармоническое дополнение к героине трагедии. Но если мы в современной драме так часто невольно хотим музыки, то не вполне ли естественным оказывается желание автора трагедии ввести лирический элемент в качестве определенной части в состав своего произведения? Содержание хоровых партий по большей части чисто мифическое, но оно понятно без особых объяснений. Читатель поймет также, что в некоторые моменты, для того чтобы ослабить излишнее напряжение нервов и освободить душу для новых впечатлений, чтобы, так сказать, *ободрить* ее, автору приходилось прибегать в хорах к простоте и спокойствию почти эпическим. Таков переход к третьему действию. Для трактования античного сюжета в распоряжении автора было два способа или метода: *условно-археологический,* более легкий, и *мифический,* который показался ему заманчивее. Этот метод, допускающий анахронизмы и фантастическое, позволил автору глубже затронуть вопросы психологии и этики и более, как ему казалось, слить мир античный с современной душой.

«Меланиппа» Еврипида славилась в древности изложением в ней рационалистической системы Анаксагора. По счастью, система знаменитого друга Перикла известна нам довольно хорошо. Но автор отнюдь не хотел делать центром своей трагедии младенческих попыток рационализма. Жизнь своей красотой, силой и умственной энергией безмерно превосходит всякую систему, плод единоличных, хотя бы и гениальных усилий. Только эта жизнь, кристаллизовавшаяся в ярких героических явлениях и славных муках, и может быть предметом трагедии.

Автор трактовал античный сюжет и в античных схемах, но, вероятно, в его пьесе отразилась душа современного человека.

Эта душа столь же несоизмерима классической древности, сколь жадно ищет тусклых лучей, завещанных нам античной красотою. Автор томится среди образчиков современных понятий о прекрасном, но он первый бежал бы не только от общества персонажей еврипидовской трагедии, но и от гостеприимного стола Архелая и его увенчанных розами собеседников с самим Еврипидом во главе.

И. Анненский

II

МИФ ОБ ЭОЛЕ И МЕЛАНИППЕ

У Зевса было много смертных детей. На их род распространялись обыкновенно трагические несчастья: мифы о Геракле, танталидах и эолидах показывают в достаточной мере, что божественная кровь влекла за собой испытания для поколений, исходящих от Кронида. Ревность Геры к поколениям ее мужа от нимф и женщин стала провербиальной. От нимфы Дориппы у Зевса родился сын Геллен, царь Фтии. У Геллена был сын Эол. Первым браком Эол был женат на Евридике, от которой родил сыновей Крефея, Сисифа, Салмонея, Макарея и дочь Канаку. Когда Евридика умерла, он женился на дочери мудрого кентавра Хирона, жившего неподалеку от Магнесии, на склонах горы Пелия. Эту дочь звали Гиппа. Перед тем как жениться на Гиппе, Эол должен был победить ее в борьбе. Затем она тайно родила ему дочь Меланиппу, или Арну, и уже потом сделалась его официальной женой. Она жила недолго, но по смерти боги сделали ее звездою. У Эола в семье был ряд несчастий. Последнее перед тем, которое будет изображено в этой трагедии, заключалось в следующем: его дети, Макарей и Канака (от первого брака), заключили между собой нечестивый брак. Узнав о нем, отец послал Канаке меч. Макарей выпросил жизнь для своей несчастной жены и сестры, но когда он поспешил с вестью о прощении к Канаке, то застал ее плавающей в собственной крови; она была мертва. Макарей тут же убил себя на ее трупе, а Эол ушел на год в добровольное изгнание. Тем временем Меланиппа зачала и родила от Посейдона двух сыновей, которых по приказанию их бежественного отца положили на царское пастбище. Там отыскали их конюхи только что вернувшегося Эола и, приняв за демонов или вообще за дурное предзнаменование (детей кормила корова), принесли к царю. Царь определил их сжечь. Когда красноречивая защита Меланиппы, доказывавшей, что это дети, а не демоны, не удалась, — ей пришлось открыть, что она их мать. Тогда детей решили отнести на прежнее место, а Меланиппу ослепили и заключили в темницу. Посейдон спас детей и дал им вырасти, сделав потом Эола и Бэота эллинскими эпонимами.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

в порядке их появления:

Меланиппа, дочь фессалийского царя Эола.
Хор из 15 девушек с Пелия.
Старая кормилица Меланиппы.
Первый вестник, молодой и хвастливый.
Эол, царь Магнесии, еще не старый, рано поседевший.
Конюх Эола.
Геллен, сын Зевса, отец Эола, белый старец.
Второй вестник, угрюмый старик.
Гиппа, мать Меланиппы, в апофеосе.

Гости и гостьи Эола.
Свита Эола.

Действие происходит в старом фессалийском городе, на полуострове Магнесии. Местность горная и лесистая.

ПРОЛОГ

Сцена представляет фасад дворца Геллена (близ старого города в Магнесии).

Фасад в дорийском стиле с тремя дверьми, из коих главная — средняя. К главному зданию прилегают два боковых с особыми входами. Перед домом алтарь Зевса, хранителя алтарей. Поздняя ночь. Луна. Начинается предрассветный туман. Небо в звездах, уже начинающих бледнеть. Из дома выходит Меланиппа. Она худая, бледная, высокая. У ней черные волосы, густые, волнистые, с синеватым отливом, и черные тонкие брови на очень белом, мягко очерченном лбе. Глаза большие, влажно-синие с пламенем, но без лучей, глубокие. Морщина между бровей указывает на раннюю работу мысли. Походка и жесты — людей, живущих созерцательной жизнью. Она выходит медленно, сначала подходит к алтарю и молча склоняется перед ним. Потом поднимает глаза к небу. Молча молится несколько времени, поднимая к небу белые, трогательно нежные руки, и начинает тихо, голосом музыкальным, но будто идущим издалека.

О праотец могучего Эола,
О Геллена великого отец
И старости его хранитель белой!
Кто б ни был ты, о Зевс, на небесах
Эфирных — бог иль разум, сновиденье
Ожившее иль гордая мечта...
Но я тебя зову, великий пращур...
Не твоему ли внуку мать меня,
Дочь мудрого Хирона, подарила
И Арною в чертоге нарекла?
В Магнесии уж после Меланиппой
Я прослыла за волны черных кос...

О, выслушай, Кронид, я не дерзала
К тебе взывать, пока эфир горел
От огненной иль алой колесницы, —
И ночи я ждала...

Пауза.

Меланиппа закрывает лицо руками, потом отнимает руки и опускает голову.

В такую ж ночь
Росистую и лунную, когда
Черней вода и ярче ароматы...
На берегу Сперхая, где тростник
Сухой шумит и ива обнялась
С другою ивою, я уступила бога
Желаниям и ласкам. Посейдон
То был, и темнокудрый, и могучий...

(Тихо.)

И в брачную так говорил он ночь
Избраннице:
«Двух сыновей родишь ты,
Вели на луг их нежный отнести,
Где царское Эола стадо ходит,
И более о них не думай, Арна!
Я имена им дам и славу дам».
Без матери — ты взял ее у нас —
И без отца державного, который
В изгнание ушел на долгий год
За кровь сестры, моей Канаки нежной,
И Макарея-брата, я слова
И тяжкое носила бремя бога...
От острых глаз и злоречивых уст
Я девять долгих месяцев таилась.
Лишь верная кормилица моя
Про злую честь узнала Меланиппы,
О, *злую* честь. Когда же наступил
Мученьям срок положенный, в лачуге,
Где, верно бы, последняя рабыня
Побрезгала остаться на циновке,
Что пастухи, скрываясь в непогоду,
От холодов осенних расстилали...
Я, старою повита няней, ночи

Двух сыновей явила, красотой
Сияющих... Увы! зачем не мать
В девятый день мне ложе освятила
И внукам улыбнулась?.. Во дворец
Вернулась я, недуг изображая
Для рабских глаз... Исподтишка, в лачужке
Покинутым на няню торопливо
Я лаской, слезой и грудью нежной
Малюткам долг платила материнский...
Но долго ли?.. Герольд оповестил,
Что царь-отец, Фессалии властитель,
Трофония покинул старый храм
И что домой на Дельфы путь он держит. .
Веселием тогда, и позолотой,
И пурпуром чертог наш засиял,
И потекли толпами фессалийцы
Царя встречать. С богами примирен,
Эол горит родной очаг увидеть.
От крови кровь на пышных алтарях
Готовится очистить гелленида...
И только я в толпе его рабынь
Хотела бы пугливо затеряться...

Пауза.

Или, детей кормившая, дерзну
Я в хоровод войти девичий, или
Я на алтарь душистый свой венок
С безбрачными решусь отдать богине?
Как на отца осмелюсь я глядеть?
Как матери услышу, не краснея,
Я имя беспорочное, увы!..

(Поднимая глаза к небу.)

О ты, звездой горящая, прости мне!
Но не о том мои слова тебе,
О пращур мой эфирный и державный...
Детей моих ты сбереги. Отца
Их волю я исполнила покорно:
К стадам они отнесены — пока
Питает их другая мать... и нежно
Зеленые их сон лелеют травы.
Так няня мне — в утеху, может быть,

На мягкий луг отнесшая малюток,
Сказала — я уж не увижу их...

Пауза.

Но страшное в груди встает сомненье:
Кто их отец, не знаю я... Иль имя,
Иль локоны синевшие, и риза
Блестящая, и пар соленой влаги...
И самая эмблема — не могли
Обманом быть, приманкой маскарадной?..
Иль демонской уловкой?.. Я не жду
Ответа, Зевс, но если муки или
Бесславие потомства твоего
Во что-нибудь ты ставишь, сжалься, боже.

(Снова подходит к алтарю. Молитва.)

В орхестру тихо спускается х о р д е в у ш е к с Пелия и его окрестностей. Некоторые из них одеты в костюм, напоминающий амазонок, короткий хитон; одежды на них яркие, праздничные. Корифей — девушка в длинном белом хитоне с оранжевым напуском — брюнетка. Пояс подвязан высоко. У некоторых волосы убраны пышно, у других, наоборот, напоминают моду, взятую из охотничьего быта, длинные вуали у многих покрывают диадемы или стефаны на волосах. На двух легкие шлемы.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ ХОРА

СТРОФА 1

О Пелий!
Зеленый и с белой короной!
И ели,
И токи смолы благовонной,
О Пелий!

АНТИСТРОФА 1

Для новых
Небес не забудем тебя мы...
Еловых
Храним мы ветвей фимиамы,
О Пелий!..

СТРОФА 2

В эфире
Дельфийской не внемлю я лире...
Безмолвны
Померкшие синие волны
В эфире.

АНТИСТРОФА 2

Там звезды,
Как поздние бледные грозды,
За дальной
Повисли оградой печальны,
Там звезды...

СТРОФА 3

Как вóлос
В траве или тонкие нити,
Вы голос
Во мраке и шаг затаите,
Как волос...

(Останавливаются и прислушиваются.)

АНТИСТРОФА 3

(Увидев царевну.)

Охрана
Отцовских палат молодая!
Как рано
Ты встала, отца ожидая,
Как рано!

ЭПОД

О, привет тебе, желанной,
Меланиппа, дочь Эола,
Гаснет сумрак, и в туманной
Ризе гладь и волн и дола,
Чадо дивное Эола,
Поздний цвет благоуханный...

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Меланиппа и хор

О, радуйтесь и вы, и меж вершин
Та белая вершина и зеленый
Душистый скат, где наших матерей
Веселая охота увлекала...
Одной из них уж не дочтемся мы,
Но не дерзну ее святое имя
Вам повторять средь бед моей зимы
Печальными устами я моими...

Корифей

Ты говоришь о Гиппе, что родил
На Пелии твой дед Хирон премудрый?

Меланиппа
(указывая на небо)

Я говорю о трепетной звезде —
Перед зарей она восходит, дева...

Корифей
(обращаясь к небу)

Божественной молюсь, но как о том
Узнали вы, скажи мне, Меланиппа!

Меланиппа

Посланница прекрасная богов,
Ирида нам поведала о дивной.

Корифей

Ты в трауре, царевна, ты бледна,
Из глаз твоих катились долго слезы...

Меланиппа

Они бегут еще... над гробом нежной
Моей сестры, загубленной отцом.

Корифей

Храни уста, хранить мы будем уши...
Пред ужасом, что вами пережит.

Меланиппа

Я черное сниму — на пир сегодня
Я уберусь... Но отдыха и сна
Уже давно не знаю я, подруги...

Корифей

Тебя томит недуг... или печаль?

Меланиппа

Не знаю, чем томлюсь, но только гасну.

Корифей

Ты в хоровод девичий наш войдешь?

Меланиппа

(в ужасе)

О нет... О нет... Не надо хоровода.

Корифей

Иль девы ты божественной не чтишь?

Меланиппа

Я чту ее... Но издали... увы...

Корифей

Иль демоны душой твоей играют?

Меланиппа

Боюсь, что да... боюсь, что да... Увы!.

Корифей

(подходя к Меланиппе, ласково)

От матери моей, с которой Гиппа
Была дружна покойная, тебе
Мы принесли ее уборы, дева,
Ее фату, что обвивал венец
Из темных роз, повязку, что драконом
Эмалевым украшена, и пояс...
Послушай, он еще благоухает...

(Подносит к лицу пояс и потом протягивает его ей.)

Первые лучи солнца. Меланиппа стоит молча, опустив руки, вся бледная. Немая сцена. Знаки удивления в хоре.

Корифей

(успокаивая жестом хор, мягко)

Твоя печаль понятна... О другой
Ты вспомнила утрате свежей, дева,
Не грубо ль я коснулась сердца ран?
Или в тебе недуг ожесточился?..

Меланиппа

(справившись с собою и благосклонно принимая дар)

Отраден дар твой, дева, дай его
Я унесу и спрячу... и да будут
Любовь богов и счастье их с тобой!..
Я вспомнила о прошлом... Эти слезы
Последние... О Гелиос! твоих
Колес, о бог, сияющие спицы...
Так радостно мелькают... снизошли
Ты встречу нам веселую, ты праздник
Нам золотом и пурпуром залей...
Простите мне, подруги... Я в чертоге
Устроить пир должна... И алтари
Богам убрать... А этот траур долгий
Похоронить в углу... И пусть навек.

(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Хор. Затем **старая кормилица** из левых дверей.

Корифей

Таит она недоброе. И чувства
В ней смущены, подруги... Но не тем
Унынием, которое на сердце
Зеленою осесть успелоярью...
Нет, новая, как яркий меч, над ней
Беда висит, должно быть...
Ба... Из дома
Служанка старая выходит... О, теперь
Чего-нибудь, подруги, мы добьемся.

(К кормилице.)

Привет тебе, почтенная жена!
Кого-нибудь ты ищешь здесь, конечно?..
Царевны нет: она ушла в слезах...

Кормилица
(несколько смущенная)

Привет и вам, о гостьи молодые!
Здесь плакала царевна? Так ли, девы?
Но кто же вы: о Пелии родном
Мне пеплосы напоминают ваши;
Такой наряд носили при дворе
Хирона, — мир его великой тени!

Корифей

Я отвечать готова... Но сперва
Царевны нам ты объясни несчастье...
Нас новости нежданные страшат...

Кормилица
(опешив, некоторое время смотрит вопросительно, стараясь угадать, в какой мере им известен секрет Меланиппы)

Как? Новости?.. И страшные? Ты шутишь!..
Несчастие?.. Храни свои уста.

Корифей

О, я бы с ней делить хотела слезы...
Когда бы мне причину их узнать.

Кормилица

(собравшись с духом)

Причина слез... Иль их одна причина?..
С женой на свет родится и недуг...

Корифей

Не вражье ль то, скажи мне, наважденье,
Что хоровод священный ей не мил.

Кормилица

Чур-чур меня... И смелы же вы стали!
Нет, были мы куда скромнее вас...

Пауза.

Корифей

И все-таки тут тайна есть, жена.

Кормилица

(слабо улыбаясь)

Коль тайна есть, как знать ее рабыне?

Пауза.

Корифей

Так извелась царевна, так бледна...

Кормилица

Распустится в лучах отцовской ласки...

Корифей

Давай-то бог... А жениха нашли?..

Кормилица

Нам царские неведомы решенья...

(Вкрадчиво.)

Но что же вы могли слыхать и где?..

Корифей

Не слишком ли, жена, ты любопытна?

Кормилица

С кем виделись, пока сюда вы шли?

Корифей

Встречали мы людей довольно всяких...
Но отчего, скажи мне, ты дрожишь?

Кормилица

Дрожу? .. О нет... Я ж ни при чем, поверьте

Пауза.

Корифей

Ты ни при чем? .. А кто же помогал?

Немая сцена.

Кормилица

Коль точно вы что знаете, ни слова...
Девичьих уст — вас Пелием молю,
Святынею бебидской Артемиды
И счастием, которого вкусить
Вы жаждете весной в зеленых сенях, —
Храните уст девичьих чистоту,
И если враг уж осквернил вам уши
Невинные... Клянитесь онеметь...

Корифей

(поднимая вверх руку)

Клянусь тебе я горним алтарем
Кронидовым и алтарем Нерея...
Твоей, раба, царевне не вредить...
Но я могу ль над горькою не плакать?

Знаки участия и скорби.

Кормилица

(таинственно)

Я верю вам... Молите же богов,
Да дáруют они успокоенье
Двум матерям — небесной и земной.

Корифей

Я слов твоих, жена, не понимаю...
Но за тобой я вышнему молюсь,
Да укрепит царевну он в несчастьях,
Которых мне никто не открывал.

Кормилица

Благослови вас мать богов, о девы...
Но с этих пор — завесу на уста.

(Уходит.)

ПЕРВЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНТРАКТ

СТРОФА

О Феб-Аполлон!
Дивною музыкой, боже,
Множил стада ты Адмету,
К сладкой твоей свирели
Робкие лани сбегались.
Белеющих бабочек легче
И снов золотых лучезарней
В разбитую муками душу
Со струн твоих вещих, дельфиец,
Мелодии нежные льются.
Безумное сердце царевны
Врачуй, небожитель, а демон,
Что мыслями девы играет,
Пускай под твоею стрелою
Пифонову участь разделит,
О Феб-Аполлон!

АНТИСТРОФА

О Феб-Аполлон!
Боже, когда ты родился,
Пальма над ложем Латоны,
Чуждым страданий тяжких,
Нежно к тебе склонилась...
И остров цветущий на синем
Сребристом просторе, где смерти
Бессилен крылатый демон,
Был первой твоею юдолью.
Когда же в обитель Аида
Уж руки Кронида с Олимпа
Низвергнуть тебя простирались,
Не мать ли за сына молила...
О, будь же заступником, Сминтий,
Царевне, что мать схоронила...
О Феб-Аполлон!..

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Хор. Вестник с внешней стороны, за ним гости.

Хор

Одеждами торжественно сияя
И крыльями сандалий, как Гермес,
Сюда герольд идет... Вниманье, девы!

Вестник

(справа)

К царевне я, о жены, Меланиппе.
Кто вызовет ее из царских зал,
Чтоб радостной она внимала вести?
Ее принес я первый... не забудь...

Корифей

Она идет сюда... Ты счастлив, быстрый...

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же и Меланиппа, нарядная, в белом; внутреннее волнение лихорадочно проступает только на бледных губах и расширенных зрачках. На щеках легкий слой румян. Служанки несут зеркала, опахала, пурпуровые ковры, курения. Рабы поспешно убирают алтарь зеленью. Собираются гости, нарядные, с цветами. Вестник выступает навстречу Меланиппе с поклоном.

Вестник

О, радуйся, державного Эола
Царевна-дочь, краса магнесских дев!
Очищенный постом и покаяньем
И благостью увенчанный, затем,

Что храма он срединного святыню
Сподобился узреть, сюда Эол,
Фессалии державный повелитель,
Вернулся... Как он счастлив, как чело
Сияет у царя — уже давно мы
Не видели таким его... Печали
И гнев забыт, и милости вас ждут
Великие, рабы и домочадцы,
А вас пиры, приветливых гостей...

Движение и гул в толпе.

Он кобылиц отпрячь велел, чтоб раньше
Родимых трав вкусили и они
И с табуном подруг смешались в поле.
Так говорил нам царь — ему в ответ
Улыбками мы расцветали, дева.
Кругом народ, и медлен царский путь.
Там с Пелия, из Иолка,[1] Фер богатых
Из Фтии есть, и северные есть
Среди гостей, царевна, фессалийцы.
Всех ласкою наш царь очаровал.
Теперь толпа, конечно, задержала
Вельможного, но если б кобылиц
Не отпустил так рано он на волю, —
Сандалии крылатые мои
Благую весть всё ж принесли бы раньше...
Ведь Гелия всегда быстрей Гермес.

Меланиппа

(с оттенком пренебрежения)

Благодарим гонца, конечно, он
Почетное на нашем пире место
Уж заслужил... А ласки и даров
Ужель ему сегодня пожалеем?..
Но отдохни, Гермес, ты весь в поту...

Отворачивается к рабам. Вестник отходит несколько сконфуженно.

А вы, рабы, пурпуровою тканью
Подножие увейте алтаря!

---

[1] Произносить «Ёлка»

Пред Зевсовой святыней преклоняясь,
Пусть будет царь великий наш почтен.

(К хору)

Из ваших уст пэана жду я, девы,
Помолимся, чтобы возврат царя
Веселием нам заплатил за слезы
Пролитые... Я умолчу о том,
Что, кроме слез, здесь выпила немая
И пурпуром прикрытая земля...

(К небу)

Бессмертные, мы в вашей тяжкой воле...

Хор

Славьтесь, синие пучины
Сребровласого Нерея!
Славьтесь, гордые вершины,
Где снега лежат, белея,
Где орлы повисли, рея
По-над стадом лебединым!
Но славнее и отрадней
Нет твоих, о Пелий, скатов...
Веял сумрак, и прохладней
Стали волны ароматов...
Дымно факелы мерцали, —
Пелий ярко обвивая,
Лента двинулась живая.
Лиры нежные бряцали
У гостей Нерея... Ели,
У кентавров в мощных дланях,
Смоляные пламенели;
Нимфы ехали на ланях.
Серебристой вереницей
Там клубились нереиды,
Мягко плыли аониды,
Кто со свитком, кто с цевницей,
И с сияющей царицей
Шел властитель Эолиды...

Движение в толпе. С нарядной свитой и массой гостей, увенчанный лавром, медленно входит Эол, будто помолодевший, улыбающийся.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Хор. Эол. Меланиппа. Толпа.

Хор

(громче и светлее, обращаясь к Эолу)

Слава! Геллена великий
И блестящий сын Эол!
Ты венчанную гвоздикой
Дочь Хирона поборол
И с добычей нежноликой
Улетел ты, как орел...
Цвет любви вдыхая дикий,
Лучезарный и великий,
Славься, радостный Эол!..
Славься, радостный Эол!..

Минута затишья. Меланиппа не выходит навстречу. Она дает гостям загородить себя от Эола.

Эол

Магнесии священные твердыни...
Дворец отца и силуэты гор
Любимых и лесов немые сени,
И моря шум привычный. Лучше вас
И слаще вас нет сердцу... Алтари,
Венчанные моих лугов цветами,
Вам первым мой привет...

(Подходит к алтарю.)

Я не царем
К вам прихожу, отеческие боги,
А грешником раскаянным и сыном...
О Зевс, о Геллена могучего отец,
На этот дом, так много испытавший,
На твой народ, на избранных, пелазгов,
Которым ты, великий, обещал
Безбрежный мир в грядущем, призри, боже.
Залога ждем твоих теперь же, Зевс,
Обетов мы... И внук, тобой прощенный,
Сегодня, на алтарь припавши, молит,
Чтобы в ему дарованной земле
Умножились стада, чтоб в пашнях черных
И трудовых Димитры золотой

Не иссякал налитый солнцем колос...
Чтоб дети... О, детей воспоминанье,
Ты за собой ведешь их тени... Дети
Чтоб выросли на радость и на славу
Родителям, которым ты велишь
Их вырастить... Победы и трофеи
Кровавые с их паром — для других
Оставь их, боже вышний, для потомков.
Мы ж мира, бог, мы жаждем только мира
И в городах, и в тишине палат...
Но дочери не вижу... Меланиппы:
Здорова ли она?.. И где ж отец,
Богами нам еще хранимый Геллен?..

Меланиппа

(выступая вперед)

Отец мой и державный царь, твоим
Так сладко мне внимать словам, и взору
Так милы глаз веселые лучи...

Эол

(обнимая ее)

Малютка, ты бледна и похудела...
Пусть счастием и миром над тобой
Луч Гелия отныне засияет...
Ты не больна, надеюсь, Меланиппа?..

Меланиппа

С тобой, отец, я расцвету опять.
Скучала я в старинном доме нашем
И без вестей томилась о тебе...
Ни арфа мне отрады не давала,
Ни ткацкий стан с узорным полотном.
О Геллене ты спрашивал... В чертоге
Готовит он, чтобы богов почтить
И твой возврат восславить, жертву, верно...
Он слаб и стар становится, увы!
И седина чело ему склонила...
Но дай сказать привет твоим гостям.

(Подходит к гостям с поклоном.)

Приветствую вас, жены! Фессалийцы,
С вершин родных и дальних, из полей,

Из городов прославленных и с моря
Лазурного... Да сохранит вас бог,
Да будет вам очаг наш благодатен!

Эол

(подходя за ней к гостям)

О, радуйтесь, соратники, и вы,
Мои соседи мирные, вы, жены!
Мой царский дом для дорогих гостей
Всегда открыт... Но мне милей сегодня
Ваш ласковый и радостный привет...
Я подданных в Магнесии своих
И сколько есть покорных фессалийцев
Под скипетром моим прошу со мной
Участвовать во всенародной жертве
И трапезу в чертоге разделить.
Старинных вин я предложу им критских...
И вы, рабы, смелее... Кто из вас
Тяжелым ли уроком или карой
Обременен грозящей... Успокойтесь...

(Хору.)

Вы прощены... Берег я под конец
Привет цветам, которыми Эола
Сегодня сад зацвел... Я ваш пэан
С особенным прослушал чувством, девы...
Он сладостной росою освежил
Мои давно не плакавшие вежды.

Корифей

Ты в Дельфах был, державный, в волосах
Я вижу лавр твоих златисто-белых.

Эол

Сподобился я увидать земли
Срединный храм, там бледной пифониссы
Вещаниям я трепетно внимал,
Но светел я их толкованьем, девы.

Корифей

Мне радости твоей отрадна весть.
Душа горит послушать, в чем же радость.

Эол

О, тайны нет... Я бы хотел, чтоб все
Со мной теперь благую весть делили
И счастия Эолова лучи.
Пифийский бог сказал, что счастлив буду
Я внуками, что славою они
Широкий мир наполнят, и далеко
Эолов дуб ветвями прошумит...
О дочь моя, для радостного брака

Меланиппа отшатывается, бледнея.

Давно готов и царственный жених...
Ты смущена?.. Он выбран, Меланиппа...
Краснеешь ты? Спусти скорей фату,
И за фатой ты можешь улыбнуться...

Меланиппа

(бледно улыбаясь)

С тобою кто ж останется, отец?
Мне терема еще не скучны стены...
И тихие со мною говорят
Бессонными, отец, ночами звезды...

Эол

До брака все вы, Арна, таковы...

(Подходя к ней, ласково.)

Но ты, дитя любимое, не думай,
Чтоб я не знал, какой алмаз в венец
Тобою мне вложила дочь Хирона...
Но погоди: я вижу, что сюда
Из конюхов идет один... Так странен:
И спешный шаг, и невеселый вид...
Что скажешь, раб и верный мой товарищ?

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Вестник

(с внутренней стороны)

О царь Эол, державный господин...
Прости рабу, коль вестником не в пору
И, может быть... Не знаю, как сказать...

И, может быть, ну, скажем, неудачным
Я вестником к тебе являюсь, царь...

Эол

Твоих речей начало неудачно,
Ровнее их, надеюсь, будет ход.
Пожалуйста, не бойся кары, конюх:
Мой царский гнев отсюда далеко.

Тем временем из дворца показывается старый Геллен. Он совсем белый, согбенный, в сетчатой одежде прорицателя, его ведут двое, третий несет посох. На Геллене венок из дубовых листьев.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же и Геллен.

Меланиппа

Отец, к тебе державный прорицатель,
Кронида сын увенчанный идет!

Эол выступает навстречу отцу.

Геллен

О, радуйся, мой сын и царь Магнесский!

Эол

Ты радуйся, державный мой отец!
В тебе залог блаженства эолидов,
И сладостно глядеть мне на тебя.

Рабы сажают Геллена. Один из рабов начинает медленно махать над ним веткой, отгоняя мух.

Геллен

Но вестника послушаем: гаданий
Я знаменья хочу сообразить, —
Его рассказ нам может пригодиться.

(Указывая на вестника.)

Недаром же в нем сердце смущено.

Минута общего, несколько смущенного молчания.

Эол

Так говори ж, возница, без опаски.

Вестник

Давай-то бог. Но слушай, царь. Ты помнишь,
Что приказал крылатых кобылиц —
Клянусь, таких Магнесия уж много
Не знала лет — стреножить и на луг,
Копытами их целый год не мятый,
Пустить, Эол... Стреножив кобылиц,
В беседу мы с табунщиком вступили...
Но, как на грех, — ты помнишь ту — у ней
Над правым глазом звездочка, — не видел
Я более шкодливой, — путы прочь...
И что уж там завидела... Но мимо
Подруг и вон из стада... Там Алфей-
Поток бежит — шагов, пожалуй, будет
Две тысячи — за нею мы гнались.
Холодная вода потока, верно,
Крылатую сманила... На нее
Накинул я узду и потихоньку
С укорами шкодливую назад
В табун повел. Идем мы перелеском:
Путь выбирал короче я, и вот —
Ты знаешь луг, весь желтый от цветов,
Где пастухи твоих коров и телок
Свирелью, царь, с зари и до зари,
А может, и пастушек забавляют...
Их утомил, не знаю, солнца свет,
Любовь иль труд, но спящими нашли мы
Бездельников... А в за́сенке... О нет...
Бессмертные!.. Нет... нет, такого дива
Ни мой отец, ни дед, ни прадед, верно,
Не видывал, — увидит ли и внук?..
Корову мы увидели, по виду —
Уж не вчера телилась... рядом с ней
Порядочный мычал нетерпеливо
И землю рыл раздвоенным копытом
Бычок... а мать, ты не поверишь, царь,
Двух мальчиков — я об заклад побьюсь,

Что были то особенные дети, —
Ты не найдешь таких красивых здесь
И рослых, царь, — двух мальчиков кормила.
И долго мы стояли... Не могли
Мы губ разжать от изумленья, даже
Как будто бы и ноги отнялись,
С испуга, царь, что этот вид чудесный
Обозначать нам должен. Пастухов
Толчками мы тут подняли, но толку
В породе той кто и искать бы мог,
Которая иль спит, или играет
На дудочке? И спор тогда пошел
Меж нами, что за дети. Не корова ль
Их принесла? Чего ведь не бывает...
Иль демоном положены на луг...
Ну видано ль, чтобы свое рожденье
От вымени сурово оттолкнув,
Плод женщины кормить корова стала!
Кричали мы немало. Ничего
Из нашего не вышло крика только,
И решено...
                    Нет! раньше... погоди...
Когда детей иль бесенят — уж, право,
Не знаю, как созданья те назвать, —
Корова-мать, так скажем, откормила, —
Здоровы же сосать они... На луг
Склонившихся она тихонько стала,
Как маленьких теленочков, лизать...
Тут подошли другие телки... Следом
Бык подошел, но молча, и никто
Диковинных детишек тех не трогал.
Обиженный один не замолкал,
Пока травой он сердца не натешил...
Давно бы так... И было решено
Меж нами тех гостей сюда доставить:
Что ты велишь, то с ними мы, Эол,
И сделаем... Но было нелегко
Их унести... Мычаньем недовольным
Всё стадо нас почти что до ворот
Твоих, Эол, от речки провожало.
По глупому совету моему —
Так и другой тебе, владыка, скажет, —

Недоброе то знаменье... Скорей
Убрать бы их... А впрочем, как прикажешь.

В середине рассказа конюха два другие приносят корзинку со спящими детьми. Движение в толпе гостей и рабов и в хоре. Меланиппа сначала стоит молча, скрестив руки. Только бледность проступает сквозь румяна. Она будто спала с лица, но владеет собою вполне. Сухие губы строго сжаты. Наконец, при виде слишком назойливых и любопытных гостей и рабов, она дает еле заметный знак глазами старой кормилице, которая успокоительно кивает ей головой и, отстранив толпу, становится на страже около детей. Геллен всё время сидел неподвижно, будто спал... Не поднимая головы, он говорит наконец точно в дремоте.

Геллен

О, боги!.. О, гадания! О, сын
Эол, Эол! Иль цепь твоих несчастий
Не оборвали боги?.. Ты, пятно,
С кого же ты растешь?.. О, демон злобный!

Общее смущение.

Меланиппа
(подходя к Геллену)

О, тяжкий бред... Осмелюсь ли я, царь...
Ты, кажется, устал, и это солнце...

Геллен
(поднимает голову и, точно только что проснувшись, смотрит перед собой мутными глазами)

Кто говорит?.. Что солнце?.. Это ты?
Ты, дочери Хирона чадо, Арна?

Меланиппа

Да, я помочь хотела бы тебе,
Державный дед... Боюсь я, что недужный
Твой бред отца счастливого смутит
И праздник наш расстроить может, Геллен...

Геллен
(вставая, к Эолу)

Боитесь вы для праздника моих
Тяжелых слов... Что ж делать?! Я не бредил.
Я — в ужасе... Ты понимаешь, царь?

Садится опять. Раб, точно автомат, снова машет над ним зеленой веткой.

Эол

(нежно отстраняя Меланиппу)

Перед твоей священною, родитель,
Я волею склоняюсь. Мудрых уст
Вещания твоих — моя святыня.
И если новую беду сегодня мне
В нить тонкую и черную моей
Всучить должна седая парка жизни,
Я не уйду от ней... Но, может быть,
Позволишь ты, чтобы с возницей этим
И чудом я покончил раньше, царь?

Геллен молчит.

Коль слов моих ты не одобришь, можем
Мы подождать решением... Молчишь
Ты, царь-отец? Согласием молчанье
Позволь считать твое...

Геллен молчит.

Рассказ твой, конюх,
Действительно, особенный — его,
Однако, я назвать покуда страшным
Не вижу оснований. Вы детей
Иль демонов, но вид детей принявших,
Туда ж теперь могли бы отнести,
Откуда их вы взяли. Если точно
Их положил туда на благо нам
Бессмертный бог — он их спасет, конечно,
И мы греха на душу не возьмем,
Что знаменье сгубили торопливо...
А если то была игра бесов,
Нам дикие помогут ночью звери...
При алтарях нет места палачу
И жертвы бог... сомнительной не любит.

Конюх скрывается в толпе. Нянька торопливо берет корзину. Служанки ей помогают.

Геллен

Сомнительной?!. Останови рыбань:
Богами, сын, молю и заклинаю.

По знаку Эола корзину снова ставят на место.

Остатки сил берег я, мой Эол,
Чтобы тебя увидеть и зарею
Полюбоваться славы эолидов,
Что некогда мне обещал Кронид...
Но лучше бы... О, лучше б этот свод
Слабеющим глазам моим не видеть...
Я три раза гадал и три раза
Рабам свой нож я отдавал печально
И заливал зловещий огнь алтарный;
Я три раза глядел, как до зари
Вели быка на жертву... Все три раза
Понурый шел и не мычал, едва
Он тучные передвигая ноги.
И три раза всё те же знаки — мне
Не обманул очей и призрак счастья...
От желчи был раздут пузырь быка,
И черною обильно заливал он
На алтаре передо мной, Эол,
Ножом жреца раскрытую утробу.
Я вижу лавр Аплуна [1] на тебе,
Но светлого обеты олимпийца
Не отвратят над головой твоею
Нависшую беду... Ты бойся, сын,
Гадателей, читающих по звездам,
И мудрых дев, и свитков бойся, царь,
Украшенных вещаньями Орфея...
Отцовского предания держись
И мудрости, от нас ушедшей в землю,
Лишь белым, царь, пелазгам откровенной.
В Феспрот иди! Очищен не совсем
От крови ты здесь пролитой, а раньше
От нечисти домашней, да скорей
Освободись и сжечь вели явлённых.

Во время этой речи надвигались тучи. Но грозы нет. В конце речи слышатся какие-то странные звуки, точно подземный ропот. Потом треск, крики. Общее смятение. Эол стоит молча, поникнув головой. Меланиппа в ужасе расширенными глазами смотрит на Геллена. Кормилица испуганно пригнулась к земле, всё еще инстинктивно закрывая корзину. Многие из толпы молитвенно пали ниц. Другие простирают к небу руки. Волна землетрясения стихает.

[1] Фессалийская форма — вместо «Аполлона».

Хор

О Посейдон!.. Земли колебатель!..
О синекудрый!
Сжалься над нами!
Нам алтари,
Боже, оставь!
Пламени, бог, на очагах
Не погашай, молю...
Мысли тоскливо мятутся:
Вещего старца слова
Ты покарал ли, иль смерти
Этих детей просишь?
Сжалься, владыка морей,
Ужас развей и сомненья
Душные волны,
О Посейдон,
Бог синекудрый!..

Полная тишина. Все затихло в ожидании второй волны землетрясения. Она набегает, но останавливается дальше от чертога. Мало-помалу светлеет. Показывается солнце. Смущение успокаивается.

Эол

Гадания твои, отец, печальны,
Печальней их вещания твои,
И этот знак, венчавший их, ужасен..
Мне радости луч Гелия, увы!
За облаком таившийся и снова
Блеснувший средь эфира, не вернет,
И лавра я сухие листья брошу...
Возьмите их.

(Снимает венок и отдает его рабам.)

Должно быть, ризы мне
Торжественной не надевать сегодня...
Мой светлый пир погиб. Но, царь-отец,
Не вижу я, зачем же лишней кровью
Иль копотью от адского огня
Свой покрывать должны мы пурпур царский...

Геллен

О, маловер... Иль ропота богов
Подземного твоей гордыне мало?
Чего ты ждешь? Кровавого дождя?

Иль, может быть, чтоб Тартара разверзлось
Для нас жерло сокрытое? Когда б
Здесь речь была лишь о тебе... Но рода
Главою ты останешься...
А мне
Постылый век усталому коль боги
И длят еще, так чтобы вразумить
Тебя я мог и славу уберечь
Моих грядущих правнуков... и только...
На алтари и статуи богов,
Которых мы еще не знали, право,
Глаза бы не глядели... Но чего ж
Боишься ты? Иль эти бесенята
Тебе детей твоих, детей дороже,
И правнуков, и всех, кого на муки
Преступною ты слабостью своей
Теперь, Эол, быть может, осуждаешь...
Но вижу я опять гонца... Еще
Нам новости из стада... Тот же конюх...

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Те же и конюх с той же стороны, что и в первый раз.

Конюх

О царь Эол... Сегодня день чудес...
О новом мне позволь поведать диве.

Эол

Мы ждем речей твоих, мой верный раб.

Конюх

Корова та, которая кормила
Найденышей чудесных, на глазах
У пастухов твоих, да и на наших
Исчезла, царь, растаяла... Удар
Ее унес в земные недра, что ли?
Где мальчиков нашли мы, господин,
Провал образовался... ключ горячий
Струится там... Свидетелей у нас
Хоть отбавляй... Нет, царь, неладно это

Явление... Должно быть, Посейдон
На демонов, что алтарей священных
Его не постыдились, рассердился...
А телки так жалеют пастухи...
Не брезгает и животиной демон.

Пауза. Сильное впечатление среди слушателей.

Эол

О, тяжкое сомненье... Поглядеть
Я всё ж хочу на знаменье...

По знаку ему подносят корзину с детьми.

Какие
Чудесные детишки!.. Как они
Кого-то мне напоминают... Да...
О нет! о нет... возьмите их, рабыни...
Моей душой играет демон точно...
И если всё, за радостью теперь
Свидания забытое с отчизной,
Припомню я... И смутный сон... И Арны
Печальный взор... И птиц... Да разве ж бог,
Чтоб обольстить наш ум, ошибок полный,
Жалеет чар?.. Иль мало есть у них,
У демонов, приманок?.. Покажите
Опять детей...
Дочь, Меланиппа, им
Надень убор в чертоге погребальный
И принеси сюда...
Коль иго жизнь,
Его Эол поднимет не бледнея...
Привесок бед... Мгновение... И пусть
Узнает под ножом тот черный демон,
Как славу у потомков отнимать
Эоловых... Красой и состраданьем
Его мужское сердце растопляя,
Как крыльев воск Икаровых... Отец,
Минутную прости Эолу слабость...
Не женщиной его, орлом родил
Кронидовым ты горным...
Я Феспрота
Увижу дуб священный и, страданий

Приняв удел, священный голос бога
Услышу вновь, коль этим осквернен
Я зрелищем и демонской игрою.

(Гостям.)

Прошу гостей войти теперь в чертог
И без меня там пир уготова́нный
Вкусить... Богов они не раздражали,
И Гелленов не погасал очаг...

Гости входят в дом.

Меланиппа

(Эолу)

Дозволишь ли?..

Эол

Ни слова, дочь, ни слова!..

(Рабам)

А вы, рабы, готовьте поживей
Костер, посуше наберите елей,
Чтоб тот огонь, который поднесу
Я бережно к неласковой постели
Найденышей, моей грозящих славе,
Чтоб ярче он и веселей пылал,
В Додону путь Эолу озаряя...

(Со свитой, налево.)

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Те же без Эола.

Меланиппа подходит к корзине, вынимает оттуда детей и, плача и молча целуя их, уносит в дверь направо.

Геллен

Последний день... Последние лучи...
Последнее звено тяжелой цепи
Сейчас сольет огонь костра, чтоб цепь
Мне самую потом расплавить... О,
Скорей, рабы, скорей, скорей отсюда...

(Уходит со своими провожатыми в ту же сторону, куда ушел и Эол.)

ВТОРОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНТРАКТ

СТРОФА

Страшен богов без меры
Гнев и зоркая сила,
Но меж бессмертных Геры
Небо грозней не носило.
Сказку ли, быль ли златого
Детства душа удержала, —
С дальнего Пинда крутого
В Аргос река побежала.
Сколько там было богатых
Сёл и полей-раздолий,
Лесу и ланей на скатах —
Стало Инаховой долей.
В Аргосе царствовал славный,
Тезка с рекой золотою...
Дочери не было равной
Ни у кого красотою.
Очи Кронида пленились
Чадом Инаховым милым,
И меж аргосцев разлились
Воды, богатые илом.
Плутос в земле поселился.
Год пировали там целый.
Гермий с царем веселился,
Зевс с его дочерью белой.

АНТИСТРОФА

С трона небес золотого
Гера узидела диво.
Месть ее мигом готова:
Сердце недаром ревниво.
Радугу Гера послала,
Дивную станом и видом:
Влага с полей убежала,
Плутос ушел за Кронидом.
Стали пустынею села,
Смертного полные страха,
И из румяно-веселой
Мумией стала Инаха.

Где от обильной Димитры
За́кромы раньше ломились,
В сети паучьей и хитрой
Мухи голодные бились.
Шерстью одеты, смотрели
Девы глаза благородной;
Гермий уныло-голодный
Телке играл на свирели...
Страшен богов без меры
Гнев и зоркая сила, —
Но меж бессмертных Геры
Небо грозней не носило.

ЭПОД

О, чье ж это страшное дело?
    Чья тайна? Иль козни?
    Ту ночи ли поздней
Преступницу риза одела?
Иль Гелий своей золотою
Сиял колесницей победной
    Над тою
Огню обреченной красою...
    Над матерью бледной,
    Грехом ли гонимой,
    Стыдом, нищетою
    Томимой?..
О, чье ж это страшное дело?
Душа говорит: то не бес;
Чье ж око, о боги, с небес
На грешную деву глядело?

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Меланиппа; за ней рабыни несут детей в погребальных костюмах и длинных черных вуалях.

Корифей

Вот... вот они... найденыши... О, боги!
О, зрелище печальное! Когда
Подходит к старцу смерть иль от недужной
Постели врач отходит молча, нам
Тоска сжимает грудь... Но если видишь,
Как маленьких детей для палача
Или жрецов — то не одно ль и то же? —
Оденет риза погребальная,
Как трауром играть готовы дети
И алые смеются их уста, —
В душе встает холодный ужас, девы!
О, как могла, царевна, этот труд
Ты, нежная, среди рабынь исполнить?

Меланиппа

В сердцах людей, покуда жизни луч
В них теплится, есть искра упованья...
Пока детей я одевала, мне
Мелькнула мысль, и ей дышу я, девы...
А может быть, печальный этот вид,
Убор, который подобает старцу,
Смягчит отца... Ведь беззащитней вдвое

Они теперь, малютки эти... Нет
Коровы даже в человечьем стаде,
Чтоб молоком уста их освежить.
О, слов и слез скопила я довольно...
И нежностью глубокою мое
Так эти крошки истерзали сердце...

(Вглядывается в ту сторону, откуда в это время слышится оживленный шум.)

Но подожди... Костер... Отец... и старец,
И Геллен там... Он что-то говорит...
Они идут сюда... Старик остался...
Он будет ждать малюток...
Посейдон!
Уста мои окованы... Ты моря
Отдай им, бог, и блеск, и шум, и речи
То ласковой, то грозною волной
Пускай идут мои к сухому сердцу...

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Те же и Эол со свитой и частью гостей.

Эол

(в руке у него блестит длинный фессалийский нож)

О дочь моя... Готово всё... И ждет
Костер и нож найденышей... Надеюсь,
Что, разумом излишек победив
Девической чувствительности, Арна
Достойною своих великих предков
Себя теперь покажет... Иль Хирон
Малюткою водил ее в пещеру,
Чтоб демонов игралищем потом
В Магнесии она покорно стала!

По знаку Меланиппы детей относят в сторону.

Меланиппа

Отец мой, я хотела гордый ум
Туманом слез окутать, чтобы сердце
Решения его остановило:
Я показать найденышей тебе

Одетыми по-старчески хотела...
О, из руки твоей холодный нож,
Наверно бы, дрожа, упал... Но стыдно
Мне этого желания... Ты сам
Передо мной открыл стезю рассудка.

(Подходит к нему ближе.)

Рабыни тихо забавляют детей.

Я — женщина, но дочь твоя. Во мне
Кровь царская, кровь избранных, быть может,
И голубой божественной хоть капля
Во мне, отец, есть крови. Я едва ль
Узнала б мать.
Но свитки муз прилежно
Читала я, и Истины златой
Средь дальних звезд и мне лучи мелькали...
Не бреду, царь, и не капризным снам,
Нет, ты ночей бессонных, ты трудов,
Холодного вниманья и проверки
Мучительной внемли словам, отец, —
И не моим... — Чтó эллинская дева? —
А мудрых, царь, в учение, в систему
Уложенным словам.
Но передать
Могу ли всё тебе? Земля и небо,
Весь этот мир, и всё, что в нем горит,
И гаснет, и растет, благоухает
И движется, и умирает, царь...
Всё это вечно... Только вещи были
Вначале странно смешаны. И Хаос,
Наш первый мир, исполнен был семян,
Мироначал неразвитых... А семя
Там каждое начатки всех вещей
Незримые таило: и железа
В нем был закал, и розы аромат,
И радуги цвета. Из этих зерен
Составились и небо, и земля.
И всё, что в них, в извечных семенах,
Холодного таилось, всё, что было
Иль твердо в них, иль жидко, иль темно,
Сцепилось и образовало землю,
С ее водой, горами и лесами

И тварями... А влажное и всё,
Что жаркого таили зерна мира
И тонкого, и легкого, в эфир
Ушло от нас и стало синим небом.
А смерть?.. О, смерть — разлука, но и только
Коль на гробах мы видим огоньки,
Когда темно, а на могилах пышно
Трава растет; и если только пыль
В могилах от скелетов остается,
Так потому, что к расцепленью нет
Уж более преграды, чтобы пламя
Ушло в эфир и чтоб землей земля
И влажною травою соки стали.
О мой отец! Для светлого ума
Весь этот мир так строен, так прекрасен,
Что и у муз на нежных лирах нет,
Наверное, аккордов музыкальней.
Но он бы трупом был, когда бы Дух,
Иль вышний бог когда-то вихрем зерна,
Из Хаоса подъяв, не закружил,
Чтоб части их сцеплялись, а другие
Бежали друг от друга...
Этот дух,
Он всё живит, и нет созданья в мире,
Где б чистый он и вечный не дышал...
А в нас сильней он только, чем в твореньях
Других, отец... Но кто вкусил его
Пленительной и бесконечной власти,
Не может уж на веру слабых душ
Без ужаса глядеть и омерзенья...
Я чту богов, отец, я им молюсь,
Но не могу ни раскаленной глыбой,
Ни морем их, ни молнией считать.
Они — ступени пламенного духа,
Бессмертные.
И жалкий жрец с ножом,
Который воли их в утробе бычьей
Прилежно ищет знака, иль, бледнея,
От демона бежит, шепча молитву,
Иль жаждет кровь невинную пролить
Лишь потому, что в нем мутится разум...
От божества он далее, чем та

Детей, отец, питавшая корова...
О, прекрати весь этот бред безумный!
В душе своей великой не гаси
Ты дивного эфира. И Крониду
Всесильному угоден будешь, царь...
Но, страстию нечисто-малодушной
Закутав ум, удара берегись...
Того, чей дух препон не знает наших...

Корифей

Твоим словам прекрасным я дивлюсь,
Но смелый их полет меня пугает.

Эол

Подумаешь, что молнии Кронид
Ириде дал... что радужною ризой
Прикрыла их богиня и грозит,
А розы губ улыбкой зацветают.
Заслушался тебя я... Соловьем
Поистине ты стала... От Хирона ль,
От дочери ль его — да будет мир
Среди теней почившей — эти речи...
О, за тобой я, вместо царских дел,
Средь облаков желал бы вольной птицей
Летать, дитя... Суров и тих мудрец,
Но розовых вещания так сладки
Девичьих губ. Сломить копье с тобой
В словесном состязании, конечно,
Задачею бы было жениху
Нелегкою. Но я — отец и царь...
И мудрые босых учителей
Не раз, поверь, я эти речи слышал...
Я одному дивлюсь: когда богам
Иль разуму исконному так верно
Все эти люди служат, отчего ж
Их нет среди царей? И отчего
Не падают твердыни наши, Арна,
Пред мудрыми словами? Почему же
К ним серебро рекою не течет?
И гонит их от своего порога
Немудрый селянин?.. И даже глаз

Изгнаннику покрыть не даст померкших
Отечество комка родной земли?
Нет, дочь моя, оставим это... Жертвы
Обречены, и их сейчас сожгут...
Пусть там казнит меня босой ваш разум!
Боялась ты мне сердце размягчить
Их детскими невинными глазами.
О, этот страх напрасен... Про сирен
Рассказов я наслушался ребенком,
И демону водить себя не дам.
Со слабостью покончили мы счеты.

Рабыни подносят Эолу детей. Он машет рукой.

Меланиппа

Постой, отец! Но разве ж царский ум
От общих всем ошибок безопасен?
Иль и богов, которым веришь ты,
На грешный путь не уводили страсти?
Иль Аполлон разгневанный отцу
Не перебил великому преступно
Его перуна гордых ковачей?
Скажи мне, царь... А если эти ж боги
Бессмертные, чтобы сгубить тебя,
Твой ум мутят теперь?
Когда убийство
Виновного готовится, то суд
Его решил, я думаю... А кто же
Судьею был, решившим смерть малюток?
Иль дряхлый тот уже незрячий жрец,
Иль, может быть, твой конюх? Или надо
Среди рабов трусливых судей нам
Искать, отец?.. Мне стыдно...
Говорил
Про вещий знак Эол землетрясенья,
Что Геллену он речь венчал. А если
То Посейдон разгневанный тебе
Свою волну послал для вразумленья?
Какой пророк, скажи, тебе, отец,
Истолковал божественную волю?
Пропавшая телица? Но она
Угодною явилась божеству,
А вовсе не наказанной. Иль Реса,

Трофония, Амфиарая грех
Земле обрек, ее пещерам вещим?

Минута молчания.

Эол

(сдержанно)

Надоедать мне пестрый твой узор
Немножко начинает... Мы не в ткацкой...
Коль этою богам не угожу
Я жертвою, — не ты ж в ответе, Арна...
Меж эллинских, коль ты Элладу чтишь,
Обычаев — такого я не помню,
Чтоб с дочерью советовался царь.
Нам вытканный приятней рук ее
Искусством плащ, чем слов ее плетенье...
Немедленно вели за мной теперь
Нести детей. На дождь похоже будто, —
Шипящего я не люблю костра...

Меланиппа

(нежно)

Отец, мне матери моей покойной имя
Так тяжело произносить... Но груз
Тяжелый я возьму и этот, если
Он снимется с души твоей, отец.

(Приближаясь к Эолу, тихо)

Ты помнишь, царь? .. О, для меня не тайна
Рождение мое... Скрывалась мать,
И ничего не знал Хирон о браке,
На Пелии свершенном...

Эол

Замолчи!

Меланиппа

О нет! О нет... Я знаю, что ты властен
Меня казнить, но выслушай: тебя
Я Гиппою покойной умоляю:
Хоть посмотри на крошек...

По ее знаку детей подносят к Эолу.

Ведь они
Такие же, как некогда и я,
И ты, Эол, мы были... Только жалче...
Как тихо спят они...

(Рабыням.)

Разденьте их.

Детей раздевают.

Иль демонов на них найдешь ты знаки?
Подумал ли, отец, ты, что тайком
Могла родить их девушка и ночью,
Как некогда меня, таясь, отец,
Хиронова в лесу родила дочерь?
Ты демонов задумал жечь... А что,
Как демоны — один девичий страх
Да стыд, отец, девичий были? .. Нет,
Ты не казнишь малюток... Заклинаю
Священною и нежною тебя
Звездой, отец... Неведомую эту
Ты пощади, как некогда Хирон
Мою простил таившуюся мать...
И не ее прости... детей невинных!..

Эол

Я б не хотел бранить тебя. Но стыд
Девичий и дочерний, Меланиппа,
Ты, кажется, забыла... Исступил,
Пожалуй, нас один и тот же демон,
Лишь путы я его порвал скорей.
Гей, вы, рабы, змеенышей за мной...
Царевна, здесь не место вам, я вижу,
Покинутый давно вас терем ждет.

(Приглашая жестом Меланиппу во дворец.)

Меланиппа

(порывисто обращается к детям)

О, с ними, да! Но не одна, державный...

Эол

Опомнись, дочь, что говоришь!..

Меланиппа

Тебе
Я говорю, опомнись, или внуков
Ты погубить задумал?.. Мать казни...

Восклицания в хоре и среди присутствующих.

Эол

Га... Тяжкий бред... О боги! Это иго
Признания снимите с плеч моих!
Скажи, скорей скажи, что ты шутила...

Меланиппа

Шутила? Нет... Мне не до шуток, царь...
И если вам, о фессалийцы, надо
Иль вашему владыке, иль жрецам,
Чтоб царский дом не делать бойней гнусной,
Девичьего признания... Оно
Уж с этих губ сорвалось...

Эол

Дочь... Дитя...

Меланиппа

И мать... увы... твоих несчастных внуков.

Эол

Проклятие... О демоны... ее
Оставите ль?

Меланиппа

Отец мой, я здорова...
И разум мой не поврежден... Детей
Я принесла, и этих самых, точно,
Двадцатый раз луна сегодня им
Свой факел зажигает. Их отец —
Великий Посейдон. Его веленьем
На нежный луг они отнесены.
Ты сам, Эол, хотел моих признаний.

Корифей

То нега лжи под игом палачей?
Иль истине в устах ее я внемлю?

О, призраки ожившие ночей!
О, туча, камнем павшая на землю!

Пауза.

Эол

(не глядя на дочь)

О, да... Теперь всё ясно мне — ее
Печаль, ланиты бледные, тревога
И странная заносчивость речей.
Позорные мгновенья! .. Эта мудрость,
Весь этот блеск ораторский... Куда ж
Они ведут, скажите, покоренных
Красою их и силой?
Ты, о бог,
Чье имя здесь нечистыми устами
Произнесла девица эта... Дочь
Злосчастного Эола... Пощади нас
И гневом лжи бесстыдной не карай...
Я накажу и сам ее... Законы
В Элладе есть еще, и совесть также
К тем мудрецам босым покуда в их
Дырявые мешки не уходила...

(К окружающим фессалийцам, которые в течение всего этого явления приходили на сцену)

Вы, граждане всех четырех концов
Фессалии... у вас прошу я правды...
Устройте суд, обычаю отцов
Покорные, и эту эолиду
Последнюю, которая мои
Еще срамить седины остается,
Коль камнями побить, или живой
Решите сжечь с ее приплодом вместе,
Молящего не встретите, клянусь,
Во мне отца... Костер стоит готовый...
Ты ж, дар отца, прочь фессалийский нож!
Из сердца дочь я вырвал... Но ее
Волос твое железо не коснется.

(Бросает нож. Рабам)

Мать и детей немедля разлучить —
Ее связать, а их отдать рабыне.

(Уходит со свитою во внутренние покои.)

Слуги подходят к Меланиппе.

Меланиппа

Веревки? Прочь... Пусть я не дочь Эолу,
Я все-таки царевна, и бежать
Или бороться с вами не унижусь.

(Детям)

А вы, давно оплаканные дети,
Простите... Вас увижу ль?.. Но судом
Спасенья я для вас добьюсь... Ты дивный,
Ты, Посейдон! Иль именем его
Украсивший мне ночь стыда и страха,
Кто б ни был ты... Спасти твоих детей
Мне помоги теперь, о синекудрый!

(К хору)

Простите вы, о Пелия краса,
О нежные подруги... Я не знаю,
Хоть смерть глядит в глаза мне... Кто из нас
Счастливее теперь?.. Весь этот ужас —
За мной, как сон тяжелый. И надежд
Игрушкою, забавой Олимпийца
Иль дерзкого обманщика — не быть
Уж никогда мне больше. Брак... рожденье
Детей — я дань свою вам отдала.
Другим очам одеждой золотой,
Таящей смерть и тленье, оставайтесь.

Уходит, окруженная фессалийцами и плачущими женщинами; детей уносят за нею.

ТРЕТИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНТРАКТ

СТРОФА I

Сестры, будем молиться!
Звездные темны нам выси,
Девичий разум наш беден,
Только и в нас состраданье
Жаркой кипит слезою.
Мы о царевне нашей,
Тяжкой борьбой томимой,
Будем молиться, сестры...

АНТИСТРОФА 1

Сестры, будем молиться
Той, что теперь незримо
На небесах мерцает
Чистой своей душою...
Нежной звезде молиться.
Пусть Посейдону Гиппа,
Дочери мужу, скажет,
Будем молиться, сестры.

СТРОФА 2

Золотой и трехвечерний,
Зевсу вечному рожденный,
Потопил ты Гидру в Лерне,
Царь, никем не побежденный.
Содрогнулись и кентавры
Перед палицей Геракла,
Но Алкида вянут лавры,
Счастье гордое иссякло.
И, язвим богиней мстящей
Средь паров безумья винных,
Бросил он в костер горящий
Трех детей своих невинных...

АНТИСТРОФА 2

О царица Гера, Гера,
Если ты отцу велела,
Горделивым для примера
Это злое сделать дело,
Со смиренною мольбою,
С фимиамом и слезами
Мы стоим перед тобою,
Гера с гордыми глазами!
Сердцу сердца голос чуток:
Пожалей в тоске рожденных,
Из огня отдай малюток
Нежной матери спасенных!

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Эол

(за сценой)

О, боги! ..

Корифей

Подруги... Тише... Стон мне из дворца
Почудился...

Эол

(за сценой)

О, мой отец... О, царь...

Корифей

Отца зовет... Иль Геллена словам
Разгневанным он внемлет?

(Прислушивается.)

Нет, там плачут.
Иль с Гелленом неладно? Я рабынь
Стенания... я вопли различаю...
Произнести мне страшно это слово,
Но кажется, что жизнь угасла там.

Из чертога, из средних дверей выходит Эол в трауре, обритый, с небольшой траурной свитой, за ним несколько гостей и рабов.

Эол

О Пелия приветливые гости,
Вы, граждане, вы, верные рабы!

Понизьте голоса... Волос в печали
Терзайте пряди... потому что Геллен.
Великий Геллен умер, и его
На смертное уж положили ложе.

Обрядовая сцена плача.

Корифей

Печаль твою делю я, властелин...
Но если скорбь Эолу позволяет
Нам передать, как царь почил, горит
Твоих речей мое послушать сердце.

Эол

Без муки он почил. И не успел
Плаща ему я на лицо набросить
В минуту расставанья с жизнью, девы;
Как ветерок, в морщинах лицевых
Последнее прошло усилье жизни
И сделалось как мраморным лицо.

Корифей

Ты говорил в то время с ним, владыка?

Эол

Про наш позор — о, лучше б никогда
Мне не рождать ее — ему смущенно
Я говорил... Вдруг вижу, что с ланит
Сбежала кровь у старца... «Посейдон», —
Он прошептал с усильем... Не расслышал,
Что бледные еще шептали губы,
Но кажется, что было то «прости»,
И не «прости» разлуки, а любовью
К виновному звучащее «прости».
Просил ли сам прощенья он, не знаю,
И у кого... Иль завещал простить, —
Он медленно склоняться начал, точно
Хотел он сесть... На ложе мы его
Перенесли поспешно... Там он умер.
Увы! Кого б ни завещал простить
Эолу он, сходя в могилу, — это

Напрасный был завет... Давно рабам
Я отпустил их вины... А над тою,
Кого назвать я не хочу, чтоб вам
Не оскорбить ушей девичьих, гостьи,
Творится суд не мой... Эол — один,
Двух жен имел... Шесть сыновей и шесть
Он дочерей родил на зависть вышним,
А кто придет ему глаза закрыть?
О, Аполлон!.. Игрушкою твоей
Я сделался? Или твоих не понял
Священных слов Эол? Но о каких
Ты говорил мне внуках, славе царской?

Корифей

Прости мне, царь! Последние слова
Великого когда бы фессалийцам
Ты передать велел... Не смертным мужем,
Кронидом был почивший царь рожден...
Прощение — завет его священный...

Эол

О, это было бы уж поздно... Там
Клубится пыль. Гонца я различаю.
Не знаю как, но дело решено.

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Те же и вестник, угрюмый старик, жаркий, запыленный (слева).
Время послеполуденное, ближе к закату.

Вестник

Царь, да хранит тебя с небес бессмертный
Твой дед и бог... Что вижу я? Хитон
Растерзан твой, и волосы обриты...
Иль ранее кто был здесь, не пойму.

Эол

О, вестник зол... Ты более, чем думал,
Сказал, гонец... Постой... Ее сожгли?
Покончили с детьми?.. Скорей, не медли...

Вестник

(неторопливо)

Не знаю, как сказать тебе: явле́нных
На луг снесли: пускай, мол, ищет их
Кто их рождал... А мать их ослепили.

Восклицания среди окружающих.

И, кажется, от непосильных мук
В ней помутился разум...

Корифей

Ужас, ужас!

Эол

Ты всё сказал?

Вестник

Чего ж еще, Эол?
Иль, может быть, ты ждал конца другого —
Я ни при чем. Меж судий не сидел
И ваших дел позорных я не ведал.
Вот погоди: еще накажет бог
Обидчиков девицы, и престол
От божьего суда им не защита.

Эол

(помолчав)

Награды дать тебе я не могу
За эту весть, — отраднее бывают...
В чертог иди к своим занятьям, раб,
И царские оставь царям печали.

Вестник уходит налево в дверь.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Без вестника.

Хор

О, горе! О, сын
Кронида блаженный, в серебристых
Сединах почил ты... О, лучше б,
Владыка, вослед за твоими
Мои молодые, о Геллен,

Закрылись и светлые вежды,
Не так, как царевны кровавой
Печатью сожженные веки,
А сном благодатным и тихим,
Как лебедя песня, как утра
Осеннего бледное солнце,
Так тихо закрылись, о Геллен...
Чтоб этой семьи разоренной
Чертога пустого и муки,
Снедающей жизни и сердце
В Магнесии, пышной когда-то
Эоловой славой, не видеть.

Корифей

Но вот они... О, вот они... владыка,
Собрать теперь все силы должен ты...
То, что сейчас увидишь ты, ужасно.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

С той же стороны, откуда приходил последний вестник, среди нескольких вооруженных и толпы фессалийцев идет Меланиппа, ослепленная, в узах. За ней, плача и робко причитая, идет старая кормилица.

Меланиппа

Я слышу дым жаровен... Это наш
Старинный дом... Или к жилью другому
Вы привели меня? Как затаились,
Однако, вы, о судьи... Иль со мной
Вас больше нет? А мой отец, тот муж,
Который так когда-то назывался?..
Иль голоса и царь уже не смеет
Возвысить около слепой, чтобы она
Проклятьями его не осыпала?

. . . .

О, если есть живые люди здесь,
Скажите мне, слыхали ль вы, чтоб ноги,
Иль руки у кого, когда отпилят
От тела их, болели? Отчего ж

Мои глаза так чешутся? Ведь их
Уж нет... Кровавый этот студень, верно,
Растоптан уж давно... Мои глаза...
О, солнце... О, цветы... О, сны... О, дети..

Корифей

Несчастная царевна... Голос мой
Ты, может быть, узнаешь... Я подруга,
Я сверстница твоя... О, горький вид!

Меланиппа

Я узнаю!.. Вас с Пелия послала
За мной сюда Хирона дочь... Ведь так?

Корифей

Страдания ей разум помутили.

Меланиппа

Я, кажется, напутала. Мои,
Действительно, ко тьме еще не могут
Привыкнуть ни шаги, ни мысли, девы...

Корифей

Я, может быть, могла бы чем-нибудь
Страдания смягчить твои, царевна...

Меланиппа

Смягчить мои страдания? Иль труп
Ты вылечить возьмешься? Или глаз
Ты лишнею владеешь парой, дева?
Могу я сесть, о судьи, или нет?..
Истома мне колени подломила.
Вы, может быть, ослабить этот узел
Позволите мне, судьи? О рабыни,
Эола розе тесно... Тесно розе...
О, мой отец заплатит вам. Жалеть
Он ничего своей не будет Арне
И тем, кто верно, девы, ей служил.

Эол

Освободить ее и пусть садится.

Меланиппу развязывают. Кормилица, плача, обнимает и поддерживает ее.

Меланиппа

Державный мой отец... Осмелюсь я...
«Ни слова, дочь моя, ни слова больше».
О, господи... А сыновья мои?..
Скажи, Эол... Куда ж ты дел малюток?
За этими несчастными глазами
О детях я забыла... Что за мать
Презренная!

Эол

О, боги!.. Точно разум
Ее померк, как свет ее очей...
Скажите ей, что Геллен умер, девы!

Меланиппа

Как? Умер мой отец? Но он сейчас
Со мною здесь беседовал... Иль демон
То был, завистник славы эолидов?
А тот старик, который всё грозил
И жечь детей хотел, он тоже умер?

Корифей

Царевна Меланиппа, твой отец
Не умирал... На славу нам живет он,
А это дед твой, Геллен, старец белый,
В блаженное жилище перешел.
Пред смертию его уста шептали
«Прости ее» царю... Но суд тебя
Приговорил уж раньше и глаза
Кровавою тебе прижег печатью...

Меланиппа

Печатью, да... О, боги... Как мне больно...
Два глаза у меня, и было два
У Меланиппы сына... Где они?
Где? где они? О, сжальтесь... Принесите
Ко мне детей... В груди моей волною
Горячею теснится молоко...
Последняя волчица... крыса... в яме
Детенышей выводит, и кормить
Отцы и боги ей не запрещают...
Отдай детей, старик, мне... Иль скажи,

Что их убил... Да и меня прирезать
Вели зараз... чтоб не порочить род.

Эол

О, боги... Луч сознания верните
Ее душе... Мне кажется, что ум
И у меня мутиться начинает.

(Справившись с собой, с усиленной суровостью.)

О женщина... Я дочерью тебя
И девою назвать уже не смею...
Твоих детей не резали, не жгли,
А в стадо их на то же место судий
Решением вернули... Если их,
Как говоришь ты, бог родил, чего ж ты
Волнуешься?.. Он должен их спасти;
А смертному и рабскому, быть может,
Отродью нет спасенья, и не надо...
Осуждена в темницу ты, но здесь
Ты кончишь дни, не в узах, на свободе,
Благословлять ты Геллена должна.

Меланиппа

О царь, прости безумный ропот сердца;
Рассудок мой немного просветлел,
И если бы не эти боли... О!..
Как будто гвоздь тот раскаленный... мира
Последний луч для Арны... там в мозгу
Осколок свой оставил... Сжалься, вышний,
Ты разума мне мукой не гаси...
Державный царь, я лгала... Я не знаю,
То Посейдон ли был... Коль ты бесов
С детьми смешал, или возможно деве
Обманщика от бога отличить?
О, если б то был бог, ужели ж эти
Он выносить заставил бы меня,
Свою жену, не муки — поношенья...
Я покорюсь судьбе моей... Но тенью
Я Геллена, касаяся колен
Твоих, о царь, смиренно умоляю:
Вели своим ты пастырям, Эол,
Не отдавать детей моих зубастым

Зверям, отец... Ах, виновата, — царь...
И трупы их, когда умрут, позволь мне
Самой убрать, и вымыть, и одеть,
Холодные их лобызая лица.

ИСХОД

Близок закат солнца. Одно из розовых облаков спускается с неба. В нем на довольно далеком расстоянии от сцены вырисовывается в апофеосе закутанная в розовую дымку Гиппа (мать Меланиппы); на темных волосах у ней мерцает бледная золотая звезда.

Меланиппа

О, дивное благоуханье... Где?
Где я, отец? Со мною дети?.. Нет!
Иль я сама — дитя?.. О, что со мною?
Сирийских смол я слышу аромат:
Мать, это ты!.. Твоих волос, родная,
Я запах узнаю!.. Там солнце... горы...

Гиппа

О, дочь моя... О, Арна... Как обнять
Хотела бы тебя я...

Меланиппа

(протягивая руки по направлению голоса)

Обними же.
Дай голову прижать к твоей груди...
Дай выплакать измученное сердце...

Гиппа

Увы... Я тень... Я только тень и сон...
Но слушай: я к тебе от Посейдона.
То Посейдон был точно...

Эол

Умереть
О, умереть... Не надо продолженья...

Гиппа

Твоих детей прославлен будет жребий...
Их далеко везут теперь... У них
Кормилицы нарядные, игрушки,
И в роскоши малютки возрастут.
А имена наречены им будут
Эола и Бэота... И когда,
Прекрасные и мощные, они
Поднимутся, как тополи, за Понтом,
Они сюда придут... А Посейдон
Мне обещал вернуть тебе и зренье,
Чтоб дивными натешились глаза.
Ты, царь Эол...

Эол

Мне смерти, только смерти...

Гиппа

Неведеньем оправдан... Но ее
Ты береги теперь... За эти двери
Переступать не надо ей. Тебе ж,
Как Аполлон сказал, от внуков слава
Пойдет вовек. О, сколько городов
И островов, героев и поэтов
Под сению Эола процветет...
Простите мне, отец и дочь, ее
Ты обними Эол.

Эол

(Меланиппе)

Прости... прости...

Меланиппа

(в экстазе)

Как сладко мне... О, мне не надо солнца...
Меня прости, отец... Перед разлукой,
В дверях тюрьмы. Я как на брачный пир
Туда войду... для славы эолидов...
О, как тебя люблю я, Посейдон...

Гиппа

(Эолу)

В Феспрот иди, Эол, для очищенья...
Там плоть постом прилежно изнуряй,
Грядущее тебе оракул скажет...

Закат.

Но на поля Магнесии... уж сумрак
Вечерний набегает... О, прости,
Мое дитя несчастное... Мне нужно
По голубым темнеющим ступеням
В эфир подняться... Там мой факел робко
Затеплится, чтобы светить под утро
Идущему на ниву фессалийцу,
Рабыне, что кувшин несет, и всем,
Кому печаль или недуг на ложе
Покоя не дает... Прости, дитя...
И ты прости, Эол... Вы, девы, тоже...

Корифей

И нас прости... о, дивная звезда!..

Свет и видение исчезает. Луна прячется в тучах. Поднимается ветерок. Роса. Свежеет. Меланиппа точно просыпается ото сна.

Эол

Я Геллену усопшему в чертоге
Пойду сказать последнее прости.
Рабыни, вы слепую берегите.

Уходит со свитой в дом. Фессалийцы расходятся.

Меланиппа

Замолкли вы, сирены? Кто со мною?

(Нащупывает руку кормилицы.)

Тюремную я не сыщу одна,
Пожалуй, дверь... О нет, не надо больше
Мучительных и невозможных снов.
Несчастием и слепотою точно
Унижена царевна. Но свечи
Она своей еще не потушила,
И, чтобы жить, обманов и надежд
Не надо ей... О бог, о чистый разум!

Пусть кровь глаза мои запечатлела,
Пусть язвы сердце мне терзают... Ты
Не угасай во мне, эфир, и жребий
Свой не сменю на счастье темных душ.
Вы ж, дети, если живы, мать простите...

(Вместе с рабыней медленно уходит в дверь налево.)

Хор

(покидает орхестру под пение следующих стихов, которые замирают вдали)

О, печальная, тихая ночь,
О, гнездо разоренной семьи!
Не на радость тебя на земле
Свил когда-то небесный орел.
Над тобой, о безумная дочь,
Плачут нежные очи мои,
И жалею в полуночной мгле
Я тебя, одинокий Эол...
О, гнездо разоренной семьи,
О, печальная, тихая ночь...

. . . .

Март 1901
Царское Село

ЦАРЬ ИКСИОН

Трагедия в пяти действиях
с музыкальными антрактами

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

«Сын Флегии Иксион (царь Гиртона, в Фессалии), женившись на дочери (царя) Деионея Дие, обещал, что отдаст за нее (отцу) богатые дары; но когда Деионей прибыл к нему за этими дарами, то Иксион приказал сделать яму и, затаив там огонь, заложил ее тонкими досками и пеплом. Деионей упал в яму и погиб, а на Иксиона в наказание напала Лисса (богиня безумия), и никто не хотел очистить его ни из богов, ни из людей, потому что он первый убил человека своей филы. Иксиона пожалел Зевс и очистил его, но Иксион влюбился в Геру. Тогда Зевс сделал для ложа Иксиона облачное подобие Геры, а позже, устроив «колесо о четырех спицах», привязал к нему Иксиона, и тем покарал». Вот как рассказывается в одной из схолий к «Аргонавтам» Аполлония Родосского (+186 г. до Р. Х.) [1] миф об Иксионе, послуживший автору помещаемой ниже пьесы сюжетом для его «драматической сказки».

Миф об Иксионе, как рассказ, не восходит особенно далеко в древность: это был первоначально местный фессалийский миф, и он отлился в определенную форму позже Гомера и даже Гесиода. Сравнительно позднее происхождение мифа явствует хотя бы из того обстоятельства, что между вариантами его нет почти никаких противоречий. Для древнего мифа Иксион был одним из прототипов нечестия и вероломства, тем не менее, благодаря необычности и особой дерзости его преступлений, все три великих греческих трагика V века сделали его предметом своих трагедий, и Аристотель (Poet. c. 18) говорит о патетичности самого сюжета. Фантазия

[1] Arg. 3, 62, Schol. cf. W. H. Roscher. Ausf. Lexic. d. gr. u. röm. Mythol., s. v. Ixion. Расшифровку сокращенных условных обозначений (авторских) вместе с переводом цитат и необходимыми пояснениями к ним — см. в примечаниях.

древнего грека, помимо моральной стороны мифа, несомненно, поражалась и представлением о необычной пытке Иксиона. На одной Куманской расписной вазе, находящейся в Берлине (N 3023; cf. W. H. Roscher, Ausf. Lex. s. v. Ixion; Baumeister, Denkmäler d. kl. Alt. s. v.), распяленный Иксион привязан змеями к спицам огненного колеса, которое представлено колеблющимся в воздухе (это символизируется двумя крылатыми женскими фигурами, его поддерживающими). Около колеса изображен с одной стороны Гермес в островерхом шлеме, с другой — Гефест с клещами, а снизу Эринния с горящим факелом.

Материала для драматической сказки, которая печатается ниже, не могли дать скудные остатки античных трагедий на сюжет об Иксионе. От произведений Эсхила и Софокла не осталось ничего (может быть, одно слово от Софокла), а от драмы Еврипида $5\frac{5}{6}$—$9\frac{5}{6}$ строк. Я даю перевод этих остатков по тексту Наука (Trag. gr. fragm. Lipsiae, 1889[2], pp. 838, 490):

1. О сын Флегии, деспот Иксион —
2. Тот муж, что был рожден сограждан выше
(Неправеден и волей и умом),
Теперь друзьям и городу — чума.
3. Ты высшее, что смертные свершили,
Старайся превзойти, — ни власть царей,
Ни пышный дом без муки не даются.

1. Приобрети хвалу за справедливость
И делай всё, что прибыльно потом.
2. То враг, но чту я больше справедливость.

Об «Иксионе» Эсхила Диндорф предполагает, что в нем изображалась лишь первая вина Иксиона, т. е. вероломное убийство тестя, и трагедия заканчивалась тем, что Зевс очищал его (Dind. ad fragm. inc. 329), К. О. Мюллер предположил у Эсхила целую трилогию Иксиона (Götting. Anzeig., 1827, 670; Eumen. s. 138 cf. F. G. Welcker Die gr. Tr. 1839, I, 52).

Еврипидовский «Иксион» обрисовывался предположительно Велькером (a. a. o. 1839 1, 749 ff.) и Гартунгом (Eur. restit. 1843; II, 370 sqq.).

Согласно их догадкам, Еврипид выводил Иксиона дерзким софистом, который в корне оспаривал идеи долга и добродетели. Кроме того, Гартунг сделал попытку обрисовать и самый ход действия, потратив на это, без особых результатов, и в этом случае,

как во многих других, немало рвения, остроумия и любви к Еврипиду.

Были черты в мифе Иксиона или его античных обработках, которыми автор настоящей трагедии не воспользовался. Так, в одной из схолий к «Финикиянкам» (ad v. 1185) говорится, будто Зевс приказал бичевать Иксиона, привязанного к колесу, причем самому Иксиону было приказано повторять: «Надо почитать благодетелей». Кроме того, по одному из вариантов мифа, от облачного подобия Геры и Иксиона родились кентавры, «надменный род, чуждый харитам», и, вероятно, в прологе или исходе одной из античных трагедий об этом упоминалось.

Автору драматической сказки пришлось быть отчасти мифургом. Например, он ввел в действие лицо, которое едва ли являлось в античной трагедии, Апату, богиню обмана, дочь Ночи и сестру Лиссы. Что касается Лиссы, то она являлась и у Эсхила, и в «Геракле» Еврипида. Мимоходом автор внес еще вариант мифа об Оресте. Рафинирование пытки Иксиона сделано в этой драматической сказке во вкусе Сенеки (Apocol. p. 361) и Вергилия (Georg. 4, 484), а Эрот, как сын Ириды и Зефира, встречается у лириков (Alc. Bergk. fr. 1313. 4. Aufl.).

Автор старался как можно меньше подражать античной трагедии и потому старательно освобождал свою пьесу от мифологических прикрас в хорах. Он хотел как можно более слить хор с действием и антракты с актами, но все-таки ему пришлось коснуться двух мифов, не имеющих прямого отношения к легендам об Иксионе: во-первых, мифа о Тантале, сыне Зевса, который был наказан за то, что, допущенный к трапезе богов, не сдержал потом своего дерзкого языка (Cf. Eur. Or. 9 sq); во вторых, так называемого «священного брака»: так называется брак между Кронидом и Герой. Мы знаем из «Илиады» (XIV, 294—296, 346 sqq) об этом браке на Иде, где Гера, при помощи пояса Афродиты, возбудила в Зевсе горячие желания, причем на ложе богов выросли гиацинты, шафран и лотос, и золотистая туча покрыла Зевса и Геру во время брака. Но в «Илиаде» мы находим лишь сравнительно поздний отзвук древнего гимна, который воспевал первое объятие детей Кроноса на западных пределах мира, в саду гесперид.

Автор сказки о царе Иксионе уже изложил в предисловии к своей «Меланиппе» причины, которые заставили его воспользоваться античными схемами, несмотря на модернизацию в психологической разработке мифа. Ему остается указать здесь на единство действия, к соблюдению которого он всемерно стремился. Антракт не должен, по его мнению, нарушать впечатления от развиваю-

щейся перед зрителем драмы: не загромождая действия и отличаясь от него своим лиризмом, он всё же должен идти в тон с ямбической частью пьесы, с диалогом. С другой стороны, желая сохранить единство действия, как драматического сюжета, автор взял за начало своей пьесы заключение первого несчастья и первого дерзания Иксиона: таким образом драма избегла двоения и двух центров, что мы находим в некоторых из античных драм (например, «Орест»).

В заключение не лишним будет упомянуть, что миф об Иксионе, в отличие от мифа Ореста или Промефея, всецело принадлежал античному миру. По крайней мере, автору настоящей трагедии не удалось найти в новых литературах обработки мифа о «сверхчеловеке» эллинского мира.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
в порядке появления их на сцену

Лисса, богиня безумия, дочь Ночи.
Иксион, царь фессалийский.
Хор горных нимф, ореад.
Корифей, старшая из нимф.
Сон, сын Ночи.
Гермес, сын Майи, посланник богов.
Ирида, посланница богов, жена Зефира и мать Эрота.
Гера, жена и сестра Зевса.
Апата, богиня обмана, сестра Лиссы.
Гефест, божественный кузнец.
Свита Геры.

Действие происходит на склонах Олимпа.

Театр представляет дикую горную местность. Близок рассвет. На скалистой постели между старых елей спит Иксион. Он еще очень молод, но выглядит почти стариком, бледный, небритый, больной, оборванный. Сон его тревожен, со стонами, бредом. Около него и близ потухшего костра сидит Лисса; она — худощава, зеленоватое лицо ее некрасиво, а длинные черные жгуты волос напоминают змей, особенно при нервных и быстрых ее движениях. Она сидит близко к Иксиону, охватив руками колени. Из-под лилового пеплоса выставляются огромные, костлявые, но сильные ноги. Руки у нее белые, небольшие и цепкие, с длинными острыми ногтями и изумрудами в кольцах. Сквозь брезжущий рассвет вдали, еще гораздо выше, среди слабо розовеющих облаков, еле вырисовывается силуэт Зевсова дворца.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Лисса и спящий Иксион.

Лисса

(встает, но не сводит глаз с Иксиона)

Как нежная подруга до рассвета
Покинет ложе ласки, и волос
Душистые поднимет в узел волны,
И розы щек водою освежит,
А тихий сон еще покоит мужа,
Так спутника печального мне жаль
Тревожить сон безумный, хоть не ласки

Связали нас, а муки, и моих
Он жарких рук во сне искать не будет.

Богиня я, увы! бессмертных дочь,
Но я ни в ком желаний не будила;
Иную власть божественная Ночь,
Меня рождая в муках, мне судила.

Нет, никогда Эроту не зажечь
Безумнее страстей... Огню Киприды
Не извести, испепеляя, сердца
С такою адской силой, как моих
Зеленых глаз печальному огню
И уст моих холодному дыханью.
И никогда ни за одной женой,
Носи она хоть пояс Афродиты,
Ей отданный богами человек
С такой собачьей верностью не бегал.

(Опять садится около Иксиона.)

Сегодня год, как мой он... Но узнать
Кто мог бы Иксиона? Клочья пены
На бороде... На впалые виски
Уж серебро пробилось. Он в лохмотьях,
Он изможден... А год... ведь только год,
Как мы спознались... Помню, царь так молод,
Так дерзок был... Над сумрачным дворцом
Уж облако пожара розовело,
А за оградой уст у гордеца
Светилось столько жизни, столько счастья,
И золота на пурпуре плаща
Душистого горело.

Первые лучи солнца.

Иксион

(в бреду)

Гей... Лови их...
Пересчитай... они сгорят... сгорят...
Их было двадцать семь,
Их было двадцать семь,
Их было двадцать семь!

Лисса

Про кобылиц своих огнистокрылых
Забредил царь. Или сквозь тяжкий сон
Его златые солнца иглы колют?

(Набрасывает на Иксиона темный платок.)

Пусть ночь его покоит... Спи, дитя!

(Встает и делает несколько шагов по сцене, осматривая окрестности, которые значительно прояснились.)

Но где же мы? Безвестный и суровый
Утесами нас обступает край.
Проснулись и шумят по скалам ели...
Вот облако, уж розовое, дремлет
И улетать еще не хочет... Там
Дворец вдали на выси недоступной
Чернеет... Золотою нитью солнца
Обведены колонны...

Прислушивается, издали несутся мелодические звуки и свежие голоса.

Аромат
Послышался... Откуда он?.. Я луга
Не вижу здесь... Не лилии... Нежней...
Как сладкое дыхание, несется
Незримый хор. Богини... Это вы.
Таких цветов сады людей не знают,
Ни птицы так, ни девы не поют.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Снизу показываются ореады. Они в золотистых и белых туниках и розовых или оранжевых напусках, напоминая горы на восходе и на закате. У блондинок жемчужные гребни на косах, у брюнеток — золотые. У иных кувшины, заткнутые букетами. Цветы на поясах, цветы в виде ожерелий, цветы в руках и на волосах. У некоторых арфы.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ ХОРА

Хор

СТРОФА 1

Когда звезд огневые
Станут лики белее,
А лучи заревые
Всё алей и алее,

Еле-еле златимы,
Мы постели покинем.
И к озерам летим мы
Серебристым и синим.

АНТИСТРОФА 1

Там со смехом наяды
Нам наполнят кувшины,
И в цветах, ореады,
Мы летим на вершины,
Где в пурпуровом дыме
Пробуждаются ели
И совсем золотыми
Стали наши постели.

СТРОФА 2

Молоденькая нимфа

(в белом с оранжевым поясом)

Небо нежной пеленою
Уж синеть над нами стало,
Я не знаю, что со мною:
Я больна или устала.
Зной и холод спорят в теле,
Как тростинка, гнутся ноги,
И на сердце налетели
Непонятные тревоги.
Путь такой далекий, трудный,
Сил моих, боюсь, не станет. —
Зеленея, изумрудный
Мох меня на ложе манит.

АНТИСТРОФА 2

(в сопровождении мимической сцены)

Хор

Над твоим зеленым ложем
Белой сядем мы гурьбою
И цветы перед тобою
Мы гирляндами разложим,

Чтоб темней казались розы
От лилеи белоснежной
И теплей от туберозы
Аромат левкоя нежный.

Большая черноволосая нимфа

(с пунцовыми розами и золотым гребнем в волосах)

Скоро солнце разгорится,
Воздух полон томной лени...
Ляг, родная, ляг, сестрица,
Головой мне на колени.

Хор располагается неподалеку от группы странников, хотя еще не замечая ее. Белую нимфу окружают. Тихо воркуя, ореады принимаются разбирать цветы, плести венки, вязать снопы, убирать кувшины.

Корифей

(вставая)

Тише... о нимфы... о сестры,
Мы не одни здесь.
Там, меж деревьев мелькает
Пеплос лиловый... О, ужас...

Лисса выходит к нимфам.

Мертвая кожа... И змеи...
Черные змеи... не косы...
Кто ты? .. О, кто ты? .. Скажи нам.
Женщина ты или призрак,
Здесь на земле
Бледною ночью забытый?

Лисса

Я Ночью рождена... Ты угадала,
Красавица... Но я не призрак... Нет.
Не женщина я тоже, потому что
Амвросией меня поила мать...
Иль на своих вершинах золотых
О Лиссе вы, о нимфы, не слыхали?

Корифей

Не повторяй... Печален этот звук
И для ушей божественных ужасен.

Лисса

Ужасен он, конечно, но, увы!
Услуг моих уста такие просят,
Которым нет отказа. И тогда
Блаженным я сердцам мила бываю.
Я знаю, ты жалеешь раздавить
И червяка, красавица... Но если б
Избранник твой с улыбкой поглядел
На женщину, то ласковое слово
Для Лиссы бы ты, нежная, нашла.

Корифей

О будущем я не гадаю, дева.
Чар, может быть, нам хватит и своих.
Но расскажи мне, правда ли, что дивный
Кронида сын великого, герой,
Которому не страшен был и Тартар,
Твои оковы тяжкие носил? [1]

Лисса

Он танцевал под музыку мою,
И танца вам такого не увидеть.
Детей своих безумец погубил,
Мегарой мне пожертвовал, беснуясь.

(Усмехаясь.)

Сказать, что Лиссы не любил никто.

Корифей

Ты мучила Ореста?.. При дворе
Кронидовом мы слышали. И сердце
Горит узнать, то правда ли...

Лисса

Орест?
О, это был совсем еще ребенок.
Он нежен был, как ты, и, чтобы мать
Зарезать он решился, я кровавый
Три ночи над его держала ложем
Платок, — во сне убийца созревал.

---

[1] Геракл.

Мои потом его гоняли сестры
И о землю кидали, и от них,
Как раненый олень, бежал он долго...
Но у меня и здесь товарищ есть;
Я покажу его, пожалуй, нимфам.

(Подходит и становится над Иксионом.)

Царь Иксион под этой черной тканью;
Он был богат, и молод, и могуч.
Теперь — он мой, и в этом слове всё;
Любуйтесь на мою работу, детки.

(Сдергивает платок, в Иксиона ударяет солнечный луч.)

У нимф вырывается крик удивления, смешанного с ужасом. Иксион вздрагивает и открывает глаза. Потом привстает, садится. Волосы его полны игл и пыли, лицо исцарапано, ноги избиты. Лохмотья его и вся фигура кажутся еще ужаснее от соседства блистательных нимф и от яркого солнечного света. Глаза воспаленные, взгляд мутный, — у него вид пьяного.

Иксион

О, дайте пить... О, дайте пить... Горит
У Иксиона в сердце камень черный.

(Увидев кувшины и нимф.)

О светлые богини! Или девы...
Коль есть у вас отцы и братья, мне
Вы ради них уста водой смочите...

Одна из нимф робко подходит к Иксиону и дает ему напиться.

Иксион

(напившись)

Будь счастлива, дитя... Богов, увы!
На светлое чело твое не смею
Я призывать, малютка, — я нечист.

Корифей

Ты призывать богов не смеешь, странник?
Что ж сделал ты? Не бойся ореад.

Иксион

(увидев Лиссу, которая делает пассы)

О, подожди мучительным круженьем
Сводить меня и, как на колесе,

Вытягивать и бить о землю, пеной
Кровавою уста мне наполняя...
Помедли... Нет? Не хочешь? Может быть,
Не можешь ты? Проклятие! О, сжальтесь!
Молитесь вы, о нимфы, за меня,
Назвать его не смею... там... в эфире...
Пусть усыпит ее... Пусть усыпит...

Хор делится между тремя группами.

А

Мой моляще-призывный
Голос нежно тебе поет:
О крылатый! О дивный!
Тихо с синих спустись высот.

Б

Алым маком венчанный
Из лазурных кошниц,
Ночи сыч богоданный,
Ты, как мать, бледнолиц,
Бог, отрадно-обманный.

В

Ты безумной рабыне цариц,
Бог отрадно-обманный,
На чернеющий завес ресниц
Опусти золотые туманы.

Общий хор

(в сопровождении хороводного танца и мимики)

Если ж, солнцем опьяненный,
Ты мольбам моим не внемлешь
И, на облако склоненный
Сам на розовое, дремлешь,
Вкруг безумной, сестры, сами,
Как зарницы, замелькаем,
Всю душистыми цветами
Мы завеем, закидаем.
Кто косою золотою
Чуть заденет деву Ночи,

Кто кисейною фатою
Залепит безумной очи.
Чтоб застыли в косах змеи,
Чтоб смежились веки Лиссы,
Станут снегом ипомеи,
Вихрем белые нарциссы...
Ты же, если жарким часом
На мольбы покинешь ложе,
Приходи на помощь, боже,
Нашим танцам, нашим пассам...
То кругами, то рядами
Мы взовьемся, замелькаем,
Всю душистыми цветами,
Всю цветами закидаем.

Мимическая сцена и танец хоровода нимф с цветами и вуалями вкруг Лиссы продолжается. Обессиленная и улыбающаяся, Лисса склоняется на землю. В это время легкими скользящими шагами в хоровод, разнимая его, входит Сон. На нем белый хитон и короткая дымчатая перекидка. За плечами большие крылья — одно белое, другое черное; на легком серебряном шлеме, который надвинут на лоб, такие же крылья, только маленькие и в обратном порядке. У бога бледное овально-матовое лицо и опущенные глаза с длинными и темными стрельчатыми ресницами. Он совсем еще молодой, безбородый. В правой руке у него рог с маковыми зернами. Войдя в толпу без торопливости, он кропит Лиссу зернами; некоторые из них попадают в одну из нимф, и она в дремоте склоняется на плечо к подруге. Другие нимфы тихо берут ее и укладывают на землю, устраивая ей ложе из цветов и моха. Лисса, сидя, качается, но еще борется со сном. Тогда Сон со словами: «Здравствуй, сестра!» подходит к Лиссе и целует ее в щеку. Лисса падает как подкошенная и тотчас засыпает. Нимфы расходятся розовые, возбужденные танцем. Одни пьют, припав к кувшинам или поднимая их, другие, закидывая белые руки за голову; третьи обмахиваются кисеей или большими листьями папоротника. Некоторые поправляют волосы. Сон, ни на кого не глядя и даже не поднимая головы, легкими, как бы рассеянными шагами покидает сцену, проходя через нее.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Корифей, Иксион и спящая Лисса.

Корифей

Свободен ты, и если бы укрыться
Хотел ты, гость... вот лес... иди туда...
Несчастие твое мои сковало

Уста и ум пытливый, Иксион.
Беги, пока не пробудилась Лисса.

Иксион

Бежать? О нет... богини... На земле
Приюта царь без царства не имеет.

Корифей

А где же был, скиталец, ты царем?

Иксион

В Фессалии отважные лапиты
Мне чистили крылатых кобылиц...
Их двадцать семь взрастил я золотистых,
Мой город был прославленный Гиртон.

Корифей

А где ж твоя дружина?.. Или Лиссы
И латники и конные бегут?

Иксион

Они бегут несчастных, ореада...

Корифей

(после раздумья)

Ты говоришь: несчастных, и боюсь
Недужное я растревожить сердце.
На золотых вершинах алтарей
Не ставят нам... И помощи не молят
У слабых нимф... Но муки состраданье
Живое, царь, встречают и у нас.
И нет для сердца нимфы виноватых.

Иксион

Я не таю несчастий... И терять
Мне нечего под солнцем, ореада.
Иль думаешь — с мольбою в первый раз
Издалека к душистым розам, дева,
Я, припадая, плачу? Сколько их,
И нежных губ, и гордых, для отказа
Я разжимал мольбами.
                                        И цари,
И женщины, и дети, и герои,

Вчерашние рабы и боги мне...
Кто не сказал еще... «Оставь нас, грешник!»
И, от стыда поднять не смея глаз,
Я к Лиссе шел печальный, только Лисса,
Как черная могила, никого
От очага холодного не гонит.
И дальше шли мы с ней из дома в дом,
А по пятам за нами голод бледный,
Как брошенный ребенок, шел и плакал.
О, сколько мы безрадостных ночей
Под ливнями холодными не спали!
Впадала всё ж и Лисса в забытье
Тяжелое... его ты видишь, нимфа, —
Но сладкий сон меня не обнимал
До утренней зари... И мрак печальных
Мне высылал детей... тогда... Они
У моего садились изголовья
Безмолвные... иль, руки над кострами
Озябшие согревши, исчезали.
И я двоих запомнил и потом
Их узнавал. В серебряных сединах
Я старика запомнил: телом был
Как уголь он. Но с ним являлась дева
Белее вас, о нимфы, с золотой
Тяжелою волнистою косой...

Нимфа

(которая слушала молча и, лежа на груди, опираясь на локти, не сводила глаз с рассказчика)

С волнистою и золотой, как я...

Другие нимфы

Тс... с...

Иксион

И иногда часами у костра,
Беззвучною обмениваясь речью,
Те призраки играли в кости — страх
Охватывал мне сердце — то не кости,
То уголья горячие в их пальцах
Краснели и дымились... и старик
Дрожащей их хватал рукой, а дева

Мне, плача, простирала руки... Верно,
Обманывал ее старик, и видел
На пальцах я у ней ожогов след,
И ей хотел помочь я... И метался.
Она ж, ломая руки, исчезала.

Корифей

Безумный сон больного, страшный сон!

Иксион

(после паузы)

О, если бы всё это только сном,
Одним обманом было, ореада...

(Проводит рукой по лицу.)

Но слушай... Я женат был... день один
Я был женат на златокосой Диве.
Без выкупа мне царь Деионей
Поверил дочь.
Он только двадцать семь
Моих кобыл в залог огнистокрылых...
Оставил у себя... Царь алчен был,
И глух, и стар. На золото одно
Потухшие зеницы разгорались.
Дрожавшая, не рукоять меча
Рука сжимать любила, только деньги.
Двух раз зайти над Дивою моей
В Гиртоне не успело солнце, видим —
Со свитой тесть явился. В сединáх
Душистых и одеждою пурпурной
Согбенные покрывший рамена.
О, он не дочь горел тогда увидеть,
А сундуки гиртонские открыть
И выкуп взять бессчетный.

(Помолчав.)

Выкуп точно
Он получил, и с ли́хвою...

(Ниже тоном.)

Царю
Велел я яму вырыть за порогом
Глубокую, и тлеющих углей

Туда рабы костер ввалили целый,
Золою их засыпав и ковром
Душистым их застлав из веток ели.
Почету рад, на ветви царь вступил,
Но, пламенем охваченный и дымом,
Он вмиг исчез.
Так исчезает волк,
Что овцами полакомиться думал
И в западню попал.

Хор

О, ужас! ужас!

Иксион

Гиртонского с тех пор чертога я
Уж не видал. Какой-то силой дивной
Меня метнуло прочь. Пожарный вой
Да крики я одни вдогонку слышал...
Вот с этих пор за Лиссой и хожу,
Как мальчик безоружный... Страшно ярок
Был бред ночей, но дни мои туманны,
И, как во сне, я кланялся и плакал.
Где ж царство? Где жена? Кто кобылиц
Мне возвратит моих огнистокрылых?
Кто путь домой укажет? .. И искать
Где буду дом... отверженный богами?

Пауза.

Есть, говорят, у Лиссы под землей
Имения и храмы. Иксиону ж,
Должно быть, нет угла и там.

(К нимфам.)

У вас
Я вижу, ореады, ужас в ваших
Расширенных зрачках... Не знаю только,
Мои ль то от недуга веки влажны,
Или слеза и из небесных глаз
Хотя одна над мукой Иксиона
Должна упасть. Мне более сказать
Вам нечего, о дивные... Простите...

(Хочет уходить.)

Корифей

(жестом останавливая его)

Не мне судить тебя, печальный гость.
Ты сердце мне наполнил странным чувством,
Но ужаса там меньше, чем любви
И жалости. И о тебе Кронида
Хотела бы молить я.

(Указывая на облачный чертог Зевса.)

Видишь там
Дворец его... Иди к отцу бессмертных
И смертных, царь... Нет зависти в душе
Великой и прекрасной. И боязни
Перед судом детей не знает Зевс.

Иксион

Нет, нимфа, нет! Моленья бесполезны.
Тумана нет на сердце, — и в глазах
Уж не родятся слезы... Я ребенком
Заснул... Гляди — старик перед тобой.
Да и о чем молиться? Разве дома
Сокровища сгоревшие, иль имя,
Покрытое позором, может Зевс
В их красоте загубленной восставить?
Из пламени жену вернуть, иль мне
Другое сердце дать? ..
Мне выход нужен,
Но чтобы он достоин мужа был
И эллина. Повеситься на ели,
Или жгутом перетянуть себе
Из этой рвани горло мог бы варвар:
Мне нужен меч, о дева, царский меч...

Корифей

Ты не найдешь меча здесь, фессалиец,
Пред нимфами мечи из ваших рук,
Истомою объятых, выпадают,

(Указывая на Лиссу.)

И Лисса спит в цветах у ореад.
Но погоди. Мне кажется, что вижу
Я вестника крылатого богов.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

С вершины быстро спускается Гермес. Он в характерном фетровом шлеме, из-под которого выбиваются волнистые волосы. На сандалиях, как шпоры, поблескивают крылышки. В руках у него стик с головой змеи. В лице, несколько утомленном, характерны профиль и складка губ, обличающая скептика.

Хор, Гермес, Иксион и спящая Лисса.

Корифей

Будь счастлив, бог, сын Майи легкокрылой.

Гермес

Вы радуйтесь, богини, легче птиц,
Как облака, вы нимфы. Если девой
И нежною, и томной кто из вас

(Смотрит на уснувшую нимфу.)

Не вздумает, играя, притвориться.
Но в этот край, холодный, грустный край
Что ж привело моих сестер воздушных?

Первая нимфа

Что привело? Желание с тобой
Увидеться, конечно.

Вторая нимфа

К солнцу ближе,
Где ж и искать посла богов, Гермес?

В это время Лисса привстала и прислушивается, но Гермес делает вид, что не замечает ни ее, ни Иксиона.

Гермес

Бьюсь об заклад, что вы кого-нибудь
Спасали здесь. Нет тучки в небесах
Такой воздушно-розовой, чтоб дождик
Не мог пойти из ней, и нимфы нет,
Чтоб каждый день немножко не всплакнула.
Но не хочу сердить вас, девы, нет!
И перед вами сцены удивленья
Разыгрывать не буду. Я не сам
Сюда спешил, конечно. Я от Зевса.

(Быстро оборачивается.)

Смелее, царь без царства, Иксион,

Ты ж, Лисса, дочь божественная Ночи,
Нам не нужна пока. Вернись домой.

Знаки радостного удивления в хоре.

Лисса

(вставая и сдержанно, хотя и не без иронии, обращаясь к Гермесу)

Сын Майи речь со мною начинает
С прощального приветствия. Иль там

(Указывает наверх.)

Всё наверху так мирно? Или жертва
Готовится мне новая?
Открой,
Крылатый бог...
И жребий Иксиона
Хотела бы узнать я. Целый год
Мы прожили, и мой туман тяжелый
Был сладостней измученной душе,
Чем яркие лучи сознанья будут.
Что станет с ним, Гермес? И где приют,
Где силы он найдет для жизни новой?
Я думала отдать его другим
Богам, надежней вас, небесных, Гермий.

Гермес указывает на дворец Зевса. Пауза.

Молчишь ты, бог, рукою в облаках
Кронидов дом указывая Лиссе?
О, слов не надо ей, тебя поймет
Она и так.

(К хору.)

Простите, нимфы, — ваши
Я унесу цветы в мой тихий дом.
У очага холодного напомнят
Они мне нашу встречу, ваши хоры,
Напомнят и того, кому «прости»
Сказать теперь должна я.

(К Иксиону.)

Ты ж, тоскуя,
Меня не раз помянешь, Иксион.

(Уходит, унося с собой несколько цветков, которые она прикладывает к лицу.)

Несколько мгновений длится общее смущенное молчание.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же без Лиссы.

Гермес

(провожая Лиссу глазами, к Иксиону)

Печальную ты проводил подругу,
Царь Иксион, бессмертные тебе
Готовили иное ложе, впрочем.
Но ободрись. Верховный бог небес,
Отец людей, мой светлый повелитель
Тебя спасти решил, и мы сейчас
К нему идем.

Хор

Победа! Радость! Радость!

Иксион

(начинает тихо)

К безумию и слабости зачем
Меня зовешь, крылатый?
Иль, как Лисса,
Из дома в дом меня ты поведешь?
Иль, может быть, ошибка тут? Иль сердце
Ты среди нимф над нищим тешишь, Гермий?
Мне нужен меч, мне нужен только меч...

Гермес

Один ли меч? Рассудок Иксиону
Не помешал бы также... Но Кронид
На этот счет мне не дал указаний...
Ты рассмешил меня. Я не сержусь.

Иксион

О Майи сын! С тобою острой речью
Бороться мне невмочь. Но ум мой цел.
Ты выслушай меня, посланник Зевса.
Немало благ мне жребий даровал,
Но ты ведь знаешь всё, мне ж память, Гермий,
И так тяжка.
Я дерзко погубил
Всё, что вы мне, небесные, вручили,

Сам погубил. Ты слышишь? Ни при чем
Ни фурии, ни Лисса в этом страшном
Деянии. Вы, боги, как один,
Передо мной захлопывали двери,
Когда меня, как слабое дитя,
К вам Лисса приводила, и молил,
И плакал я у алтарей душистых.
Год... целый год мой длился сон. Но вот
Безволья цепь порвалась. Я хочу
Себя убить. Ужель своею жизнью,
Остатком этим жалким от игрушек
Ребяческих, которыми Кронид
Мне колыбель наполнил, я не смею
Располагать? Но для чего ж тогда
Вы волю в грудь мою вложили, боги?
Иль ветру я, или волне морской
Завидовать, избранник неба, должен?

Гермес

(помолчав)

Нет, Иксион, ни ветру, ни волнам
Завидовать не должен ты. Я знаю:
Ты завистью иной томишься, царь,
И уж давно. Но что же делать? Богом
Не быть царю Фессалии, избей
Хоть всю родню коварством он. Он будет
Преступником, и только. Есть одна,
Царь Иксион, свобода... Там, в эфире,
На небесах она, и ею нас
Из золотых богиня поит кубков.

Иксион

Увы, Гермес! Зачем же к очагу
Меня ведешь ты Зевсову, коль богом
Не стану я среди его гостей?
Дай умереть... дерзанием насытив
Тень божества в груди моей. Равны
Все гости там, в туманном царстве мертвых.

Гермес

Я не могу сказать тебе, зачем
Тебя веду к Крониду, фессалиец.

Но гордеца такого и дракон
Не зародит, насытив землю ядом,
Чтоб от порога Зевсова бежал.
Одумайся, лапит, и повинуйся.

Корифей

Он исцелит тоску твою, герой:
Он, может быть, вернет тебе и Диву —
Никто еще божественных путей
Кронидовых не мог постичь гаданьем.

Гермес

Да, наконец, при Зевсовом дворе,
Там в глубине чертога ты найдешь
И демона[1] того в одеждах черных,
Которому ты столько гордых слов
И мыслей, царь, здесь посвятил сегодня.
Силач, с его таинственным мечом
Средь Зевсова чертога, безопасен,
Усерден он, и, черный сдев доспех,
Нередко он гостям готовит ванны.
Идешь ли ты, однако, иль вернусь
Один, а ты здесь подождешь перуна?

Иксион

Иду, Гермес. Но только не с мольбой
К отцу богов и без надежды тайной
Понравиться державному, чтоб лесть
Ему продать дороже.
С богом черным
Охотней бы сошелся я в лесу,
Где б говорить могли мы, алых уст
И жемчуга зубов твоих не видя...
Не Лисса ты и не безумец я,
Недугом обезволенный. И Зевсу
Понравлюсь ли, не знаю. Да и сам
Хорошее ль, слуга, ты дело сладил
Для строгого хозяина, смотри.

---

[1] Θάνατος — демон смерти.

Гермес

Идем, идем. Да, вижу: не безумец,
Ты хуже, чем безумец, Иксион.
Ты с божества, но неудачный слепок.
Я не смеюсь... Ты для меня больной.

Уходят.

ПЕРВЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНТРАКТ

Хор

СТРОФА 1

Где сиянием Феба
Без огня налиты,
Голубее, чем небо,
Зацветают цветы,

Где меж листьев пушистых,
В свежей гуще садов,
Много зреет душистых,
Небывалых плодов, —

АНТИСТРОФА 1

Там, гурьбою веселой
Облетая сады,
Золотистые пчелы
Собирают меды,

Чище раннего неба
И заката желтей, —
И Кронидовых Геба
Ими поит гостей.

СТРОФА 2

Если краев золотых
Бога уста коснутся —
В сердце мечты проснутся,
Полны огней святых.

Мощная сила дланей
В этой влаге златой,
Жар высоких желаний,
Сердца гордый покой.

АНТИСТРОФА 2

Если к чаше прильнут
Губы рожденных в прахе,
Муки, сомненья, страхи
В сердце людском уснут...

Сын Кронида блаженный,
Та́нтал ту чашу пил,
Тяжко потом надменный
Сладость ее искупил.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

С гор в виде клубящегося облака спускается Ирида. Она нежная и тонкая блондинка, вся в пышных волнах шелковистой ткани, которая переливается цветами радуги; в руках у нее в виде жезла золотой лотос. На голове белые лилии. Из-под длинной одежды видны золотые туфельки с крылышками.

Хор и Ирида.

Лирическая сцена

1

Хор

Сквозь туман, как видение сна,
Отливая живыми цветами,
Будто радуга, сестры, над нами.

Корифей

Здравствуй, Ирис, Зефира жена!
Но богиня сегодня бледна,
Яркой ризы увита клубами.

Ирида

Ваши ландыша щеки свежей,
Безмятежны девичьи отрады:
Рады стрелам вы жарких лучей,
Рады волнам вечерней прохлады,

Одного у отца, ореады,
Не просите — красавцев мужей.

(Тише.)

Когда тени сгустятся черней,
А луна не осветит эфира,
Подарите улыбкой сатира, —
Но не надо венчальных огней.

Корифей

Разве ты уж не любишь Зефира?

Ирида

Всё сильнее, увы! и сильней
Я люблю дуновенье лиле́й
И венчанного ими кумира,
Но красавец от вечного пира
Средь златых сицилийских полей
Стал Борея со мной холодней,
И на ложе не знаю я мира.
Стали ночи черней и длинней,
Стало в радуге меньше огней
С той поры, как люблю я Зефира.

2

Хор

Ты не найдешь Зефира между нами,
Спроси о нем вечернюю звезду.
Мы не его увенчаны цветами
И не в твоем срывали их саду.

Ирида

Я не за ним, за Герой я иду, —
Она гостит в своем Самосском храме.

Корифей

О, как тяжел, богиня, твой удел,
Как вечная томительна забота...

Ирида

Когда своих нам не уладить дел,
Чужие нам улаживать охота...

Кронид слегка задет стрелой Эрота,
И сцен бы он семейных не хотел.

Корифей

Царица чар! Тебе дивиться надо:
Иль негой слов, или обманом сна
Богов мирить умеешь ты одна...
Но кто ж очей Кронидовых услада?

Ирида

Вы чарам нимф дивиться бы должны,
А не моим... Узнать была я рада,
Что во дворце, украдкой от жены,
Одна из вас... Дориппа-ореада.

Смех.

Корифей

Мы польщены, мы очень польщены.

Ирида

Но удалить Дориппу всё же надо...

Корифей

Постой, жена Зефира! при дворе
Верховного ты видела, конечно,
Сегодня Иксиона... К очагу
Кронидову он вестником крылатым
Был отведен. Душа узнать горит,
Что сталось с ним... Он сердце мне растрогал.

Ирида

Про гордого царя ты говоришь,
Что кровью был покрыт и всеми проклят?
Надменного узнала я, когда
Переступал порог он... Все невольно
На темное пятно мы обернулись.
Державный царь, и тот со ступене́й
Своих спустился, чтобы видеть гостя.
Но гордо шел оборванный лапит.
Чела он не склонил, и даже ветви
Он не держал молящих.
К очагу
Кронидову пошел он за Гермесом,

Не кланяясь и не разжавши губ.
Молчание сковало нас, — мы ждали,
Что станет он молить и плакать, нем
И прям стоял пред ними олимпиец.
Так несколько мгновений пронеслось,
И на чело Кронида будто тучка,
Мы видим, набежала, но грозы
В ней не было; державный улыбнулся...
Как из-за тучи солнце иногда
Проглянет и нахмуренные сосны
И гордые осыпаны, глядишь,
Златистыми лучами скалы, — лица
Улыбкою и наши засветились
Кронидовой.
И так сказал отец
Бессмертных и людей:
«Дитя, тебя я
Призвал сюда, чтобы простить», — и губ
Тут дрогнула у Иксиона складка.
«Я не хочу, — так продолжал Кронид, —
Признаний и молений — за порогом
Пускай злодей и грешник остается,
Отверженный богами и людьми,
Живи у нас моим веселым гостем».
И шум слова его венчал, но был
То светлый шум. Кронид на трон высокий
Вернулся свой, — у царских ног его
С златой косой и белыми плечами,
Сверкавшими из-под небриды, нимфа
Влюбленная уселась, и играть
Ее косой рука Кронида стала.
А Иксион из нежных рук харит,
Как из руки художника картина,
Пленяя глаз, выходит, обновлен,
И свеж меж нас явился, и прекрасен.
С его ланит недуга и страстей
Тяжелое упало иго. Пурпур
Сияющий плечо ему покрыл,
Заколотый аграфом многоценным,
И волосы на голове царя
Как завитки клубились гиацинта.
Тут с чашами, как повелел Кронид,

Из тени две богини вышли. Геба
Была в тунике розовой, как утро,
И с золотою чашей. А за ней
Печальная и в пепельных одеждах,
Потупившись, стояла муза Лета,
И кубок был серебряный в руках
Обвит змеей у девы среброглавой.
От дочери Эриды мы гурьбой
Отхлынули пугливо: вид ее
Хранил глубин подземных отраженье.
И Зевс сказал лапиту:
«Сам решай,
Которую ты чашу выпьешь. Геба
Амвросией язык твой усладит,
И смерти не познаешь, а у девы,
Которая печально вежды клонит,
Забвения холодную струю
Ты обретешь в ее нездешнем кубке».
И первою неслышно, точно тень
Ступая, дочь Эриды к Иксиону
Приблизилась и стала, и в царя
Она, подъяв ресницы, взор глубокий
И черный, как земля, вперяет молча.
И без улыбки к розовым губам
Ему печальный кубок придвигает.
Минутное сомненье по лицу
Его скользнуло, вижу, но рукой
Решительной он отклоняет чашу...
И тихий стон послышался... Эфир
Объемлет дочь Аида... Ризы серой
Расходится унылое пятно,
И кубок, и змея, и всё исчезло.
Тут весело воскликнули кругом
И боги и богини. И неспешно,
Победою заранее гордясь,
Свой подает красавцу кубок Геба...
И светлый хор младых твоих подруг
Блаженное воспел рожденье бога.
Не видела я пира, и тебе
Я не могу сказать, что дальше было,
Но думаю, что розовый венок
Возлегшему с богами Иксиону

Надел Эрот... Тот маленький... его
Ты видела и крошкой любовалась...
С утра ко мне сегодня он пристал,
Чтобы ему свила из роз пурпурных
Пышнее я венок. Я нарвала
У Геры роз, в саду ее — душистей
Не знаю я и ярче, — и Эрот
В восторге был, конечно... Любят дети
И у богов за трапезой бокал
Допить порой тайком от няни, нимфа,
Но не таков мой маленький Эрот:
Он, как орленок, когти потихоньку
И крылышки попробовать не прочь,
А иногда и укусить, целуя...
Но солнце уж клониться начинает,
И мне пора... На перепутьи ваш
Мы навестим веселый табор с Герой.

Корифей

Не забывай, Ирида, ореад.

Ирида уходит.

Корифей

Сюда идет блаженный фессалиец...
Что будет здесь он делать? Поскорей...
Мы спрячемся... Хотите, ореады?

Наскоро поднимают уснувших и легко взбираются на заросшую лесом скалу, так что Иксион их не видит, но они его видят и слышат. Входит Иксион, молодой, нарядный, свежий, в розовом венке.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Иксион один, Хор, притаившись.

Иксион

И шум, и блеск чертога точно сон
Горячечный мне утомили сердце...
Так вот он, тот Олимп, который наш
Ласкал одним названьем в старых сказках
Ребячий слух. «Там с белою волной
Лазурная в эфире не сольется», —

Мне няня говорила... Но волны
Я не искал лазурной над собою...
И в золотых и в темно-синих там
Глазах огни я видел, и желанья
В них зажигал я даже, может быть...
Но мало ль и у нас фригийских пленниц
Кокетливых, душистых, молодых?..
Как дышится легко здесь... И прохладой
Какой ущелье веет... До зари
Останусь здесь, средь этих темных елей,
Один... совсем один... Мы с Лиссой тут,
Я помню, ночевали. Пусть же богу
Они шумят теперь...
Иль точно бог,
Амбросии вкусивший, я? Но где ж
Дерзание? Где знойный жар желаний?..
Где сил покой божественный?.. Клеймо
На мне горит убийцы, и Крониду
Его с души измученной не смыть
Елеем уст его осеребренных.

Корифей

О, грешные, о, страшные слова!

Иксион

Как чувствуешь себя ты, Иксион,
Скажи, в твоих нетленных ризах? Юность
С тобой опять. Ты можешь с алых губ
Душистые срывать лобзанья... Впрочем,
Коль угодить сумеешь господам,
Ты прихотью Державного себе
Добудешь вновь, пожалуй, царство...
Нищим
Там видели рабы тебя... Иди ж
Фессалии показывать свой пурпур,
Как паразит счастливый.

Пауза.

Сколько раз
Я тосковал еще ребенком — путы
Сорвать мое горело сердце... Вот
Разорваны лежат они... И что же?

Решусь ли я душистое кольцо
Богов порвать? Иль в сонме их навек
Игрушечным божком останусь мирно?
Когда мне кубок свой там, во дворце,
Печальная протягивала дева,
Я оттолкнул ее. Я не хотел
Забвенья их, души их белой... сердцу
Чего-то жалко стало... А чего?
Безумия? Позора? Мук голодных?
Нет, я жалел мечты, я аромат
В тот миг вдыхал дерзаний безнадежных.

Корифей

Он болен?.. Счастьем он, быть может, опьянен?

Иксион

Уж не царька ничтожного в мечтах
Толкал в огонь я, не закон, богами
Придуманный, чтоб человек дрожал
Пред волей их, — я рушил дерзновенно...
Нет, сон души... был ярче: гневно брови
Косматые под царственным челом
Задвигались у бога... перед дерзким...
Мечты... мечты!.. Да есть ли паразит,
Чтоб не мечтал с надрывом сладострастным
Хозяину за ласки заплатить,
Седых кудрей его терзая пряди
Иль на его покорную страстям
И нежную подругу зарясь жадно,

. . . .

Или тот бог крылатый угадал,
И с божества я точно слепок бледный?

. . . .

Но что со мной? Как будто кто из рук
Мне вынул меч и дал держать ребенка...
И негою, и трепетом мечта
Объята Иксиона... Воля гаснет...

(Вынимает из венка розу и подносит ее к лицу.)

Как эти розы сильно пахнут... Мне
Они щекочут шею. Точно шепчут

Их лепестки невнятные слова
Мне на ухо. Ваш розовый язык,
Цветы, мне непонятен. Я не богом
На свет рожден...

(Снимает венок.)

Тот мальчик, что венчал
Меня, заколдовал вас, верно, розы.

. . . .

И грезятся мне черные, как ночь,
Две душные волны, как будто запах
Божественных волос и силуэт
Прически вы запечатлели, розы.
На белое чело они упали
Так тяжело, те волны, но чела
Над синими и влажными глазами
Коснуться не посмели... и легли
На две других прозрачно-нежных розы...

. . . .

Не надо... Нет... не надо. Я цепей
Носил уже довольно... Этой страсти
Я не хочу, Эрот.

Рисуешь ты
Мне всю ее... Под солнцем величавей,
Под солнцем нет прекрасней, и луна
Такой косы еще не целовала.

Во время последней части монолога нимфы одна за другой собираются вокруг Иксиона.

Нимфа

Но Дива с золотой была косой?

Иксион

(увидев нимф)

О нежные богини! Исцелите
Мне сердце... Вам Эрот не надевал
Еще венков на пире... Кто же скован
С моей душой, скажите...

Я ее
Как будто вижу, нимфы... Влажно-синий
Мерцает взор сквозь завесы ресниц,

Уста ее так алы и так го́рды,
А мрамор шеи так и тепл, и бел,
И грудь ее высокая не страсти
Таит, а то, что выше всех страстей, —
Спокойное сознанье сил... Пред дивной
Я не могу дерзать... но не молить
Я тоже не могу, младые нимфы.

Корифей

Тебе назвать ее не смею, царь,
Но воздух полн ее очарованьем.
Она должна быть близко...
Как росой
Окроплены, сильней благоухают
У нас цветы... Приветней ели шум,
И самые лучи как будто ярче
На небесах горят... Ты слышишь, гость,
Ее коней копыта... Чу... колес
Жужжание... Смотри... Ее рабыни
Самосские... О, нимфы! в хоровод
Скорей, скорей совьемся. Слава дивной!

На сцену выезжает блестящий кортеж Геры. Сама богиня на белых лошадях, колесница ее украшена серебряными лилиями и золотыми гранатами (ее эмблемы). С ней Ирида, а правит смуглая рабыня в желтом. Гера вся в белом. На голове у ней стефана из лилий и роз. Лицо напоминает помпеянскую фреску.

ВТОРОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНТРАКТ

СТРОФА

Хвала, царица мира,
Отрада жен и дев!
Средь нежного эфира
Ты вся и блеск, и гнев.
Твоею славой полны
И Аргос, и Самос,
И ароматны волны
Твоих тяжелых кос.

Ты в сумраке пурпурном
Незримо возросла,

Но небесам лазурным
Душой верна была.

АНТИСТРОФА

И я мольбы призывной
Твоей не утаю,
Таинственный и дивный
Я брак твой воспою,
На голой выси Иды
Зацветший мигом сад
И пояса Киприды
Всевластный аромат...
На ложе свежей гущей
И лотос и шафран
И золотистой кущей
Покрывший вас туман.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Хор, Гера, Ирида и Иксион.

Корифей

О, радуйся, блаженная меж жен!
С тех пор как ты, таясь от Океана
И от Тефиды [1] нежной, в первый раз
Наедине с Кронидом увидалась
И на ковре из гиацинтов вас
Прикрыла золотым туманом туча, —
Ты никогда так дивно хороша,
Так не была неотразима, Гера.

Гера

Пленительней отыщутся меж вас...
Иль красоты одной в нас боги ищут?

(Указывая на Ириду.)

Или моей Ириды нежных чар,
И белизны, и тонких очертаний,
И васильковых глаз в толпе рабынь
Сицилии, и грубых, и мясистых,
Не забывал Зефир?
Нет, нимфа, нет!
Как лилия или звезда в эфире,
Иль розовая тучка, для себя
Хотим мы быть, не для мужей прекрасны.

---

[1] Приемные родители Геры.

Пленять богов довольно и без нас
Меж девами и женами найдется...

(Увидев Иксиона.)

Но не одни вы, нимфы... Этот муж?

Корифей

Царь Иксион.

Иксион

(с глубоким поклоном)

Державного Кронида
Недавний гость. Он кубок жизни пил
Там, на златистой выси. Только в сердце
И нектар, и улыбки, и туник
То белые, то розовые волны,
И сам Кронид — всё в серое пятно
Слилось теперь, когда тебя он видит.

Гера

Царь думает, что аравийских смол
В моем Самосском храме было мало.

Иксион

Я ничего не думаю... с тобой
Я воздухом одним дышу... и счастлив.

Гера

(помолчав)

Ты опьянен недавним счастьем, гость.
Перенеси на ореад восторги...
Сердца у них нежнее моего.

(Хочет взойти на колесницу.)

А мне пора... Благодарю вас, нимфы.

Иксион

(с живостью)

О, не спеши... Иль дальняя звезда
Моления боится?.. Или тучка
Своих жалеет розовых паров?
Иль, чтобы ей влюбленный не дышал,
Не доцветет лилея и завянет?

Ты красотой холодною, жена,
Мечтала им равняться. Разве хочешь
Быть холодней лилеи и луны?

Гера

Ты дерзок, царь... я мать... и я любила.

Иксион

Ты говоришь: «Любила»... а теперь?
Ты больше не ревнуешь, ты не любишь?
Ты золотых не ненавидишь кос?

Гера

Га... Тяжкие слова... Ты видел нимфу?..

Иксион

Соперниц ли бояться, волны, вам,
Душистые и черные?

Гера

Ты бредишь?

Иксион

Я никогда не бредил меньше... Нет,
Не брежу я... С тех пор как грудь дыханьем
Моя полна, мне кажется, тобой
Я только и дышал...

Гера

Но ты ж не видел,
Безумец, никогда меня...

Иксион

Как тень,
Ты надо мной жила. И невозможным,
И сладким сном дразнила...
Это ты
Мне отравляла дни, сжигала ночи,
И всё туда, на золотой Олимп
Меня звала с собою.

Гера

Этот сон
Исполнился, ты видишь, фессалиец...
Умерен будь в желаньях... Ты не бог...

Иксион

О, если сон безумный к этим высям
И уносил меня... то лишь затем,
Чтобы сказать тебе, что ты любима,
Как никогда никто ни на земле,
Ни на Олимпе золотом, ни в недрах
Аидовых любить не мог... Сказать,
Что ты меня не полюбить не можешь
И что таких у Зевса пыток нет,
Которых бы боялся я.
Я знаю.
Что скажешь ты...
Нет, уст не открывай,
Пока Эрот могучим дуновеньем
Дыханья их, царица, не зажжет...

Гера

Таким речам тебя учила, верно,
Та грустная подруга, Иксион,
С которою вы по дворам бродили
Посмещищем для смертных целый год.

Иксион

Да, может быть, страданья обнажили
Передо мною душу. Только ты
Там, в глубине ее живешь с рожденья,
Как воздух, как сознание, как я.

Гера

(задумчиво)

Ты сердце мне тревожишь... Мы не слышим
Таких речей на высях золотых.
Их сладкий яд опасен и богиням.

Иксион

Ты говоришь: их яд. Но ложь и смерть
Таятся в яде... Разве лжет мой голос?
Мои глаза о смерти говорят?

Гера

Или сильней, чем боги, люди любят?

Иксион

Да разве боги любят? Разве тот,
Кто не страдал, кого не жгло сомненье,
Когда-нибудь умел любить?.. Любовь
Без трепета и тайны... Как убор
Тех дальних высей ледяной, царица,
Он нежит глаз на солнце... Но его
Холодной радуги не любят нимфы...

Гера

Иль оттого и нас бросает бог,
А в ваших дев влюбляется?..

Иксион

Не знаю.
Их для меня нет больше... Ни богов,
Ни жен, ни дев... Будь остров подо мною
Весь голубой от моря и от неба,
Иль розовая туча... Я твоих
Волос, твоих ланит, твоей туники
Искал бы красок там и чар искал.
Прости меня... Но у любви есть право...

Гера

Царь Актеон погиб из-за любви
К одной из нас... Иль много вас, безумцев?

Иксион

Я не умру. Я чашу жизни пил...
Но если бы, мучительный три раза
Свершая круг, три раза умереть
И вновь ожить три раза ты велела,
На зов бы твой пошел я... чтоб добыть
Тебя, жена... чтó муки! Я изведал
Всю горечь мук... Меня рабов моих
Травили псы и рвали... Может Зевс
Изобрести, пожалуй, пытку вроде
Сизифовой... Но мы об ней потом
Подумаем... Бессилен образ муки

Расшевелить мой ум... Меня пьянит
Дыханье уст чуть слышное...
И не́ктар
Мне сладостный и розовый твоих
Открытых губ мерещится...
О, ночь!
О, ночь волос твоих благоуханных,
Сквозь эту ночь глядеть на звезды глаз,
В ней целовать твой белый, жаркий мрамор.

Гера

(к Ириде)

О нежная подруга! Ты скажи,
Чтоб перестал, Ирида, Иксиону.
Вы, нимфы, от меня его возьмите.

Ирида

Что я скажу? Увы! Когда бы так
Когда-нибудь меня любили, Гера

Хор

СТРОФА

На ветке росистой,
Когда уже розовой тканью,
Чуть-чуть золотистой,
Трон Эос увит и обмотан,
Поет соловей голосистый.
И всякому в мире дыханью
Под розовой тканью
Так нежно, так сладко поет он
На ветке росистой.

АНТИСТРОФА

Гляди — розовеют
Верхушки нахмуренных елей,
Эфир золотится;
И волны из темных ущелий
Прохладные веют.
О, дай же... О, дай же, царица!
Любви и желания трелям
На радость и нимфам, и елям,
Их нежа, сребриться.

Гера

Довольно чар... я золотые крылья
Эротовы видала. Он не раз
Их на груди моей слагал покорно,
И головой кудрявою ко мне
Склонялся на плечо, летать усталый.
Его пожива — слабые сердца...
Не Герою владеть ребенку. Царь,
Киприда мне очарованьем новым
Глаза и стан сегодня облила,
Но не тебя пленять она хотела.
И если ты на розовых устах
Хотел прочесть желанье, фессалийцы
Здесь ни при чем, поверь.
У очага
Кронидова меня увидишь завтра
Ты царственно спокойною.
Пусть ночь
Желанная пройдет и мне оставит
Воспоминаний негу.
Для тебя ж
Лекарства я не знаю.
На соперниц
Я иногда сержусь, но, право, в счет
Не ставлю их надолго. Золотистой
И никакой косы я не боюсь...
А ты забыл, скажи, златую Диву?
Не долго же ты любишь, Иксион.
И слабое, должно быть, сердце хочешь
Лишь дерзостью желания прикрыть.
Но ты красив... Давно твоих прекрасней
Я не видала глаз... Забудь скорей,
Что говорил, и к нам веселым гостем
Вернись делить наш пир... Там нимфу я
Тебе отдам, Дориппу, царь, и будешь
Ты злато кос душистое ласкать.

Становится на колесницу, потом снимает с головы лилию, закусывает ее и со смехом бросает в Иксиона; потом, по данному ею знаку, колесница быстро уезжает. Иксион протягивает к ней руки, делает несколько шагов за колесницей, но в раздумье останавливается; потом отходит к дереву и садится, закрыв лицо руками. Солнце закатывается. Быстро наступает южная ночь. Ели и горы чернеют и точно вырастают.

КОММОС
ВМЕСТО ТРЕТЬЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО АНТРАКТА

Хор

СТРОФА 1

Когда над землей усталой
Ночь на своем воздушном
Тихо челне плывет,
С весел ее черных
Падают людям на веки
Нежные брызги.

АНТИСТРОФА 1

О дивная ночь, о дева!
Много даров везешь ты
В черном челне своем,
Но из даров слаще
Нет и отрадней забвенья,
Сна-богоборца.

СТРОФА 2

Мы у тебя не просим
Свитка ярких видений,
В мраке твоем, царица,
Мы не хотим лобзаний.

АНТИСТРОФА 2

Дай Иксиону только
Черные крылья друга,
Здесь, на холодном ложе,
Сон ему дай свинцовый!

Иксион

Сна мне не надо, нимфы.
Нимфы, она меня любит,
Сердце мое полно
Жарким ее ароматом.

Хор

Царь, перестань, безумный,
Сердце горело у Геры,

Видеть горело Зевса,
Только его она любит.

Иксион

Бросила мне зачем же
Лилию, девы, Гера?
След от зубов остался
На стебле ее нежном.

Хор

Царь, ты женского сердца,
Сердца не знаешь Геры,
Чувства в тебе дразнила,
Только играя, Гера.

Загорается луна, полная и необыкновенно яркая.

Первая нимфа

Сладкого сна
Время настало...
Видишь, луна
Там в облаках заблистала.

Вторая нимфа

В небе, смотри,
Тучка, что птица,
Плывет, златится,
Смотри... смотри.

Третья нимфа

Надо ложиться...
Тихо молитву, сестра, твори
Дивной на небе синем...
Мы до зари
Мхов этих мягких не кинем.

Четвертая нимфа
(засыпая)

Ты же, луна, богиням...
Луна, богиням
Ярче гори,
Ярче гори!

Молятся и мало-помалу засыпают.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Иксион один и спящий хор.

Иксион

Один... Зачем я ей давал уехать?
Зачем ее рабыни не столкнул
С злаченой колесницы? Иль на дышле
Я не повис зачем ее? Зачем
Я не молил ее?.. Она с собою
Меня звала... Безумец... Ночь идет...
С кем, с кем она теперь?
Луна так ярко
Мне светит, точно что-то говорит...
Остановись, скажи мне.
Ты с призывом?
С насмешкой ты? Ты с жалобой, луна?
Так вот о чем томился я? Гордыней,
Жестокостью, проклятьем... Чем любовь
Безумная не делалась, скрываясь...
Я потерял ее... Неужто ж больше
Ее я не увижу?.. О, зачем
Я ей давал уехать? «Во дворце
Мы свидимся», — она сказала... Разве ж
Туда вернусь теперь я?.. Для чего?
Чтобы в глазах Кронида образ Геры,
Ее любовь читать? О нет... О нет...

Проклятие! .. Я жизнь отдать не властен
Властителям судеб... но пусть же кровь
По капле всю из сердца выпьешь, сила
Безвестная, пусть стану я куста
Иссохшего печальней и чернее,
И ветра бесприютней, если ты
Мне дашь сегодня Геру...
О, не смейся,
Там, яркая, в эфире, да своей
Владычице поведай заклинанье.

(Пристально глядит на луну.)

Ты мне сказала *да?* Сказала *да?*

В отдалении от Иксиона появляется высокая женская фигура в сером. Лицо у нее закрыто фатой; она худая, движения вкрадчивы, мягки. Это Апата. Фигура ее, сначала туманная, теперь ярко залита месячными лучами. Она делает несколько шагов к Иксиону.

О, бледный дух! Откуда ты? Луною
Ты рождена иль из глубин земли
Ты поднялась с ночным туманом, дева?

Апата

Не спрашивай об имени меня,
Царь Иксион, и не проси, чтоб дымку
Перед тобой с лица сняла я... Чары
Мои узнаешь скоро...

Иксион

Ты сама
Услышала меня?.. Иль это Гера
Тебя ко мне послала?

Апата

Тише, царь! ..
Мы не одни здесь.

(Указывая на спящих нимф.)

Иксион

Успокойся, дева...
Их сладок сон невинный.

Апата

Хорошо,
Что нежные заснули нимфы. Тайна
Меня ведет, и ласточками их
Я собиралась сделатъ... Спите, нимфы.
Царь Иксион... Я за тобой... Но сил
И дерзости скопил ли ты и сердце
Не дрогнет ли твое пред гневом, царь?

Иксион

О дивная! Какой ценой куплю я
Волшебную твою подмогу? Нет,
Перуны мне не страшны... Повтори,
Что я ее увижу.

Апата

Ты обнимешь,
Я говорю, ее... Но только мук,
Скажи мне, царь, не ужаснешься ль? .. Эту
Добычу трудно выкрасть.

Иксион

Чем тебя
Заверю я? Я клялся... Ты слыхала...

Апата

Царь Иксион... Ты молод... Много их,
И нимф... и дев пленительных, а Зевса
Еще светла улыбка над тобой.

Иксион

Не знаю, как назвать тебя, богиня,
И до твоих я не дерзну колен
Дотронуться с мольбою, но коль бога
Иль смертного любовь когда-нибудь
Твоим владела сердцем... Заклинаю
Тебя, не медли больше... Час не дремлет..
Его минуты быстры... И никто
Златой не остановит колесницы...
Смотри — луна зовет нас...

Апата

А залог,
Залог, нетерпеливый?

(Протягивает ему руку, где на четвертом пальце блещут два одинаковых оникса.)

Мы не любим,
Но мы в расчетах честны... Вот кольцо...
Дай, я тебе его надену.

(Надевает ему одно из колец на мизинец.)

Завтра,
Когда пройдет блаженства ночь, с тобой
Мы их сличим... Я серую фату
Здесь в утреннем тумане пред тобою
Приподниму и назовусь... Идем.

(Уходят.)

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Спящие нимфы и Лисса (войдя на сцену, она кого-то ищет).

Лисса

Я тень сестры узнала. Здесь Апата
Сейчас была. Как чешуя змеи,
В траве она мелькнула... и царя
Уж нет... В сетях ее он... Ужас... Ужас...

(Продолжает искать, потом останавливается.)

Мой Иксион... Я мучила тебя,
Но я тебя любила... иго власти
Нам тяжелей порою, чем быку
Его ярмо... Я мучила тебя,
Но я тебя любила. Я отравы
Бессмертия в твой кубок не лила.
Где ж ваша правда, боги? Взять у Лиссы,
Чтобы отдать Апате... Пламя бреда
Сменить холодной ложью... Тихий гроб —
Неугасимой пыткой.

(Увидев нимф.)

О, зачем,
Зачем его пустили вы? Зачем
Не нáзвали коварной Иксиону?

Апата здесь бродила, и ее
Дыхания вы, нимфы, не узнали?
Но девы спят... Заворожила их
Та, желтолицая, пожалуй...

(Подходя к крайней златокосой нимфе.)

Нимфа,
Дитя мое, проснись...

Между тем темнеет. Ползут черные тучи. Луна закрыта ими. Поднимается ветер.

Первая нимфа

Я не спала,
Но скована была я... Эта лампа
Меня околдовала.

(Приподнимается на локти и ищет глазами луну.)

Погасил
Ее Кронид, иль тучею завесил...
Как хорошо!

(Встает.)

Гей, сестры. Все сюда!
Долой очарованье...
Здравствуй, Лисса!

Вторая нимфа

Я слышала от слова и до слова
Их разговор. Но мне казалось, будто
Я сплю и будто два крыла у плеч
Тунику поднимают, а язык
Мой заострен, как птичий.

Третья нимфа

(задумчиво)

Этот дух
Под серою был дымкой и названья
Он не хотел сказать, но ложь его
И холод речь на сердце навевала.

Нимфы встают одна за другой, иные еще потягиваются.

Корифей

(Лиссе)

Но как сюда попала ты, скажи,
Печальная богиня, и подземный
Зачем чертог покинула?

Лисса

Увы!
Есть сила выше Лиссы, ореада:
И у нее под пеплосом дрожит
Любовью и печалью сердце.

Корифей

Что же
Ты хочешь делать?

Лисса

Умолять богов.

Корифей

О чем? Не поздно разве?

Лисса

Умолять,
Чтобы его мне отдали...

Корифей

Зачем?

Лисса

Я б увела его в чертог мой черный
И сон дала ему, отрадный сон,
Чтоб иногда, об иге власти грустной
Своей забыв, украдкой приходить
В тот тихий дом и любоваться спящим.
Он мой, его мне отдали. И нас
Связали мукой боги.

Корифей

Нет, богиня...
Мечта его сбылась. И здесь ему
Обещано иное счастье было.

Лисса

Увы! Увы!.. Зачем не знала я?

Корифей

Здесь страшным и таинственным заклятьем
Сам Иксион связал себя навек.

Лисса

Увы! Увы! Он больше не придет...

Корифей

Я слышала, что дева с Иксионом
Увидеться хотела на заре
На этом самом месте...

Лисса

Я увижу
Тогда его.

Корифей

Зачем же лишних слез
Ты хочешь? Всё равно, ведь Иксиона
Тебе не взять. Увы! расплата ждет
За эту ночь его.
Как душно, нимфы...
Где звезды? Где луна? Какие там
Тяжелые ползут по небу тучи.
О, страшная! О, тягостная ночь!

Целая кисть молний, рассыпаясь, падает из черной тучи. За ней без промежутка следует страшный, короткий удар. Потом другой, уже с раскатом.

Корифей

(молитвенно поднимая руки)

Кронид-отец! Ты в гневе. Пощади
Душистые сады и беззащитных
Овец, и в хижине малюток спящих.

Буря, гроза, порывами холодный шумный дождь. Нимфы разводят костер. Лисса им помогает.

ВМЕСТО ЧЕТВЕРТОГО МУЗЫКАЛЬНОГО АНТРАКТА

Одна из нимф

Отец, пощади
    Дрожащую дочь,
Ей страшно, ей холодно стало.
    Скорее, скорей уходи
На отдых, владычица ночь,
    И черное прочь
И влажное скинь покрывало
    С лилейной груди
На плиты безмолвного зала.
    Отец, пощади
Дрожащую дочь,
    Ей страшно, ей холодно стало.

Хор

Ты же, златом горя колесницы
    И шафраном туники горя,
Подними, улыбаясь, ресницы,
    Розоперстая дева-заря,
И, над розовым утром паря,
    Пусть проснутся веселые птицы.

Буря продолжается порывами, но грозы и дождя нет. Нимфы молча молятся, в темноте мелькают их тонкие, белые руки. Потом, когда погода стихает, они садятся около потухающего костра, и некоторые, прислонившись к деревьям и кутаясь в одежды, было сброшенные на ночь, дремлют. Одни сидят опустя голову; другие стараются согреться одна о другую, обнявшись. Лисса стоит молча. как зачарованная, не сводя глаз с той точки, где должен показаться Иксион.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Чуть брезжит зеленоватый холодный рассвет. Буря затихла, но ветер порывами еще кружит листья и брошенные нимфами цветы. Входит Апата под фатой. За нею Иксион.

Иксион, Апата и хор.

Иксион

Как холодно и сыро здесь. Рассвет
Уныл и бледен. Ризою зеленой
Едва прикрыто небо... Ба... Цветы
Вчерашние... И лилия... А нимфы...
Какую ночь бедняжки провели
Здесь у костра!
Но для чего ж так рано
Ты увела меня, богиня?.. Аромат
Ее цветов дыханья мне не нежит,
И волосы ее моих ланит
Горячих не щекочут... Как далек он,
Тот тихий дом, где спящею ее
Оставил я и жаркой... Ты жалела
Своих минут, но плату всё равно
Ты заслужила честно.

Апата

У твоей,
Как верная раба, опочивальни
Я провела прескверно ночь, и спать
Мне хочется ужасно. А тебе?

Иксион

Мне хочется вернуть ту ожиданья
Последнюю минуту... Шум шагов
Ее вернуть и первый долетевший
До слуха шелест шелковых одежд.
И редкие, и сильные удары,
Что отбивало сердце, пережить
Мне хочется опять.

Апата

(зевая)

Желанье странно.
Всё в этом воздухе пустом, увы!
Волшебное нелепо. И у нас
Нет чар передрассветных. Сам Эрот,
Сам Дионис смущается пред первой
Зеленою улыбкой утра, царь.

Иксион

(помолчав)

Расплаты ждешь ты, дева... Я остаться
Наедине хотел бы.

Апата

Что же дать
Ты можешь мне в награду, фессалиец?

Иксион

Что дать могу? Ты можешь, как змея,
Из этого все выпить сердца соки.
Ты иссушить меня иль обратить
В косматого медведя можешь, дева.
О, за ценой за верную твою
Не постою я службу, чародейка...

Апата

Нет, Иксион. Ты счастлив был, и мне
Не надо ничего.

Иксион

Но кто ж ты, дева?
Ты кажешься не тою, что вчера...

И голос твой слабей, и стан твой ниже...
Дай руку мне.

Апата
(протягивая руку)
Возьми ее.

Иксион
(отдергивает руку)
Ай!

Апата
Что?

Иксион
Что держишь ты в руке?

Апата
(равнодушно)
Свою игрушку,
Остаток чар вечерних.

Иксион
Пробежал
По всей руке мороз.

Апата
(равнодушно)
Ты кольца, верно,
Хотел сличить...
(Прикладывает свою руку с кольцом к его руке.)
Я та же, Иксион.
Но повтори, что точно ты был счастлив.

Иксион
Зачем тебе об этом знать, жена?

Апата
Я — не жена, во-первых, и женою
Не сделаюсь... Мне слишком жалок род
Ваш слабый и надменный. Насмотрелась

Довольно я на олимпийцев, царь,
Да и на вас, мужчин, их подражанья.

(Интимно.)

Ты говоришь, что счастлив был, тебе
Она шептала, верно, к изголовью
Прильнув и белою обвив тебя рукой,
Что никого так не полюбит. Мужа
Звала «старик», не правда ли?

Иксион

(закрыв глаза рукой)

Оставь!
О, не буди воспоминаний. Сердце
Возьми мое. Ты в нем сама прочтешь,
Чего забыть не в силах я, но воздух
Чего не смеет знать.
Но кто же ты?
Ты имя мне открыть хотела. Жертву
Я на алтарь твой должен принести.

Апата

Ни алтарей, ни слез, ни обожанья
Не надо нам. Но родом я горжусь
И имени таить не буду больше.
Апата я, и Ночью рождена.

Иксион слегка вздрагивает.

Спустить фату ты, может быть, прикажешь...
Ты наш должник, и я пока твоя
Прислужница, рабыня, фессалиец.

По легкому утвердительному знаку Иксиона сбрасывает фату. Большое и некрасивое лицо с мешковатой желтой кожей, будто налитое; маленькая детская грудь над очень высоким и пестрым поясом.

Иксион

Га... ужас... Образ Лиссы на тебе.

Лисса подносит к глазам сжатые кулаки.

Апата

Мы сестры, царь.

Л и с с а

(выступая вперед)

Да, сестры... Но добычу
Перенимать мою с каких же пор
Ты принялась?

А п а т а

Напротив, я спасала
Девичью честь твою. Ведь враг силен.
Не для себя ж, конечно, фессалийца
Я тешила, пойми...

Л и с с а

Ты лжешь... Ты лжешь...

И к с и о н

(останавливая их жестом)

Оставьте спор — он мало интересен.

Лисса отходит в сторону.

Апата, я должник твой?

А п а т а

Лично мне
Ты ничего не должен, нет...

И к с и о н

Но с кем же
Я расплачусь?

А п а т а

Не торопись... Придет
Другой сюда за платою... Простимся.
Ты с Лиссой год, с Апатой только час
Один провел, но, верно, веселее.

(Смотрит на притаившуюся Лиссу; потом хочет идти и возвращается, увидев нимф, которые уже не дремлют, а жадно прислушиваются.)

Два слова, Иксион. А знаешь ты,
За что меня все эти девы...

(Указывает на нимф.)

даже...
Сестра моя родная, даже та,
Так искренно порою ненавидят?

(Таинственно и в то же время шутливо.)

Вышучивать умею я любовь.

Иксион

Что хочешь ты сказать, не понимаю...
Моей... ты помогла.

Апата

Кому могла,
И помогла, а прочих обманула...
Реши-ка на досуге и прощай.

Уходит, Иксион загораживает ей путь.

Иксион

Ты не уйдешь... Я не терплю загадок.

Апата, пожав плечами, остается.

Апатой ты зовешься оттого,
Что лжи и чар в тебе источник. Так ведь?
Ты чарами мне помогла замки
Ее дворца сорвать? Ты усыпила
Ее рабынь? Не правда ль? Повтори ж,
Что робости, стыда и даже гнева
Сломила ты опору... что любви
Ее дала ты разгореться?.. Правда?

Апата

(покачивая головой)

Нет, я зовусь Апатой, Иксион,
Не потому, что доставала Геру.

Пауза.

Иксион

Га... Тяжкий бред... Иль чарами опять
Меня опутать хочешь? Ты на ложе
Мне привела царицу? Говори...

Или сама пришла она?.. И кто же
Послал тебя? Не медли... отвечай!

Апата

О, не проси ответа... Я — Апата,
Ты — Иксион безумный. Разве ж мы
Не пара, царь? Была я Зевсу даже
Апатой раз...

Иксион

Ни слова... Ты... меня...
Ты предала меня?

Апата

(в тон ему)

Когда бы только...

Длинная пауза. Светлеет. Показывается заря. Восток розовеет.

Иксион

Я таинства перед тобой и этим
Меж розовых пеленок там в эфире
Новорожденным солнцем не дерзну
Разоблачать, ты знаешь...
Но мне стоит
Глаза закрыть... Со мной она... На мне
Горят еще ее лобзанья.
Сонным
То не было мечтаньем. О, не лги...

(Берет ее руку со вторым кольцом и снимает с нее оникс.)

Дай мне кольцо свое. И тайну, дева,
Молю, душе измученной открой!
Я никогда так не страдал, сгорая
На медленном огне.

(С усилием.)

Она была
Не Гера?

Апата

(тихо и серьезно)

Нет, она была не Гера.

Пауза.

Иксион

(криво усмехаясь)

Но кто ж была она? Или раба,
С ней схожая, ты скажешь, или призрак?

Апата

(шепотом)

Последнее.

Иксион

Ты вызвала ее?

Апата

Из нежного эфира и с любовью
Я сделала ее... И отличить
Ее не мог от настоящей Геры
Всевидящий отец богов.

Иксион

Молчи!
Иль нет... Скажи, что ты солгала. Разве
Тепло, и блеск, и жизнь?.. Нет, никогда...
Твоим словам, Апата, я не верю.

Апата

(вкрадчиво)

Ты слышал голос Геры, Иксион?

Иксион

Как ты хитра... Ты хочешь незаметно
Мой вынудить рассказ..:
О, чистота!
О, девственность, которая боится
Любви, стыдится ласки, а во тьме
Картинами желанья разжигает...
Слова любви твердит себе, чтоб ей
Бесплодно слух они ласкали...

Апата

(настойчиво)

Голос?
Ты слышал голос Геры? Вспомни, царь.

Иксион

О, тяжкое сомненье... Разве ласки
В одних словах?

Апата

(в тот же настойчивый тон)

Ты не слыхал его.
Я говорить ее не научила.

Восклицания в хоре.

Иксион

Теперь ты лжешь, иль раньше ты лгала,
О Ночи дочь? Мутится разум... что...
Что говоришь?

Апата

Ты сам просил признаний...
Иль истины боится Иксион?
Или любовь его была такою
Высокой и священной, что ее
Коснуться не дерзнут и игры наши?
Нет, Иксион, тебе я дивный сон
Сегодня подарила. К ложу Геры
Не подходил никто еще так близко,
Как подошел ты только что...
Мечта
Ожившая твоей не будет ярче
Ничья, поверь. Работой же горжусь
По совести своей... Она удачна...

Иксион

(проводя рукой по лицу)

Довольно лжи и правды... всей тебя,
Искусница, довольно. Притворяться
Ты начала... Уйди!.. Да не забудь

(Срывает кольца и бросает ей. Апата ловит на лету.)

Своих колец... Других морочить.
Больше
Я за себя не отвечаю... Прочь!..
Кровавою спирает горло пеной,

В глазах огни. И давит, как котел,
На плечи голова.

А п а т а

Неблагодарный.

(Исчезает.)

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

И к с и о н, Л и с с а и х о р.

Лисса подходит к Иксиону сзади неслышными шагами и кладет ему руку на плечо.

Л и с с а

Царь, ждет тебя расплата. Хочешь — мы
Уйдем от них? Тебя я спрячу в черный
Далекий дом.

Иксион молчит.

Мученья ждут тебя,
И вечные, подумай.

И к с и о н

Что тут думать?
Мне всё равно. Не лжет она? Скажи!

Л и с с а

Она не лжет... Но есть еще спасенье.

И к с и о н

Быть может, луч надежды, что она
Солга́ла?

Л и с с а

Я не думаю... Решайся:
Ириду там я вижу... О, бежим,
Бежим. Тебя люблю я, это странно,
Но я тебя люблю...

И к с и о н

(вздрагивая)

Ползи, змея,
В свою нору... Твоих услуг не надо.

Отталкивает ее ногой. Лисса, молча и ни на кого не глядя, уходит.

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Те же без Лиссы и Ирида (сверху).

Корифей

О дивная! Ты точно солнца луч,
Отрадна нам после кошмара ночи.

Ирида

О, нежные и бедные мои
Подруги... Вы еще дрожите... Буря
Измяла вас, цветы садов моих.

Корифей

Ты поднялась так рано?

Ирида

Неспокойно
Мы провели, о нимфы, эту ночь.

Корифей

Мирила ты?

Ирида

Мирила.

Корифей

Что ж? Удачно?

Ирида

Решай сама... Когда на царский пир
Приехали мы с Герой,

Иксион поднимает голову и жадно слушает.

пир кончался,
И по своим чертогам расходились
Бессмертные. Но за столом еще
Сидел Кронид, и кубок золотой
Ему Дориппа наполняла. Быстро
К ней подошла царица и на стол
Из рук ее выплескивает кубок...
И розовым стал мрамор, розы ж губ
И нежных щек у Геры побледнели.

Но глаз поднять на грозного царя
Она еще не смела.
Тихо-тихо
Из-под ресниц украдкой наконец
Она кидает взор... другой, смелее
Потом, но так спокоен Зевс сидел;
Лишь странная усмешка между глаз
Лучистых пробегала.
Точно что-то
Припоминал он давнее. И все,
Кто был еще в чертоге, мы примолкли.
На розовую нимфу между тем,
Что, от стыда очей поднять не смея,
Стояла перед Зевсом, снова взгляд
Царица вызывающий бросает
И, не сводя с нее горящих глаз,
Подходит к нимфе.
Может быть,
В лице царя прочла желанье Гера
Иль гнев ее сильнее страха был,
Но, нимфу взяв за золотую косу
И губы закусив до крови, повлекла
Ее к порогу, как рабыню, молча
И тяжело дыша, царица.
Встал
Со стула Зевс.
Все поднялись, и холод
По жилам пробежал у нас.
Но царь
Остановил движеньем Геру только,
И нимфа убежала с плачем.
Зевс
Уселся вновь за стол, и Гере кубок
Он твердою рукою протянул,
И, будто ничего и не случилось,
Так он сказал царице: «Зачерпни
Послаще да отпей... Ну, что в Самосе?»

Корифей

И всё? Но ты мирила, говоришь...

Ирида

Я не могу рассказывать — мне грустно.

Корифей

Иль весть твоя печальна?

Ирида

Не простил
Кронид жены... Немало чар и ласки,
И даже слез царица пролила,
И всё напрасно было... Напоследок
Она его решилась насмешить...
И смехом взять. Она ему сказала...
Она ему сказала... Нет, оставь:
Зачем тебе подробности?

Иксион

(хрипло)

Ты скажешь
Не им, а мне.

Ирида

Царь Иксион, молчи
И, если есть убежище, спасайся.

Иксион

(обнимает ее колени)

О нежная, о добрая, твои
Не лгут глаза, и светлою улыбкой
Уста твои алеют. Не таи же
Всей истины...
Иль ты ее сказала?

Ирида

(лаская ему волосы)

Обманут ты, несчастный Иксион.

Иксион

Я знаю, что обманут, что рабыню
Иль призрак я на ложе обнимал.
Я пережил уж эту муку. Муки
Иной я жду из уст твоих, жена,
Страшнее той, что пережил... Апату
Кто ж посылал ко мне, скажи.

Ирида

Зачем?
Зачем тебе слова мои?

Иксион

Кронидовой
Посланницей была она, скажи?

Ирида

Ее послал Кронид... Довольно, бросим
Бесплодные сомненья... Иль помимо
Кронида что творится на земле?

Иксион

Ее послала Гера?.. Слушай... Гера?

Ирида

Ты этого хотел... Ну что ж, узнай...
Ее послала Гера...

Иксион

Горе!.. Горе!..

Пауза.

Бессмертие... Ты, кубок жизни, вам
Проклятия мои... и пусть же вместе
Когда-нибудь с Кронидом и Олимпом
И с Герою, которую любил
Я больше, чем вместить душа умела,
Вас черный ад пожрет... Проклятье вам!

Из среды нимф раздается жалобный вопль. Некоторые пугливо убегают. Другие остаются, но сбившись, как стадо в бурю. Ирида молча уходит и показывает им на Гермеса и Гефеста, которые в это время спускаются с вершины.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ И ПОСЛЕДНЕЕ

Иксион, Гермес и Гефест; он прихрамывает и несет цепь, молот и клещи.

Иксион

(сдержанно и кланяясь)

Вот наконец развязка. Мой привет
Приспешникам державного Кронида.

Гермес

(отдавая поклон)

Царь Иксион простит мне каламбур,
Но для него в *развязке* будут *узы.*

Иксион

(указывая на цепь)

И даже цепь. Нельзя ли поскорей?

(Протягивает руки.)

Избавлю вас от обвиненья, боги.
О деле я не менее, чем вы,
Осведомлен. И желтая Апата,
И нежная Ирида, уж о Лиссе
Не говорю, и всех семи цветов
Меня давно здесь нимфы охраняют.

Гермес

Тем лучше, царь. Но цепи ведь не всё.
Другая казнь отцом моим тебе
Назначена державным.

Иксион

(слегка вздрагивая)

Остается
Мне что-нибудь и новое узнать?
Я слушаю тебя, крылатый вестник.
А ты, Гефест, и тяжкий молот твой
Ручаются за артистичность пытки.

Гермес

Ты, может быть, освободишь посла
От лишних слов? Я объяснить бы должен
Тебе значенье кары, что Кронид
В неизреченной милости тебе
Назначил вместо Тартара, бессмертный.

Иксион

Освобождаю, да.

Гермес

Царь Иксион,
Кронид велел Гефесту обруч сделать,

Уж из чего — не знаю. Ты на нем
Своим распятым телом образуешь
И втулку, царь, и спицы. К ободку ж
Тебя притянут не канаты — змеи.

Иксион вздрагивает.

В том обруче волшебном будешь ты
Кататься по эфиру, раскаляясь
От быстрого круженья, а когда
Ты на пути щит Гелия огромный
И жаркий встретишь, царь, то вместе с ним
Кружиться долго будешь.

Хор

Ужас! Ужас!

Гермес

И, ложе ласк покинув поутру,
Любовники счастливые на солнце
Глядеть иные будут и игрой
Веселою светила любоваться.

Иксион

Мятется дух невольно. Есть же срок
Какой-нибудь для пытки?

Гермес

Ты не думал
О сроке, царь, когда ты золотой
У Гебы брал и жизни полный кубок.

Иксион

Ты прав, Гермес... Но человеком я
Рожден. Предел для сил моих положен.
Ведь чувствовать и муку наконец
Когда-нибудь, пойми, я перестану.

Гермес

На этот счет спокойны мы. Кронид
Расчетлив как никто. Близ ложа солнца
На влажном и багровом ложе ты
Два раза в год подремлешь. Не отраду

Тебе отец дарует. Он продлить
Твои, о царь преступный, муки хочет.

Пауза.

Иксион

Ты ждешь моих проклятий...
Говорят,
Что человек, идя на казнь иль пытку,
Прощается и проклинает.
Нет,
Вся из груди моей уж вышла злоба.

. . . .

Да, мука мне страшна... и только, бог...
Идем, пока не отказались ноги.

(К хору.)

А вы цветите, нимфы... Да *прости*
Мое сказать не позабудьте... Гере...

Корифей

Прости и нас, страдалец. За тебя
Мы никогда молиться не устанем.

Иксиона заковывают и уводят.
В хоре слышится плач.

Не надо слез... Но песен и цветов
Не надо также... Молча на вершины
Пойдем и тихо... Человека мучат.

Хор молча уходит.

ЛАОДАМИЯ

Лирическая трагедия в 4-х действиях с музыкальными антрактами

Dum careo veris, gaudia falsa juvant.
Ovidius.

<Когда я лишена радостей
истинных, мне отрадны и ложные.
Овидий.>



Посв. сыну

ПРЕДИСЛОВИЕ

Трагедия Лаодамии взята нами из античной версии мифа о жене, которая не могла пережить свидания с мертвым мужем.

Один из любимых мотивов римской лирики и трогательное украшение саркофагов, эта сказка о фессалийской Леноре не считалась, однако, в древности богатой сценическими эффектами, и Еврипид с своим «Протесилаем» был едва ли не единственный греческий трагик, которого она пленила. От «Протесилая» уцелели скудные отрывки, и ученым не удалось до сих пор восстановить не только хода действия, но даже содержания этой трагедии.

Мужа Лаодамии звали Иолай, он был сыном Ификла, царил в Фессалии, над городом Филакой, и был убит на троянском берегу, куда ступил первым.

Протесилай стало его прозвищем, и этим словом отмечалось его первенство. Дóма он оставил, по словам Гомера, «едва заведенное хозяйство» (δόμος ἡμιτελής B. 701, cf. lat. domum inceptam frustra).[1]

Беглый след мифа о Протесилае в каталоге кораблей стал зерном еврипидовой трагедии, но поэт со свойственной ему чуткостью к легендам страдания перенес ее центр с погибшего героя на его погибающую жену.

Пафос и гибель Лаодамии в последующей литературе и у ваятелей стали, под влиянием Еврипида, почти исключительно центром художественного интереса. Только 23-й разговор «из царства мертвых» Лукиана рисует загробное желание Протесилая, обращенное к Плутону и Персефоне (Luc. op. ex recogn. Jacobitz, I, 177 sq), и там он — первый и главный.

---

[1] Расшифровку условных сокращений (авторских) вместе с переводом цитат и необходимыми пояснениями к ним см. в примечаниях.

У Еврипида Протесилай назавтра после свадьбы или даже прямо с брачного пира уходит в поход под Трою, но об этом, конечно, только передавалось в трагедии. Разгневанная прерванным браком, Афродита не дала Протесилаю и после его геройской смерти разлюбить Лаодамию, и он вымолил себе у подземных богов три часа свидания с своей молодой женой. Действие происходит в Филаке, перед хором местных женщин, мужья которых ушли с Протесилаем, и это теснее сближало орхестру со сценой. Декорацию составлял фасад того дворца, где Лаодамия, дочь царя Акаста из Иолка, была новой и одинокой хозяйкой. Отпущенный из преисподней Протесилай появлялся и говорил на сцене, но, вероятно, не в виде загробной тени, как Клитемнестра «Евменид», а так, что жена могла принять его за живого человека. Когда из его слов, или, может быть, по миновании трех условных часов, Лаодамии становилось ясно, что возвращение Протесилая, а следовательно, и начало ее новой счастливой жизни — только обман, она закалывалась, или в порыве отчаяния, или покорная призыву мужа.

Вот остов содержания пьесы Еврипида, как устанавливается он в современной литературе предмета (см. особенно: Maximilian Meyer, Hermes, 1885. 20. B. Der Protesilaos des Euripides(SS. 101—143) и W. H. Roscher, Lexikon (s. v. Laodamia).

Он содержит зерно драмы, но мы еще не различаем в его чертах Еврипида.

В «Протесилае» несомненно были черты, которые трудно включить в намеченные рамки. В трагедии играл роль Акаст, отец Лаодамии, и очень вероятно, по аналогии со старыми отцами в пьесах Еврипида, что роль эта так или иначе соприкасалась с трагической смертью героини.

Позволю себе выписать по этому поводу несколько строчек из моего предисловия к переводу «Ипполита»: «Еще одна чисто еврипидовская черта в исходе «Ипполита»: этот поэт любит, разрешая драму, т. е. убивая, исцеляя и примиряя людей, оставлять в ней до конца одно разбитое сердце, на жертву тоске, которая уже не может пройти: таков у него Кадм «Вакханок», таков старый Амфитрион, таков и Фесей. Буря утихла, трупы убраны, но безветренное море все еще тихо качает около берега черный остов разбитой барки» (Отд. отт. из Ж. М. Н. Пр. за 1902 г., стр. 85 сл.). Затем не подлежит никакому сомнению, что у Лаодамии (подобно Адмету «Алькесты» vv. 348—356) была портретная статуя ее мужа и что она не только любила своего «бездушного друга» (слова Еврипида), но, по-видимому, и защищала статую от людей, которые вос-

ставали против ее болезненно страстного отношения к восковому Протесилаю.

Кроме того, героиня Еврипида, действительно ли или только напоказ, но соединяла свой страстный культ Протесилая с вакхическими обрядами, может быть, в честь Диониса-Загрея, бога мертвых.

Наконец, способ и момент самоубийства Лаодамии остаются неразъясненными. Имели ли они какую-нибудь связь, и если имели, то какую именно, с восковым слепком Протесилая, мы не знаем. Один латинский мифограф-компилятор Гигин рассказывает (Hyg. CIV), что Лаодамия бросилась в костер, на котором Акаст приказал сжечь ее воскового мужа. Остроумные соображения критики подорвали нашу веру в то, что компилятор точно передал содержание исхода еврипидовой драмы. Но загадочными по-прежнему остаются слова Овидия (Rem, a. a. 723):

Si potes, et ceras remove. Quid imagine muta
Carperis? Hoc periit Laodamia modo.

т. е.

Если можешь, удали и восковые портреты.
Зачем пленяться немым изображением?
Именно таким образом погибла Лаодамия.

От них еще далеко, конечно, до рассказа Гигина.

В новой литературе мне известна на сюжет «Протесилая» лишь трагедия Станислава Выспянского «Protesilas i Laodamia», напечатанная в 1899 г. в Кракове, в журнале «Przegląd polski».

Автор заставляет свою героиню заколоться после галлюцинации таинственного брака ее с Протесилаем. С большим художественным тактом польский поэт сделал героя безмолвным. Пьеса написана в эсхиловском стиле, вычурным архаизирующим языком; проза причудливо мешается в ней со стихами, а ремарки местами заглушают текст.

Теперь несколько слов pro domo mea.

У меня Лаодамия бросается в огонь. Я не хочу этим реабилитировать текст Гигина и вполне допускаю, что Овидий знал трагедию Еврипида лишь по пересказам, и, может быть, искаженным. Но смерть от вольного удара мечом кажется мне столь же мало соответствующей натуре Лаодамии, сколько характеру ее пафоса. Замечу при этом, что и для героинь Еврипида такая смерть не

была обычной: Канаке прислали меч, а Поликсену закололи; нож не достиг Ифигении, и Электра не успела воспользоваться мечом Ореста.

Во всяком случае, Лаодамии более всего подобала огненная смерть, смерть жертвы; трагический жест Эвадны[1] мог один соединить ее с мужем, хотя бы in effigie. Костер является у меня по ходу действия, и его вовсе не раскладывают, чтобы растопить восковую куклу. Может быть, так было и у Еврипида. Выходил ли на сцену Еврипида Гермес, как предположил Велькер? (Die gr. Trag. 2. Abt. 497).

Если допустить, что боги, а за ними и Еврипид, дали Протесилаю трагедии реальное существование, то психопомп с его золотой тростью был бы, конечно, только сценическим балластом, тем более что Еврипида не стесняла никакая мифическая традиция.

В трагедии, которая следует, скептический и задумчивый Гермес-созерцатель не претендует быть ничем, кроме бледного отражения своего классического собрата.

Если на богов Олимпа не распространяется закон эволюции, им суждено, по крайней мере, вырождаться.

И. А.

---

[1] Жена Капанея, которая в трагедии Еврипида «Молящие» бросилась в костер у гроба своего мужа.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

в порядке их появления на сцену

Хор — девушки, жены и вдовы.

Лаодами́я — дочь царя Акаста из Иолка в Фессалии и жена царя Иолая.

Кормилица ее — старуха.

Вестник.

Гермес.

Тень Протесилая (раньше Иолая).

Мальчик — раб.

Акаст — царь Иолка, отец Лаодамии.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Сцена представляет фасад царского дворца в Филаке (в Фессалии). На сцене никого. Раннее утро. Небо синее, но в облаках густо белых и разорванных. В воздухе осень. Перед домом большой стан с закрытой работой. У средних дверей золотая статуя Артемиды.

Женский хор за сценой.

СТРОФА 1

Мех на плечах,
Пламя в очах,
Где ты кружишь, менада?
Факел чадит,
Бубен гудит,
Сердцу любви не надо.

Звуки приближаются, изредка перебиваясь печальными и тяжелыми ударами бубна.

На орхестру спускается толпа женщин и девушек, старых и молодых. В одеждах мало нарядного и пестрого: преобладают серые и лиловые тона. Часть несет кувшины и после вступительной песни покидает орхестру. Образуются группы. Иные поднимаются на сцену и убирают цветами подножие статуи Артемиды.

В это время часть хора, одетая в короткие одежды и с кинеями на головах, поет.

АНТИСТРОФА 1

Темен покой,
Дерзкой рукой
Ложе мое не смято,
И холодна
В полночь одна,
Тенью лежу объята.

СТРОФА 2

Невесты

Группа в белом сопровождает пение мимикой.

Пена волны
Моет челны,
Море, клубясь, золотится,
Парус дрожит,
Птица кружит,
Сердце мое — та птица.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Во время строфы второго мелоса из правых дверей дворца выходит старая кормилица, простоволосая и в коричневом. Она обменивается с женщинами приветом и подходит к краю сцены.

Хор молодых жен

АНТИСТРОФА 2

Простертые руки и лица обращены в сторону моря.

Спишь или нет,
Сладок ответ
Из серебристой дали.
Нежной игры
Тира ковры
Ночью напрасно ждали.

Кормилица

(к певшим)

Росу ланит Владычица морей
Вам, нежные невесты, пусть осушит,
Пусть факелы желанные скорей
Сперва зажжет она, потом потушит.

Сцена пляски женщин. На орхестру спускается хор вдов со спущенными вуалями, у иных волосы обрезаны, у других косы распущены и иногда, свешиваясь на лицо, заменяют откинутый вуаль.

СТРОФА 3

Не политы,
Вянут цветы.
Страшны голодные осы.
И завились
И развились
Даром тяжелые косы.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Из средних дверей во время пения этой строфы выходит Лаодамия. Она высокая и тонкая, с пышными белыми косами и в белом. В линиях и движениях что-то стыдливо-девическое. Розовые локти и тонкие белые пальцы без колец. Глаза карие с розоватым отблеском.

Знаки почтения и участия в хоре. Кормилица обращается к царице лицом. Лаодамия останавливается в дверях и кланяется хору. Во время пения следующей антистрофы она делает несколько шагов по сцене, и, по ее знаку, сопровождающие ее рабыни, открыв работу, начинают налаживать ткацкий станок.

АНТИСТРОФА 3

С дальних брегов
Мне жемчугов
В нитях не путать змеистых.
Не целовать,
Не миловать
Лады волос золотистых.

Пение, по-видимому, взволновало Лаодамию: она шла работать, но остановилась и обращается то к небу, то к женщинам, простирая руки то вверх, то перед собою.

Лаодамия

Как парусов далекой синевы,
Не разогнать желанья полным словом,
Мне не дано утешить вас, увы!
Вы, бледные, и в сером, и в лиловом.

Пауза.

А как узнать — за ясной синевой,
Быть может, плач уж носится по стану...

(Тихо.)

В печальный хор с обритой головой
И я войду тогда, и тихо стану.
Но золотом еще горит игла,
За ней узор бежит гирляндой пестрой,
И даль небес передо мной светла,
. . . .
Простите мне мою надежду, сестры.

(Отходит к работе и начинает быстро и ловко водить челноком над основой, мягко отстраняя рабынь.)

После минуты молчания Кормилица тихо подходит к царице и несколько мгновений смотрит на не поднимающую от работы глаз Лаодамию.

Кормилица

Пресветлая царица и дитя
Любимое, Лаодамия, здравствуй!

Лаодамия

(поднимая голову)

Кормилица... что ж? Новостей всё нет?
Плывут они иль под стенами Трои
Раскинули шатры?.. А ведь сегодня
Четвертая луна свой круг заполнит,
С тех пор как царь уехал... бросив пир,
Невестою меня покинув думам...

Кормилица

О госпожа! Царицу от рабынь
Порою наш не отличает жребий.
Терпением повиты мы... Что делать!..
Но расскажи, что снилося тебе:
Глаза твои еще слезами полны.
Скажи: во сне ты плакала, дитя?

Лаодамия

Мне снился сон, кормилица, и солнцу
Я расскажу его... Ты знаешь: он
Не в первый раз мне грезится. Так странно —
Порвется нить, а сердце, как рабыня,
Уж новую мотает... и в один
На полотне узор свивает обе.
Я видела, что будто босиком
Я по траве иду... Такой Филака
Не видела, и в Иолке нет такой.
Густая и высокая, цветами
Лиловыми поросшая, она
Мне резала босые ноги. Свод
Над головой алел, как от пожара,
День или ночь, понять, на небесах —
Я не могла... И не было кругом
Ни дерева, ни птицы и ни тени...
Лишь человек высокий — кто он был,
Не знала я, — мне долго шлем свой тяжкий
На белые надеть старался косы
И путал их, взбивая... С головой

Я уходила в каску, было душно
И страшно мне, и кожей пахла медь.
Хотела я кричать, сопротивляться,
Но голоса не издавала грудь
И мягкие мои не гнулись руки,
И только слез горячие ручьи,
Когда проснулась я, со щек катились...

Кормилица

(после некоторой паузы)

Гадателя позвать бы... Только сон
Хорош, дитя... Ведь слезы — это к счастью...

Лаодамия

Нет, сердца дум гадателям нести
Я не хочу... Ты, бог, ты пламя утра,
Коль этот сон недоброе сулит,
Укрой его в немое лоно поля,
Иль голову утесу опали,
Или волну ударь в злаченый гребень,
Но сбереги мне Иолая... Нет
Защиты у меня и нет веселья
Без милой головы... и царский род
Я не могу одна продолжить, солнце,
Чтоб алтари богам он охранял,
Сердца жрецов пленяя жиром нежным.

(Несколько секунд молится молча, поднимая руки к солнцу, потом поворачивается, чтобы стать на работу.)

Гадателя не надо...

Кормилица

(несколько мгновений молча следит за работой Лаодамии и, рассматривая работу, покачивает головой)

Что за вид
Чудеснейший... И звезды, и луна,
И челноки какие-то, и птицы
На парусах... А это что ж? Одна
Лететь устала, видно... Иль на мачте
Ей не нашлось местечка?.. Между волн
Она трепещет крыльями... Какая
Искусница... Ведь умудрит же бог...
Вот только птица-то зачем упала?

Лаодамия

(оставила работу и бродит глазами в небе, где в это время пролетают осенние птицы)

Зачем она упала? .. Видно, так
Ей боги присудили... Иль никто
Там, думаешь, в лазурной выси, няня,
Летать и не устанет, и земли
Далекой Африканской всем достигнуть
Придется им? .. А бури? Разве бурь,
Как на море, в эфире не бывает?
Вот, может быть, которая-нибудь
Так радостно пускалась в путь сегодня,
А завтра... Нет, сегодня даже, ей
Подломит крылья ветер, или коршун
Из стаи вырвет жадный, и птенцов
Не выводить уж никогда голубке...

Пауза.

Лаодамия работает.

Лаодамия

Не выводить птенцов... А мне зачем
Ты сладкого залога не оставил,
Мой Иолай? ..
Качай я колыбель,
Я повторять теперь могла бы имя
Любимое... И, слушая меня,
Уж люди бы вокруг не улыбались,
Что с куклой я или сама с собой
Всё говорю.

Кормилица

Придет, Лаодамия,
Всему черед... Немало их потом
По именам ты назовешь... Пожалуй,
Придумывать наскучит имена...
Вот только бы Приамовой столицы
Им удалось разрушить стены... Мне
Рассказывал один купец фригийский,
Что боги им слагали их... Легко ль
Строение богов сравнять с землею? ..
Да, дерзок род царей, и никому
Таких гребней для шлема непокорных

Не выбивал кузнец, мехи вздувая,
Сам золотой в своей пещере черной...

Лаодамия

(рассеянно слушая ее)

Как думаешь... меня он не забудет?
Другой жены себе он не возьмет?
Ведь дочери Приамовы уж, верно,
Не то, что мы, лесные пташки, им
И нежные румяна шлет лидиец,
И золотые ткани, и духи.
Пожалуй, есть у них и зелье — сердце
Привязывать мужское.

Кормилица

Иль рабынь
Бояться дочь царя Акаста может?

Лаодамия

Нет, няня, нет... Я знаю, что никто
Его нежней и крепче не полюбит.
Бывало, мать печальную не раз
Я ласками смеяться заставляла,
Улыбку я сумею и царю
На строгие уста его, как кистью,
Перевести горячим поцелуем.
Я арфой в нем желанье разбужу
На нежные полюбоваться руки,
И зеркалом мне будет он, — когда
Душистые свивать начну я волны
И белые... О, горе! О, зачем
Вы, факелы, так быстро догорели?
Ты, хор, умолк так рано? И царю
Я ласковых имен шепнуть не смела?
День был как сон...

Но трепетной руки
Мне ласково не тронул царь... Вуаля
Он с розовых ланит моих не поднял
И яркий шлем надел... Мои цветы
На мягкие ковры упали грустно...

. . . .

О, женщины! О, цвет подруг моих,

Вы, белые невесты! Вы, гречанки
Со всей Эллады дивной — все, кому
Крылатые ладьи вернут ли счастье, —
Я вас молю, что б ни таила даль,
Еленами не будем мы...
И если
Обнять дано героев нам, один
Пускай огонь священный Гименея
Сжигает нас, покуда, догорев,
Под пеплом мы его не станем, девы,
Старухами седыми...
Сколько слез,
О, сколько слез в твоем безумном браке
И змей среди цветов твоих, жена
Неверная, в улыбках сколько яду...

. . . .

(Подняв глаза и руки.)

Вы ж, белые и быстрые, эфир
Рассекшие крылами.. вас молю...
Желания мои и этих горьких
Несите в даль эфирную, туда,
На берега троянские... от меди
Безжалостной пусть оградят сердца
Суровые... и нежные... и наши...

Хор

ПЕСНЯ БУБНА

Старухи

СТРОФА 1

Скованы тяжкие латы...
Что ж молот несытый гудит?
И бурое пламя чадит
Зачем, озаряя палаты?
О, нет, позабыть не могла ты,
Эллада, кровавых обид...
Иль меч на Париса еще не отбит,
Что, искрами брызжа, железо журчит
И молот кричит:
«Расплаты! Расплаты! Расплаты!..»

АНТИСТРОФА 1

Горы с зеленой дубравой
Отважный забудет стрелок,
Там долго он черных берлог
Тревожить не будет облавой;
Милее ему златоглавый
Приама высокий чертог...
Вот, веслами пеня Эгейский поток,
Помчались ахейцы, и пыл их жесток...
Туда, на восток,
«За славой! За славой! За славой!»

ПЕСНЯ ФЛЕЙТЫ

СТРОФА 2

(один женский голос)

Розовым утром
Если бы ланью я стала
Иды высокой,
Я бы Париса,
Я бы Париса красою,
Легкостью гибких движений
В чащу сманила и жаждой
Быстрого б там затомила...
Шлем потерявшего в дебрях
Я б чародея с глазами,
Полными синего блеска,
Нежной зеленой трясиной
Тихо потом засосала...

АНТИСТРОФА 2

(другой женский голос)

Если бы птицей
Сладко-певучей я стала,
В терем Елены,
Пленницы нежной,
Плакать бы я прилетала
В тихие лунные ночи,
Чтобы, очей не смыкая,
Слушала песни царица
И умирала тоскуя,

Чтобы хотелось ей страшно
Дочку увидеть и мужа,
Гулкую белую залу
И тростники на Евроте.

ПЕСНЯ АРФЫ

СТРОФА 3

Синевою небес пролетая,
Бог далекой земли,
Ты Парису лелеял зачем корабли,
Бог далекой земли?
Белый Аргос и Спарта златая
Нежной дивы таить не могли, —
Унесла ее белая стая —
С ней не волей ли Зевса свитая?
Лель... лели...
Розовея, дымятся угли,
Облака разбегаются, тая,
Гименея, о дева, моли...

АНТИСТРОФА 3

Златокудрое Зевсово чадо
Цепи роз обвили,
Пока луч, отдыхая, в пыли
Цепи роз обвили...
Убежала, рыдая, менада...
А когда тени ночи легли,
Не горела в огнях колоннада,
О, не надо Париса... не надо...
Лель-лели!..
Розовея, дымятся угли,
Голубая мерцает лампада,
Гименея, о дева, моли...

Корифей

Оставьте петь... Я вижу вдалеке,
Там облако... но только не на небе...

Молчание.

Женщины вглядываются вдаль, по направлению пальца Корифея.

Первый парастат
(к Лаодамии)

Там облако, царица... и в движеньи...

Лаодамия
(тоже смотрит)

Да, облако... я вижу — это пыль...

Кормилица

Я видела давно, что стадо гонят.

Второй парастат

Твои глаза не зорки... Погляди:
Уж радужной просвечивает дымкой
Пыль серая... Где ж видишь ты овец?

Одна из женщин

Смотри — вот конь... а вот и всадник...
Видишь?
Царица, к нам гонец...

Другая

Его коня
Уж приняли... Идет он, окруженный,
Не разобрать лица.

Лаодамия

Откуда он?
И что несет? О сердце!.. Колотиться
Не надо так... Или одна я жду
Его вестей?.. Как шаг его неровен!
Он кажется смущенным... О, зачем
Сомнения? Уж вот он! Он не мрачен,
Не в трауре.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и вестник с моря.

Он имеет утомленный, обветренный и запыленный вид; на лбу рубец, рука завязана, шлема нет.

Лаодамия
(к входящему вестнику)

Привет тебе, посол,
А если ты из Трои, и награда.

Вестник

Державная царица... Я из Трои.

Лаодамия

И наша рать?

Вестник

Осада началась.

Лаодамия

Сражения дружины Иолая
Не видели еще?..

Вестник

Оно царя
Филейского венчало вечной славой...

Лаодамия

Хвала богам и родине! А мне
Какое счастие!.. О, мой избранник!
Но воины?..

Вестник

(с некоторым усилием)

Мы счастливы: пока
Детей Филаки гибель не коснулась...

Радостные восклицания в хоре.

Лаодамия

Но начал ты про славу... Расскажи
Подробнее...

Вестник

Ахейские триэры
Задержаны стояли под Авлидой.
Безветрие сковало...

Лаодамия

Это мы
Уж слышали... Про смерть Ифигени́и
И брак ее обманный вести к нам
Давно пришли. Рассказывай о Трое...
И о вожде дружин.

Вестник

У берегов
Уж корабли ахейские толпились,
А нас еще кружило море... Путь
Последний труден был — волна нас била,
И парусам оранжевым царя
Тяжелая борьба досталась. Якорь
Был брошен наконец. Но меж вождей
Ахейских спор застали мы... С Авлиды
Раздоры шли... А тут еще беда,
Гадателем прочтенная на жертвах,
Прибавилась, — и злобились цари,
И печени от желчи черной пухли:
Им объявил гадатель, что тому
Убитым быть, кто первый землю вражью
Бесстрашною стопою оскорбит...
И не хотел никто быть больше первым,
Сопернику соперник уступал

. . . .

О дочь царей... О нежная подруга
Славнейшего из греков... Ты дрожишь?

Лаодамия

Ты говорил о славе Иолая?..

Вестник

О, госпожа!..

Лаодамия

Он был там? Говори...

Вестник

Дозволишь ли?

Лаодамия

Он вынул страшный жребий?

Вестник

Нет, жребия наш царь не вынимал,
Но он не снес глумления троянцев
И дал нам знак... Он первый победил.

Лаодамия

Я слов твоих не понимаю, вестник...
О, не спеши... Еще надежда есть...
Я слушаю... Он жив еще?

Вестник

Царица!
Обуза зол твоих так тяжела...
. . . .
Царь умер, и его похоронили.

Вопли в хоре. Лаодамия стоит вся белая. Вопли, не поддержанные ею, как-то неловко обрываются. Воцаряется продолжительное и полное молчание.

Лаодамия

Не может быть... Опомнись — наш ли ты?
Он здешний ли, скажите мне.

Смущенное молчание.

Ошибся
Ты, вестник, я с тобой и незнакома.
Ты не был там с царем?..
О, отвечай.

Вестник

Протесилай, мой повелитель, умер...

Лаодамия

Как ты сказал? Как назвал ты вождя?

Вестник

Нет, бедная царица, то ахейцы,
Не мы, его дружина, в похвалу
Царево имя заменили новым:
Протесилай.

Лаодамия

Протесилай... А кто ж
Жене отдаст... отчизне... Иолая?

Вестник

Протесилай — за то, что первый он
На вражеский вступил бесстрашно берег.

Лаодамия

Мне всё равно, как на́звали его, —
Как вы его убийцам отдавали?

Вестник

Противиться не смели мы...

Лаодамия

Его
Зачем не умолили? Или старых,
Иль опытных меж вами не нашлось?
А что ж Атрид? А жребий? А другие?
Нет, нет... и ты не в трауре... Зачем
Ты шутишь так жестоко... Или ты
Сюда привез его для погребенья?
Что говорю? Живого? Может быть,
Лишь ранен он? Ведь если, вслед за мужем,
Ты говоришь — другие вышли все,
Так как же вы его не отстояли?
И кто ж его ударом поразил?
Чей меч доспех разбил ему? Дай имя!
Смущен ты? Ты молчишь?

. . . .

Вестник

Что я скажу?

Лаодамия

Что ты шутил... Не может быть, ты бредиш
Твое лицо так красно, и глаза
Твои как у больного... Или можешь
Ты дать мне знак какой-нибудь? Тебе
Иначе как поверю?

Вестник

Я б подробней
Пересказал весь бой... Но всё равно
Ты скажешь, что я выдумал...

Лаодамия

Еще бы!
И кто ж послал тебя? Команду кто
После царя над нашим войском принял?

И где ж твоя табличка, если сам
Тебя в послы начальник выбрал новый?

Вестник молчит потупившись.

Лаодамия

Ты, может быть, беглец? Ты изменил?
Ты волновать народ сюда явился?..

Вестник

(тихо и мрачно)

Обратный путь был труден... Буря нас
Трепала, и едва я спасся... Было
Письмо... оно в волнах... Но я не лжец.
Увы! Когда бы точно лгал я...

Пауза.

Лаодамия

Вестник!
Прости меня! Да, может быть, ты прав...
Несчастье мне рассудок ослепило,
Как яркий свет сову слепит... Солгать
Не мог посол и храбрый сын Филаки...
Шутить? О нет! он не жесток — своей
Царицы он бы пожалел. Не болен
Ты также — речь твоя разумна, вестник.
О, я молю тебя... О чем?.. сама
Не знаю я... Скажи, что сон, который
Я видела недавно, длится... Нет...
Что это правда... Нет... Что брежу я...
Что бредишь ты... Постой...
Я всё стерплю!
Не перебью тебя, всему поверю...
Скажи мне: там, когда кончался он,
Он что-нибудь сказать велел... домашним,
Жене... и как? Как умер он?.. Страдал?
Метался он? или спокойно умер?
А та рука, которая ему
Разрезала на нежной шее жилу,
Она еще и носит меч и жертвы
Приносит и вздымается к богам?
Или ее вы обрубили тут же?
Всё говори... Я слушаю, посол...
В какой хитон одет он был?

Вестник

В лиловый...

Да,
кажется...

Кормилица

(тихо)

Лиловые поля.

Лаодамия

Молчи...

Вестник

Когда толпой на берег вражий
Мы хлынули, Калхантовы слова
Нам баснею казались... белогривый
И яркий шлем царя, как бастион,
Над нашею толпой вздымался гордо,
И робкие троянские стрелки
От по́ножей, не знаю, светлых, что ли,
Иль тяжкого отхлынули меча...
На кораблях меж тем пэан победный
Уже звучал... и, славой опьянен,
Соперника искал наш царь... Всё дальше
Он уходил, и не могли за ним
Дружинники поспеть... Вот на минуту
Из глаз его я выпустил — ряды
Троянские уж снова пополнялись —
Вдруг слышу гул — и прямо на царя
Несется колесница. Было трудно
Пробиться нам... Когда же наконец
Глазам моим открылся он... возница
Едва держал взбешенных кобылиц,
А около... огромный, вождь, конечно,
Из сыновей Приама кто-нибудь,
Боролся с Иолаем — копья были
Уж сломаны, и царское копье
Попало в пристяжную... Кобылицы
Метались в пене дико... А мечи
Разбитые валялись бесполезно...
И долго шла безмолвная борьба,
Но берег был далеко... И не видно

Его ахейцам было. С чем бы мы
Пошли к царю?.. А крики лишь троянцев
Собрали бы... От ужаса и горя
Мы молча умирали... Наконец
Послышалось проклятье... и со стоном
Царь падает на землю, за собой
Троянского героя увлекая...
И долго там они в траве густой,
Как нежные щенки порой играя,
Катались... хрип, и треск, и стон стоял...
Но бой решил троянский витязь... вожжи
Он бросил наконец, и четверня
Взбешенная умчалась. Безоружен,
К товарищу он поспешил... И шлем
Тяжелый и косматый опустился
На голову царя... И брызнул мозг,
И кровь потоком алым залепила
Глаза борцу... О, горе... горе нам!..
Почившему ж — и слезный дар, и слава!
Он ничего пред смертью не сказал,
И, жив иль нет убийца, я не знаю...
С трудом мы тело царское тогда
На корабли доставили... И больше
Не знаю ничего я... Сам не царь,
Но и лжецом, хоть низок родом, тоже
Я не бывал... Избавь и похорон
Описывать не заставляй подробно:
Я вытерпел довольно.

Лаодамия

Ты сказал
Всё, что умел... Не буду мучить больше
Тебя, солдат... Ты мне оставил тень
Надежды... Я тебя... благословляю.
Но, может быть, нашел ты что-нибудь,
Что было с ним... Какую-нибудь память.

Вестник

(вынимает печать)

В щите его нашли мы эту вещь
Привязанной ремнем... Возьми, царица.

Вопли в хоре.

Лаодамия

Его печать... да, да... его печать —
Благодарю... ну отдохни, оправься,
Будь гостем здесь...

Вестник молча и потупившись уходит.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же без вестника.

Кормилица

Осмелюсь, госпожа...
Прикажешь ли?

Лаодамия

Чего ты просишь, няня?..

Кормилица

Рабынь обрить... Убрать ковры и пурпур...
И лошадям подрезать гривы... Плач
Приличен был бы, кажется.

Лаодамия

Успеем...
Известия так смутны...

Кормилица

Но народ
Поднимет он... Не примешь ли старейшин?

Лаодамия

(молча отходит к средней двери, потом останавливается)

Ты скажешь им, что ничего пока
Мы верного не знаем. Этот бедный,
Измученный солдат один за всех:
И вестник, и свидетель, и порука...
Да, ночь вокруг темнее что ни миг,
Но горю я не сдамся, как ребенок,
Как девочка больная иль рабыня...
Никто за мной пусть не идет... Себя
Я не убью... Не бойтесь... Но не плакать...

Пожалуйста, не плакать...
Да, цветы
Лиловые... Тяжелый шлем... О ночь!
Как ты темна, темна и бесконечна.

Уходит в среднюю дверь. Кормилица следом, но в дверь налево.

ПЕРВЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНТРАКТ

РЕЧИТАТИВ

Первый голос

Горе... о, горе!.. кого,
Кого я оплачу?..
Мертвого или живую?..
Мертвый, он там, зарыт иль сожжен,
И не оплакан.
Здесь живая — безумна...
Горе, о горе! Зачем
В ней погасило огонь ты,
Чистый и нежный огонь
Разумной души?..
Если умрет человек,
Душа на могиле
В темную ночь
Пламенем синим мерцает...
Но у безумного нет
Света в душе —
Холодно там и темно.
И одни только тени,
Как ночью черные тучи,
Плывут и дымятся...

Второй голос

Сердце мое —
Точно осеннее солнце
Меж тучей и тучей,
Точно осеннее небо оно
Над морем лиловым,
Где гребни белее
Нагорного снега,
От бури до бури

. . . .

Или ей боги открыли,
    Точно, царице,
То, что для нас сокровенно?
        Или умерший,
    Точно, не умер
        Для Лаодамии?
Горе... о, горе... кого,
    Кого я оплачу?
Мертвого или живую?

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Хор и Кормилица (из левых дверей).

Кормилица

Тс... Тише... Тише, женщины... Она
Уснула, кажется...

Корифей

А бред ее? всё длится?
Душа темна всё так же?.. Или слез
Пролился дождь? и солнце показалось?..
О, не таи... Ты видела ее,
Не правда ли?

Кормилица

Неужто ж так оставить?
Нежнее сна, лукавее змеи
И комара назойливей я стала,
И старину сегодня довелось
Сквозь слезы мне припомнить... Больше часу
Меж пеплосов развешанных, как моль,
Таилась я... тоска мне сердце грызла,
И не глядят глаза мои от слез,
От темноты ль...
Мы с ней, бывало, в прятки
Играли так... «Ну, няня, прячься»... Вот
Я и стою в углу, — а эта крошка
Уж что-нибудь иголкой мастерит,

Иль с куклою играет... На *игру*
Смотрела я сегодня *тоже*, только
Игра была печальная...

Корифей

Скажи,
О женщина, яснее: точно разум
Ее погас?.. Иль это только горе
С ее душой играет?

Кормилица

Как узнать?
Ты знаешь ли, что делала царица?
Ты думаешь: молилась? Иль слезам
Вдали от глаз свободно отдавалась?
Иль, может быть, гадала, чтоб богов
Решение проверить?.. Нет, она
Со статуей играла, точно с куклой,
Но тихо и серьезно, как больной
Иль матерью оставленный ребенок.
Я статуи подобной никогда,
О женщины, не видела... конечно,
Из воска лил мудрец ее... живым
Казался муж... и локоны, и панцирь
Весь из колец, и поножи... Футляр
Со статуи так бережно царица
Сперва сняла, — отделан кипарисом
И бронзой был богато он... Потом,
Обняв ее подножие рукою,
Шептать ей стала что-то... Кто бы мог
Пересказать слова, которым губы
У матери, качающей ребенка,
Бывают отданы, иль девушки, когда
Застанете ее вы на закате
Мечтающей?.. Улыбка, дрожь, слеза —
Как золото, а щеки — меловые...
Так с куклою царица в тишине,
К ее ногам прильнув щекою нежной,
Мечтательно и робко говорила...
Пред ней потом кошницею цветы
Рассыпала душистые и, взявши
Курильницу, насытила кругом

Каким-то сладким ароматом воздух...
И мне казалось даже, словно с губ
Царицыных, цикады осторожней,
Мелодия слетела... Но как будто
Она кого боялась разбудить.
К губам свой белый палец приложив,
Царица замолчала...
И другою
Сменилася игра, еще чудней:
Два фароса — оранжевый и нитью
Лиловою расшитый — отобрав,
Их примерять старательно на куклу
Царица стала... Было и смешно,
И грустно... и от смеху ядовитей
Текли из глаз и жгли мне кожу слезы.
Так первенцу любимому порой,
Малютке, мать наряды выбирает.
То в желтое оденет, то белей
Закутает невесты... и глядит,
И, шпильки позабыв меж губ, смеется...
Но кончилась игра, и на постель,
С украшенной забавы не спуская
Влюбленных глаз, царица прилегла,
А я тихонько вышла, не придет ли
Целитель сон к горячей голове...
Но чу... шаги... она... Лаодамия.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же и Лаодамия с распущенными косами, всё еще в белом.

Лаодамия

Минута сна... И точно нежный бог
Своим крылом... благоуханно-белым
Обвеял изголовье... Грудь полна
Несознанных желаний...

(К солнцу.)

О светило
Жестокое и жаркое! зачем
Мои мечты ты топишь, точно крылья

Надменного царя?.. Тот нежный бог,
Их навевая сердцу, улыбался...
Иль боги лгут? Или недуг один
Рождает в нас надежду и желанье?..
Эфир... пустой эфир, и так тяжел...
Иль ваша правда, люди, только в муках

(Кормилице, видя ее слезы.)

Ты, старая, что́ плачешь? Разве я
Уж так жалка? А если вести ложны?..

Кормилица

Дитя мое! Прости мне... Но богов
Ты, кажется, забыла...

Лаодамия

О, помедлим
Хоть эту ночь еще...

Кормилица

А если царь
Пред медными дверьми — твоих молений
И жертвы ждет... И тяжело ему,
Как путнику усталому, который
Не вымолит ночлега?..

Корифей

Преклонись
Перед судьбой, царица, раб не бредил,
Он вырос здесь, он верен был царям.
Ужель тебя такой посол обманет?
О, не теряй мгновений — каждый шаг
Седого старика над головою
Приносит забытье... Зачем одна
Ты, гордая, его услуг не хочешь?..
В утеху нам и слезы рождены...
И долгие молитвы... Надо только
Смиренно раньше выпить чашу — пусть
Она горька, ее мешали боги...

Пауза.

Лаодамия

Не знаю, что сказать вам...
Я слова
Ужасные глубоко затаила,
И, точно туча, сердце у меня
От капель слез разбухло и чернеет...
Но луч за ней еще горит.
Зачем
Я буду звать грозу! Дождемся утра...
Два сердца... две любви перед судьбой
Склоняются теперь и тихо молят...
Не будем им мешать... Я не найду
Разумных слов... Но я желать умею...

Корифей

Ты чуда ждешь?

Лаодамия

Не знаю... Пусть для вас
Безумною останусь я и грешной,
Я брака жду сегодня... в эту ночь,
Иль смерти... я не знаю. Ум мой темен,
Но Иолай придет — он обещал...

Солнце закатывается... Последние бледные сумерки.

О жены, о невесты... все желайте!
Вы, вдовы, слез подруги, все со мной
Зовите ночь желаньем... Крылья бога
Меня сейчас обвеяли... Он жив...
В моей груди горит его желанье...
О тени... вас зову я... всею вас
Зову я кровью сердца... и биеньем
Зову вас сердца каждым... Этот свод
Скорее погасите... Дайте слышать,
Чего не слышит ухо, и глазам
Неясное откройте сердцу, тени...
Сном наяву. . сойди, царица ночь,
И окрыли мои мольбы, царица.

(Уходит.)

Хор

Замолкли колеса светила...
Холодная пала роса,
И синяя ночь распустила
Над миром свои паруса...
Далекие нежные волны
Обвиты ее пеленой...
И к югу волна за волной
Уносит крылатые челны...
Но флот ее царственный тих:
Во мраке триэры слилися,
И только на мачтах у них,
Как факелы, звезды зажглися,
А в полночь, прорвав пелену,
Всех ярче звезда загорится:
На щит золотую луну
Над миром поднимет царица.

Первый голос

За тьмой и светом,
Среди эфира,
Который глаз
Ничьих не нежил...
Есть тихий берег...
Туда мечтою
Теперь лечу я...
Там два чертога
И две царевны.
И старшей имя
Царевны — Ночь,
Другая дева
Зовется Смертью.
С черною раной
На шее белой
Там моя радость
В мраморной зале
Спит и не грезит...
Девы не любят,
Только ревнивы:
Милого друга

Жарким моленьям
Не отдадут
Страшные сестры:
Одна с косою
Белой, как сумрак
Влажной долины
Перед рассветом;
Другая с черной,
Душной косою,
С грудью, что снега
Высей белее
И холоднее;
Друга желанью
Страшные сестры
Не отдадут
В час, когда дышит
Небо любовью,
И растворился
Белый цветок
Пурпурной чашей...

Другой голос

(арфа)

Нет сил желать... Крыло мечты
Разбито медною стеною;
Лазурной тенью залиты,
Там не доступны кущи зною...
Там девы бледные персты
Тому, кого уж нет со мною,
Свивают черные цветы,
Осеребренные луною...
Нет сил желать... Крыло мечты
Разбито медною стеною.

Плач.

Третий голос

(мелодекламация)

О, грустные аккорды... О, листы
Пурпурные, но тяжкие разлуки!..
В груди горит желание... а ты
Рвешь волосы... Дрожа ломаешь руки...

Не из любви ль у соловья свиты
Его легенд чарующие звуки?
Не молят ли душистые цветы,
Полны любви, луны и сладкой муки?
Из скольких глаз, со скольких нежных лир
Желания теперь струятся волны...
О, если бы один волшебный мир
Из них создать могла я, прошлым полный..

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Лаодамия

Какая тишь и тьма... Ни зги вокруг...
Сейчас луна взойдет... В чертоге пусто...
Там и молиться жутко даже... с вами
Хочу побыть опять...

Луна.

О дева, дочь
Невинная Кронида, из колчана
Злаченого серебряные я
Твои благословляю стрелы, здравствуй...

Кормилица
(выходя за ней следом)

Царица, ждет постель тебя.

Лаодамия

На ней
И холодно, и страшно мне.

Кормилица

С тобою
Я лягу, если хочешь...

Лаодамия

Подождем:
День был жесток и страшен. Может быть,
Добрее ночь. Мои напрасно губы
Молитву повторяли...

Я дрожу...
Я не пойму, надеждой иль тоскою
Кровь движется, и мне в виски стучит,
И синие мои вздувает жилы...
О тени, я... звала вас... а теперь
Мне страшно вас увидеть... Что там, няня,
За деревом?..

Кормилица

Другое, госпожа.

Лаодамия

А это что? Шаги... Иль только сердце
Мое стучит?..
Да, сердце... Как дитя
Я делаюсь.
Боюсь сказать, но близко
Решение... Я чувствую: глаза судьбы
На мне остановились... Тс... Идут...

Полная тишина.

Корифей

(не поднимаясь)

Действительно шаги... И будто голос...

Кормилица

Да, чей-то шаг, но женский иль мужской,
Не разобрать... и сколько ног, не слышу...
Не лошадь ли?.. Звонки как будто...

Корифей

(вставая)

Нет:
Шаг — и мужской... а с ним как будто тихий
Слился не шаг, а шорох... Точно мышь
Летучая меж веток... Вот и глаз
Идущих различает... Странно — двое...

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Те же, Гермес и тень Протесилая.

Набегает туча. Лиц не видно. Оба в длинных плащах. Протесилай в шлеме. Гермес в фетре.

Гермес

(точно не замечая Лаодамии; к хору)

О женщины! Привет вам... Труден путь
Усталому, и дверь ему милее
Любимых глаз, когда весь день, как мы,
Меж золотых шагал он нив, по пыли...
Чей это дом? И дома ль царь? Цари
Владеют им, конечно... Селянину
Таких колонн не снилось...

Корифей

И от нас
Тебе привет, прохожий... Вот царица...

Гермес

(с поклоном к Лаодамии, которая пристально всматривается в его спутника)

Владычица Фессалии... Гостям
Найдется ли в твоих чертогах угол?..
В походе царь, конечно... Иолай...

Лаодамия вздрагивает.

Так, кажется? Ведь мы в Филаке? Правда?

Лаодамия

(справившись с собой)

Наш путников еще высокий дом
Не прогонял. Рабы сейчас проводят
В палату вас... и, пыль пути отмыв,
Вы вкусите отрадной пищи... Вам
Фракийское вино поправит силы
И призовет на ваши вежды сон...
Но женщине простите, не царице...
Душа горит узнать, откуда вы,
Не слышали ль вестей из Илиона?
Узнали вы Филаку... Разве здесь
Когда-нибудь вы были уж?

Гермес

Царица,
Имен у нас немало... И любой
Тебе назвать я мог бы город... Храмы
Мои везде... И шаг мой окрылен,
А нектаром меня поила Майя.

Лаодамия

Гермес... О бог... Ко мне ты?.. А с тобой?

Корифей

О, диво див... бессмертные... О, чудо!
Прости нас, путник дивный.

Лаодамия
(делая несколько шагов)

Не обман?
Ты не мираж?.. А это кто же?

(Быстро подходит к другому и старается разглядеть лицо.)

Гермес

Гей!
Сестра, чего не светишь?

Выходит полная луна.

Лаодамия

Ай... что вижу?
Ты?.. Ты?..

(Склоняется к его ногам.)

Но что ж — молчит он? О Гермес,
О добрый бог... скажи, что я не брежу,
Что, точно, ты привел царя... Его
Окованы уста зачем? Он слышит?
Скажи, Гермес! Иль это только сон,
Полночный сон из дум моих?.. О милый,
Дай руку мне... И назови меня
Своей женой.

Тень Протесилая
(глухо, протягивая руку)

Моя Лаодамия...

Лаодамия

Кормилица, ты слышишь?

Кормилица

Как во сне,
Он говорит... О силы неба... Сжальтесь
Над бедной... И жестокою игрой
Царице вы не надрывайте сердца,
Бессмертные...

Лаодамия тихо целует руку мужа и выпускает ее.

Тень

Моя Лаодамия...

Лаодамия

Ты болен, царь. Ты ранен... О, позволь
Омыть твои запекшиеся раны,
Пойдем со мною в дом наш... Ты устал...
О милые рабыни! Посветите...
Ты ж на мое плечо, мой Иолай,
Не правда ль, обопрешься?.. Сколько силы,
О, сколько сил я чувствую... Пойдем,
Тебе сказать должна я много... Сердце,
Не разорвись от счастья... Погоди
Считать свои минуты, время... Вестник
Из Трои был здесь... Только бредил он.
Но бледен ты... Ты хочешь сесть?

Тень

(снимая шлем)

Мне душно.

Лаодамия

Повязкою покрыта голова
Твоя, о Иолай... Такой повязки
Переменить мы не сумеем... Чем
Ты ранен, царь?

(Поддерживая его.)

Твое прикосновенье
Мне так легко... Ты, верно, похудел,
Иль сил в руках прибавилось?.. Но только
Не чувствую тебя почти я...

Тень

Мне
Мои одежды тяжки... Воздух тяжек...

(Сбрасывает плащ — и остается в лиловом хитоне.)

Я умолил богов, чтоб Илион
Позволили оставить, и с тобой
Пробуду до рассвета... Я хочу
Свои чертоги видеть и тихонько
Тебе сказать слова любви... Войдем.

(Входят в дом с факелами и рабынями.)

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Гермес, Кормилица и хор.

Гермес

Два-три часа даны ему, и должен
Ударами я возвещать их... Срок
Положен для свиданья.

Кормилица

О бессмертный!
Коли тебя спросить я смею, царь
Останется?

Гермес

Нет, женщина.

Кормилица

Куда же
Ты поведешь его теперь? Для ран
Покой и врач нужны, а не далекий
И трудный путь.

Гермес

Он будет дома. Есть
Покойный дом у Иолая. Солнца
В том доме нет, там сумерки царят...

Кормилица

(тихо и с усилием)

Ты мертвого привел?

Гермес

Да, царь уж умер...

Кормилица

Увы! Увы! Оплаканный, прими
Еще слезу, и тайную опять!

В хоре начинаются вопли.

Гермес

(останавливая женщин жестом)

Нет, женщины, не плачьте.
Этим смертным
Отрадный дан обман, и три часа
Царь вымолил себе у полунощных
Властителей. Пусть сердце усладит
Лобзанием бесплодным он. И слезы
На бледные ланиты упадут,
Но брака не тревожьте...

(Ударяет в дверь один раз.)

Первый час!..

Корифей

О Майи сын, должна ль узнать царица,
Что гость ее уж умер, или ей
Оставишь ты хоть луч надежды, Гермий?

Гермес

Она должна узнать всю правду...

Корифей

Кто ж,
Кто скажет ей? Ты сердце разрываешь...
Не пережить ей этого, Гермес...

Гермес

О женщина, что значат ваши слезы
Пред муками богов? Слыхала ль ты
Когда о Прометее? Поколенья
Сменялись тридцать раз — и в тридцать раз,
Чем тридцать больше, роща риз зеленых
Переменить успела, а титан

Прикованный висел, и коршун печень
Выклевывал ему, но что ни день,
Она для клюва кровью набухала...
А Иксион бессмертный?.. А Сизиф?..
А Та́нтал?.. — все они еще страдают...
Увы, жена... Я видел столько мук,
Что жалости не стало б места в сердце.
Утешится вдова или умрет,
Что значит лист — опавший иль на ветке
До времени живой, дрожащий лист?

Корифей

О, жребий твой невесел, бог... Ты мертвых
Пасешь, Гермес... Так говорят у нас.

Гермес

Да, женщина, и стадо мертвых грустно...
. . . .
И если в нем есть сын и мать, не дам
Я матери обнять ее ребенка,
И сын ее испуганно бежит...
Но мертвые послушны в общем... Любят
Они покой... воспоминанья им
Приятней разговора...

Корифей

Ужас! Ужас!

Гермес

Но всё сама узнаешь ты, когда
Коснется трость тебя златая...

Корифей

Ужас!

(Заметив движение Гермеса.)

Ты хочешь вновь стучать... Неужто час
Еще прошел, Гермес?

Гермес

(стучит два раза)

Для них минутой
Свиданья час проходит — всё равно...

Корифей

О бог, ужель страданья наши точно
Для вас игра?
А жертвы? А мольбы?

Гермес

Они нужны, но вам... Свободны боги,
И этот мир, о женщины, для нас —
Раскрытая страница книги, только...

Корифей

Живете ж вы, небесные, тогда,
О Гермий, чем? Пирами и любовью?

Гермес

О нет! Пиры нам скучны, как и вам,
Иль тем из вас, кто мудр, а пир Эрота
Нас тешит очень редко...
На пиру
За свитком мы. Нам интересен пестрый
И шумный мир. Он ноты нам дает
Для музыки и краски для картины:
В нем атомы второго бытия...
И каждый миг, и каждый камень в поле,
И каждая угасшая душа,
Когда свою она мне шепчет повесть,
Мне расширяет мир... И вечно нов
Бессмертному он будет...
А потом,
Когда веков минует тьма и стану
Я мраморным и позабытым богом,
Не пощажен дождями, где-нибудь
На севере, у варваров, в аллее
Запущенной и темной, иногда
В ночь белую или июльский полдень,
Сон отряхнув с померкших глаз, цветку
Я улыбнусь или влюбленной деве,
Иль вдохновлю поэта красотой
Задумчивой забвенья...

Три стука.

Но пора...
И третий час прошел... Довольно, дети...

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Из дверей идут **Протесилай** и **Лаодамия**.

Корифей

О, горький вид... Скорее проходи,
Ужасная минута... За тобою
Другие легче будут... Как он бледен...
А у нее пылают щеки... О,
Филейского ужасный дома жребий!
Ее глаза блистают... ты, обман
Божественный! ты, брак холодно-лунный!

Лаодамия

Тебя война зовет, властитель мой?

Протесилай

Бессмертные зовут меня.

Лаодамия

Но утра
Ты, может быть, дождешься... До зари
Недалеко уж... Сном не освежился
Ты, Иолай... А холодно. И путь
Далек, и камни на дороге горной
Сливаются с туманом...

Протесилай

Плащ и шлем!

(Одевается, принимая плащ и шлем из рук рабынь.)

Мне тяжела разлука... но простимся
Скорей... Луна бледнеет, и восток
Уж побелеть готов...

Лаодамия

Твой голос глуше,
Чем был... Боюсь — не выдержишь пути.

Гермес

Царь, торопись — последние минуты...

Лаодамия
(оставляя мужа, к Гермесу)

О Майи сын, пощады! Если мать
Ты нежную любил... Я грудью Майи
Тебя, о бог, молю... Оставь царя
Со мною... Он так слаб и бледен, рана
Его горит.. и стынет кровь от мук.

Гермес

О женщина! .. Ты просишь не о том,
Что могут дать тебе Кронид и Гермий.

Лаодамия

Не может дать Кронид... Кого ж тогда
Мне умолять?

Гермес

Неумолимы двери
Аидовы, царица...

Лаодамия

Говоришь
В насмешку ты или шутя, крылатый?

Гермес

О нет, жена, — нет силы воротить
Умершего сиянью солнца.

Лаодамия

Умер?
Ты говоришь, он умер?

Гермес

И давно...

Лаодамия
(бросается к Иолаю, тот отодвигается. Немая сцена)

Ты не мертвец? .. О, отчего не хочешь
К моей груди прижаться? И колен
Мне не даешь своих коснуться... Губы
Твои без слов шевелятся. Скользишь

Ты по земле, как тень... Ты мертвый... точно?
Тебе, о царь, и больше никому
Я не поверю...

Протесилай утвердительно кивает головой.

Лаодамия

Собери дыханье
Последнее... Как ты убит и точно ль
Засыпан ты землею?

Протесилай снимает шлем и делает жест удара.

Вопли в хоре.

Протесилай
(с усилием, глухо)

Да... землей...

(Губы его шевелятся без звука.)

Лаодамия

О, если так мучительно.. Не надо.
Я буду на тебя глядеть... Глаза
Тобою я насы́щу... Нет, насытить
Нельзя тобою глаз... Когда ж опять
Увидимся... Придешь ты?

Тень кивает отрицательно.

Лаодамия

Нет?.. О Гермий,
Еще одну минуту... До него
Коснись и дай сказать ему.. Покойно ль
Ему в чертогах новых?.. Кто с ним?

Гермес касается до Протесилая жезлом.

Протесилай

О...
Не шевели ужасных теней.. Вечно
Я с ними буду... Черви на ногах
Людей... Как пауки, и медленны и серы
Во всех углах. И серый дом... И ночь...
И ночь вокруг, как день без солнца... Губы
Беззвучные... Шаги как шорох.

Лаодамия

Звук
Твоих речей ласкает сердце... Там бы
Меня узнал, любимый, ты иль нет?
Прийти к тебе?

Протесилай

Оплачь меня. Но рук
И уст моих не прикасайся больше...
Не вижу я, чуть слышу... Сладкий дух...
О, дом... о, мир... Побудь со мною, радость...
Но день идет... Расходится состав
Моих костей.

(С усилием.)

Моя Лаодамия...

Гермес снова касается до Протесилая тростью — и он становится недвижим и беззвучен.

Лаодамия

(тихо)

Похоронить не дашь его, о бог?

Гермес

Совсем дитя ты, кажется... Иль хочешь,
Чтоб, не дойдя до дерева, как тень
От ветви, он растаял... Вестник утра
Уж прокричал...
Идем, товарищ... Ты ж
Почти его слезой и возлияньем.
Вам, женщинам, отрадна и печаль,
Согретая любовью. До свиданья.

Протесилай и Гермес скрываются.

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Лаодамия, Кормилица и хор.

Лаодамия

Ушли... они ушли... Вот и шагов
Не слышно уж. И ты с улыбкой бледной
Уходишь, ночь, за ними... День и жизнь
Сейчас опять начнутся...О, покуда

Еще обманы живы, мрак, обвей
В чертоге мне глаза и сердце.
Дева,
Помедли выходить... Пускай Тифон,
Согрет тобой, еще отрадно дремлет.
Счастливому любовью сладок сон.

Уходит. За ней Кормилица.

ТРЕТИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНТРАКТ

1

Медленные движения по орхестре.

Айлинон... Айлинон... Между колонн
Тени мешаются, тая.
Черен смычок твой, о Феб Аполлон,
Скрипка зачем золотая?
О, для чего же раздумьем, как сон,
Черным и нежным свита я?
Лучше б померкший вокруг небосклон
Молнии рвали, блистая.
Айлинон... Айлинон... между колонн
Тени мешаются, тая.

2

(С мимикой)

Развейтесь косы.
Падите, росы
Из тучи черной!
Увит цветами,
Стань лоскутами,
Вуаль узорный!
Ты ж, к изголовью
Залитой кровью
Прильнув щекою,
В тоске бесслезной
И ночью звездной
Не знай покою.
Дай ей забвенья, о Феб Аполлон —
Думами с нею в дому я...
Айлинон... Айлинон! Между колонн
День или ночь, не пойму я...

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Из левых дверей дома выходит мальчик-раб, оживленный, трудно понять — радостно или печально взволнованный, он обращается к хору.

Мальчик

О женщины!.. Беда у нас... и срам
Неслыханный.

Корифей

Ты грустно начинаешь...

Мальчик

Я каждый день к царице по утрам
Ношу цветы и воду, как ты знаешь.
Сегодня, роз нарвав, сперва червей
Я с листьев снял... Под осень лист узорный...
Вхожу в чертог...
Лицо себе обвей,
Коль покраснеть боишься. О, позорный,
О, горький вид... То и рабу тяжел...

Корифей

Или в покой без спросу ты вошел?

Мальчик

Вот то-то нет... Я о себе ударом,
Как и всегда, царицу известил,

Но до сих пор стоял бы, верно, даром,
Когда б сам бог пути не осветил...
Оттуда луч к дверной пробился щели,
А я к лучу...

Корифей

И что ж ты увидал?

Мальчик

Увитый жезл и розовый фиал

. . . .

И не одну царицу на постели.

Корифей

Гекатою клянусь: ты всё солгал.

Мальчик

С царицею на ложе гость лежал, —
Как шишке мне пускай висеть на ели...

Корифей

О, скольких змей лишил ты речью жал...

Мальчик

Иль я один... Рабыни подоспели:
Спроси рабынь, весь дом перевидал:
Увитый жезл и розовый фиал,
И не одну царицу на постели...
И город, чай, уж вести облетели.

(Скрывается.)

Корифей

О, тяжкое сомненье! Что придумать?
Безумия припадок? Может быть,
Насилие? Но ризы Диониса?..
Она кричать бы стала... Кто же в дом
Проникнуть мог? Иль мертвые воскресли?

. . . .

Просвет в тяжелой туче... Царь Акаст.

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Те же и Акаст с небольшой свитой.

Он старик седой, но еще довольно бодрый. В трауре, волосы подрезаны. Вид желчный. Приходит со стороны города.

Акаст

О ранние непрошенные гостьи,
Что привело вас к царскому жилью?
Позор его иль горе?.. Как огонь,
Расходится хула меж вас, но капли
Последней из фиала добродетель
В устах у женщин медленней... Увы!..

Корифей

О царь Акаст!

Акаст

Я знаю всё... Довольно!
Печальным вы не верите вестям,
И за богов своих любезных выдать
Порой не прочь... Кто в полночь разберет?

Корифей

О, как неправ ты, царь, и как ты... грешен!

Акаст

Моих грехов не замолить тебе,
Потатчица... И не утешить сердца
Акастова сорочьим языком.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Те же и из левой двери дома Кормилица.

Акаст

Ты, старая рабыня... У отца
Ты выросла в его высоком доме.
Я доверял тебе. И молоком
Вспоила ты... Назвать не смею больше
Я дочерью ее... Ту, что теперь

Отцовские седины осрамила...
Как допустить могла ты?..

Кормилица

Господин,
Таких чудес мы за ночь насмотрелись...

Акаст

Теперь не ночь, и, отвечая нам,
Не спрячешь глаз за ласковым покровом
Пособницы-луны, рабыня... Нет...
А госпожа твоя еще в постели?
Что ж пир ее? За полдень перейдет?
И траур ваш? Где ж траур? Иль обрить
За целый день рабынь вы не успели?
Хоть солнца б постыдилась, коль не глаз...
Прочь эту ризу пеструю!

Рабыни поспешно убирают стан Лаодамии. Кормилица на цыпочках прокрадывается в дом.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Те же без Кормилицы.

Акаст

Вы, слуги,
У алтаря из елей молодых
И лиственниц смолистых и побегов
Жасмина — мне устроите костер...
Пусть отберут овец и крутобоких
Быков, да нож отточат...

(Простирая руки.)

О герой,
Вдали от дома павший, но его
Прославивший от моря и до моря...
Прости мне, сын... коль пеною вина,
И молоком, и медом в чаше медной
Ты не почтен. Рука твоей вдовы
В чужой руке. И факел Гименея
Преступного, но сладкого, увы!
Отрадней ей теперь раздранной ризы
И погребальных воплей... О, позор!..

Корифей

О злой старик... Твой царский суд поспешен,
И речь твоя сурова. Но твоей
Где ж правоты порука? Это солнце

Показывается солнце, которое едва поднялось, большое и красное.

Я видела отсюда же, когда
К багровому оно катилось ложу...
Я с места не сходила. Точно был
Крылатый здесь. Но я не смею солнцу
Сказать, кого с собой он приводил.
А весть твоя, Акаст, о новом браке
Безумна... Иль молве поверил ты
Своих рабов?.. Иль вестник оскорбленный
Оклеветал царицу пред тобой?
Я слышала рассказ мальчишки. Странен,
Конечно, он. Но правда где-то... глубже,
И дочь твоя светлее солнца, царь...
Ты сам себя обидел в тяжком гневе...

Акаст

Защитница, добра ты, но увы!
Бессонною твой ум, пожалуй, ночью
Смущен, жена. Иль в самом деле ты,
Не покидая места, от событий
Отстала? Я в волнении застал
Филаку: чернь озлоблена — вельможи
Престол царя там делят... А посол
Из дома в дом с рассказом переходит.
Пока вы здесь мечтаньям иль чему,
Не знаю уж, с Лаодамией вместе
Безумно предавались, ожила
И ненависть смиренная, и низость,
Угодница успеха, желтый хвост
Свой показать успела. Эта весть
Последняя совсем нас с толку сбила.
Ошеломлен, сюда иду... и что ж?
Уж целый час мы говорим... безмолвен
И тих чертог...
Кормилица опять.
Что скажешь нам, старуха?

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Те же и Кормилица в слезах и с воплями.

Кормилица

О, казни,
Казни меня, владыка, я не стою
И не хочу я жизни...

Корифей

Что с тобой?
О, тяжкое предчувствие!..

Кормилица

Рассудок
Ее совсем оставил. Не придет
Она сюда... Она кружится в пляске...

Акаст

Что говорил я, женщина!..

Корифей

Увы!

Акаст

О, лучше бы права была ты.

Кормилица

Ужас!

Акаст

(Кормилице)

Оставь — теперь ненужен плач...
А что ж, отец при новом браке лишний?
Поди скажи ей, воду освятить
Зачем меня не позовут?.. Вы, пряди,
Покрытые позором... головы
Моей не защищайте.

(Рвет волосы.)

Пусть лучами
Опалена и ветром, точно дуб,
Что молнией забрызган, почернеет...

Голос Лаодамии
(за сценой)

Ио! Ио! Эван! Эвоэ!
О, златокудрый бог,
Дважды рожденный!
Тебе влюбленных
Объятье сладко,
О, Дионис,
О, синеглазый...
Муж Ариадны.

Через сцену, направляясь к костру, проходит погребальное шествие.
Хор поет.

Звуки бубна.

Айлинон! Айлинон! Феб Аполлон.
Будь милосерд,
Феб Аполлон,
Миром почивших,
Бог, обвей.
Тяжки ворота Аида,
Кто их увидел, за тем
Им затвориться...
Больше дракона
Глав окрыленных
Мертвый не узрит...
Без ступеней,
Скатом всё ниже
Скользким гонимый
Будет он падать
Среди мокриц,
Падать и плакать,
За мокрые стены
Рукой бескровной
Напрасно цепляясь.
Айлинон! Айлинон! Феб Аполлон.
Но асфоделей
Бледно-лиловых
В пепельном поле
Он не увидит,
В свинце волны
Реки Рыданья
Не отразится,

Пока из нежных
Любимых рук
С моленьем слезным
Пчелы златой
Дар не прольется
На грудь земли
С струею белой
Телицы черной.
Айлинон! Айлинон! Феб Аполлон.
Не забывайте,
Живые, мертвых...
Сердцам застывшим
Милы стенанья.
Пурпура крови,
Пепла на лицах,
Ризы раздранной
Мертвые ждут.
Айлинон! Айлинон! Феб Аполлон!

ЯВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ

Из средних дверей выходит Лаодамия. Щеки горят, одета вакханкой.

Лаодамия

О, вороти мне мужа... Ты один
Твердыни смерти можешь, улыбаясь,
Румяный бог, разрушить, как ребенок
Песочные дворцы, когда ему
Надоедят, ногою рушит резвой.

Акаст

Несчастие... и ужас... и позор —
Чего здесь более? Глаза зачем же
Оставил ты, старик, себе?
(К Лаодамии.)
А мужа
Где дела ты, несчастная?..

Лаодамия
(видит отца... и приходит в себя. Она закрывает лицо)
О, солнца
Багряный луч! отец!.. О, горький стыд!

Зачем меня вы звали, люди?
Мертвых
Холодное объятье любит мрак,
И белые на солнце руки тают.

Акаст

Нечистыми устами до имен
Священных не касайся...

Лаодамия

Горе! Горе!

Акаст

Не горестен наряд твой... Где твой муж?

Лаодамия

У Гермия спроси, старик...

Акаст

А с кем же
Ласкалась ты?

Лаодамия

О, горький брак! Увы!

Акаст

Да, горький и преступный... Но счастливец?
Ужель бежал?

Лаодамия

Меж нежных рук моих
Как мертвый он лежал ребенок долго,
И я согреть лобзаньем не могла
Его ланит...

Корифей

(к царю)

Ты видишь, царь, в ней разум
Потух, а бред в ней крылья распустил,
Как над овцой убитой коршун.

Акаст

Ловок
Подвох ее... А... может быть, пьяна:
Глаза горят, и щеки раскраснелись.

Лаодамия

О Дионис!
Своей рабыне,
Которой смерти
Презренны ковы,
Очарованье
Ты ниспошли.
На дальней Ниссе,
В лазурном море
Обетованной,
Где в кинамонах
Пестреют птицы,
Два сердца, боже,
Соедини
В блаженном браке,
Живое с мертвым,
Как солнце с тьмою
В душистой роще,
Слила дриада
В отрадный сумрак...

На сцену между тем мало-помалу набирается любопытная толпа.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Те же и из левых дверей Мальчик, сопровождаемый рабынями — их успели обрить, — выносит статую Иолая, замотанную в лиловую пелену.

Мальчик

О господин! на ложе мы нашли
Царицыном вот это изваянье.

Лаодамия
(быстро поворачивается)

Как смели вы касаться!.. Дай сюда...

(Хочет взять статую, но по знаку Акаста останавливается.)

Акаст

Что вижу я?.. Еще обман... Оковы
Я наложу на вас... Все вы в тюрьме
Ослепнете... Иль восковою куклой
Вы думали глаза мне отвести?

Лаодамия

(выпрямляясь)

О царь Акаст! Когда свой гнев бездушный
Лишь на меня метал ты, я могла
Молчать, но раб, богами под защиту
Мне отданный, не будет отвечать
За слепоту очей твоих.
Яснее
Скажи, о муж, на муки в этот мир
Меня пославший, чем перед тобою
Виновна я и мужние рабы?

Акаст

О, дерзость!
Иль расшитый пеплос так же
Дружит с тобой, как панцирь?
Здесь народ...
Я бороды седые вижу... Женщин,
Которые носили на руках
В младенчестве тебя... И через скорбь
Улыбки в их морщинах различаю.

Лаодамия

О, если бы ты видел то, что я
Сегодня видела, старик, то все морщины
В твоих глазах слились бы...
О, зачем
Тебе назвать пришельца я не смею,
И сладкого, и страшного...

Акаст

Морочь,
О женщина, других твоею басней
И куклою... С рабами ж я сочтусь.

Лаодамия

(поднимая руки)

О Гермий! нет! Ты видел... Если руки
Мои невластны будут и глаза
Мои погаснут — защити ж бессильных.

Пауза.

Я знака жду, крылатый...

Сильный порыв ветра, почти ураган. Мальчик бросает статую и убегает. При падении лиловая пелена размоталась.

Акаст

(разматывает статую)

Что за вид
Чудесный! Царь как вылитый: и панцирь,
И пóножи... и локоны... А здесь —
Что видит он... вдову свою, вакханкой
Одетую... О, лучше пусть огонь
Костра его расплавит... Утешать
Вдову другие будут!

(Берет статую.)

Лаодамия

Ты помешан,
О злой старик... когда-то мой отец...

Акаст

Не славила ль сама ты брака?

Лаодамия

С мертвым
Он заключен, пойми!

Акаст

Стыдись богов,
Коль не людей, зачем же мертвым жены?

Лаодамия

Иль их пути известны нам?.. Отдай...
Отдай, отец, мне статую.

Акаст

Возьмите
Безумную.

Лаодамия

О, нет, молю тебя
Я всем, что есть святого здесь... Отрады
Моей не тронь последней...
Если мать
Когда-нибудь мою благословлял ты
И надо мной, отец, когда-нибудь
С улыбкою склонялся, детский сон
Лелея мой. Молю: оставь со мною
Последнего из трех мужей.
Вдове,
Не тронутой ничьим прикосновеньем,
Оставь мечту...
Полна любовью грудь...
Ты молод тоже был, отец... Покорной
Печалью жить я не сумею... Ласки
Мне хочется... Желанья жарок луч...
И умереть надеждам не даю я,
Что умолю богов я и в моих
Он оживет объятьях...

Акаст

(поднимает ее и передает ей статую, потом тихо)

Тяжкий бред!
Встань, дочь моя... Ты раньше говорила
Разумнее... Рассудок не погас
В твоей душе совсем...
Чего ты просишь?
Подумала ль? О, посмотри на солнце...
И пар мечты рассеется... Тебя
Жалею я теперь, Лаодамия.
Прости мне, дочь... Всё понял я, и гнев
Уж не слепит рассудка... Вижу, муки
Не выдержал твой разум... Но к сознанью
Вернись, мое дитя.

Лаодамия на коленях прижимается к нему, не выпуская куклы.

Что ж делать? Нам
Ведь не одним терпеть... Ты черный жребий
Полюбишь свой,

Лаодамия припала к его фаросу и плачет.

как к старости привык
Бессильной я, дитя, и бестолковой.
Поди к себе и черное надень,
И волосы свои, мою отраду,

(Целует волосы.)

Железу дай скосить.
Потом печаль
Отрадную разделим мы.
С молитвой
И тихими словами обовьешь
Ты полотном немое изваянье
И, медною властителей почтив
Полнощных чашей, яркому огню
Последнее отдашь... Не надо мертвых
Мучительной мечтою огорчать
И их покой тревожить...

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Лаодамия, прижимая к себе статую, молча уходит в дом. Через несколько минут она выходит с подстриженными волосами и в черных лохмотьях. В руках у нее статуя, но обвитая в белое полотно. По лицу ее без рыданий текут слезы, которых она не вытирает. Рабыни подносят ей медную чашу с возлияниями и берут у ней ношу. Лаодамия молча берет чашу. Шествие трогается в следующем порядке: впереди несут на носилках статую Иолая, как мертвого; потом идет Лаодамия с чашей, которую держит в обеих руках. За ней Акаст, опустив голову. Потом рабы, толпа...

Сцена остается пуста.

Хор

Первое полухорие

Тихой отрады полна,
Грудь не дрожит от рыданий,
И за волною волна
В ней улеглася страданий...
Бога ль, немого луча ль
Сердце мелодию слышит,

Благословенна печаль,
Если прощением дышит.

Второе полухорие

Нет, задушить не могу
В сердце я странной тревоги:
Там, у костра, на лугу
Что-то готовят нам боги:
Взмахи мне чудятся рук,
Полные смерти ланиты.
Нити безумья и мук
В узел таинственный свиты.

Корифей

Постой... Там вопли...

Первый парастат

Его хоронят —
Как хочешь, чтоб не плакали?

Второй парастат

О нет...
Нет — это страха
Прикосновенье
К устам и сердцу.

Корифей

Быть может, ветер
Завыл в костре.

Второй парастат

О нет, то ужас
Из сердца выжал не стон... а визг...

Корифей

Постойте... ближе... Уж голоса...
Я различаю...

Первый голос
(за сценой)

Раскидывай костер!..

Корифей

Зачем костер
Раскидывать?.. О, тяжкое сомненье!

Акаст

О, боги... дочь моя... Спасайте дочь...

Сильный порыв ветра.

Голоса

Воды сюда!
Рабыни, прочь!
Пожар
Не сделайте!
Дружнее...
Занялося
Еще сильней...
Не выхватить...
Увы!..

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТОЕ

Крики, вопли, гул.

На сцену выходит Акаст, сразу дряхлый старик, одежда разорвана, лицо и волосы опаленные.

Корифей

О царь Акаст! Где дочь твоя?

Акаст

Она
Себя сожгла... О, ужас... Молча.., Молча,
Как черная овца, она в костер
За мужем прыгнула... Удар веслом безумья,
А слезы ведь текли у ней из глаз
И с молоком мешались в чаше медной...
Иль боги ей велели?.. Нет... Зачем
Тревожить их?.. Угодна ль жертва даже,
Как знать?.. Как знать теперь? И примиренной
Иль с язвою в душе она от нас
Ушла?.. Мы не узнаем.
Расходитесь...

Что стали там?.. Зачем глядите вы
На старика безумного? Заразы
Его греховной бойтесь.

Корифей

Да, Акаст,
Твоей руки прикосновенье было
Грубей зимы... Пусть бог тебя простит,
Но кто любил покойную... тем страшно
И тягостно лицо твое... И сам
Теперь Гефест божественный в твой остов
Вдохнуть не мог бы пламени. В тебе
От старости обуглился и факел.

Акаст

Да, женщина! Не надо ран моих
Тебе щадить... И сладки мне укоры,
Коль что-нибудь отрадное еще
Под солнцем быть Акасту может... Спросят,
Зачем за ней я не ушел? Кому
Еще нужна сухая трость и этот
Согнувшийся старик?.. Увы!
Могилы я боюсь, чем ближе к черной...
А муки что? Умеют уверять
Они еще сердца: от жизни будто
Остался след... и в пепле сером... Вы,
О граждане Филаки... Этот дом
И царство всё сейчас возьмете... Ветки
От дерева усохшего искать
Не будете, я знаю... Но позвольте
Оплакать мне усопшую... в ее
Оставленном чертоге... Пусть отрадой
Последнею терзаюсь я, что жив
Над памятью сгоревшего ребенка.

Уходит в дом. Со сцены все расходятся.

Хор

Если нить у слепой развилась,
Ей не свиться, как раньше, вовеки, —
Но на белый и нежный атлас
Вы зачем же струитесь из глаз
По ланитам, горячие реки?

Если дума плечам тяжела,
Точно бремя лесистое Эты, —
Лунной ночью *ты* сердцу мила,
О мечты золотая *игла,* —
А безумье прославят поэты.

Лето 1902
Царское Село

ФАМИРА-КИФАРЭД

Вакхическая драма

MCMVI

Dis manibusque sacrum

<Богам и теням умерших приношение (лат.).>

Остов сказки, лежащей в основе моей новой драмы «Фамира-кифарэд», таков: сын фракийского царя Филаммона и нимфы Аргиопы Фамира, или Фамирид, прославился своей игрой на кифаре, и его надменность дошла до того, что он вызвал на состязание муз, но был побежден и в наказание лишен глаз и музыкального дара.

Софокл написал на эту тему трагедию, в которой сам некогда исполнял роль кифарэда, но трагедия не дошла до нас.

Мое произведение было задумано давно, лет шесть тому назад, но особенно пристально стал я его обдумывать в последние пять месяцев. А. А. Кондратьев сделал мне честь посвятить мне написанную им на ту же тему прелестную сказку, где музы выкалывают Фамире глаза своими шпильками. Он рассказывал мне о своем замысле уже года полтора тому назад, причем я так же сообщил ему о мысли моей написать трагического «Фамиру», но почти ничего не сказал ему при этом о характере самой трагедии, так как никогда ранее не говорю никому о планах своих произведений, — во всяком случае ни со сказкой г. Кондратьева, ни, вероятно, с драмой Софокла мой «Фамира» не имеет ничего общего, кроме мифических имен и вышеупомянутого остова сказки. От классического театра я тоже ушел далеко. Хор покидает сцену, и в одной сцене действующие лица отказываются говорить стихами, по крайней мере некоторые. На это есть, однако, серьезное художественное основание.

ЛИЦА

Нимфа.
Старая рабыня.
Хор менад.
Фамира-кифарэд.
Папа-Силен (πάππα-σειληνόσ).
Два сáтира — один с голубой, другой с розовой ленточкой в волосах.
Вакхический женский хор непосвященных.
Хор сáтиров.
Томный сáтир.
Тень Филáммона.
Гермес.

Чуть брезжит рассвет. Прозрачные тени еще лежат, но местами уже зыблются. Вдали нагромождения скал — бурых, черных, красных или заросших лесом. С гор там и сям, точно сползая вниз, осели темные и белые камни, иные причудливой формы. Ближе к авансцене бедный не то дом, не то шатер. Вокруг на примятой траве убогая глиняная утварь, губки, тростниковая корзина с хлебом, кувшины, тазы. Невысокий холм, на скате которого стоит дом Фамиры, постепенно переходит в цветущую лужайку, пятнами алую и золотистую от цветов. Тихо-тихо. Пахнет тмином.

СЦЕНА ПЕРВАЯ
БЛЕДНО-ХОЛОДНАЯ

Расходящийся туман освобождает Нимфу. Она темноволосая и несколько худая. Лицо с блуждающей, точно безысходной улыбкой у нее молодое и розовое, но наклонно быстро бледнеть под влиянием как-то разом потухающих глаз. Треугольник лба между двумя гладкими начесами томительно бел. Движения нервны. На ней широкая одежда цвета морской воды. Фата прозрачно-травянистая и отдает серебром, и пояс, похожий на стебель. Ноги белы и очень малы, но следы широковаты и ступня растоптана.

Нимфа

(осматривается)

Так говорил Силен.
А вот и камень —
На голову быка похожий.
Дом
Из листьев — не гнездо, а дом, и царский.
Я ничего не понимаю. Хлеб?
Неужто хлеб? Так черен он. Кувшины,

И в них вода, прикрытая листами...
И как всё это бедно...
Погоди —

(Нагибается, что-то поднимает и внимательно рассматривает, по-женски серьезно, причем между бровей образуется складка.)

Тут женщина живет... Глядите: шпилька
Потеряна... старухой.

(Заглядывает в шатер.)

Двое спят
Под этой чахлой сенью. Нет, Силен
Солгал или напутал. Я найду
Не сына здесь, а хмурого доильца
Десятка черных коз, иль зверолов
Лохматый здесь с подругою ночует...
Гей... Отзовитесь, люди, кто-нибудь!

СЦЕНА ВТОРАЯ

Нимфа и старуха.

Откуда-то из глубины дома с вымытым бельем на плече и в руках выходит старая простоволосая и ширококостая женщина в блестящих серьгах, но темно и бедно одетая. Увидев чужое лицо, она спешно складывает наземь свою ношу и затем, остановившись в дверях дома, вглядывается в Нимфу, видимо пораженная ее небывалой красотой.

Старуха

Не досмотрю. Простите, госпожа.

(Как бы про себя.)

Из царского дворца, должно быть, гостья...

(Громче.)

Поблизости и женщин нет таких,
Так розовы да белы расцветают
Цветы, и то в садах, да поливай
Еще их раза по три.

Нимфа улыбается и делает шаг по направлению к старухе.

Сядь, малютка,
А я тебе умою ноги...

(Хочет взять таз.)

Нимфа
(останавливает ее движением)
Нет,
Я не устала, няня... и дорога
Не запылила ног. Благодарю.
Чей это дом, скажи мне. Не Фамиры?

Старуха

Так, госпожа, Фамиры.
(Смотрит на нее пытливо.)

Нимфа

Где ж он сам?

Старуха

Тебе Фамиру нужно? Он не любит,
Чтобы его тревожили.

Нимфа

Меня
Он будет рад увидеть. Да и гостья
Залетная у вас я...

Старуха
(отодвигаясь и с поклоном)
Извини,
Пожалуйста, царевна иль царица,
Глаза мои так слабы.
Может быть,
Я что не так сказала: горный угол
Безлюден наш.

Нимфа

Да нет же, право, нет.
Но отчего ж с Фамирой ты, старуха?
Его кормила ты?

Старуха

Да, эту грудь
Он обнимал, когда горело сердце
Вкусить отрадной пищи.

Нимфа

Ты — раба?

Старуха

Я куплена была.. увы! увы!

Нимфа

Ребенок рос без матери, не правда ль?..
Иль, может быть, меж тесаных камней
Вы спрятали ее еще недавно?

Старуха

Ты хочешь знать всё это?

Нимфа

(нетерпеливо)

Да, хочу...

Старуха

А что ж сказать прикажешь? Во дворце
Филáммона и слыхом не слыхали
О матери Фамиры мы...
Угрюм
И строг наш царь... И золото он любит,
Но в слитках, а не в косах.

Нимфа

Что ж, Фамира —
Единственный?

Старуха

И неизвестно чей...

Нимфа

Филаммоном, однако ж, был он признан?

Старуха

Как не признать, когда отец и сын
В одно лицо? Да и гаданье было,
Что, точно, он Филаммоном рожден.

Нимфа

Подкинут он — о, ужас! — а давно ли?

Старуха

О, память зол!

(Закрывает лицо руками.)

Уж скоро двадцать лет,
Как приняла его я... И была ли
Тогда ему неделя?..
Но кому
Я говорю всё это — я не знаю.

Нимфа

Я — нимфа и зовусь Аргиопэ́...

Старуха

(задрожав)

Ты — нимфа?
О богиня, ты к Фамире?

Нимфа

О да... и он мне стоил много мук.

Старуха

(окончательно сбитая с толку)

Он стоил мук? Фамира... нимфе... мук?..

Нимфа

На ложе — и древесном, как твое...

Немая сцена.

Нимфа закрылась фатой, старуха смотрит на нее раскрытыми глазами и что-то шепчет, но про себя.

Старуха

(собравшись с духом и тихо, с раздышками)

Над бедною рабыней ты глумишься,
Небесная жилица!..
Если б царь
Был точно сын богини, он не рос бы
Оставленным ребенком, и его
Так горячо любить, так безраздельно
Рабыне с кольцами в ушах Фамиру
Вы не давали б, боги.

Минута молчания.

Нимфа

(с подавленным вздохом)

Так хотел
Великий Зевс, отец мой... что же делать?
Но этот кров так жалок... А дворец
Филáммона? .. Или Фамира изгнан?
И где ж рабы служить ему?... Постой...
Иль и в лесу царям не стелют ложа
Нежней твоих две белые руки?

Старуха

(поспешно)

Всё, всё скажу... богиня. Разошелся
Царевич наш с отцом... Ни воевать,
Ни торговать не хочет... Крови, нимфа,
Не только что людской, оленьей крови
Он вида не выносит.. И на что ж
Рабы ему?.. Я хлеб пеку Фамире.
Кифаре ж сам он служит: до нее
Дотронуться и я не смей. А женщин
Ты больше здесь не сыщешь, госпожа...

Нимфа

Еще одно... Скажи мне... О, зачем?
Я знаю, что ты скажешь *нет*. Но звук,
Мне самый звук вопроса сердце тешит.
Он никогда во сне не повторял
«Аргиопэ», не звал меня, старуха?

Старуха

Царь сызмалу бессонный. Сон Фамиры
Я берегу, как воду бережет
Пловец в волнах соленых ключевую,
Но никогда еще в тиши ночей
Сквозь забытье я не слыхала, нимфа,
Чтобы тебя он звал — Аргиопэ.

(Помолчав.)

Куда уж нам, рабыням, спорить с вами,
Бессмертными...

(Порывисто, с мольбой и как-то разом вскипевшими слезами.)

Но пожалей старуху...
Я святостью колен тебя молю

И нежностью твоих душистых кос, —
Ты увести отсюда хочешь разве
Мое дитя?
О нет. Скажи, что нет...
Глаза мои сквозь слезы видят ласку
В уголышках еще закрытых губ,
Но розовых уже...

(Тихо.)

Ты не невеста?

Нимфа

О женщина... Мы платим мукам дань,
Но лгать, как вы, не надо нам. Не лгу я,
Не соблазнять пришла я к вам, а плакать...

Жестом отпускает кормилицу; та собирает белье и уходит.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ
ЕЩЕ БАГРОВЫХ ЛУЧЕЙ

Нимфа садится на камень и закрывается своей прозрачной фатой. Солнце уже поднялось. За сценой слышны звуки бубнов, медных тарелок, вакхические клики. На орхестру справа сбегает хор. Первые такты песни еще за сценой. Менады не видят Нимфу. Она сидит так недвижно, что ее можно принять за изваяние. Странный контраст на цветущем лугу экстаза, летающих тирсов, низко открытых шей, разметанных кос, бега, свиста, смеха и музыки с неподвижной, точно уснувшей Нимфой на белом камне.

Хор

Дзынь...
Дали милы... А вы домой?
Эвий, о милый, ты мой, ты мой...
Эвий, о где ж ты? Мольбой ты зван,
Эвий, Эвоэ... Эван... Эван...
Днем ты ничей,
Синих лучей...
Будешь ли мой
Тем горячей
Ночью немой?
Будет ли полог нам ложем туман,
Белый туман?
Эвий! Эван!

Дзынь... Дали милы... Люблю, люблю.
Синее пламя твое стерплю...
Эвий, о Эвий, Эван-Эвой,
Эвий — Эвой,
Эвий — ты мой?
Силы — рулю,
Розы — стеблю,
Стрелы для бою,
Я же с тобою,
Только с тобою —
Сплю и не сплю...

Вальс.

Первая фигура — рядами.

Пусть иссушило нам пламя розы,
Синие выпило солнце грозды —
Розовы будут с зарей стрекозы,
Синие в небе зажгутся звезды...

Вторая фигура — круг.

В середине круга сцена с тирсами и вуалями; круг движется медленно, томно.

1

Эвий, о бог, разними наш круг,
О Дионис!
Видишь, как томно, сомлев, повис
Обруч из жарких, из белых рук,
О Дионис!

2

Хочешь, склонись,
О Дионис,
К нашим вуалям —
Мы не ужалим,
О Дионис...
Нежно-лилейный,
Только коснись,

Сладостновейный,
Затканноцветных,
О Дионис,
Нежно-ответных
Воздухов — риз, —
Мигом совьемся
Плющем, о боже,
Я златоцветным,
Ты облетелым...
Мигом сольемся,
Сладостно-вейный
Эвий, на ложе —
Грудью лилейной
С радостным телом.

3

Эвий, о бог, разними же наш круг,
О Дионис!
Не для тебя ли, сомлев, повис
Обруч из жарких, из белых рук?
Эвий, явись...

Замедление темпа. Менады готовы лечь.

Белые руки всё тянут вниз,
Белые плечи хотят на луг.
Белые груди из жарких риз,
О Дионис!

(Еле-еле... зевая.)

Эвий, о бог, разними ж ты круг...

Настораживаются. Кто-то из менад, завидев дом и, может быть, Нимфу.

Одна

Менады! Там люди... скорее... в лес!
Уж сумрак исчез с высоких небес,
А солнце глядит и пылает...
Гляди-ка: сверкая ревниво,
Там са́тира глаз нас желает,
И жжет, и зовет...
Менады, вперед!

Другая

Иль ждете другого призыва?
    Вперед!..
Без шума и живо...

Начинают подниматься на гору, сначала тихо, вдруг кто-то нечаянно:

Дзынь!

Одна

(останавливается и, положив тимпан за пазуху, стягивает пояс)

Ты, медный, застынь...
Мне грудь освежая, застынь, недвижим.

Другая

(показывая на язык)

Ты ж, алый, замолкни,
Не свистни, не щелкни...
Бежим...

Бегут и скоро скрываются.

Наступает и проходит минута тишины. Но дневной шум становится все яснее. Просыпаются и поздние птицы. Пчелы, стрекозы, бабочки на лугу, на цветах, в цветах... Нимфа откидывает фату, спускается на луг, поднимает брошенный тирс, перебрасывает из руки в руку, бросает, садится, встает, рвет и закусывает цветы. Из лесу между тем далекое пение.

Дзынь!.. Дали милы...
                    Ой, Лель-лели!
О синеглазый! Молю — вели...
    Дзынь... Дали милы...
    О, даль, о, синь...
Эвий... другую... забудь... покинь...

Нимфа

(с мольбой простирает к лесу руки)

Как чад полу́ночных видений,
И диких роз, и нежных смут,
Растайте, радостные тени...
Лучи найдут, лучи доймут...

Хор

(из лесу)

Дзынь... Дали милы...
Твоя — твоя...
Сердце растает,
Огонь тая...

Нимфа

Я столько вынесла печали,
Стыда из этого «люблю»...
Своих желаний, о вуали,
Не навевайте мне, молю.

Хор

(из лесу)

Эвий, о бог, разними наш круг,
Видишь, повис
Обруч из жарких, из белых рук...
О Дионис!

Нимфа

Иль мало вам небесной шири,
И глаз и губ — их целовать?..
Менады, моему Фамире
Я только мать, оставьте мать...

Хор

(из лесу — затихая)

Боишься — вуалем
Закройся — не станем:
Мы слабых не жалим,
Усталых не раним...

Нимфа

(проводит рукой по лицу)

Как чад полуночных хотений,
И диких роз, и нежных смут,
Уйдите, радостные тени:
Вас не хотят, вас не поймут!..

(Уходит в дом.)

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ
голубой эмали

Фамира. Молодой, безбородый, белые руки, тонкий и худой — на вид он еще моложе. Одет бедно и не сознает своей одежды, без всякого оружия. За спиной лира, у пояса ветка, в руках посох.

Фамира один, потом Нимфа.

Фамира

Сердца людей мятежны. Но люблю
В горах седые камни.
Вот и пристань —

(Кладет на каменья посох и ветку.)

Конец дороги пыльной.
А зачем
Ты к ним ходил, Фамира! Стосковался
По золотым браслетам, влажных глаз
И суженных желаньем надо было
Для этих струн?
Иль самок соловей
Приманивать задумал, сотрясая
В щите у черепахи запертой
И плачущий по звездам горный воздух?

В дверях показывается Нимфа.

Га... женщина. Из моего шатра!
Уж завелись поклонницы талантов,
Блудливые менады — точно моль
В плаще, который позабыли выбить.

(К Нимфе.)

Оставь мой дом. Я — нищий кифарэд:
Дверями ты ошиблась.
Тут без флейты
И без венков пируют.
Голодна,
Так поищи в корзине хлеба; женам
Я не играю, я играю звездам.

Нимфа

Дитя мое! Любимое дитя...
Что значит муки вытерпеть! Его
Из мириад я отличу. А долго ль

Он был со мной... Пока пары безумья
Не заслонили мир на двадцать лет,
На целых двадцать лет от бедной нимфы.

Фамира

(менее уверенно)

Безумных здесь не лечат — уходи...
Да, точно, ты — безумна.
Но зачем же
Меня зовешь своим ты, не пойму...
Я не терял еще рассудка.
Разве
Ты заразишь меня своим безумьем
И трепетом печали.

(Делая шаг к ней.)

Кто ж ты? Кто?

Нимфа

Аргиопэ, рожденная на высях
И брошенная нимфа.

Фамира

(задумчиво)

Для чего ж
Вам, нимфам, слезы? Это — не лукавство,
Чтоб сердце взять мое и растопить?

Нимфа

Не плачу я, но чувства странно смутны.

Он стоит потупившись, она смотрит на Фамиру не отрываясь, жадно.

Фамира

(тихо)

Ты назвала меня своим, жена?.

Нимфа

Я родила тебя. Ты, верно, спросишь,
Зачем же был ты брошен. Мой рассказ
Мучителен, но слушай. Дай мне руку.

Берет его за руку. Фамира следует за ней покорно.

Мы сядем здесь на камне, чтоб никто
Признаний не слыхал моих, Фамира.

Фамира

Я сесть готов с тобой. И я люблю —
О, не тебя, — но сказки роз и перлов —
Дыхание твое люблю я, речи странны.

Нимфа

Ты слышал ли когда о превращеньях
Желаньями охваченных богов?
Кронид быком и лебедем, дождем
Он ластился к невестам — даже Смертью
Семелу он любил, испепеляя...
Но белая рука, которой ты
Пожатия боишься, не пустила
Его на эту грудь...
Я помню — день
Так жарок был. Охотой утомившись,
Заснули мы в горах. И вот оса,
Запутавшись в косе моей, гуденьем
Заставила меня привстать — и вмиг
Два черные и выпуклые глаза
Меня заворожили... Там, зеленым
На солнце нежась телом...

Из-под камня выбегает ящерица.

Ай — она!
Постой!.. Она — опять...

Фамира

Ты безрассудна.
Иль ящериц боятся?

Нимфа встает с места.

Но продолжай ласкать меня. Я звуки
Из струн твоих люблю. Их на зарю
Похоже нарастанье, — на зарю
Туманного рассвета. Дальше — сон!

Нимфа

(садится возле)

Невластная уйти от мягкой ласки
Лучей, листвой таимых, я опять

Уже заснуть была готова. Взял бы
Меня Кронид покорной. Ведь никто
До той поры мне кос пушисто-нежных
Еще не распускал. Но вновь оса
Забилась в завитки волос, и жало
Мне прокололо кожу. С диким криком
Я на ноги вскочила, и рука
Лукавую стряхнула. Изумрудный
Меж камней скрылся хвост ее, и вмиг
Из чаши той, что солнце обернуло,
Допив ее до капли, два огня
Сухие пронеслись с громовым треском,
И будто свод стеклянный рухнул, — звон,
И стон, и дым наполнили ущелье.

Фамира

Как этот сон и страшен, и красив:
Багровые лучи сквозь белый полог.

Нимфа

Зевс не простил меня. Хоть никогда
Суровых глаз его я не встречала...
С улыбкой он так ласково глядит,
Когда меня встречает и теперь...
О, Зевсова улыбка!.. *Позже* вы
Ее поймете, люди, — мы в века
Передадим ее вам — в серых ка́мнях,
Где будем мы, покорны молотку
Искусного ваятеля, на ваших
Гробницах спать — с прижатыми руками
И устремив в пустые небеса
Свои глаза, пустые тоже...

Фамира

Как?
А сказка уж окончилась?.. Жалею...

Нимфа

Мне тяжело рассказывать — сойти
Хотела б я, Фамира, с этой черной,
Грозящей мне дороги...

(Спуская фату, тихо.)

Час настал, —

И нимфа полюбила. Грустный жребий.
С Филáммоном спознались мы. Его
Забыла я лицо. Но ты так ярко
Напомнил мне мой брак — и эту ночь
Среди соленых брызгов, и молений,
И воющих валов, и шума сосен,
Мой алый стыд и уступивших рук
Сцепленье и распалость.

(Приоткрывает фату, сквозь которую сверкают теперь ее глаза, и, приближаясь к Фамире, который смотрит на нее серьезно и с недоверием.)

Предо мною
И ты, и он слились...
Глаза вас разнят.
Тот покорял, тот требовал, а ты
Рожден, чтоб быть безрадостно любимым,
Пленять, как сон, и ускользать, как тень.

Фамира

(встает)

Заря сравнялась с небом. Вижу солнце,
И золото слепит меня. О нет —
Я отойду... Иль пойте глуше, струны!

(Отходит.)

Нимфа

И девять лун безрадостных потом
Девический я распускала пояс.
Родился сын. Опять чернела ночь.
Их только две таких бывает нимфам.
Я мучалась одна — в лесу — и это
Последнее, что помню я.

(Странно смотря на Фамиру и загадочно улыбаясь.)

Тебя
Запомнила еще я. Если только
Воспоминанье это, а не бред,
Но прежнего позорней — и бессмертней...
Иль, чтобы месть насытить, о Кронид,
И двадцать лет тебе скитаний мало?
Да, двадцать лет, травимая осой,

Приюта не имея, я металась
В безлюдии лесов, по кручам скал,
По отмелям песчаным и по волнам
На челноке с матросом, может быть,
Которому беспомощная нимфа
Безумием и жалкой красотой
Пары от лоз фракийских услаждала.
Как в забытьи — один, но мутный день,
Вместивший мириаду и ночей
И дней, я помню эти годы.
Старый
Силен меня нашел и, от козлят
Своих отбив, лечил меня, — он травы
Душистые давал мне пить, сперва
Осу убив приманкой на косматой
Своей руке.
Я знаю, что живет
И до сих пор Филаммон, но наказан
За брак со мной небесной волей.
Жен
Он больше не ласкает, и в палатах
Филаммона не водится детей.
А про тебя я знаю, что увенчан
На играх ты, Фамира, и твои
Прославлены по всей Элладе струны.
Но отчего ж ты не с отцом?

Фамира

(изменившимся голосом)

Тебе
Моих речей послушать захотелось?

Нимфа

Да, и твоих, и о тебе.

Фамира

Иль ты
В горячем этом бреде закружить
Хотела бы и кифарэда, нимфа?
Зачем тебе плясун такой? Силену
С ногами на шарнирах не под стать он.

Пауза.

Ты мать моя? А отчего ж не дочь?
Ты говоришь о муках, а с твоих
Не сходит губ улыбка.

Нимфа

Это — маска,
Дитя мое, иль стáреют богини?
Мы молоды лицом и кожей — да...
О, если бы ты сердце видел!

Фамира

Можешь
Филаммона дворец найти — и там
Свой повторить рассказ.
Но кифарэда
Он больше не займет.
В моей судьбе
Ни матери, ни сестрам, ни отцу
Нет места, сладкозвучная:
живу я
Для черно-звездных высей; лишь они
На языке замедленном и нежном,
Как вечера струисто-светлый воздух,
Мне иногда поют. И тот язык,
Как будто уловив его созвучья,
Я передать пытаюсь, но тоской,
Одной моей тоскою полны струны.
Ты не нужна мне, женщина, и нет
Прошедшего меж нас.
А эта повесть
Твоя — ее я буду слышать ритмы
И, может быть, любить — не ближе мне,
Чем в заводи на лунной зыби всплески
От рыбок разыгравшихся. Душа
Моя открыта миру, а не нимфе,
Пускай она страдала.
И прости!
(Хочет войти в дом.)

Нимфа
(порывисто удерживает его)

Постой, постой... О да, я понимаю,
Что ты меня не любишь, что простить

Не можешь ты безумной нимфе детства
Холодного, без ласки и без тех
Нам памятных навек причуд ребячьих,
Когда бранит нас мать, потом смеется,
Потом, лаская, плачет, а в окно
Глядят деревья, и таких больших,
Таких зеленых, веющих так сладко,
Уж больше не бывает никогда.
Ты мне не веришь также.
Что же делать?
К Филаммону пути мне нет.
Уж если
Я твоего, Фамира, не смогла
Слезами растопить и мукой сердца,
Что я скажу Филаммону?
Иль нимфой,
Которую на вымокшей листве
Косматые силены берегли,
Захочет он свой царский дом украсить?
Ты неги не видал. О, наверстать
Успеем мы и негу: я верну,
Я воскрешу тебе всю прелесть детства...
Какие сказки знаю я!..
Постой!
Ты, может быть, влюбился, но стыдливость
Тебе назвать мешает имя...
Нет?
Ты хмуришься? Не буду...
Говорил ты
О музыке. Надменный, недоволен
Ты собственной игрой. Я бы могла
Найти и к музам доступ.
Что ты скажешь?

Фамира

(оживляясь)

Ты муз сулишь Фамире?
Чудный сон,
Но разве музы нам играют, нимфа?

(Пауза, с подавленным вздохом, быстро.)

Да, если бы не проблеском, урывкой,
Как переклички леса на заре,

Я музыку Евтерпы слышал, нимфа,
Когда б она лишь для меня свою
Настроила цевницу золотую, —
Я б полюбил тебя.

(В странном волнении.)

Я уж люблю
Тебя за это слово — в нем дрожит
Мелодия, моля освобожденья,
И из пелен ее я розовью, —
Поди сюда, дай руку.

Нимфа

(прижимаясь к нему со стоном)

Мой Фамира!

Фамира

(в экстазе)

Я матери, я людям, я богам
Прощаю все обиды — пусть и дальше.
Коль надо им, потешатся, но мне
Дай утонуть глазами в блеске лиры
И сердцу ритмом слиться с трепетаньем
Семи небесных струн, небесных струн!..

Нимфа

(порывисто лаская Фамиру)

О, мой Фамира! Сын мой! Пробужденье
Моей души! Мой день, мой бог, мой идол,
Желание мое, моя тоска!

Фамира

(освобождаясь от ее объятий)

Довольно же. Оставь меня. Мне страшно.
Иль матери так любят? Я слыхал,
Что песни их, как полог, тихи; эти ж
Твои слова и ласки, как вино,
И кожу жгут, и память помрачают.
В лесу вольней. Там любят соловьи
Да мошкара. Там только лани лижут
Детенышей. А человек поет,
Иль молится богам, иль размышляет.

(Уходит в лес.)

СЦЕНА ПЯТАЯ
ТЕМНО-САПФИРНАЯ

Нимфа остается на сцене. Она не может успокоиться сразу и, ломая руки, смотрит вслед Фамире. Но вот издали слышатся голоса, и на орхестру сходит новый хор — покуда не посвященных. Женщины в небридах, с тирсами, плющ и виноградная зелень в волосах, но в движениях еще нет экстаза менад ночи. Они скорее мечтательны.

Хор

Стены белые покинув,
И знобимы и палимы,
В царство снежных исполинов
Всё полями — долго шли мы.
Неба зной, полей роса ли, —
В нас желанья не слабели.
Или даром побросали
На рабынь мы колыбели?
Что в палестрах, что на пашнях
Душ мы гневом распалили!
Что оставили домашних
Алтарей без свежих лилий!
Но безумьем пораженных
Манят дальние дубравы,
Луговин завороженных
Тмином пахнущие травы.
Манят в дальнем фимиаме,
Озаренные луною,
Перевитые цветами
Травы, полные росою.

Вакханка

(увидев Нимфу)

Гей... женщина! Не с нами разве ты?

Нимфа

Вакханки вы. Я бога чту другого,
Его спокойно кудри разлиты,
Глубокие глаза глядят сурово.

Вакханка

Он не играет, бог твой?

Нимфа

Что за бред!
Играет — с кем?

Вакханка

С тобой; как наш, как Эвий.

Нимфа

Как лебедь, прям он в радости и в гневе,
И тонок абрис губ: он — кифарэд.

Вакханка

А храм его, жена?

Нимфа

Он в этом доме.

Вакханка

И спит он здесь?

Нимфа

Один и на соломе.

Вакханка

Вот дивный бог! Он не любовник твой?

Нимфа

Нет, только сын...

Вакханка

И бог, и сын... Ой, ой!
У женщины, как я...

Нимфа

Ты полагаешь?

Вакханка

А кто же ты, жена, коль не такая ж?

Нимфа

Я — нимфа гор!

Вакханка

Небесная, прости!
И, как сейчас, всегда тебе цвести!

Но объясни нам, если только смеем
Мы, нимфа, знать, какой же бог лелеем
Тобою здесь? И если сын, ему
Ты молишься зачем же, не пойму.

Нимфа

Ты не поймешь меня, безумной, точно.
Ты бросила ребенка — я нашла,
Ты факел свой затеплишь полуночный —
Я свой сожгла, менада, весь сожгла...

Вакханка

Ребенка ты нашла? Да где ж ребенок?

Нимфа

Он рос один — печален, прям и тонок,
И звал меня, а я была в бреду,
И сердце спрятал он, — я сердца не найду

Вакханка

Хоть назови его.

Нимфа

Его Фамира
Зовут, меня зовут Аргиопэ.

Вакханка

(склоняясь перед Нимфой)

О, нимфа гор! Фамире надо мира:
Он сердцем чужд и играм, и толпе...

Нимфа

Ты видела Фамиру?

Вакханка

Я слыхала,
Как он играл, я слушала, таясь
За перьями резного опахала,
И за слезой вослед слеза лилась,
Так сладостно лилась и неустанно,
Но медленно и из закрытых глаз,
Как в забытьи в полночный час
Вода разбитого фонтана.

СЦЕНА ШЕСТАЯ

Как-то незаметно среди вакханок появляется мужчина странного вида. Это **старый сатир** с очень румяным лицом, полный, почти тучный, седой и с начесами курчавых волос на небольших рожках, которые сатир, видимо, прячет. Вид у него очень скромный — существа давно и безвозвратно остепенившегося. Смятение вакхического хора скоро сменяется любопытством при виде смущенных улыбок старика в козлиной шкуре и с узловато-косматыми, но вовсе не воинственными руками.

Силен

(раскланиваясь)

Простите мне, сестрицы.
Ваш наряд
Нас несколько роднит. Я был бы очень рад
Попасть в ваш нежный плен,
Но, к сожаленью, — для менад
Давно я только добрый брат.
Меня зовут — Папá-Силен.

(Увидев Аргиопэ и приглядываясь удивленно.)

Ба... ба... Кого я вижу?.. Мы знакомы...

(Хору.)

Не правда ли, роскошные хоромы?

Нимфа

(с движением к нему)

Папа-Силен... Вот счастье... Боже мой...

Силен

Перед тобой, как лист перед травой.

(Вполголоса.)

Но Вакховых сперва устроим нянек...

(Ударяет в ладоши.)

По его знаку из лесу быстро выбегают **два молоденьких сатира**, как две капли воды похожих один на другого. Но только у одного голубая, у другого розовая ленточки в волосах. Малые не особенно внушающего вида, хотя при Силене стараются держать себя с достоинством. Они становятся так, что один загораживает другого

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

Те же и два Сатира.

Силен

(громко к вакханкам)

Позвольте вам представить — мой племянник.
Немножко ветрен, а давно жених.

Вакханка

Который же жених? Здесь двое их...

Силен

Козлятки, как же вы?..

(Протирает глаза.)

И точно — двое,
Но лишнего не вижу ничего я...
Веселые малютки... И в фиас
Они гостей доставят в тот же час...

Пауза.

Сатир с голубой ленточкой

(с поклоном к вакханкам)

Позвольте мне за доброго папашу
Вам тут же объяснить двоякость нашу.
Товарищ мой — заика...
О, слегка!
Начните спор, и он сейчас спасует:
Так у меня — язык, а у него — рука,
Я спичи говорю, а он ворует...
Так и живем... мы, пары не дробя...
Но влюбимся... так каждый за себя.

Сатир в розовой ленточке

Д-д-а, в-в-лю-убимся...
так каждый за себя.

Смех. Хор и сатиры уходят.

СЦЕНА ВОСЬМАЯ
БЕЛЫХ ОБЛАКОВ

Силен и Нимфа.

Нимфа

(подходит к Силену и доверчиво кладет ему голову на плечо)

Папа-Силен — ты должен мне помочь...
Иль дай травы такой мне, чтоб безумной
Проснулась я опять. Я погибаю.

Силен

(с шуточным испугом, не отпуская, однако, от себя Нимфу и в тон ей)

Чур-чур меня! Безумья не пророчь;
Рукой подать — фиас, и очень шумный,
В фиасе же и сам я угораю.

Нимфа

Силен, я — мать, которую не любят.

Силен

Не верят ей — я думаю — скорей.

Нимфа

Я не нужна ему. Пойми: никто
Ему не нужен. Вот, Силен, что страшно.
Живет в мечтах он. Сердцем горд и сух...
И музыкой он болен.

(Склоняясь на землю к ногам Силена.)

О, целитель
Души моей безумной!.. Для чего ж
Я так люблю Фамиру? И желанья
Скопилися в такой густой туман,
В такой густой туман, что умерла
За ними и лазурь? На бурю даже
Надежды нет...

Пауза. Нимфа закрыла лицо.

Силен

Всё понял я — молчи...
Приходится в фиас вернуться, нимфа,
И не хотел, а надо... Что ж? Идем!

Ох, эти струны — холоду напустят,
Да, как туман, отравят вас мечтой
Несбыточной... Нет, право, флейта лучше
Для женщины. И лжет она легко —
Как ветреный любовник...

Н и м ф а

Я останусь
С Фамирою, Силен.

С и л е н

Пока тебя
Он не прогнал... Как женщины упрямы!
Что ж доказать ты хочешь?..

Н и м ф а

Здесь алтарь,
И дом мой здесь...

С и л е н

Не новые прикрасы
Не нового желанья.
Что-нибудь
Задумала, должно быть, ты... И, ластясь
К косматой оболочке моего
Чувствительного сердца...

Н и м ф а

Посулила
Фамире муз я... Ты, Силен, не мог бы
Его свести послушать? И зачем
Ты возвращал меня рассудку только?

С и л е н

Ну, этим-то, положим, ты покуда
Не очень стеснена.
Кого ж из муз
Хотел бы он заставить петь?

Н и м ф а

Евтерпу.

Силен

Холодная богиня. Здесь коса
Найдет на камень, нимфа. Обмануть,
Конечно, всех возможно, и Евтерпа,
Хоть муза, всё же женщина. Да только
Фамиру ведь не спрячешь. Он упрям:
Не усидит и в бочке...

Нимфа

Он мечтает,
Что *для него* Евтерпа будет петь...

Силен

Тогда турнир предложим пиериде.

Нимфа

О са́тир, а расплата?.. Разве с богом
Бороться им под силу? Сколько нас,
Взлелеянных Кронидом, приносили
Героям сыновей, все были славны —
Ахилл, Мемнон и Рес, но между них
Счастливого ты знал ли?

Силен

Так покуда ж
Условия у нас в руках, а спесь
Посбить ему, пожалуй, и недурно.

Нимфа

Папа-Силен, я — женщина, и мой
Не видит ум далеко. Но, как лань,
Мое трепещет сердце. Там не луг,
Болото там бездонное — цветами
Прикрытое, о сатир...

Силен

Может быть,
Ты и права.

Пауза.

Ну что ж? Тогда мы в горы;
Такие там есть уголки — луной
И страстью залитые: губы алы,

Подпухшие от флейты, но зато
Как плечи белы там... и страстны пляски...
Пусть легкое похмелье обовьет,
Как дымкою, тебя.

Нимфа

А завтра что?

Силен

О, завтра так далеко...

Нимфа

Что скажу я?
Что я скажу? Мутится ум... Старик,
Слыхал ли ты Фамиру?.. Если мы
Устроим состязанье, кто же будет
Судьею?.. Ты, быть может...

Силен

Не надейся.

Нимфа

Доволен ты игрой Фамиры был?

Силен

Да, он артист, конечно.

Нимфа

Ну, а муза?

Силен

Той не слыхал. Но видел, и не раз.
Надменная — когда меж нас проходит,
Рукою подбирает платье. Пальцы
И кольца хороши на розовых у ней
И тонких пальцах — только, верно, руки
Холодные — и всё глядит на них
С улыбкою она — уж так довольна.

Нимфа

И никого она не любит?

Силен

Нет,
О женихах не слышно. Твой Фамира,
Но в пеплосе. Но вот и он. Скорей
Решайся. Что ж? Устраивать ли дело?

Нимфа

(шепотом)

Да, да, Силен. Надеюсь на тебя.
А я могу подслушать вас, не правда ль?

Силен

Пожалуйста, дружок: ведь я монах.

СЦЕНА ДЕВЯТАЯ
ЧЕРЕПАХОВЫХ ОБЛАКОВ

Силен и Фамира.

Нимфа, не замечаемая Фамирой, слушает.

Силен

Почтеннейший хозяин! Поздравленье
Прими от нас с последнею твоей
Победою...

(Будто спохватившись.)

Последнею — покуда.

Фамира

Благодарю. Увы — я не Орфей...

Силен

Ты оживлять хотел бы камни также?

Фамира

О нет, Силен. Когда б имел я дар
Великого Орфея, я своих
Товарищей седых не стал бы мучить.

(Ласково гладит камень.)

Движенье белым камням? А зачем
Движенье им? Иная, лучше нашей,
У ка́мней жизнь. Они живут, Силен,

Глубоким созерцаньем. Только месяц
Скользящими тенями иногда
До вековых морщин их прикоснется,
И прочь бегут лучи его. Молчат
И никого смущать не ходят камни,
И никого не любят, и любви
У них никто не просит.
Оживлять
Мои седые камни? И кому же?
Мешку с нагретой кровью — миг один —
Прорежь его где хочешь, и несите
Подальше ваш мешок, чтоб не смердел...
Был полубог Орфей, но бессердечен.

Силен

Минутами живем мы — не пойму
Я счастья минералов. Ты ж кентавра
Наслушался, должно быть, эфемер.
Надменные умы боятся счастья,
Которое летает, и плодов,
Когда их надо есть не размышляя.
Вот, скажем: ты не любишь славы. Что же?
Хороший вкус... И точно, слава — тлен...
Но разве взял, Фамира, ты всю радость
От струн, тебе покорных? Слаще есть
Для кифарэда приз, чем эти пальмы,
Иль тучный бык, иль бронзовый котел,
Иль даже глаз посул лукаво-синих...
Когда-нибудь, скажи, ты слушал муз?

Фамира

(смущенно)

Тут женщина была, что выдавала
Себя за мать мою, и мне она
Сулила муз.

Силен

Сулила муз. Скажите...
Ха-ха-ха-ха...

(Хохочет.)

Фамира

Смеешься ты, Силен?

Силен

О, больше нет... Но из благоразумья,
А не затем, чтобы твои слова
Казалися мне менее смешными...
Ты матери не понял, кифарэд:
Услышать муз не так легко и богу.

Фамира

Силен, за что ж ее я целовал?

Силен

Он целовал, а я — скажи за что!
За красоту и милые заботы,
За то, что ты, почтеннейший, не только
Мудрец, но и малютка, кифарэд
И бабочка — подай ей, видишь, пламя
От факела.

Фамира

Скажи, какой ценой
Евтерпу я достану...

Силен

Факел ярок,
А бабочка нелепа, и сгорит...

Фамира

Оставь огни и мотыльков — я мог бы
Ей говорить любезности. Я ей
За сатира служить готов.

Силен

Сложеньем
Не подойдешь, мой сын. И кифарэд,
И сатиры приятны музам, только
На разный лад и в разные часы.
С Евтерпой петь — нельзя, но состязаться
И с музами возможно. Об заклад
Побейся с ней...

Фамира

О, сладкое безумье!
Где ж я найду ее, Силен? Идем!

Силен

Тэ... тэ... тэ... тэ... мой милый... А условья?
Про Марсия ты слышал? Иногда
Заглядывать полезно... в Геродота.

Фамира

Я подпишусь заранее, коль ты
Согласен быть посредником: вручаю
Тебе всего Фамиру — лиру мне
И кисть руки для струн, да разве сердце, —
Всё остальное вам.

Силен

Не торопись.
Подумаем. Кто должен начинать?

Фамира

Кто начинать? Она, конечно — муза.

Силен

А время?

Фамира

Хоть сейчас.

Силен

А судьи кто?

Фамира

Коль выбор мой, так ты.

Силен

И ошибешься...
Телесный вред вобще недопустим —
Условие заранее.
Ну, а приз?

Фамира

Пускай, Силен, сама назначит муза...

Силен

А если ты с победой будешь, что?

Фамира

Силен, ее ты видел; расскажи мне:
Высокая и тонкая, — бледна,
И темных кос завязан туго узел...

Силен

Прибавь: браслет у левого плеча,
И яхонт в нем горит, а пальцы длинны
И розовы...

Фамира

Довольно — я на ней
Женюсь, старик, и мы родим Орфея.

Силен

Не уходи далеко, жди меня.

(Уходит.)

СЦЕНА ДЕСЯТАЯ
ТЕМНО-ЗОЛОТОГО СОЛНЦА

Фамира. Вдали хор.
Его строфы чередуются со строфами Фамиры.

Хор

Скоро пляска в лунном море
Ноги белые обымет;
Усыпят нас только зори,
Только полдень нас поднимет.

Фамира

Темные розы осыпали куст,
Осыпали куст...
О, бред!
Появись, кифарэд!
Улыбнись, златоуст!
О, бред!
И в сердце желанье вложи ей,
Твоей беловыей...

Хор

Там, покорные желанью,
Лань убив над водопоем,
Мы оставленного ланью
Грудью белою напоим...

Фамира

Долго хранил ты Адмету стада,
Адмету стада,
О, бред!
Ты ль друзей, кифарэд,
Покидаешь когда?
О, бред!
Цевницу настроив, вручи ей,
Твоей беловыей...

Хор

Бубна тяжкому гуденью
Вторить будет лес, волнуем:
Дни там будут таять тенью,
Ночи — сладким поцелуем.

Фамира

В травах таяся, залоснился щит,
Залоснился щит...
О, бред!
И моей, кифарэд,
Он тоскою звучит,
О, бред!
Но песни угодны ль мои ей,
Твоей беловыей?..

Хор

Бубна, бубна не жалейте!
Надоест и дома ложе.
А изменит сердце флейте,
Кифарэдом стань, о боже!

Фамира

Темные розы унес Дионис,
Унес Дионис...
О, бред!
Но до струн, кифарэд,

Лишь смычком прикоснись...
О, бред!
И розы тогда ненужны ей,
Твоей беловыей...

Хор

Стань, о Вакх, обманно-лунный,
Золотисто-синеглазый —
Тиховейный, дальнеструнный,
И по фарсу алмазы.

Фамира

Черные косы, — бела и строга,
Бела и строга,
О, бред!
Лишь твои, кифарэд,
Ей желанны луга...
О, бред!
На что и желанья мои ей,
Твоей беловыей?

(Во время пения уходит.)

СЦЕНА ОДИННАДЦАТАЯ
СУХОЙ ГРОЗЫ

Покуда звучат последние строфы, Нимфа, которая слушала разговор сына с Силеном и его песни, идет к дому медленными шагами. Некоторое время она молчит, опустив голову, и только перебирает угол фаты. Потом выпрямляется.

Нимфа

Душа его смутилась. И трепещут
От непривычной бури струны.
Роз
Мечта его полна, он кличет, ищет...
Горячими губами белый стебель
Тех музыку таящих роз — двух роз...
Зачем ему Евтерпа? Я ошиблась.
Сирены он соперник этой. Он
Унизить бы хотел ее...
Унизить?
Но как, но как?
Целуя, может быть,

Ей белый стебель шеи?

Он, Фамира?

И я отдам? Я уступлю его
Кому-нибудь на свете?

Но со мной

Он девять лун провел...

(Тихо.)

— да, без медовой...

О, страшный сон, уйди... молю, уйди,
Освободи мне волю...

(Закрывает лицо руками.)

Я забыла,

Как молятся.

О царь мой, я, Кронид,

От молнии твоей терплю, но пламя
Без радости уж гаснет — только слез
Соленый ключ в пустынном сердце выжгло.
Филаммон был таким же точно... да...
Но двадцать лет — я не хочу следов —
В его кудрях — серебряных, и синих
Налитых жил, и загрубелой кожи
Остывшего объятья.

Замолчи,

Проклятое безумье! Эти тирсы,
И запахи небрид, и мускус...

Мать,

Опомнись, что ты делаешь! Толкаешь
Дитя в преступный бой и сумасшедший,
Как ты сама? Как все здесь, даже он, —
Не загрязнен еще, но уж осилен
Раскаяньем любовным?

Да... о чем же

Молиться мне?.. О славе кифарэда,
Чтобы пришла к нему Евтерпа... так?
Или позор Фамиры сердцу слаще?
Да, да — позор Фамиры...

Про себя

Собрать слова такие страшно... Я же
Их отдаю эфиру...

(Поднимая руки.)

О Кронид,
Коли твоею волей это пламя
Во мне горит безумья и тоски,
Пускай мой сын Фамира...

(Руки падают; громче.)

Нету силы
Произнести заклятье — молоко
Кормилицы мутится от соседства
С отравою лозы...

(С пробужденною энергией.)

Я их солью...

Раскаты ближе и сильнее.

Царь заглушить меня задумал — нет,
Желание мое сильнее страха.
Оставь Фамире жизнь... Но не давай,
Кронид, ему победы... Заклинаю
Тебя твоим вертепом критским, царь...

Тучи расходятся, — видно, что где-то вдали идет дождик, блестящий и парный. В одном из просветлевших облаков вырисовывается абрис улыбающегося Зевсова лица.

СЦЕНА ДВЕНАДЦАТАЯ

С той стороны, куда ушел Фамира, слышны голоса и показывается кифарэд. За ним, причитая, идет Кормилица.

Фамира, Нимфа, Кормилица.

Фамира

(еще не замечая Нимфы)

Да перестань же, право. Если б даже
Она лгала. А для чего, скажи,
Выдумывать ей, няня? Разве сказка
Уж так плоха и очутиться в ней
С таким родством обидно?

Кормилица

Ох, малютка!
Ох, обойдут тебя! Беги от них,
Пока живым не съели.

(Видит Нимфу и отступает.)

Фамира

(тоже видя Нимфу, но спокойно)

Нимфа, слышишь?

Умоляющие жесты старухи.

Ты напугала няню. Посмотри же,
Кормилица, в глаза ее... иль там
Найдешь обман и злобу?

(Подавая Нимфе руку.)

Если в детстве
Ты не дала мне ласки, мать, зато
Я счастием теперь обязан Нимфе
Единственным. Я буду как титан,
Похитивший с небес огонь, но людям
Я дам огонь и чище, и нежней...
Когда ж потом мой сын...

Нимфа

(нетерпеливо и отстраняясь)

О нет, Фамира,
Загадывать не надо. И зачем
Ты принял бой так спешно?

Фамира

(привлекая к себе Нимфу)

Иль иначе
Небесный луч мелодии ее
Дойти бы мог до сердца?
Улыбнись же!
Не надо туч — я так тебя люблю,
И всех люблю, и всё люблю, что сердцу
И грудь тесна, а звезды жили там,
Эфирные горели выси.

Нимфа, закрывшись, плачет.

(Лаская ее волосы.)

Знаю,
О чем ты плачешь. Что же делать? Волю
Судьба таит до время. Но тебя
Не упрекну, не думай, дорогая,
За жребий мой — куда бы ни повлек
Дрожащей чаши он. Довольно... Сатир.

СЦЕНА ТРИНАДЦАТАЯ
СКВОЗЬ ОБЛАКА ПРОБИВШЕГОСЯ СОЛНЦА

Те же и Силен. Он несет за спиной мех с вином, и к поясу привешены чаши. Увидев его, старуха с криком убегает в дом.

Силен, Фамира, Нимфа.

Силен молча садится на землю и медленно начинает распутывать один за другим завязки меха. По лицу его струится пот.

Нимфа

Силен! Ну что ж тебе сказали?

Фамира

Папа-Силен, когда ж мы к ней?..

Силен
(продолжая работу)

Мешка еще не развязали,
А он уж молит: «Пополней!»

Фамира

Минут так мало. Ради вышних,
Ее ответ! Я столько ждал.

Силен
(продолжая возиться с узлом)

У нас и много их. Но лишних
Силен на тени не видал.
Для вас и радость — только бред,
Коль не зарница ночи мрачной,
А для силенов, кифарэд...
А для силенов, кифарэд...

(Наконец справляется с завязками, отвязывает чашу и наливает.)

Она — в узлах одежды брачной...
Что счастье людям? Тень листа
На зыбкой пыли вертограда?
Гляди — и чаша налита,
А губы сухи — вот отрада.

Фамира

Я жду, Силен...

Силен

(выпивает, потом отвязывает еще две чаши и медленно их наполняет, все три, любуясь струей. Потом с поклоном подает одну из трех)

Здоровье ваше...
Прикажете, друзья мои, по чаше?

(Предлагает Фамире, потом Нимфе.)

Фамира

Не пью.

Силен пьет с поклоном.

Нимфа

(с улыбкой)

Зараз уж выпей и мою.

Силен выпивает и целует кончики пальцев.

Силен

(кифарэду)

И жаль, но солнце не без пятен...
А впрочем, ваш отказ понятен.
Вы отвечали: «Я не пью»,
Как я сказал бы: «Не пою»,
Дельфийский бог кифару предложи мне,
Чтобы ему подтягивал я в гимне.

(Пьет чаши быстро, но не торопясь и со смаком.)

Ну, а теперь, любимые мои,
Какой-нибудь кусок.

Нимфа дает ему хлеба, Силен ест и пьет.

Дадим покой и чашам...

(Перемывает их.)

Поцеловать одну еще разок,
Один разок,

(Наливает и пьет.)

и я к услугам вашим.

(Встает и стряхивает крошки.)

Фамира, ты готов?

Мы живо вспашем
Обратный путь.

(Смотрит на небо.)

О, Феб еще высок...

Фамира

Папа-Силен, ты шутишь?

Силен

Вот так раз...
А давеча-то кто ж: «Сейчас, сейчас!»
Условье принято. Пан будет за судью.
Состав суда — из нас и Терпсихоры.
Ну, дети, я свалил вестей такие горы,
Что вам оставлю мех...

Аккуратно складывает мех на землю, Фамира хочет ему помочь.

Постой... Сперва допью.

(Пьет, вытирает губы и уходит за Фамирой.)

СЦЕНА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
РОЗОВОГО ЗАКАТА

На орхестру сбегают группы сатиров. Немая сцена — они ищут в траве и кустах вакхачок. Флейта. Кастаньеты. Пляски. Солнце близко к закату. Облака на западе уже огненны и розовы последними лучами.

Один голос

Я искал тебя день,
Целый день голубой,
Но вина мне не пень:
Утолюсь я — тобой.

Сатиры

(пляска)

Любам ночи, флейте час,
Флейте час,
Зазнобил я губы...
Нимфы, прилелейте нас,
Нимфы, пожалейте нас!
Поцелуйте, любы...

Голос

Я — усталая лань,
Ты — родник ледяной,
О, блесни, только глянь, —
И сольешься со мной.

Сатиры

Скучны выси-дали нам,
Дали нам,
Голубые дали...
Но когда б ужаленным,
О, когда б вы дали нам,
Только губы дали.

Другой голос

Только глаз не таи:
Ты — обида, я — нож,
И в объятья мои,
Как в огонь, упадешь...

Ариозо томного сатира

В закатном небе,
Где взор мой тонет,
Ужель мой жребий
Богов не тронет?..
Всегда к борьбе я
Атлет готовый,
И по тебе я
Тоскую вдовый.
Ты уж не пламя ль,
И в высях дыма
Не жемчугами ль
Живешь, таима?
О нет, не пламя,
Нет там, не в звездах,
И, не колдуя,
В поспевших гроздах
Между цветами
Тебя найду я...
И на леваде
Душисторосой
Пушистокосой
Шепну менаде,
Что в синей дали
Всё вижу лань я,
Что крепче стали
Мои желанья;
Что худ я страшно,

А голодаю,
Что слаще брашна
Я ожидаю:
Чтоб Амимона
Дала мне спелых
Два лунно-белых
Своих лимона.
При этом зное
Ночами зябнуть,
Немудрено и
Вконец ослабнуть.
О, злая Парка!
Довольно мести
Твоей воочью,
О, злая Парка!
Сегодня ночью
Мы будем вместе,
Сегодня ночью
Нам будет жарко.

СЦЕНА ПЯТНАДЦАТАЯ
ЛУННО-ГОЛУБАЯ

Близка ночь. Сатиры мало-помалу прекращают игры и музыку и ложатся спать в траву. С востока показывается луна. Сумрак заменяется синеватым светом. Только деревья еще черней, сплошные и тяжелые. На сцену выходит Нимфа, убранная в большие и пышные цветы, белые и желтые. Она с голыми руками.

Нимфа

«Их только две таких у нас бывает».
О нимфа, так ли это? А цветы?..
Твои цветы? И эта ночь? Была ли
Когда-нибудь менада беспокойней,
Что тень небес всё медлит... всё нельзя
В рассеянном уме запечатлеть
Позорно-сладкой тайны? Те — Гекаты
Бескровные колдуньи в волоса
И черные и душные своей
Владычицы старались ли упрятать
Поспешнее и глубже змей своих
И желтые яды́... чем это сердце
Через глаза горящие глядеть

В невидные глаза, и на свободе
С другим сливаться сердцем, и его
Тревогою безвольной заражать?

Голос сатира

(тихо)

Братцы... женщина...

Другой, погуще

Не наша?

Тонкий голос

Плохо вижу я, папаша.

Густой голос

Проберитесь по кустам,
Да узнайте там, не наша ль.
Но смотрите: если кашель
Или насморк, я задам.

Шелест в траве, потом:

Тонкий голос

Не менада...
Ореада...
На свиданье собралась,
Вся цветами убралась.

Другой тонкий голос

С кифарэдом, с кифарэдом...
Вот и он из рощи следом...

СЦЕНА ШЕСТНАДЦАТАЯ
ПЫЛЬНО-ЛУННАЯ

Фамира и Нимфа. Хор невидимый и рассыпанный по траве и кустам. Фамира хочет подойти к Нимфе, но, смущенный ее нарядом, отступает, потом, справившись с собою, подходит к ней и хочет обнять ее. Но Нимфа стоит неподвижна. Она вся ушла в глаза.

Фамира

Родимая... Простила ль ты Фамиру?
На исповедь тяжелую твою
Он отвечал холодным недоверьем...
О, мне не надо знаков.

Только мать
Без зависти дает такое счастье
И слез своих не помнит...

Пауза.

Нимфа

(чуть слышно, с хрипотой в голосе)

Я делю
Твою удачу, сын мой. Победитель...

Фамира

Удачу, ты сказала? Но с какой
Победою меня ты поздравляешь?

Нимфа

(глаже)

Ты шел на бой.

Фамира

Да, в самом деле, шел
Бороться я, как на песке, и потный
Тебе доспех доставить.
Но турнир
Не состоялся, Нимфа.

Нимфа

(с движением и совсем ожившим голосом)

Отступил ты?

Фамира

Я отступил.

Из травы, тихо

Вот тебе раз...
Ай да Фамирас!

Нимфа

(опять несколько хрипло)

Ты ж вызывал ее
И говорил, что счастлив...

Фамира

Бесконечно...

Нимфа

Ты женишься на музе?

Фамира

Нет, зачем?

Нимфа

(саркастически)

А песни, а мечты твои... Когда
Мерещились и розовые пальцы,
И яхонты тебе...

Фамира

О, я стыжусь
Минутного похмелья. Поцелуи
Волнуют кровь, и сладко, но от них
Гармония бледнеет, и в досаде
Она ломает руки и бежит
В дремучие леса — к косматым корням
И филинам глухим... Я не женюсь...

Тихий разговор
в траве

— Скрипач-то холостой?
— А как красноречив... Ума палата.
— Послушаем еще — постой!
— Палата-то палата,
Войдешь — так сразу озарит.
— Великолепно говорит...
— Да, хорошо, хоть больше для луны:
Всё будто ей рассказывает сны
Витиевато, темновато, —
Вобще — цветок без аромата.

Нимфа

О кифарэд! Скажи мне, в чем же это
Особенное счастье? И меня
Красивее ли муза?

Фамира

Не заметил.
Я на закат смотрел, как розы там
Небесный путь засыпали, а ноты

Со струн ее кифары на стезю
Вздымались и дымились... Это были
Не вы и вы — не знаю, но грубей
Была б и тень. Иль это души были,
Не жившие еще? Иль формы их,
Слепив, разбил ваятель, чтоб потом
В отчаяньи зарезаться? Они,
Там розовый заняв и горний путь,
Созвездия сперва образовали,
Потом Змеей и Рыбой хоры их
И Обручем, и Лирой тихо-тихо
Задвигались, и нежная звезда
За нежною звездою загоралась
Над каждым из мечтаний — и кружилась,
И таяла в эфире вместе с ним,
Не изменяя ритму. Только точки
Воздушные остались под конец,
Да жадные глаза, чтоб золотыми
Соединять их нитями сквозь слезы.
Ты скажешь — бред?.. Да, до сих пор себе
Не объясню я, что со мною было:
Глядел ли я иль слушал? Облака ль
Там надо мной звучали, или струны
Рождали в небе формы, а закат
Был только нежной гаммой?..

Хор

(в траве, тихо)

Первый

Какой туман!.. от слов...

Второй

Да, для иных ослов...
По-моему, скорее кратер,
Прикрытый стылостью золы...
Как жаль на этот раз, что мы козлы
Или что он не наш, не сатир.
Вот побеждать учитесь у кого...
Где разобрать не можешь ничего,
Там женщина и видит божество.
А ореада-то растаяла совсем...
А, право, хорошо, что забрались сюда мы!

Еще такая речь — и от прелестной дамы
Останутся глаза — горящие две ямы —
И двадцать бесполезных хризантем.

Во время этой паузы Фамира смотрит на небо, точно стараясь что-то припомнить. Нимфа смотрит на Фамиру горящими глазами, обмахиваясь, как веером, каким-то большим и бледным листом.

Фамира

(повторяет)

О, закат
Был только нежной гаммой.
Безраздельным
Я счастием владел. И не во сне...
Я чувствую, как к пальцам приливает
Из сердца кровь — там золотые пчелы
Соскучились по струнам... Сердце мне
Они давно щекочут бесполезно,
Но я не дам им воли.
В улей их,
Пусть ладят дом, — искусный, золотой
И сладостный...

Шелест в траве

Сравненье-то, козлятки, фу-ты, ну-ты!..
Запомнить бы для сладостной минуты.

Фамира

(повторяет)

О, сладостный...
Всё, чем я жил, что думал,
Осмыслилось, о Нимфа. Да, играл
Я иногда недурно... Но как мальчик.

Шепот в траве

Разохался, смиренник...

Нимфа

А турнир,
А очередь... Ты побежден, Фамира?

Фамира

Я не играл. Не думай, чтобы их
Боялся я. Но бесполезны судьи

Меж музою и человеком. О,
Я побежден — ты видишь: нет кифары.
Пусть там они судьбу мою решат,
А струны мне Силен вернет с вердиктом
Или, скорей, со счетом за мое
Блаженство, мать, за сладость неуспеха.

СЦЕНА СЕМНАДЦАТАЯ
ЯРКО-ЛУННАЯ

Силен приходит довольно поспешно. За поясом по-прежнему чаши, и за спиной снова полный мех, в руках кифара.

Фамира, Нимфа, Силен, притаившийся хор.

Фамира, увидев Силена, невольно вздрагивает.

Силен

Твой инструмент... в сохранности... прими
И сберегай на память.

Фамира

(как-то не сразу берет лиру. Он всматривается в нее)

О подруга,
Как мы давно не виделись! По мне
Скучала ль ты, или Силену пели
Вы, чуткие?

Силен

(ворчливо)

Да, только и заботы,
Должно быть, у Силена, что пугать
Ворон его кифарой знаменитой...

Фамира берет лиру, но рассматривает ее с удивлением, жесты его странны; он не решается коснуться струн.

Что ж ты глядишь? Подруги не узнал.

Фамира опускает лиру.

(Интимно и приближаясь к Фамире.)

Ах, милый мой царевич... Будто счастье
Всё в музыке?.. Когда так гибок стан
И солнце-то над головой кудрявой
Полнеба не прошло. Неужто мир,
Тот дивный мир, что на кифару веет,

И мотыльком кружится, и горит,
И красками играет, и дымится
Над урной водомета, и поет,
И перлами да розами смеется, —
Неужто ж он, Фамира, лишь затем
Достоин жить, и петь, и нежно веять,
И радовать, что черепахе ты
Медлительной когда-то перервал
Златую нить минут ее — и жилы
Ей заменил телячьими?

Фамира

(который тем временем решился поднять кифару и берет на ней странно негармоничные по его настроению аккорды)

Я слов
Твоих понять не в силах... Я не знаю,
Что сделалось со мной, Силен... Зачем
Ты черепок мне отдал этот?

Силен

Отдал
Не черепок тебе я — но тебя
Неверная узнать не хочет...

Фамира

(встревоженно)

Слушай —
Иль это уж не пальцы больше, или
Под пальцами не струны? Разбуди
Меня, старик... Игрушек нам не надо...
О, возврати мне сердце, — так не шутят...
Я ничего не помню, что играл.

В начале речи Фамиры сатиры поднимаются: они собрались около корифея и с любопытством слушают Фамиру, разглядывая его лиру и следя за его неудачными попытками что-нибудь сыграть.

Иль, может быть, оглох я?
Нимфа, слышишь
Мою игру? Играю я иль нет?
Скажите же мне, люди... Слушай, сатир,

Я знаю — вы искусники. Сыграй
Мне что-нибудь на этой деревяшке.

Силен берет из рук его кифару и играет. Сатиры аплодируют.

Га... Слышишь ты, ты слышишь ли, старик?
Иль музыка под пальцами твоими?
Нет, — это мышь летучая в полнóчь
Под своды залетела и крылами,
Незрячая, по мшистым стенам бьется.
Вы плещете, козлята? Ха-ха-ха!
Тут даже ритма нет... И это даже
Не бубен — о, теперь я убежден,
Что ты меня дурачишь... Не довольно ль?
Бери свою и мне отдай мою...

Силен продолжает играть медленно и выразительно. Фамира точно разбирает музыку или припоминает что-то. Он закрыл лицо руками.

Иль отведи дурман от сердца, сатир!

(С жестом мольбы.)

Я погибаю, сжалься!

Музыка прекращается. Вокруг говор. Сатиры приветствуют Силена.

Отчего ж
Слова так ясно слышу я... а струны?..
Где ж музыка, Силен?

Силен

(мягко, но серьезно)

Ты не привык
Еще к изменам, мальчик. Сами боги
Страдают от измены. Только Ночь
И День верны друг другу, да Полярной
Никто звезды не сдвинет.
Покорись
Всеобщему закону. После счастья,
Как после дня приходит ночь, а бог
В решениях, как полюс мира, стоек.

Нимфа

(тихо)

К чему же бог его приговорил?

Силен

(так же тихо)

Чтоб музыки не помнил и не слышал.

Нимфа и сатиры звуками и жалобными возгласами выражают охватившее их сочувствие; Фамира, наоборот, успокаивается и становится неподвижен, как человек, что-то обдумывающий. Воцаряется минута молчания.

Силен

О, боже мой! Уж будто не живут
Без дудок и без струн на белом свете?
Еще диви бы сатир!.. Танцевать
Тому нельзя без музыки. А этот —
Мудрец — по струнам плачет.

Фамира

Нет, Силен,
Не плачу я. Удар волны был мягок,
И где ж она, волна? Лишь головой
В песок ушел поглубже, да соленый
Остался вкус во рту.
Но тот же сон
Владеет этим сердцем... Просыпаться
Не думаю, старик, я.

Силен

Добрых снов,
Почтеннейший Фамира. Лучше средства
Не выдумать и Зевсу. Но и сон
Отраден нам лишь сладострастьем мысли,
Что это не конец, а только сон,
Что захочу — и нет оцепененья...
Вынь эту мысль из сердца, — что тебе
Останется, коль не свинцовый обод
На голове, иль ядовитый хмель,
Иль колдуна дурачество, чтоб желтой
Не вспоминать могилы? Плохо спишь
Без женщины, Фамира, если молод,
Иль доброго бокала... Хочешь: дам —
Натянемся по холодку винишки,
Судья и подсудимый, а мешок

Пожертвуем Фемиде — неказист,
Да ведь она считается слепою.

Фамира

Оставь, Силен... На сердце без того
Тяжелый хмель. Пускай осядет плесень.

Силен

Ты, Нимфа-мать, таилась так давно
Меж этих бликов лунных и цветов,
Что дашь совет какой-нибудь Фамире —
И моего полезней, верно. О, тебе
Молчания иначе не прощу я...
Вибрации серебряные нам
Одни еще от вас перепадают...

Нимфа

Фамира, сын мой. Музыка идет
В сердца людей — не только по дрожащим
И серебристым струнам. Может быть,
Там, на горах, дыханье бога флейты
Тебе излечит душу.
Хочешь: мы
Пойдем в фиас. Я попрошу искусниц,
Моих сестер. Мы уберем тебя
Вакханкою. О, как пойдет небрида
И виноград тебе, и тиса цвет,
И плюща цвет, когда вовьются в локон!
Ты сон зовешь — безволья слаще нет,
Дитя мое, как в горных перелесках,
Янтарною луною полных. Там
Еще не спят.
Подумай — ты отдашься
Весь чьей-то страстной воле. А потом?
Как знать, потом что будет.
Диониса
Я умолить сумею — спросишь, чем?
Кошачьей лаской, цепкостью змеиной
И трепетом голубки, а возьму
У вышних счастье сына... Но сначала
Пусть будет ночь, и день за ней, и ночь,
И ночь опять со мною... О, не медли!

Корифей

(Нимфе)

Тайной черной ночи длинны,
Тайной розовой медвяны —
Но Фамира твой из глины,
Если он не деревянный...

Материнского призыва
Он не слышит, он не хочет,
Так в лесу дичает живо
Из гнезда упавший кочет.

Один из сатиров, который заслушался Нимфы, начинает сначала робко, потом сильнее и громче подыгрывать ей на флейте. Речь Нимфы переходит в мелодекламацию. Флейтисту и Нимфе под конец полюбилась одна фраза, и то флейта, то голос уступают друг другу, чтобы нежно поддерживать одна в другом общее желание.

Нимфа

Я разведу тебя с твоей обидой
И утомлю безумием игры —
И будем спать мы под родной небридой,
Как две сестры.
Ты только днем, смотри, себя не выдай:
Сердца горят, и зубы там остры...
А ночью мы свободны под небридой,
Как две сестры.
Пусть небеса расцветятся Иридой,
Или дождем туманят их пары...
Что небо нам? Мы будем под небридой,
Как две сестры.

Фамира

Как две сестры... Не слишком ли уж близко,
И горячо, и тесно? Так не спят,
Чтоб плесенью покрылось сердце — ночи,
И месяцы, и годы...
Этот план
Не подойдет нам, женщина. Ты губы
Замкнула нам минутой счастья, и
Я не скажу ни слова ни с укором,
Ни в похвалу тебе. Но не зови

На мертвую дыханье флейты. Сердцу
Оно нечисто. Кровью налились
На лбу флейтиста жилы, и животным
Его подобны губы — так же их
Одушевить не может слово. Красны
И пухлые противны.
Если что
Еще отдать хотел бы я — так тени,
Которые всё манят... а куда?..
О, если б их не видеть, как не слышу
Я музыки...
Когда б еще черней
И глубже вырыть яму ночи... Да...
Эфир так беспокоен...
Ты ж, о Нимфа,
Ты красотой и трепетом теней
На этом бледном лике, на цветах
Жалка мне и страшна... Уйди отсюда.

(Пауза, тише.)

Иль ты судьба Фамиры? И тебе
Нет больше места в мире?.. Так что солнце
Зажжется, и опять наступит ночь,
А ты со мной всё будешь... и придется
Мне полюбить судьбу.
Но ты ведь яд
Через глаза мне в сердце льешь...
Не видеть —
Не слышать — не любить.
А вдруг любовь
Не слышит и не видит?..

Подходит к Нимфе и берет ее за руку, та следует за ним, как очарованная.

О, последний,
Чуть слышный луч от музыки! В глаза
Мои спустись, там приютишься в сердце,
Безмолвный, безнадежный. И вослед
Я не впущу ни тени.

Нимфа хочет прижаться к нему, хочет что-то сказать, но Фамира отстраняет ее.

Розы... губы,
Не открывайтесь больше. Мне ни слов,

Ни вас самих от вас не надо... Косы
Пушистые... рука...

(Поднимает и оставляет упасть одну из бледных рук Нимфы.)

ланиты... слез
Недавние следы...

(Отстраняется, видя, что Нимфа снова делает движение к нему.)

Прикосновенья
Не надо — нет. Лучей, одних лучей.
Там музыка...

(Убегает.)

СЦЕНА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
БЕЛЕСОВАТАЯ

Общее изумление. Минуту все молчат. Порыв ветра, за ним другой, третий. Из лесу летит пыль, и в ней кружатся листья, где-то скрипят ветки. В шуме ветра можно различить сначала слабый, потом все яснее не то вой, не то стон. Тем временем луна зашла за облако, и сцена остается освещенною лишь ее белесоватым отблеском. Между Силеном и Нимфою появляется тень Филаммона. На шее у него веревка. Лицо сохраняет синий оттенок и сразу без луны кажется почти черным.

Тень поворачивается к Нимфе, скалит зубы, потом поднимает руку, точно хочет ослабить на шее веревку; но рука, прозрачная, с черной половиной затекших пальцев, падает как плеть; он несколько раз повторяет этот жест, приближаясь к Нимфе — точно ищет ее помощи. Сатиры пугливо сбились в кучу. Ни музыки, ни восклицаний. Тень издает с досады воющий стон, но тише тех, которые доносились с ветром. Теперь тихо — ветра нет.

Тень Филаммона, Нимфа, Силен, хор сатиров.

Нимфа

Чьи это шутки?.. Сатиры... Силен?

Силен

(тихо, не сводя глаз с покойника)

Не шутки — нет. К тебе какой-то призрак,
Не знаю — кто. А ты не узнаешь?

Нимфа

(тоже чуть слышно)

Боюсь назвать... И ошибиться страшно...
Фамира?

(Приближается к тени — та отодвигается.)

Нет... о нет — не может быть!

Сатир с голубой ленточкой

(с деловым видом подходит к тени, которая делает знаки)

Я, господа, вам помогу... то есть по всей вероятности.

(К призраку.)

Что? не понимают тебя, ночной недовесок, бескрылая птица, «хочу и не могу». Ну, говори прежде всего: кто ты такой и зачем отбился от стада. Разве это порядок?

(Оглядывается на сатиров, но никто не смеется.)

Нимфа

Папá-Силен... Он не морочит нас,
Козленок твой? Откуда б научился
Он понимать язык усопших? Этот
Мираж... Он не подстроен?

Силен

Да и впрямь...
Козлятки... вы... того... со скуки. Месяц,
Хоть покажи нам гостя.

Луна на минуту выкатилась из облаков и освещает призрак. Видно, что он дрожит мелкой дрожью, а теперь, подняв руку к глазам, точно защищается от света Всем сразу же становится ясно, что это не маскарад.

Силен

(Нимфе)

Он — старик.

Тень отнимает руку от лица и делает знаки.

Сатир

Нимфа, этот человек — удавленник, и он царь, и он твой муж... был твоим мужем.

Нимфа теперь не отрываясь смотрит и тем временем одной рукой срывает с головы хризантемы.

Тень грозит ей. Потом со стоном обводит рукой вокруг себя.

Сатир

Скажи, мать, куда ты дела нашего сына, моего... моего сына?..

Нимфа

(распускает волосы, как в бреду)

Филаммон... да, Филаммон... Как похож
Он на Фамиру... Вот она — расплата.

Сатир

(бесстрастно)

Ты не кормила его, а бросила, и он жил без тебя двадцать лет. И вот сегодня, шальная, ты налетела вороной и покончила с ним в один день. Преступница и злодейка! Нет тебе имени, но ты будешь наказана... да, ты будешь наказана. Собакой надо тебя сделать, похудевшей от желаний, которая на задворке светлой весенней ночью в толпе женихов не различает тех, которые когда-то оттягивали ей...

Затрудняется; ему подсказывают; «грудь».

Да, именно — ее грудь...

Знаки изумления и ужаса в хоре. Призрак наступает на Нимфу. Силен держит ее, почти лишившуюся чувств, потом он дает знак сатирам, и они, окружив мертвого, поднимают дикую музыку, пляску, но это не может длиться долго. Мало-помалу стеклянные глаза, где отражаются две беглых луны, на синем лице расхолаживают напускное веселье. Общее молчание. Никто не знает, что и о чем говорить.

Корифей

Где ж ты учился этому искусству,
Мой милый брат — козленок?..

Сатир с голубой ленточкой

Гермий нас,
Троих козлят, когда-то на посылках
Держал, и за толпой таких теней —

О, там куда страшнее были тени —
Я десять дней скитался. Понимать
Из языка их тут и научился
Я кое-что. Но этот сам недавно
Еще дышал: не приловчился он
Рассказывать.
Гей, приятель! А веревка отчего на шее?

(К хору.)

Говорит: удавился сам-сам-сам.

Тень издает звуки, похожие на *сам-сам-сам,* и скверно улыбается одними губами.

А по какой причине? — Скучно жить...
А деньги где... деньги?

Молчит.

Другой сатир, с розовой ленточкой

П-позвольте же, н-но в этом суть. Он был
И скряга, и богач...
Т-теперь Фамира
Т-таких ч-чудес н-наделает...
А в-вы
С-спросили бы у т-тени толком, С-сатир...

Сатир с голубой ленточкой

(несколько пикированный)

Сделайте одолжение, братец. Спросите сами. А я отказываюсь... то есть я не отказываюсь, но не понимаю ни слога.

Скрывает, должно быть. Это ведь с ними, господа, бывает. Заупрямится, да и всё тут. Одного такого казнили. Сам без головы, а туда же скрытничает: виноват или не виноват. Попробовать разве вот что.

Филаммон! Вельможный!
А кровки! Или молочка с винцом?

Нет — все-таки не скажет. Ну и не надо.

Затвердил одно: спрятано — не ищите... Да где спрятано — бестолковый? Что-то сказал... Но спутан-

ное какое-то слово: не то в воде, не то в лесу, не то в скале, не то в доме, может означать также и нигде.

Словом, деньги... ау.

Ну, вот... Теперь просит пить. Знаете — они, когда напьются, так говорят, иногда даже пророчат.

Папа-Силен! Могу у вас просить
Немножечко вина? Для жертвы мертвым.
Я набожен — и сам вина не пью.

Силен

(в тон ему)

Особенно поить его не надо,
А дай ему два унца. Молоком
Добавим остальное. Мне не жалко,
Но опьянять усопших — тяжкий грех,
А, хоть Силен, всегда имел я совесть.

Толпа сатиров набегает помогать Силену. Помогавшие, несмотря на зоркость Силена, заметно розовеют. К молоку идет один переводчик.

Томный сатир

(тоже разрумянившийся, в хризантемах, брошенных Нимфой)

Нет, молока я видеть не могу:
Сицилию оно напоминает
И страшный глаз чудовища. Так молод,
А выстрадал-то сколько!

(Хнычет. Потом воркующим голосом.)

О Силен!
Ты мне не дашь с наперсток этой влаги?
Я не в себе, так сыро, что... тошнит...

Силен молча грозит ему и берет себя за ухо. Хризантемы прячутся в толпу. Между тем тень припала к молоку с вином и жадно пьет.

Силен

(тихо, но выразительно)

Скорей — пока он пьет — в фиас, малютки!

Нимфа

(приподнимаясь)

Нет, нет, Силен... Пусть говорит еще...

Силен

Не стоит, душка...

Тень поднимается, говорит, но губы шевелятся без звука.

Сатир с голубой ленточкой

Вот этого уж ни за что не передам, потому что неправда.

За сценой крик Фамиры и следом другой, тоже его, но, видимо, подавленный, дико оборванный усилием воли.

Все

(к сатиру, который стоит оторопев и приложив руку к часто стукающему сердцу)

Что там такое? Секреты? От нас?

Несколько тирсов взлетает над ним.

Сатир с голубой ленточкой

(дрожа)

Проклятый мертвец. Он предсказал, что Фамира выжжет себе оба глаза углем из костра. Сатиры, кто это там кричал?

Нимфа без слов, даже без звука, падает на руки Силена. Сатиры подготовляются бежать. Нимфу кладут на наскоро сделанные носилки. В это время сатир с голубой ленточкой кричит:

Погодите, погодите... он говорит еще... Нимфа!

Она открывает глаза.

За то, что ты не любила кого надо, за то, что ты любила кого не надо, боги сейчас сделают тебя птицей с красной шейкой... Название неразборчиво.

Шум. Смятение. Один из сатиров замахивается на призрак флейтой, другой бубном, третий тирсом. Его гонят, травят, он приседает, скользит и время от времени приподнимается над землею на четверть аршина, точно стяжелевшая курица. Между тем из этой сумятицы выпархивает небольшая птица, и вся толпа с Силеном в ужасе убегает.

СЦЕНА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

После этого на сцене остаются только тень и птица. В течение нескольких минут тень гоняется за птицей и при этом страшно машет руками. Тем временем видно, как ощупью от камня к камню, изменившейся походкой слепого, спускается к дому Фамира. Иногда он отдыхает около камней. Лицо его окровавлено и выглядит страшно. Наконец Фамира спустился к самому дому. Он достиг последнего белого камня, похожего на голову быка, и, склонившись, молча его обнимает. Птица села к нему на плечо. Призрак, не смея подойти вплотную, остановился поодаль, он сложил руки, прижав их к груди, по темному лицу катятся слезы. Между тем уж поднимается утренний туман. Луна погасла. На светлеющем небе остались только редкие бледные звезды.

Фамира

Последняя ступенька...
Скоро дом,
И мир, и сон. Довольно на сегодня.
Встает туман. Я чувствую: мои
Одежды стали влажны. Белый камень,
Товарищ одинокий! Как тебя
Мне узнавать, когда ты уж не белый...
А это что ж у ног моих?

(Поднимает кифару.)

Любовь...
Моя любовь, поди сюда. Слепому
Ты дорога — не изменяла ты,
И ворожбы ничьей на чутких струнах
Не остается больше.
Может быть,
Хоть луч еще таится в сердце...

Пробует играть, что-то силится припомнить, кровь, смешанная со слезами, струится по лицу. Призрак качает головой. Птичка затаилась на его плече. Фамира бережно опускает кифару.

Вино ушло до капли — мех сносился.

Пауза.

Но голоса здесь были.
Никого
Я более не слышу. Только чье-то
Так быстро бьется сердце... Возле... Точно
Ребенок или птица... Вот теплом
Мне на лицо повеяло.. За ночью
Белеет день, и уголь будто выжег

Еще не всё. О, нежный, кто же ты?
Со мною?.. На плече?
(Осторожно снимает птицу, которая не противится.)
Какой-то птенчик...
Да он ручной совсем. Откуда ты?
Откуда ж ты, пичужка? И кровавых
Как не боишься ям?
Га... Это что ж?
Ледя́ная струя — откуда ж эта?!
Так мертвецы на сердце веют... О...
Коль это тень... То чья же? Заклинаю.

Тень издает стон, но совсем слабый, рассветный, слышно хлопающее ***сам-сам-сам.***

Фамира

(движется по направлению голоса. На одной руке держит птицу. Другая спокойно и бессознательно касается Филаммона, который припадает к ногам Фамиры и целует их)

О боги... Вам я отдал, что имел —
Уплачен долг, и с лихвой... Но на свет
Не сам пришел Фамира. Если только
Вы видите теперь его отца
Иль мать его, молю вас в этот час
Безрадостный и страшный: ради муки,
Подъятой им свободно, не оставьте
Фамиру одного — пускай отец
Иль мать ему омоют, плача, раны.

СЦЕНА ДВАДЦАТАЯ

ЗАРЕВАЯ

В глубине, на фоне розового сияния, показывается Гермес в ореоле божественной славы. Его слова падают ясно и мерно.

Гермес

С тобой они оба, Фамира...

Фамира

(настораживается)

Я чувствую сиянье божества,
И боль от ран затихла. Я не вижу

Твоих ланит, но кланяюсь тебе.
Прости слепому, вышний... Кто ты, боже?

Гермес

Сын Майи крылатой — Зарею
Рожден я, — я грустного стада
Пастух равнодушный — Гермес,

С тобой они оба, Фамира —
И мать, и отец. Эта птица,
Она — превращенная Нимфа,
Тебе я оставлю ее...

Отец же унылою тенью —
Всё хочет обнять он Фамиру,
Но холоден он и бессилен
Меж розовых пальцев Зари.

Тень Филаммона становится всё меньше и наконец исчезает.

А ты — ты жить, ты будешь долго жить,
Хоть в нищете, Фамира, и возврата
В отцовский дом не жди... Филаммон в море
Спустил свои сокровища и умер
От собственной руки.
Рабыню я
Пришлю к тебе, Фамира.

(Указывает на дом.)

Там рабыня,
Кормившая тебя, объята сном —
Ее заколдовали, но словам
Моим она внимает, и бегут
По старческим морщинам слезы. Ты
Пойдешь за ней в Афины, в Дельфы, в Аргос
И к славному кремлю, где Посейдон
Тебя венчал победой; а пичужке
Утехой песен нежных добывать
Тебе на хлеб придется.
И кифару
Возьми с собой. Мы жребиев туда —
Купцы гаданье любят — накидаем,
И вынимать их клювом будет та же

Из лиры мать. И пусть питает сына
До старости, до смерти, много лет...
Когда ж тебе глаза засыплют, Нимфа
Вернется к нам, пленять. Я на груди
Твоей, слепец, велю повесить доску
С тремя словами: «Вот соперник муз».

(Движением пальца птице.)

Смой кровь с его лица... Он жалок, Нимфа...

Птица летит и возвращается с мокрой губкой. Фамира освежает лицо. На нем яснее видны теперь глубокие, уже чернеющие ямы и редкий белый волос на бороде... Совсем светло... Заря слилась с небом Гермес готов исчезнуть. Контуры его потускнели. Фамира ощупью отыскивает посох и берет кифару, уже не касаясь струн. Птица смирно сидит у него на плече. Теперь она хозяйка положения.

Фамира

Благословенны боги, что хранят
Сознанье нам и в муках.
Но паук
Забвения на прошлом... он добрее.

Гермес исчезает. Из дома выбегает кормилица и с плачем бросается к Фамире.

Лето 1906.
Царское Село.

ПРИМЕЧАНИЯ

Анненский успел опубликовать лишь немногое из своей лирики — в 1904 г. книгу «Тихие песни», до издания которой его лирические стихи вообще не появлялись в печати, а в дальнейшем, в журналах, газетах и альманахах 1906—1909 гг. — ряд стихотворений из числа вошедших впоследствии в «Кипарисовый ларец» и в «Посмертные стихи» (изд. 1923 г.). При жизни поэта были опубликованы три первые его трагедии.

В настоящем издании оригинальные стихотворения Анненского распределены по трем разделам. Первые два раздела соответствуют двум сборникам поэта, из которых второй — «Кипарисовый ларец» — был осуществлен, по-видимому, в значительной степени по его указаниям. В третьем разделе собраны стихотворения, не вошедшие в сборники. Переводы, из которых только часть была издана самим Анненским, выделены в особый раздел. Трагедии, составляющие последний раздел, располагаются в той последовательности, в какой они были написаны.

Такое расположение материала, позволяющее сохранить целостность поэтических сборников Анненского и самый принцип циклизации, которого придерживался поэт, является вместе с тем и единственно возможным, поскольку хронологический принцип в данном случае не применим. Датированы лишь очень немногие стихотворения Анненского, а последовательность занесения их в тетради, как выясняется, далеко не всегда соответствовала последовательности их написания; бывает, что одно и то же стихотворение встречается в разных тетрадях или несколько раз в одной и той же тетради, часть же материала существует в виде отдельных листков. Прижизненные публикации отдельных стихотворений Анненского так немногочисленны, что не могут даже косвенно ориентировать в хронологии его творчества.

Раздел «Тихие песни» печатается по тексту издания 1904 г, с некоторыми пунктуационными поправками, внесенными по смыслу (специально не оговариваются). Расположение материала сохраняется только для оригинальных стихотворений, переводы же, образовавшие вторую часть книги («Парнасцы и проклятые»), объединяются с остальными переводами.

Раздел «Кипарисовый ларец» может рассматриваться в отно-

шении состава и текста как отражающий в основном волю автора (сборник подготовлялся при его участии, хотя окончательно был оформлен уже после смерти Анненского его сыном В. Кривичем). В предисловии ко 2-му изданию сборника (1923) В. Кривич рассказывает: «Собрав свою книгу для «Грифа» вчерне, Анненский передал мне весь рукописный материал «Ларца», состоявший частью из подлинников, частью из различных, иногда не вполне проверенных списков, вместе с указанием относительно распределения и плана сборника, прося подготовить книгу для окончательного ее просмотра, и... скончался в тот самый вечер, почти в тот самый час, когда я начал порученную мне работу... К составлению книги я приступил в самом непродолжительном времени после кончины Анненского, составил ее в точном и строгом соответствии с его указаниями и отметками». О том же В. Кривич говорит и в своих воспоминаниях· «Вчерне книга стихов эта планировалась уже не раз, но окончательное конструирование сборника все как-то затягивалось... Некоторые стихи надо было заново переписать, некоторые сверить, кое-что перераспределить, на этот счет мы говорили с отцом много, и я имел все нужные указания...»[1]

Как явствует из слов В. Кривича, Анненский не успел утвердить (по крайней мере в окончательном виде) состав сборника «Кипарисовый ларец». Среди многочисленных рукописных материалов в архиве поэта нет документа, который можно было бы считать авторским планом этой книги. Оригинал, подготовленный для набора, также не обнаружен. Поэтому не исключено, что роль В. Кривича в определении состава и композиции сборника была довольно значительной, и сейчас невозможно установить, чтó прямо соответствует намерению автора, а чтó доделано рукой его сына, хотя бы и по общим указаниям автора. Во всяком случае, заменить издание В. Кривича нечем, кроме простого воспроизведения последовательности стихов в тетрадях, хранившихся в кипарисовой шкатулке Анненского.[2] А в этих тетрадях стихи, вошедшие в «Кипарисовый ларец», чередуются со стихами, напечатанными лишь в 1923 г., и тогда вообще должно было бы отпасть самое заглавие «Кипарисовый ларец» — настолько бы расширился состав книги. Заглавие же это, безусловно, принадлежит самому Анненскому, что подтвердили нам также лица, с которыми он делился своими творческими намерениями в последние годы жизни (Е. М. и А. А. Мухины).

Большинство стихотворений Анненского дошло до нас в нескольких редакциях, хронологическая последовательность которых далеко не всегда ясна, поскольку поэт нередко возвращался к редакции, отвергнутой ранее. В тетради из кипарисовой шкатулки заносились главным образом окончательные редакции. Но некото-

---

[1] «Литературная мысль», 3, Л., 1925, стр. 208—209.

[2] Последняя так описана в предисловии к «Посмертным стихам»: «Это полированная, замыкающаяся шкатулка из кипарисового дерева с вензелем на крышке, где хранились (и сохраняются и ныне) цветные кожаные тетради стихов последних лет». Ларец находится теперь, вместе с архивом поэта, в Центральном Государственном Архиве Литературы и Искусства.

рые стихотворения заносились сюда еще и в черновом виде, и в дальнейшем поэт снова возвращался к ним, переписывая их набело несколькими страницами дальше, а порою принимался и за переделку белового текста. Кроме того, нет уверенности в том, что тетради «Кипарисового ларца» заполнялись последовательно, т. е. что до тех пор, пока предыдущая тетрадь не заканчивалась, поэт не начинал писать в следующей. Есть здесь и несколько таких стихотворений (как из числа вошедших в «Кипарисовый ларец», так и из числа «посмертных»), где некоторые строки вообще остаются недописанными. Между тем эти же стихотворения, равно как и целый ряд других (представляющих уже и здесь вполне обработанный текст), существуют еще и в других списках — на отдельных листах.

Оба издания «Кипарисового ларца» основаны, за немногими исключениями, на текстах авторских тетрадей из кипарисовой шкатулки. Что касается стихотворений, существующих в нескольких законченных редакциях в пределах тетрадей, то выбор В. Кривича основывался на признаке окончательности данного варианта. Второе издание сборника отличается от первого выбором других редакций для нескольких стихотворений и указаниями на варианты заглавий ряда стихотворений. [1]

Анализ соотношения между разными редакциями одного и того же стихотворения позволяет признать текстологическую работу первого публикатора наследия Анненского в подавляющем большинстве случаев правильной. Поэтому в настоящей книге сборника «Кипарисовый ларец» воспроизводится, в основном, по 1-му его изданию, как наиболее близкому по времени к исполнению авторского замысла — с проверкой всего материала по первоисточникам (автографам и авторизованным спискам) и с критическим учетом поправок, внесенных во 2-е издание.

Последний, третий раздел оригинальной лирики Анненского — «Стихотворения, не вошедшие в сборники» — составляют стихотворения, опубликованные в сборнике «Посмертные стихи» (1923), и несколько стихотворений, публикуемых впервые. За малыми исключениями, этот материал, насколько позволяют судить отдельные даты стихотворений, хронологически близок к сборникам «Тихие песни» и «Кипарисовый ларец» (в основном это стихи, записанные в четырех тетрадях из кипарисовой шкатулки; остальное — стихи из более ранних тетрадей, либо записанные на отдельных листах). В. Кривич в предисловии к сборнику «Посмертные стихи» также отмечал: «Здесь собраны почти исключительно те стихи И. Ф. Анненского, которые, по их времени и характеру, могли бы войти в его первую и вторую книги... Таким образом, этим сборником еще не исчерпывается вполне все поэтическое наследие Иннокентия Анненского».

Публикатор не объяснил своих принципов отбора материала. Но за пределами его издания остались все ранние стихи, которые Анненский не ценил, а также несколько оригинальных и переводных стихотворений, относящихся, очевидно, к различным периодам жизни поэта и не записанных в тетрадях, отчасти — неоконченных.

---

[1] Варианты заглавий в настоящем издании не воспроизводятся в основном тексте, а указываются лишь в примечаниях.

В настоящем издании они воспроизводятся в соответствующих разделах. Ранние же стихотворения в наше собрание не включаются по мотивам, изложенным во вступительной статье (см. стр. 11), равно как и «стихотворения в прозе», опубликованные в «Посмертных стихах» в качестве особого раздела.

Что касается группировки «Стихотворений, не вошедших в сборники», то хронологический принцип мог быть непосредственно применен лишь к очень немногочисленным датированным стихотворениям, которые и вынесены в начало раздела и расположены в порядке написания. В отношении же основной, недатированной части материала говорить о хронологии не приходится. Здесь можно лишь учесть косвенные и далеко не бесспорные признаки, вроде порядка записи в тетрадях и расположения материала в сборнике «Посмертные стихи», поскольку оно основано было и на биографических сведениях, какими располагал В. Кривич. Несколько стихотворений, публикуемых нами впервые по автографам, большей частью черновым, помещены в конце раздела. В конце же дается подраздел «Надписи на книгах и шуточные стихотворения», который от соответствующего приложения в сборнике «Посмертные стихи» отличается тем, что, с одной стороны, несколько стихотворений, имеющих, на наш взгляд, определенно лирический характер, независимо от «случая», к которому они написаны, отнесены в основной раздел; с другой же — внесено несколько впервые публикуемых надписей и пародий.

Для настоящего издания удалось установить даты ряда стихотворений. Даты установлены на основании преимущественно ранних автографов Анненского (даты в большинстве случаев надписаны другими чернилами, — возможно, через значительный промежуток времени).

В разделе «Стихотворные переводы» материал располагается по эпохам, языкам и переводимым поэтам, а в пределах переводов из одного автора — в соответствии с последовательностью стихотворений в составе отдельных его книг и хронологией этих книг (при переводах из разных сборников). Такой порядок расположения, вообще широко применяемый, здесь является тем более целесообразным, что хронологическая последовательность выполнения отдельных переводов настолько неясна,[1] что строить предположения о том, в каком порядке были бы расположены самим поэтом переводы, не вошедшие в состав «Тихих песен», совершенно бесполезно. Сохранять же в настоящем издании два аналогичных друг другу цикла переводов, притом большей частью из одних и тех же авторов, — невозможно.

---

[1] В. Кривич в примечаниях к «Посмертным стихам» (стр. 161) свидетельствует: «Только относительно «Ich grolle nicht» и перевода из Гете я могу с достоверностью сказать, что они написаны Анненским в последние годы жизни. Что касается остальных стихов отдела, то по всем данным они были написаны еще до издания первой книги». Последнее подтверждается тем, что записи большинства из них (по крайней мере в первоначальных вариантах) находятся в ранних тетрадях.

Трагедии Анненского публикуются нами по печатным текстам — первые три по прижизненным изданиям, последняя — по посмертному. Рукописи трагедий не обнаружены.

Основная часть рукописного наследия Анненского хранится в Центральном Государственном Архиве Литературы и Искусства, незначительная часть — в рукописном отделе Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, единичные тексты — в рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского дома) Академии наук СССР. В ссылках на последние не возникло необходимости. Ввиду немногочисленности материалов Государственной Публичной библиотеки, при ссылках на них используется лишь сокращенное обозначение архивохранилища без шифра и указания на лист. Материалы же Центрального Государственного Архива Литературы и Искусства (фонд № 6, описи 1—2) чрезвычайно обширны. В связи с обилием материала в ряде случаев, когда необходимо уточнение архивных данных, это делается в примечаниях по следующей схеме: указание на № фонда опускается; цифра, указываемая после сокращения «ЦГАЛИ» (напр., 17) означает номер единицы хранения первой описи; при ссылках же на единицу хранения второй описи вслед за цифрой, обозначающей данную единицу, ставится в скобках цифра (2), напр.: 1 (2) или 3 (2).

Приводим пояснения к тем единицам хранения, которые используются чаще всего:

ЦГАЛИ, 16 — «Тетрадь 1-й книги стихов» (т. е. сборника «Тихие песни»).

ЦГАЛИ, 17, 21, 19, 20 — тетради, хранившиеся в кипарисовой шкатулке поэта и содержащие стихотворения из сборников «Кипарисовый ларец» и «Посмертные стихи».

ЦГАЛИ, 23 — «Стихи из сборника „Кипарисовый ларец“» (списки и машинописные копии).

ЦГАЛИ, 55 — «Стихотворения, напечатанные в сборниках „Тихие песни“, „Кипарисовый ларец“, „Посмертные стихи“».

ЦГАЛИ, 1 (2) — «Стихотворения из „Тихих песен“».

Приводим список сокращений, принятых в примечаниях:

ГПБ — Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.

КЛ — Иннокентий Анненский. Кипарисовый ларец. Вторая книга стихов (посмертная). Изд-во «Гриф», М., 1910.

КЛ2 — Иннокентий Анненский. Кипарисовый ларец Вторая книга стихов (посмертная). Издание 2-е под редакцией В. Кривича Пг., 1923.

ЛМ — Валентин Кривич. Иннокентий Анненский по семейным воспоминаниям и рукописным материалам. — Альм. «Литературная мысль», 3. Л., 1925.

ПС — «Посмертные стихи Иннокентия Анненского», под редакцией Валентина Кривича. Пг., 1923.

Ст. — стих (стихотворная строка).

ТП — Ник. Т — о. Тихие песни. С приложением сборника стихотворных переводов «Парнасцы и проклятые». СПб., 1904.

ЦГАЛИ — Центральный Государственный Архив Литературы и Искусства Главного архивного управления МВД СССР.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Тихие песни

Эпиграф к сборнику — несколько измененная вторая строфа стихотворения «Не могу понять, не знаю...», полностью помещаемого на стр. 187. *Никто* — псевдоним поэта (Ник. Т—о), составленный из отдельных букв его имени.

Поэзия («Над высью пламенной Синая...») (стр. 65). Впервые — ТП, стр. 5. *Синай* — полуостров и гора в Аравии, где, по библейскому преданию, древнееврейский пророк и вождь Моисей при блеске молний и ударах грома получил от бога «скрижали завета» (законы) для своего народа.

∞(«Девиз Таинственной похож...») (стр. 65). Впервые — ТП, стр. 6. В качестве заглавия — математический знак бесконечности.

У гроба (стр. 66). Впервые — ТП, стр. 7. В автографе ЦГАЛИ без заглавия и с разночтениями:

ст. 10—11: Неужто я живу в таком же страшном теле?
Иль новые жильцы отделать захотели

Двойник (стр 66). Впервые — ТП, стр. 8. В автографе ЦГАЛИ, 16 — разночтения:

ст. 19—20: А что, если кто нас разлучит?
Сумею ли жить я один?

В другом автографе, там же:

ст. 20: Так как же я буду... один?

Который? (стр. 67). Впервые — ТП, стр. 9.

На пороге (стр. 68). Впервые — ТП, стр. 11.

Листы (стр. 68). Впервые — ТП, стр. 12. В автографе ЦГАЛИ, 55 — заглавие: «Листопад».

В открытые окна (стр. 68). Впервые — ТП, стр. 13. В автографе ЦГАЛИ, 55 — заглавие: «Летним вечером».

Идеал (стр. 69). Впервые — ТП, стр. 14.

Май (стр. 69). Впервые — ТП, стр. 15. В автографе ЦГАЛИ, 55 — заглавие: «Стекло»

Июль

1. Сонет (стр. 70). Впервые — ТП, стр. 16.

2. «Палимая огнем недвижного светила...» (стр. 70). Впервые — ТП, стр. 17.

Август

1. Хризантема (стр. 71). Впервые — ТП, стр. 18. В автографе ЦГАЛИ, 55 — без заглавия и подзаголовка.

2. Электрический свет в аллее (стр. 72). Впервые — ТП, стр. 19. В ЦГАЛИ, 55 — без заглавия и подзаголовка. Разночтения:

ст. 2—6: Недоуменно, утомленно
Звезды аллей дрожащий луч
Из мрака вырвал ветку клена.
Но жуток ей зеленый чад,
Ей страшно быть разоблаченной
ст. 8—11: В ее тоске раззолоченной
Обрывки дум, обрывки туч
И вы, из сумрака разлуки
Ко мне протянутые руки

Сентябрь (стр. 72). Впервые — ТП, стр. 20. В ЦГАЛИ, 16 — заглавие: «Осень», вторая строфа отсутствует. Разночтения:

ст. 1: Раззолоченные, но бледные сады
ст. 9—12: И что ни миг, больней растущие утраты,
И черные пруды как впадины могил,
И шорох вялого листа, и ароматы
Над тем, кто лотоса забвения вкусил.

В беловом автографе ЦГАЛИ, 38, л. 1 — заглавие: «Осень», текст же совпадает с ТП; там же, л. 2 — черновой автограф — с заглавием: «Неконченный сонет» и, кроме того, разночтениями:

ст. 5—8: И понятая ложь последнего свиданья,
И желтый шелк аллей с дорожками следов,
И застывание свинцовое прудов,
Готовых запаять отважное страданье...

И тех, которые уж лотоса вкусили. Древние греки верили в волшебную силу цветка лотоса, который заставляет забыть о прошедшем и дарует блаженство.

Ноябрь (стр. 72). Впервые — ТП, стр. 21. В автографе ЦГАЛИ, 55 — заглавие: «Зимний сонет»; ст. 13—14 расположены в обратном порядке.

Ветер (стр. 73). Впервые — ТП, стр. 22.

Ненужные строфы (стр. 73). Впервые — ТП, стр. 23. В автографе ЦГАЛИ, 55 — заглавие: «Экран». *Пурпуровые тоги* — одежда, которую в древнем Риме носили консулы по случаю торжеств; эмблема славы.

В дороге (стр. 74). Впервые — ТП, стр. 24. В автографе ГПБ, представляющем, вероятно, вырванный лист из основной тетради (судя по римскому порядковому номеру стихотворения «XXVI»), озаглавлено: «На рассвете»; зачеркнуто заглавие «Когда закроешь глаза». Разночтение в ст. 1: «Рассветает. Будет дождь».

Среди нахлынувших воспоминаний

1. Перед закатом (стр. 75). Впервые — ТП, стр. 25. В автографе ЦГАЛИ, 16 — с заглавием: «Вечером».

2. Под новой крышей (стр. 75). Впервые — ТП, стр. 26. В автографе ЦГАЛИ, 16, представляет отдельное стихотворение, не связанное с предыдущим: оно предшествует ему и отделено от него двумя другими.

Трактир жизни (стр. 76). Впервые — ТП, стр. 27. В автографе ЦГАЛИ, 16 — разночтения:

ст. 7—8: Перепившиеся гости,
Скуки желтый перегар
ст. 11: И над ухом то и дело
ст. 13—16: А в сенях — седая Парка.
Флюс упрятав в воротник,
У плывущего огарка
Счет твой пишет гробовщик.

Там (стр. 77). Впервые — ТП, стр. 28.

? («Пусть для ваших открытых сердец...») (стр. 77). Впервые — ТП, стр. 29. В списке ЦГАЛИ, 27 — с заглавием: «Поэзия» и подзаголовком: «?».

Первый фортепьянный сонет (стр. 77). Впервые — ТП, стр. 30. В автографе ЦГАЛИ, 16 — с заглавием: «Соната».

Еще один (стр. 78). Впервые — ТП, стр. 31.

С четырех сторон чаши (стр. 78). Впервые — ТП, стр. 32.

Villa Nazionale (стр. 79). Впервые — ТП, стр. 33. *Villa Nazionale* — парк в Неаполе. Анненский упоминает о нем

в одной из своих записных книжек, куда он заносил путевые впечатления во время поездки по Италии в 1890 г.

Опять в дороге («Когда высоко под дугою...») (стр. 79). Впервые — ТП, стр. 34. В автографе ЦГАЛИ, 16 — озаглавлено: «За Пушкиным», что, очевидно, является намеком на общность основного мотива со стихотворением Пушкина «Телега жизни».

На воде (стр. 80). Впервые — ТП, стр. 35.

Конец осенней сказки (стр. 80). Впервые — ТП, стр. 36.

Утро (стр. 81). Впервые — ТП, стр. 37. В автографе ЦГАЛИ, 16 — без заглавия и с разночтениями:

ст. 2: Я не спал, я боялся заснуть:
ст. 4—5: Тяжело ударялись о грудь.
А в груди тем ударам в ответ

В другом автографе ЦГАЛИ, 43, л. 1 — также без заглавия и с разночтениями:

ст. 2—3: И от муки не мог я уснуть:
Два тяжелых и черных крыла
ст. 5—8: А ударам тех крыльев в ответ
Из груди отзывался птенец:
Для одних наступает рассвет,
Для других — говорил он — конец.
ст. 15—16: И улыбку за сетью дождя
Репетирует розовый день

Там же, л. 2:
ст. 7—10: Для одних — говорил он — рассвет,
Для других — лепетал он — конец.
О, смелее — уж ночь позади —
Ее страшное царство прошло

Ванька-ключник в тюрьме (стр. 81). Впервые — ТП, стр. 38. В автографе ГПБ вариант заглавия: «Из песен Ваньки Каина». Стихотворение написано на распространенный в русском фольклоре сюжет о любви княгини и Ваньки-ключника и о трагической гибели обоих.

Свечка гаснет (стр. 82). Впервые — ТП, стр. 39. В автографе ЦГАЛИ, 40, л. 4 — другая редакция:

Свечка гаснет

Из мерцания свечи,
И светлы и горячи,
Брызнув, искры золотые
Гибнут в трепетной ночи,
Но с мольбою голубые
Долго теплятся лучи
Из мерцания свечи.

О, разлука! О, молчанье!
Жизни яд, отрава сна!
Невозможного желанья
В тихий мир воспоминанья
Захлестнувшая волна ..
Свечка гаснет. Ночь душна.
О, разлука! О, молчанье!

Там же, на лл. 1—2 — черновые автографы этого же стихотворения. Там же, л. 3 — черновой автограф, представляющий еще отдельную редакцию текста:

Из мерцания свечи
Брызнув, искры золотые,
Гаснут в трепетной ночи,
Но не слышу их мольбы я:
Умирая, голубые
В сердце льются мне лучи
Из мерцания свечи...

Бред то был или признанье?
Путы ль жизни, чары сна?
Иль безумного желанья
В тихий мир воспоминанья
Забежавшая волна?
Свечка гаснет... Ночь душна...
Бред то был или признанье?

Декорация (стр. 82). Впервые — ТП, стр. 40. В автографе ЦГАЛИ, 16 — эпиграф: «На меня действует только та природа, которая похожа на декорацию. Из „[Само]признаний“».

Бессонницы

1. Бессонница ребенка (стр. 83). Впервые — ТП, стр. 41. В списке ЦГАЛИ, 27, озаглавлено: «Мои бессонницы»; заканчивается строфой (после ст. 12), отсутствующей в ТП:

И вот опять они пришли,
И шепот их всё так же сладок,
Но в душной копоти земли —
Увы! — для сердца нет загадок.

2. «Парки бабье лепетанье...» (стр. 83). Впервые — ТП, стр. 42. В автографе ЦГАЛИ, 16, озаглавлено: «Сонет» и не связано с предыдущим стихотворением. Заглавие представляет цитату из стихотворения Пушкина «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» («Мне не спится, нет огня...»).

3. Далеко... далеко (стр. 84). Впервые — ТП, стр. 43. В автографе ЦГАЛИ, 16 — с заглавием: «Через сорок лет» (зачерк-

нуто заглавие «Перед рассветом»). *Водить начинает пером.* Как указывает в своих воспоминаниях В. Кривич (ЛМ, стр. 214), этот стих содержит автобиографический намек на «невыносимый нервный зуд кожи», от которого одно время Анненский страдал по ночам.

Лилии

1. Второй мучительный сонет (стр. 84). Впервые — ТП, стр. 44. *Тир,* не существующий ныне финикийский город, и *Багдат* (совр. Багдад) славились в древности и в средние века художественностью изделий своих ювелиров.

2. Зимние лилии (стр. 85). Впервые — ТП, стр. 45. В автографе ЦГАЛИ, 16, озаглавлено: «Лилии цветут» и не связано с предыдущим стихотворением.

3. Падение лилий (стр. 85). Впервые — ТП, стр. 46. В автографе ЦГАЛИ, 16, озаглавлено: «La chûte des lys. Падающие лилии».[1] В автографе ЦГАЛИ, 27, л. 66, озаглавлено· «Crépuscule du soir. La chûte des lys[2] (Зимой)»; (в списке там же, л. 65 — «Зимой (Д. В. Анненский)» и в обоих текстах датировано: 3/II 1901.

С балкона (стр. 86). Впервые — ТП, стр. 47. В автографе ЦГАЛИ, 55 — без заглавия.

Молот и искры (стр. 87). Впервые — ТП, стр. 48. В автографе ЦГАЛИ, 1 (2) — без заглавия.

Тоска возврата (стр. 87). Впервые — ТП, стр. 49. В автографе ЦГАЛИ, 55 — без заглавия и с разночтениями:

ст. 1—4: На стекла радужные храма
Завеса желтая легла,
И недоигранная гамма
Под темным сводом замерла
ст. 9—12: И там за розовой чертою,
Томим несбывшейся мечтою,
Всё медлит день пережитой.

В другом автографе (там же) — с заглавием: «Ностальгия» и с разночтениями:

ст. 9: И там в сияньи запыленном
ст. 13: Роняя локон золотой.

Боттичелли Сандро (1444—1510) — знаменитый итальянский живописец.

---

[1] Русское заглавие не совсем точно соответствует французскому, буквально означающему: «Падение лилий».
[2] Вечерние сумерки Падение лилий (франц.)

Рождение и смерть поэта (стр. 88). Впервые — ТП, стр. 50. В автографе ГПБ озаглавлено: «Юбилейная пушкинская кантата». в автографе ЦГАЛИ, 27 — «Пушкинская кантата (не для конкурса)» и отличается от печатного текста наличием многочисленных ремарок, поясняющих характер музыки к «кантате».

В начале, после слова «Баян»: «(на былинный мотив с сопровождением гуслей)»

после ст. 5, 8, 11, 14: «(перебор струн)»

после ст. 19: «(Оркестр с затихающей мелодией гуслей)»

после ст. 20: «Женский хор (в староромантическом стиле)»

после ст. 36: «(Оркестровый переход.) Женский голос (контральто) (на мотив в новоромантическом стиле)»

после ст. 51: «Музыка, сопровождавшая это arioso,[1] принимает мрачный, даже зловещий характер; из нее вырастает Хор басов».

после ст. 55: «(несколько тактов похоронного марша, затихающих вдали. Приближаются светлыми аккордами молодые голоса)»

после ст. 57: «Duo[2] (сопрано и баритон)»

между ст. 67 и 68: «Женский хор (в сопровождении оркестра)»

Разночтения:

ст. 9: Да не златая трубонька вострубила
ст. 64: Ты, нас покинувшая тень

между ст. 64 и 65: В чертоги ночи снизойди.

В конце дата: 3 апр. 1899. Как эта дата, так и варианты заглавия в рукописях указывают на связь стихотворения с Пушкинским юбилеем 1899 г. — столетней годовщиной рождения поэта, которой посвящена и речь Анненского «Пушкин и Царское Село», произнесенная им 27 мая 1899 г. на Пушкинском празднике в Китайском театре в Царском Селе и изданная тогда же отдельной брошюрой. *Вифлеемская звезда* — по евангельскому преданию, звезда, которая указывала путь к месту рождения Христа.

«Мухи как мысли» (стр. 90). Впервые — ТП, стр. 53. В автографе ЦГАЛИ, 16 — эпиграф: «Черные мухи как мысли. Апухтин» и разночтения:

ст. 10: На отраву напали, чернея
ст. 12: Унесите тарелку скорее.

Заглавие — цитата из стихотворения А. Н. Апухтина (1840—1893) «Мухи», которое начинается строкой:

«Мухи, как черные мысли, весь день не дают мне покоя».

Под зеленым абажуром (стр. 90). Впервые — ТП, стр. 54. В автографе ГПБ — с заглавием: «Пасьянс под абажуром» и зачеркнутыми вариантами заглавия: «Колода карт», «Вечером».

---

[1] Ариозо (итал.). — *Ред.*
[2] Дуэт (итал.). — *Ред*

Третий мучительный сонет (стр. 91). Впервые — ТП, стр. 55.

Второй фортепьянный сонет (стр. 91). Впервые — ТП, стр. 56.

Параллели (стр. 92). Впервые — ТП, стр. 57—58. В автографах ЦГАЛИ, 16 и 55 — с французским заглавием: «Parallèlement» (сравн. такое же заглавие одной из книг стихов П. Верлена). Вторая часть стихотворения («Золотя заката розы...») в автографах ЦГАЛИ, 27 и 1 (2) имеет заглавие: «Из песен без слов» (сравн. такое же заглавие книги стихов П. Верлена «Romances sans paroles»).

Тоска (стр. 93). Впервые — ТП, стр. 59.

Желание (стр. 93). Впервые — ТП, стр. 60.

Кипарисовый ларец

ТРИЛИСТНИКИ

Трилистник сумеречный

Сиреневая мгла (стр. 97). Впервые — КЛ, стр. 5. Автограф — в ЦГАЛИ.

Тоска мимолетности (стр. 98). Впервые — КЛ, стр. 5. Автограф — в ЦГАЛИ.

Свечку внесли (стр. 98). Впервые — «Слово», 1906, № 430 от 12 апреля 1906, «Литературное приложение» № 9, стр. 3 с подписью: Ник. Т — о. Автограф — в ЦГАЛИ.

Трилистник соблазна

Маки (стр. 99). Впервые — КЛ, стр. 7. Автограф — в ЦГАЛИ.

Маки в полдень (вариант) (стр. 99). Впервые — КЛ, стр. 7, с заглавием: «Вариант» и подзаголовком: «Маки в полдень». Автографы — в ЦГАЛИ. В автографе ЦГАЛИ, 36 (на отдельном листе) с разночтениями:

ст. 9: Но не радость в их соблазне
ст. 11—12: Мертвым сном кануна казни
Их отравлен яркий жребий,
Сном за тучей липких мух
[Сном на плитах] в тусклом храме,
Сном, где головы старух
Осеняются дарами...

Смычок и струны (стр. 100). Впервые — КЛ, стр. 8. Автографы — в ЦГАЛИ (один из них с незначительным разночтением).

В марте (стр. 100). Впервые — КЛ, стр. 9. Печ. по автографу ЦГАЛИ, 31, л. 1. В другом автографе, там же, л. 2 — с заглавием: «Только раз» и разночтениями:

ст. 1—4: О, ты можешь не помнить, что было потом!
Всё равно нам любви не вернуть.
Но не думай забыть под измокшим листом
Ярко-черную грудь...
ст. 13: В этот раз, только раз.

Трилистник сентиментальный

Одуванчики (стр. 101). Впервые — КЛ, стр. 10. Автографы — в ЦГАЛИ. *Куоккала* — дачный поселок на берегу Финского залива (в настоящее время — курорт Репино).

Старая шарманка (стр 102). Впервые — «Перевал», 1907, № 11, стр. 29. Печ. по КЛ2, стр. 20. Автограф — в ЦГАЛИ.

Вербная неделя (стр. 103). Впервые — «Искра», 1909, № 3, с заглавием: «Суббота». Печ. по списку ЦГАЛИ, 19, совпадающему с текстом КЛ и КЛ 2, за исключением заглавия, которое содержится в оглавлении к тетради. В автографе ЦГАЛИ, 1 (2) в правом верхнем углу — чернилами другого цвета — дата «1906», относящаяся, возможно, к начальному замыслу стихотворения и не совпадающая с датой в тетради. *Хмара-Барщевский* Валентин — внук поэта, сын его пасынка. *И от Лазарей, забытых в черной яме.* По евангельскому преданию, Лазарь был воскрешен Христом на четвертый день после смерти.

Трилистник осенний

Ты опять со мной (стр. 103). Впервые — КЛ, стр. 13. Автографы — в ЦГАЛИ.

Август («Еще горят лучи под сводами дорог...») (стр. 104). Впервые — КЛ, стр. 13. Печ. по списку ЦГАЛИ, 23, содержащему авторские поправки, видимо более поздние, и полностью совпадающему с КЛ 2, стр. 23. В КЛ вариант ст. 7: «А с ними всё душней, дробится в хрустале». Автограф и машинописные копии с разночтениями к печатному тексту — в ЦГАЛИ.

То было на Валлен-Коски (стр. 104). Впервые — КЛ, стр. 14. Печ. по автографу ЦГАЛИ 21, воспроизведенному в КЛ 2, стр. 24. *Валлен-Коски* — водопад на реке Вуоксе.

Трилистник лунный

Зимнее небо (стр. 106). Впервые — КЛ, стр. 16. Автограф — в ЦГАЛИ. В КЛ 2, стр. 26 — подзаголовок: «(Лунные дымы)» на

основании белового автографа, принадлежавшего А. А. Альвингу и, за исключением заглавия, полностью совпадающего с печатным текстом.

Лунная ночь в исходе зимы (стр. 106). Впервые — КЛ, стр. 16. Автограф — в ЦГАЛИ.

Träumerei (стр. 107). Впервые — КЛ, стр. 17. В автографе ЦГАЛИ, 20, л. 8, после даты — приписка: «Отвратительный вагон 2-го класса». Год указан В. Кривичем предположительно.

Трилистник обреченности

Будильник (стр. 108). Впервые — КЛ, стр. 19. Автограф — в ЦГАЛИ. В КЛ 2, стр. 30 — подзаголовок: «(Счетчик муки)».

Стальная цикада (стр. 109). Впервые — КЛ, стр. 20. Автографы — в ЦГАЛИ. В автографе ЦГАЛИ, 21 — с подзаголовком: «(Романс)».

Черный силуэт (стр. 110). Впервые — КЛ, стр. 21, под заглавием. «Сонет». Печ. по автографу ЦГАЛИ, 16, воспроизведенному в КЛ 2, стр. 33.

Трилистник огненный

Аметисты («Когда сжигая синеву...») (стр. 110). Впервые — КЛ, стр. 22. Печ. по автографу ЦГАЛИ, 19. В КЛ и КЛ 2, стр. 34, стих 5 печатается по другому автографу («Но чтоб не знойные лучи» — с необоснованным по смыслу противопоставлением второй строфы первой). В той же тетради (и на лицевой стороне того же листа) — стихотворение под тем же заглавием, представляющее, однако, отдельное целое («Глаза забыли синеву...»). В. Кривич в примечаниях к КЛ 2, стр. 151, отмечает, что автор предназначал для «Кипарисового ларца» первое. Стихотворение, начинающееся строкой «Глаза забыли синеву», вошло в ПС; в настоящем издании — см. в разделе «Стихотворения, не вошедшие в сборники» (стр. 213).

Сизый закат (стр. 111). Впервые — КЛ, стр. 22. Автограф — в ЦГАЛИ.

Январская сказка (стр. 111). Впервые — КЛ, стр. 23. В автографе ЦГАЛИ, 17, озаглавлено: «Новогодняя сказка», а в оглавлении к тетради рукою поэта — «Январская сказка». Это заглавие, как более позднее, воспроизведено в КЛ и КЛ 2.

Трилистник кошмарный

Кошмары (стр. 112). Впервые — КЛ, стр. 24. Автограф — в ЦГАЛИ. *«Шелест крови»* — цитата из XV гл. повести Тургенева

«После смерти (Клара Милич)»: «И вот ему (Якову Аратову, герою повести. — *А. Ф.*) почудилось: кто-то шепчет ему на ухо... «Стук сердца, шелест крови», — подумал он». Это место Анненский цитирует и в своей статье «Умирающий Тургенев» («Книга отражений». СПб., 1906, стр. 64).

Киевские пещеры (стр. 113). Впервые — КЛ, стр. 25. Автограф — в ЦГАЛИ. В КЛ 2, стр. 39 — подзаголовок «(Кошмар)». Имеются в виду так называемые «дальние» пещеры Киево-Печерской лавры, очень узкие и низкие, с могилами и «мощами» монахов.

То и Это (стр. 113). Впервые — КЛ, стр. 26. Автограф и список — в ЦГАЛИ.

Трилистник проклятия

Ямбы (стр. 114). Впервые — «Слово», 1906, № 396 от 27 февраля, «Литературное приложение» № 4, стр. 3, с подписью Ник. Т — о. Автограф — в ЦГАЛИ.

Кулачишка (стр. 114). Впервые — «Искра», 1909, № 3, с заглавием: «Доля»; в КЛ, стр. 27 с заглавием: «Доля» «(Кулачишка)», в КЛ 2, стр. 42 — «Кулачишка» «(Доля)». Печ. по списку ЦГАЛИ, 23, где заглавие «Кулачишка» вписано рукою Анненского вместо зачеркнутого «Доля», а текст совпадает с печатным (дата — по автографу ЦГАЛИ, 20). *Грязовец* — город к югу от Вологды.

О нет, не стан (стр. 115). Впервые КЛ, стр. 28. Автографы — в ЦГАЛИ. Датируется 1906 г. — по указанию В. Кривича (КЛ 2, стр 151). *Звуки Парсифаля.* Имеется в виду опера Рихарда Вагнера «Парсифаль» (1882), написанная на сюжет средневекового эпоса, обработанного в XIII в. немецким поэтом Вольфрамом фон Эшенбахом; герой эпоса и оперы — доблестный рыцарь, носитель христианских мистических идеалов.

Трилистник победный

В волшебную призму (стр. 115). Впервые — КЛ, стр. 29. Печ. по автографу ЦГАЛИ, 17, с отличиями от текста КЛ и КЛ 2, представляющего следующие разночтения:

заглавие: Волшебная призма
ст. 3: Объятья с мученьем разжаты,

Трое (стр. 116). Впервые — КЛ, стр. 29. Автограф — в ЦГАЛИ

Пробуждение (стр. 116). Впервые — КЛ, стр. 30. Автограф — в ЦГАЛИ.

Трилистник траурный

Перед панихидой (стр. 117). Впервые — КЛ, стр. 31. Автограф — в ЦГАЛИ.

Баллада (стр. 118). Первоначально — КЛ, стр. 31. Печ. по автографу ЦГАЛИ, 21, где озаглавлено по-французски — «Ballade»; зачеркнут подзаголовок «Дачная баллада» и нет посвящения. Двумя листами раньше — более ранний текст, с многочисленными помарками и заглавием «Баллада», взятым в КЛ (по указанию автора?) в качестве заглавия окончательного текста; там же существенное разночтение:

ст. 17—18: О, проклятая, суконная, фенолом
И карболкой надушившаяся Дама.

Гумилев Николай Степанович (1886—1921) — поэт-акмеист, учился в Царскосельской гимназии в те годы, когда Анненский был там директором. *«Во блаженном»* — начало одной из заупокойных православных молитв («Во блаженном успении и живот и покой»)

Светлый нимб (стр. 118). Впервые — КЛ, стр. 32. Автограф — в ЦГАЛИ.

Трилистник тоски

Тоска отшумевшей грозы (стр. 119). Впервые — КЛ, стр. 34. Автограф — в ЦГАЛИ.

Тоска припоминания (стр. 120). Впервые — КЛ, стр. 34. Автограф — в ЦГАЛИ.

Тоска белого камня (стр. 120). Впервые — КЛ, стр. 35. Печ. по автографу ЦГАЛИ, 17; датируется по списку ЦГАЛИ, 23, где текст совпадает с автографом, а дата подписана рукою автора.

Трилистник дождевой

Дождик (стр. 121). Впервые — КЛ, стр. 37. Несколько автографов — в ЦГАЛИ. Печ. по автографу ЦГАЛИ, 19. *Первый Овидиев век* — первые времена человечества; имеется в виду эпическое произведение римского поэта Овидия (43 до н. э. — 16 н. э.) «Метаморфозы», основанное на преданиях о богах и героях античного мира. *Иматра* — водопад на реке Вуоксе в Финляндии.

Октябрьский миф (стр. 122). Впервые — КЛ, стр. 38. Автограф — в ЦГАЛИ.

Романс без музыки (стр. 122). Впервые — КЛ, стр. 38. Автограф — в ЦГАЛИ.

Трилистник призрачный

Nox vitae (стр. 123). Впервые — КЛ, стр. 40. Автограф — в ЦГАЛИ.

Квадратные окошки (стр. 123). Впервые — КЛ, стр. 41. Печ. по КЛ 2, стр. 58. Автограф — в ЦГАЛИ.

Мучительный сонет (стр. 125). Впервые — КЛ, стр. 42. Автографы — в ЦГАЛИ.

Трилистник ледяной

Ледяная тюрьма (стр. 125). Впервые — «Аполлон», 1909, № 1, стр. 16, вместе с двумя последующими стихотворениями в составе цикла «Трилистник ледяной». Автограф — в ЦГАЛИ.

Снег (стр. 126). Впервые — «Аполлон», 1909, № 1, стр. 16. Автограф — в ЦГАЛИ.

Дочь Иаира (стр. 127). Впервые — «Аполлон», 1909, № 1, стр. 17. В автографе ЦГАЛИ, 21, озаглавлено: «Воскресение», в оглавлении же — двойное заглавие: «Дочь Иаира (Воскресение)», воспроизведенное в КЛ 2, стр. 63. В КЛ 2 по этому же автографу восстановлена отсутствующая в прижизненной авторской публикации строфа, которой начиналось стихотворение:

Сини реки, светлы веси,
И с небес и из могил
Всем ответ: «Христос воскресе!»
Кто б о счастье ни молил.

Дочь Иаира — по евангельскому преданию, девушка, воскрешенная Христом.

Трилистник вагонный

Тоска вокзала (стр. 128). Впервые — КЛ, стр. 46. Автограф — в ЦГАЛИ.

В вагоне (стр. 129). Впервые — «Слово», 1906, № 424 от 27 марта, «Литературное приложение» № 8, стр. 3, с подписью: Ник. Т — о. Автографы — в ЦГАЛИ.

Зимний поезд (стр. 129). Впервые — КЛ, стр. 47, с заглавием: «Внезапный снег», в КЛ 2, стр. 68 — с двойным заглавием: «Зимний поезд (Внезапный снег)». Автограф — в ЦГАЛИ. Печ. по списку ЦГАЛИ, 23, где заглавие «Зимний поезд» вписано рукою Анненского поверх зачеркнутых: «Внезапный снег», «В вагоне ночью».

Трилистник бумажный

Спутнице (стр. 131). Впервые — КЛ, стр. 50. Автограф — в ЦГАЛИ.

Неживая (стр. 131). Первоначально — КЛ, стр. 51. Печ. по списку ЦГАЛИ, 19, с подписью Анненского.

Офорт (стр. 132). Впервые — КЛ, стр. 52. Автограф — в ЦГАЛИ, 21. В другом автографе ЦГАЛИ, 55 — последняя строфа:

Но так больно в кольца дыма
Черной думы врезан дым...
Даром, что ль, она язвима
Ядом жизни столько зим?

Трилистник в парке

Я на дне (стр. 133). Впервые — «Перевал», 1907, № 11, стр. 30. Автографы — в ЦГАЛИ. Датируется 1906 г. — по указанию В. Кривича (КЛ 2, стр 152). *Андромеда.* Статуя Андромеды (работы неизвестного мастера XVIII в.) с поврежденной и грубо реставрированной правой рукой находится в Екатерининском парке г. Пушкина, недалеко от бассейна с небольшим фонтаном.

Бронзовый поэт (стр. 133). Впервые — КЛ, стр. 53. Автографы — в ЦГАЛИ. Имеется в виду памятник Пушкину работы Р. Р. Баха в лицейском саду (г. Пушкин).

Pace (стр. 134). Впервые — КЛ, стр. 54. Автографы — в ЦГАЛИ (без подзаголовка). *Статуя мира* — мраморная женская фигура с опущенным факелом, работы итальянского скульптора XVIII в. Бартоло Модоло, находится в Екатерининском парке г. Пушкина, на круглой площадке вблизи павильона «Эрмитаж»; на постаменте надпись на итальянском языке: «Pace». *Меж золоченых бань и обелисков славы.* Имеются в виду парковые павильоны «Турецкая баня», «Верхняя баня», «Нижняя баня» и обелиски, воздвигнутые в честь побед русских войск. *Люблю обиду в ней, ее ужасный нос.* Имеется в виду повреждение статуи (в настоящее время скульптура реставрирована).

Трилистник из старой тетради

Тоска маятника (стр. 134). Впервые — КЛ, стр. 55. Автограф — в ЦГАЛИ. В списке ЦГАЛИ, 23, под стихотворением помета рукою Анненского: «Дорога. Постоялый двор», воспроизведенная в КЛ 2, стр. 78.

Картинка (стр. 136). Впервые — КЛ, стр. 56. Автограф — в ЦГАЛИ.

Старая усадьба (стр. 137). Впервые — КЛ, стр. 58. Автографы — в ЦГАЛИ

Трилистник толпы

Прелюдия (стр. 138). Впервые — КЛ, стр. 59. Печ. по КЛ 2, стр. 83. Автограф — в ЦГАЛИ.

После концерта (стр. 138). Впервые — КЛ, стр. 59. Автограф — в ЦГАЛИ.

Буддийская месса в Париже (стр. 139). Впервые — сб. «Северная речь», СПб., 1906, стр. 69, под псевдонимом: Никто (Ник. Т—о). Автограф — в ЦГАЛИ Печ. по КЛ 2, стр. 85, где воспроизведено по машинописной копии (ЦГАЛИ, 23) с вписанным рукою автора посвящением. *Зелинский* Фаддей Францевич (1859—1944) — профессор кафедры классической филологии Петербургского университета, переводчик Софокла и других античных авторов, был близок к Анненскому по кругу филологических интересов. *«Маскотта»* — «Маленькая Маскотта», оперетта французского композитора Эдмонда Одрана (1880).

Трилистник балаганный

Серебряный полдень (стр. 140). Впервые — КЛ, стр. 62. Печ. по списку ЦГАЛИ, 19. *Арлекин и Пьеро* — постоянные действующие лица старинной итальянской народной комедии, которую деятели модернистского театра в России пытались возродить в начале XX в. Арлекин — бойкий и предприимчивый персонаж в костюме из разноцветных лоскутьев. Пьеро — грустный неудачник, одет в белое, с бледным лицом.

Шарики детские (стр. 141). Впервые — КЛ, стр. 63. Печ. по списку ЦГАЛИ, 19.

Умирание (стр. 142). Впервые — КЛ, стр. 64. Печ. по списку ЦГАЛИ, 19, с подписью Анненского. Стихотворения этого «трилистника», помещенные в тетради рядом, помечены римскими цифрами, соответствующими их расположению в «трилистнике».

Трилистник весенний

Черная весна (стр. 143). Впервые — «Понедельник» газеты «Слово», № 10, от 17 апреля 1906, стр. 2, под заглавием: «Тает», с подписью: Ник. Т — о. Печ. по автографу ЦГАЛИ, 19, воспроизведенному в КЛ, стр. 66 и КЛ 2, стр. 91, с заглавием: «Черная весна (Тает)» вместо более нейтрального заглавия первой публикации.

Призраки (стр. 143). Впервые — КЛ, стр. 67, под заглавием: «И бродят тени». Печ. по автографу ГПБ, который, видимо как более поздний, использован в КЛ 2, стр. 92. Другой автограф — в ЦГАЛИ.

Облака (стр. 144). Впервые — «Перевал», 1907, № 11, стр. 29. Печ. по списку ЦГАЛИ, 23, содержащему позднейшие поправки рукою Анненского, но не имеющему заглавия (воспроизведен в КЛ 2, стр. 93); заглавие — по автографу ЦГАЛИ, 17, воспроизведенному в прижизненной публикации и в КЛ и содержащему незначительные разночтения.

Трилистник шуточный

Перебой ритма (стр. 145). Впервые — КЛ, стр. 69. Автографы — в ЦГАЛИ. *Пэона третьего размер* — стихотворная стопа из четырех слогов с ударением на третьем из них.

Пэон второй — пэон четвертый (стр. 145). Впервые — КЛ, стр. 69. Автограф — в ЦГАЛИ. *Пэон второй* — стопа из четырех слогов с ударением на втором слоге, *пэон четвертый* — с ударением на четвертом.

Человек (стр. 146). Впервые — КЛ, стр. 70. Печ. по автографу ЦГАЛИ, 17, где имеется незачеркнутый вариант стихов 9—10:

В работе ль несколько прорух
Или в заводе был подвох.

(наряду с текстом, воспроизведенным в КЛ и КЛ 2, стр. 96).

Трилистник замирания

Я люблю (стр. 146). Впервые — сб. «Северная речь», 1906, стр. 71, под псевдонимом: Никто (Ник. Т—о). Автограф — в ЦГАЛИ.

Закатный звон (стр. 147). Впервые — КЛ, стр. 71. Автограф — в ЦГАЛИ.

Осень (стр. 147). Впервые — КЛ, стр. 72. Автограф — в ЦГАЛИ.

Трилистник одиночества

Лишь тому, чей покой таим (стр. 148). Впервые — КЛ, стр. 73. Автограф — в ЦГАЛИ.

Аромат лилеи мне тяжел (стр. 149). Впервые — КЛ, стр. 73. Автографы — в ЦГАЛИ. В КЛ 2, стр. 101 — с заглавием: «Жаровня».

Дальние руки (стр. 149). Впервые — КЛ, стр. 74. Автографы (в том числе несколько черновых) — в ЦГАЛИ. Стихотворение было очень высоко оценено А. А. Блоком, который в дневнике

1912 г., 18 июня, приводит из него три строфы, причем цитате предшествует запись: «...вдруг почувствовал, как глаза заблестели и затуманились от этих слов». В стихотворении А. А. Блока «Пусть я и жил не любя», датированном 8 октября 1915 г., одна строка — «О, эти дальние руки!» — является откликом на стихотворение Анненского.

СКЛАДНИ

Добродетель

1. Рабочая корзинка (стр. 151). Впервые — КЛ, стр. 77. Автограф — в ЦГАЛИ.

2. Струя резеды в темном вагоне (стр. 152). Впервые — КЛ, стр. 78. Автограф — в ЦГАЛИ.

Контрафакции
(стр. 153)

Впервые — КЛ, стр. 80. Печ. по списку ЦГАЛИ, 21. *Котелок* — мужская шляпа особого фасона.

Складень романтический

1. Небо звездами в тумане... (стр. 154). Впервые — КЛ, стр. 81. Печ. по автографу ЦГАЛИ, 21. В автографе ЦГАЛИ, 42 — с заглавием: «Томные елки», воспроизведенным в качестве подзаголовка в КЛ 2, стр. 111, и незначительными разночтениями.

2. Милая (стр. 154). Впервые — КЛ, стр. 81. Автограф — в ЦГАЛИ, 19. В 4-й тетради кипарисовой шкатулки (ЦГАЛИ, 20), на листе 84, предшествующем карандашному черновику этого стихотворения, — полностью зачеркнутый набросок, тематически относящийся, по-видимому, тоже к стихотворению «Милая» и вместе с тем говорящий о его связи с образом Гретхен из «Фауста» Гете (в пределах зачеркнутого текста — еще ряд отдельных зачеркнутых слов):

[Маргарита стан твой снова тонок]
Ты поблекла [у тебя] опала грудь
Маргарита где ж он [же] твой ребенок
Ты молчишь [отвечай] ть мне скажи [мне] что-нибудь
Маргарита это было бредом

Два паруса лодки одной (стр. 155). Впервые — КЛ, стр. 82. Автографы — в ЦГАЛИ. Датируется по автографу ЦГАЛИ, 1(2).

Две любви (стр. 155). Впервые — КЛ, стр. 83. Автографы — в ЦГАЛИ, без посвящения, которое воспроизводится по КЛ и КЛ 2,

где, очевидно, дано по не выявленному нами автографу. *Фон Штейн* Сергей Владимирович — литературный критик, журналист, один из молодых знакомых Анненского в последние годы его жизни, занимался античной литературой, сотрудничал в журнале «Аполлон» и др.

Другому (стр. 156). Впервые — КЛ, стр. 83. Автограф — в ЦГАЛИ.

Он и я (стр. 157). Впервые — КЛ, стр. 84. Автограф — в ЦГАЛИ.

РАЗМЕТАННЫЕ ЛИСТЫ

Невозможно (стр. 158). Впервые — КЛ, стр. 89. Автограф — в ЦГАЛИ.

Сестре (стр. 159). Впервые — КЛ, стр. 90. Автографы (в том числе черновые) — в ЦГАЛИ. Посвящение, отсутствующее в них, — по КЛ. *Анненская* Александра Никитична (1840—1915) — жена Н. Ф. Анненского, брата поэта, детская писательница. Поэт воспитывался в семье Н. Ф. и А. Н. Анненских.

Забвение (стр. 159). Впервые — КЛ, стр. 91. Автограф — в ЦГАЛИ.

Стансы ночи (стр. 160). Впервые — КЛ, стр. 91. Автограф — в ЦГАЛИ, без посвящения, которое воспроизведено в КЛ по списку (ЦГАЛИ, 23), где оно вставлено рукою Анненского в сокращенной форме: О. Х.-Б. *Хмара-Барщевская* Ольга Петровна — жена пасынка И. Ф. Анненского, почитательница поэта; ее рукой сделаны многие списки его стихотворений.

Месяц (стр. 160). Впервые — КЛ, стр. 92. Автограф — в ЦГАЛИ.

Тоска медленных капель (стр. 161). Впервые — КЛ. стр. 92. Автограф — в ЦГАЛИ.

Тринадцать строк (стр. 161). Впервые — КЛ, стр. 93. Автограф — в ЦГАЛИ.

Ореанда (стр. 162). Впервые — КЛ, стр. 93. Автограф — в ЦГАЛИ. *Ореанда* — царское имение в Крыму, близ Ялты, с развалинами дворца, сгоревшего в 1882 г.

Дремотность (стр. 162). Впервые — КЛ, стр. 94. Автограф — в ЦГАЛИ.

Нервы (стр. 163). Впервые — КЛ, стр. 95. Автограф — в ЦГАЛИ.

Весенний романс (стр. 164). Впервые — «Слово», 1906, № 382 от 12 февраля, «Литературное приложение», № 2, стр. 2, с подписью· Ник. Т — о, под заглавием «Романс». Автограф — в ЦГАЛИ. Заглавие воспроизводится по КЛ, стр. 96, в соответствии с названием стихотворения по оглавлению во 2-й тетради из кипарисовой шкатулки.

Осенний романс (стр. 165). Впервые — сб. «Северная речь», 1906, стр. 72, под псевдонимом Никто (Ник. Т — о). Автографы — в ЦГАЛИ. Датируется по автографу ЦГАЛИ, 1(2).

Среди миров (стр. 165). Впервые — КЛ, стр. 97. Автографы — в ЦГАЛИ. Датируется по автографу ЦГАЛИ 1(2), представляющему незначительные разночтения. Стихотворение в 1910-х гг. стало популярным романсом (в репертуаре А. Вертинского).

Миражи (стр. 165). Впервые — КЛ, стр. 97. Автограф — в ЦГАЛИ. В другом автографе — ЦГАЛИ, 55 — заглавие «Закатные пятна», приведенное в качестве подзаголовка в КЛ 2, стр. 136.

Гармония (стр. 166). Впервые — КЛ, стр. 98. Автограф — в ЦГАЛИ.

Второй мучительный сонет (стр. 166). Впервые — КЛ, стр. 99. Автограф — в ЦГАЛИ.

Бабочка газа (стр. 167). Впервые — КЛ, стр. 99. Автограф — в ЦГАЛИ.

Прерывистые строки (стр. 168). Впервые — КЛ, стр. 100. Печ. по списку ЦГАЛИ, 20, с подписью И. Анненского. В КЛ и КЛ 2, стр. 140 — озаглавлено: «Разлука (Прерывистые строки)».

Canzone (стр. 169). Впервые — КЛ, стр. 102. Печ. по списку ЦГАЛИ, 21.

Дымы (стр. 170). Впервые — КЛ, стр. 102, с подзаголовком: «(Зимний поезд)». Печ. по автографу ЦГАЛИ, 19, с заглавием: «Дымы» (другие варианты заглавий зачеркнуты).

Дети (стр. 170). Впервые — КЛ, стр. 103. Автографы — в ЦГАЛИ. Печ. по списку ЦГАЛИ, 23, с позднейшей собственноручной поправкой Анненского.

Моя тоска (стр. 171). Впервые — КЛ, стр. 104, с примечанием: «„Моя тоска“ — последнее стихотворение автора и включено в книгу уже после его смерти». В автографе ЦГАЛИ, 24. без посвящения *Кузмин* Михаил Алексеевич (1877—1936) — поэт, близкий к кругам символистов и акмеистов Художник А. Я. Головин сообщил: «Незадолго до смерти Анненский в редакции «Аполлона» беседовал с М А. Кузминым на тему о сущности любви и о ее формах. Вскоре после этого он написал стихотворение, посвященное Кузмину, на тему, затронутую в их споре. Этому стихотворению суждено было стать последним произведением покойного поэта» (А. Я. Головин. Встречи и впечатления. Воспоминания художника. Л.—М., 1940, стр. 99).

Стихотворения, не вошедшие в сборники

Nocturno (стр. 175). Впервые — ЛМ, стр. 230, с датировкой: 24 февраля 1890 Печ. и датируется по беловому автографу ЦГАЛИ. 12, имеющему более позднюю дату. *Булич* Сергей Константинович (1859—1921) — профессор-филолог и теоретик музыки, композитор; на слова этого стихотворения им написан романс.

«Падает снег...» (стр. 175). Печ. впервые по списку ЦГАЛИ, 6, л. 7 — с пометкой В. Кривича в конце текста — после даты: «(По сообщению Мухиной:) 1900 г. Единственный автограф у Е. М. Мухиной. По ее объяснению Анн — кий одно время хотел взять текст для помещения в книгу, но потом или раздумал или забыл». Автограф, по-видимому, не сохранился. В начале текста — подчеркнутая надпись «Без копии», являющаяся, вероятно, указанием на уникальность автографа. Под датой — приписка: «Утро. Мятель. Я печален». *Мухина* Екатерина Максимовна — жена сослуживца Анненского А. А. Мухина, преподавателя Царскосельской гимназии; оба они скончались в Ленинграде во время блокады.

«Для чего, когда сны изменили...» (стр. 176). Впервые — «Аполлон», 1911, № 1, стр. 51. Автографы — в ЦГАЛИ. Печ. по списку ЦГАЛИ, 23, с поправкой рукой Анненского, воспроизведенному в ПС, стр. 55. Датируется по автографу ЦГАЛИ, 1(2), содержащему разночтения:

ст. 4: И свежей и шумнее трава
ст. 7—8: Завитки хризантем развились,
Завитки твоих кос... Но зачем?

В автографе ЦГАЛИ, 21 — с заглавием: «Романс».

Кэк-уок на цимбалах (стр. 176). Впервые — ПС, стр. 145. Автограф — в ЦГАЛИ. Примечание В. Кривича: «В авторской тетради вычеркнуто (если не ошибаюсь, впоследствии) два куплета, причем это изъятие восьми строк несколько нарушило полное совпадение стихов с мотивом танца. Куплеты эти следовали за вторым:

Чуть ногой в курзалы,
Мы — Сарданапалы,
Дайте нам цимбалы
И Иерусалим.
С ними не отрину
Даже осетрину,
И сквозь Палестрину
Провильнет налим.

Шутка была написана в Ялте, осенью 1904 г. Цимбалист играл в дневные часы на эстраде открытого ресторана в Городском саду» (ПС, стр. 164). *Махмет-Мамай* — татарское имя, в данном случае в собирательном значении. *Сарданапал* — древнеассирийский царь, славившийся своим великолепием. *Палестрина* Джованни Пьер-

луиджи (1525—1594) — итальянский композитор, автор церковной музыки.

Опять в дороге («Луну сегодня выси...») (стр. 178). Впервые — ПС, стр. 58. Автограф — в ЦГАЛИ. Печ. по списку ЦГАЛИ, 23, с поправками рукою Анненского. В автографе ЦГАЛИ, 19, разночтение в ст. 21: **Засели мы — нет мочи.**

Ель моя, елинка (стр. 179). Впервые — ПС, стр. 61. Автограф — в ЦГАЛИ.

Просвет (стр. 180). Впервые — ПС, стр. 65. Автографы — в ЦГАЛИ. Датируется по автографу ЦГАЛИ, 20.

«Ноша жизни светла и легка мне...» (стр. 181). Впервые — ПС, стр. 71, где опубликовано со ссылкой на автограф, принадлежащий А. В. Бородиной. Эпиграф — первая строка стихотворения М. Роллина́, переведенного Анненским под заглавием «Безмолвие» (см. стр. 294). *Горе безумной* и т. д. Имеется в виду гибель Офелии в «Гамлете» Шекспира.

Лира часов (стр. 181). Впервые — сб. «Жатва», т. 8, 1916. Автограф — в ЦГАЛИ. Датируется по ссылке В. Кривича на его альбом автографов (см. ПС, стр. 158). *Лира часов* — принадлежавшие поэту «старые темно-красные, в форме лиры и с маятником-лирой часы» (ЛМ, стр. 219).

Ego (стр. 182). Впервые — ПС, стр 15. Источник этой публикации установить не удалось: возможно, это один из более поздних автографов, не находившихся в личном архиве Анненского. Два автографа с вариантами этого стихотворения (приводятся в примечаниях к ПС, стр. 153) — в тетради ЦГАЛИ, 27, включающей как списки ранних стихотворений, так и автографы и списки оригинальных стихотворений и переводов из состава ТП и относящихся, по-видимому, к 1890-м годам — началу 1900-х годов.

«Когда, влача с тобой банальный разговор...» (стр. 182). Впервые — ПС, стр. 16. Печ. по списку ЦГАЛИ, 27, совпадающему с ПС. *Тургеневский малаец* — персонаж повести И. С. Тургенева «Песнь торжествующей любви», немой, с вырезанным языком, слуга феррарского патриция Муция, вывезенный с Востока.

Еще лилии (стр. 183). Впервые — ПС, стр. 18. Автограф — в ЦГАЛИ.

«— Сила господняя с нами...» (стр. 183). Впервые — ПС, стр. 20. Печ.: основной текст — по автографу ЦГАЛИ, 27, л. 74, а вариант — по списку, там же, оборот листа. Оба текста совпадают с ПС. В черновом автографе — ЦГАЛИ, 55 — незначительные разночтения.

Печальная страна (стр. 184). Впервые — ПС, стр. 141. Печ. по автографу ЦГАЛИ, 27, совпадающему с ПС; другой авто-

граф на отдельном листе (ЦГАЛИ, 59), вероятно, более ранний — с разночтениями.

С кровати (стр. 185). Впервые — ПС, стр. 21. Печ. по автографу ЦГАЛИ, 55, совпадающему с ПС.

Из окна (стр. 185). Впервые — ПС, стр. 22. Источник этой публикации, текст которой воспроизводится нами, не установлен. В автографе ЦГАЛИ, 58 — без заглавия и с разночтением в ст. 7:

Глядит на гробы [горы] глины сизой

Примечание В. Кривича: «Горы глины сизой — пресловутая голубая глина, которой одно время были полны улицы Царского Села» (ПС, стр. 154).

Зимний сон (стр. 185). Впервые — ПС, стр. 142. Печ. по автографу ЦГАЛИ, 16 (т. е. основной тетради стихов ТП), где совпадает с ПС. Так как эта тетрадь отражает более позднюю стадию работы над стихами ТП, чем другие переплетенные тетради, то и «Зимний сон» в данной редакции, по-видимому, наиболее поздней, можно считать по времени наиболее близко предшествующим стихам из тетрадей кипарисовой шкатулки. В черновом автографе ЦГАЛИ, 55 — с разночтениями:

заглавие: Post mortem[1]
ст. 5—6: Шаг домашних осторожен,
Точно всё еще я болен.
ст. 9—15: В самом деле, то Давиды,
То попы пришли в енотах,
И рыданье панихиды
У пропойцы в низких нотах.
День и ночь теперь саженным
Мне в лицо светить кандилам.
И в молчаньи напряженном
ст. 17—18: Нет, коль что-нибудь осталось
Из того, что было мною
ст. 20—24: Хоть завейте пеленою.
Ночью молча схороните
Тело бедного поэта.
А покуда прогоните
Всех шутов из кабинета.

Пойдут Давиды. Имеются в виду псалмы библейского царя Давида.

Сон и нет (стр. 186). Впервые — ПС, стр. 19, со ссылкой в примечании (стр. 154) на единственный автограф, предоставленный для напечатания А. В. Бородиной.

«Не могу понять, не знаю...» (стр. 187). Печ. впервые — по копии, снятой в 1940 г. Е. М. Мухиной с единственного

[1] После смерти (лат.). — *Ред.*

автографа, принадлежавшего ей. Из этого стихотворения заимствован эпиграф к сборнику «Тихие песни» (см. выше стр. 63). *Верлен* Поль (1844—1896) — поэт-лирик, один из главных представителей символизма во французской литературе; основным принципом поэзии и своего собственного творчества он объявлял музыкальность.

Мой стих (стр. 187). Впервые — «Аполлон», 1910, № 11, стр. 3. Автограф — в ЦГАЛИ. Этим стихотворением открывается наиболее значительная в настоящем разделе группа стихотворений, записанных в четырех тетрадях из кипарисовой шкатулки (ЦГАЛИ, 17, 21, 19, 20); стихотворение «Мой стих» является первым в 1-й тетради.

«Развившись, волос поредел...» (стр. 188). Впервые — ПС, стр. 24. Автограф — в ЦГАЛИ.

На северном берегу (стр. 188). Впервые — «Аполлон», 1911, № 1, стр. 50. Автограф — в ЦГАЛИ.

Черное море (стр. 189). Впервые — «Слово», 1906, № 410 от 13 марта. «Литературное приложение», № 6, стр. 2, с подписью Ник. Т — о. Автограф — в ЦГАЛИ:

Солнечный сонет (стр. 190). Впервые — ПС, стр. 27. Автограф — в ЦГАЛИ.

Тоска кануна (стр. 190). Впервые — ПС, стр. 28. Автограф — в ЦГАЛИ.

Тоска синевы (стр. 191). Впервые — ПС, стр. 29. Автограф — в ЦГАЛИ.

Желанье жить (стр. 191). Впервые — ПС, стр. 30. Автограф — в ЦГАЛИ.

Дымные тучи (стр. 192). Впервые — ПС, стр. 31. Автограф — в ЦГАЛИ.

Тоска сада (стр. 192). Впервые — ПС, стр. 32. Автограф — в ЦГАЛИ.

Поэзия («Творящий дух и жизни случай...») (стр. 192). Впервые — ПС, стр. 33. Автограф — в ЦГАЛИ.

Миг (стр. 193). Впервые — ПС, стр. 34. Автограф — в ЦГАЛИ.

Завещание (стр. 193). Впервые — ПС, стр. 35. Печ. по списку ЦГАЛИ, 23, где заглавие и посвящение вписаны Анненским. В автографе ЦГАЛИ, 17, с заглавием: «Из детского альбома» и без посвящения. *В. П. Хмара-Барщевский* — см. стр. 594.

«В ароматном краю в этот день голубой...» (стр. 194). Впервые — ПС, стр. 36. Автограф — в ЦГАЛИ.

Н а   п о л о т н е (стр. 194). Впервые — ПС, стр. 37. Автограф — в ЦГАЛИ.

К   п о р т р е т у   Д о с т о е в с к о г о (стр. 195). Впервые — ПС, стр. 144. Печ. по списку ЦГАЛИ, 23, содержащему поправки рукою автора и совпадающему с ПС. В автографе ЦГАЛИ, 17 и 1(2) — некоторые разночтения. Первоначальный текст (по свидетельству В. Кривича) представлял следующую надпись на самом портрете (репродукция портрета Перова, 1874):

И Карамазовы и бесы жили в нем,
В нем совесть сделалась пророком и поэтом,
И что для нас теперь сияет мягким светом —
То было некогда мучительным огнем.

Ник. Т — о. (см. ПС, стр. 164)

К   п о р т р е т у (стр. 195). Впервые — ПС, стр. 144. Автограф — в ЦГАЛИ. В оглавлении тетради стихотворение обозначено так: «К портрету (Е. Левицкой)». Е. Левицкая — по-видимому, одна из царскосельских знакомых семьи Анненских.

М а й с к а я   г р о з а (стр. 195). Впервые — ПС, стр. 38. Автограф — в ЦГАЛИ.

Л ю б о в ь   к   п р о ш л о м у (стр. 196). Впервые — ПС, стр. 40. Автограф — в ЦГАЛИ.

Ч т о   с ч а с т ь е? (стр. 196). Впервые — «Аполлон», 1911, № 1, стр. 53. Печ. по списку ЦГАЛИ, 23, с позднейшей поправкой Анненского. Автограф — в ЦГАЛИ, 17 — с разночтением в ст. 8: «За неприглядностью одежд».

Б р а т с к и е   м о г и л ы (стр. 197). Впервые — ПС, стр. 42. Автограф — в ЦГАЛИ. Пометка внизу стихотворения «Севастополь» — по списку ЦГАЛИ, 23. Имеются в виду братские могилы русских солдат и матросов, погибших во время севастопольской кампании 1854—1855 гг.

«Н е т,   м н е   н е   ж а л ь   ц в е т к а,   к о г д а   е г о   с о р в а л и...» (стр. 197). Впервые — альм. «Гриф», 1913, стр. 10. Автограф — в ЦГАЛИ.

С и р е н ь   н а   к а м н е (стр. 198). Впервые — «Аполлон», 1911, № 1, стр. 49. Автограф — в ЦГАЛИ. Примечание В. Кривича: «Если не ошибаюсь, Севастопольское братское кладбище». *Лазарь воскрешенный* — см. стр. 594.

П е т е р б у р г (стр. 199). Впервые — «Аполлон», 1910, № 8, стр. 3. Автограф — в ГПБ. Другие автографы (в том числе черновой) — в ЦГАЛИ. *В темных лаврах гигант на скале* — памятник Петру I работы Фальконета в Ленинграде («Медный всадник»).

Decrescendo (стр. 200). Впервые — «Аполлон», 1910, № 11, стр. 5. Автограф — в ЦГАЛИ.

За оградой (стр. 200). Впервые — «Аполлон», 1910, № 11. Печ. по машинописной копии ЦГАЛИ, 23, с поправками рукою Анненского. Автографы с незначительными разночтениями (по-видимому, более ранние) — в ЦГАЛИ и ГПБ.

«Если больше не плачешь, то слезы сотри...» (стр. 201). Впервые — ПС, стр. 50. Автограф — в ЦГАЛИ, с первоначальным зачеркнутым заглавием: «Banalité».[1]

«В небе ли меркнет звезда...» (стр. 201). Впервые — «Аполлон», 1910, № 11, стр. 4. Автограф — в ЦГАЛИ. *Фарисеи* — члены религиозно-политической секты в древней Иудее, отличавшиеся лицемерным исполнением правил внешнего благочестия. *Мытарь* — сборщик податей в Иудее. В стихотворении использованы образы евангельской притчи, в которой Христос отдает предпочтение мытарю, человеку, презираемому в общественных верхах древней Иудеи, перед фарисеем, носителем официальной морали и показной добродетели.

Мелодия для арфы (стр. 202). Впервые — «Слово», 1906, № 352 от 12 февраля, «Литературное приложение» № 2, стр. 2, с подписью Ник. Т — о. Автограф — в ЦГАЛИ.

«Когда б не смерть, а забытье...» (стр. 202). Впервые — «Аполлон», 1911, № 1, стр. 51. Печ. по списку ЦГАЛИ, 23, с авторскими поправками. Автограф — в ЦГАЛИ.

Песни с декорацией

Заглавие цикла принадлежит, по свидетельству В. Кривича (ПС, предисловие, стр. 10), Анненскому, хотя и не зафиксировано в рукописях. «Гармонные вздохи» и «Без конца и без начала» записаны во 2-й тетради кипарисовой шкатулки (ЦГАЛИ, 21), где помещены рядом, «Колокольчики» — в 3-й тетради (ЦГАЛИ, 19), где находятся между стихотворениями «Ель моя, елинка» и «Лунная ночь в исходе зимы». В настоящем издании, так же как и в ПС, объединяются вместе, но, в отличие от ПС, не образуют особого раздела и помещены в общем ряду стихотворений из авторских тетрадей — по месту первых двух частей цикла.

1. Гармонные вздохи (стр. 203). Впервые — ПС, стр. 83. где напечатано по более позднему списку со вставками рукою Анненского — ЦГАЛИ, 23; в этом списке сейчас, однако, утрачен второй лист, содержащий 5—8 строфы. Печ. по тексту ПС. В автографе ЦГАЛИ, 21 — следующее различие в «декорации»: «Туманная и черная ночь под осень. Старая яблоня. Догорающий костер.

[1] Банальность; нечто обычное, повседневное (франц.). — *Ред.*

Хромой оборванец перебирает лады старой гармоники». Кроме того, разночтение:

ст. 38. Сиди пастух с трубой

(зачеркнуто: «пастух-ерой», «да волком вой»; последнее сохранено в позднейшем списке. См. также примечания к ПС, стр. 159). *Громобой* — крейсер, входивший в состав русского флота во время русско-японской войны. *Артур* — Порт-Артур. *Бой* (англ. «boy» — мальчик) — распространенное в начале XX в. в русских городах Дальнего Востока название мужской прислуги. *Резиденция* — здесь столица.

2. Без конца и без начала (стр. 204)., Впервые — ПС, стр. 85. Автограф — в ЦГАЛИ. См. также примечания к ПС, стр. 159—160. Стихотворение это вместе со стихотворением «Гармонные вздохи» было объединено первоначально под общим заглавием «Ночные песни-сцены» (см. ЦГАЛИ, 21, лист без номера между лл. 32—33, т. е. перед стихотворением «Гармонные вздохи»). *Встрену* — диалектальная (смоленская) форма «встречу».

3. Колокольчики (стр. 207). Впервые — ПС, стр. 89. Печ. по списку ЦГАЛИ, 23, где Анненским вписана начальная ремарка — «декорация» и где в остальном текст совпадает с автографом ЦГАЛИ, 19. Стих 9 воспроизводится, однако, по автографу, поскольку в списке очевидная опечатка, воспроизведенная и в ПС («да День не делали»). Примечание В. Кривича: «Здесь, кроме основного поддужного колокольчика, «говорят» и бубенчики и т. н. «глухари» или «лопотуны» (большие шейные бубенцы из жести). Иногда тройка останавливается; м. б. встреча; пробивается свист поземки; поправляют упряжь; встряхиваются лошади; колокольчики лениво перезваниваются между собою. День, дома бы день, день один — высказанная вслух, затаенная, неосуществимая мечта измотавшегося почтового колокольчика. Сказанное находится в точном соответствии с тем, что говорил по поводу этих стихов автор. Читал «Колокольчики» Анненский несколько монотонным распевным речитативом, меняя 2—3 раза тон и выделяя те места, которые являются как бы «вкрапленными» в рассказ» (ПС, стр. 160).

Три слова (стр. 208). Впервые — ПС, стр. 54. Автограф — в ЦГАЛИ.

Зимний романс (стр. 209). Впервые — «Аполлон», 1911, № 1, стр. 52. Автограф — в ЦГАЛИ. *Лира часов* — см. стр. 606.

Бессонные ночи (стр. 209). Впервые — ПС, стр. 57. Печ. по списку ЦГАЛИ, 23, с поправкой рукою Анненского в заглавии. В автографе ЦГАЛИ, 21 — заглавие: «В бессонную ночь» и разночтение. «Насколько помню, — пишет В. Кривич, — произнося эти стихи, Анненский в строке 12 иногда говорил: не «пустодушье», а «пустодумье». Ни в автографах, ни в списках, однако, этого варианта не имеется» (ПС, стр. 156).

Тоска миража (стр. 210). Впервые — альм. «Гриф», 1913, стр. 10, без заглавия. Автограф — в ЦГАЛИ.

Л. И. Микулич (стр. 211). Впервые — ПС, стр. 147. Автограф — в ЦГАЛИ. *Микулич* — псевдоним Веселитской Лидии Ивановны (1857—1936) — писательницы, автора бытовых повестей и рассказов; она долгое время жила в Царском Селе. *Нимфа с Таицкой водой* — известная статуя «Девушка с разбитым кувшином» (Молочница, Перетта), работы П. П. Соколова, в Екатерининском парке; воспета А. С. Пушкиным и другими поэтами. *Таицкая вода* — из водопровода, проложенного от села Тайцы и питавшего пруды. *Лебедь* — образ местного духа-покровителя (на Большом озере в Екатерининском парке плавали лебеди). *Фелица* — «киргиз-кайсацкая царевна» из «Сказки о царевиче Хлоре» Екатерины II, которую Державин под этим именем воспел в своей оде «Фелица» (образовано от латинского felicitas — счастье). *Бронзой Пушкин молодой.* Имеется в виду памятник А. С. Пушкину работы Р. Р. Баха (см. стр. 599). *Там были розы.* Имеется в виду «Розовое поле» в Екатерининском парке, первоначально обсаженное розами, которые впоследствии одичали, а потом исчезли (упоминается в «Гавриилиаде» А. С. Пушкина).

«Я думал, что сердце из камня...» (стр. 212). Впервые — «Аполлон», 1911, № 1, стр. 51. Автографы — в ЦГАЛИ (в одном из них незначительное разночтение).

В зацветающих сиренях (стр. 212). Впервые — ПС, стр. 67. Автограф — в ЦГАЛИ.

Минута (стр. 212). Впервые — «Аполлон», 1911, № 1, стр. 50. Автограф — ЦГАЛИ, 19, — в ст. 8 содержит незачеркнутый вариант: «На сетчатом фоне [на фоне дрожащих] теней» (принимаем вариант текстов «Аполлона» и ПС, стр. 68).

Аметисты («Глаза забыли синеву...») (стр. 213). Впервые — ПС, стр. 69. Автограф — в ЦГАЛИ. См. примечание к стихотворению «Аметисты» («Когда, сжигая синеву...»), стр. 595.

«Только мыслей и слов...» (стр. 213). Впервые — ПС, стр. 70. Автограф — в ЦГАЛИ.

Осенняя эмаль (стр. 214). Впервые — ПС, стр. 72. Автограф — в ЦГАЛИ.

Сверкание (стр. 214). Впервые — ПС, стр. 74, где опубликовано со ссылкой на автограф, принадлежащий Е. М. Мухиной и имеющий данное заглавие (см. ПС, стр. 158). Печ. по автографу ЦГАЛИ, 1(2), совпадающему с печатным текстом.

У св. Стефана (стр. 215). Впервые — ПС, стр. 75. Автограф — в ЦГАЛИ. Заглавие указывает на католическую церковь; наиболее известная церковь этого имени — собор св. Стефана — в Вене, где поэт бывал проездом.

Последние сирени (стр. 215). Впервые — «Аполлон», 1911, № 1, стр. 52. Автограф — в ЦГАЛИ. (Начиная с этого стихотворения, идут тексты, не отображенные в тетрадях.)

Сумрачные слова (стр. 216). Впервые — ПС, стр. 77. Автограф — в ЦГАЛИ.

Старые эстонки (стр. 216). Впервые — ПС, стр. 78. Автограф — в ЦГАЛИ. Воспроизводим черновой набросок (ЦГАЛИ):

Если ночью тюремно-глухо,
А во сне паутинно-тонко,
Так и знай, что придет старуха,
Что старуха придет эстонка.
И не то чтоб стала к сторонке,
А вплотную станет к кровати.
Что ей надо, этой эстонке?
Будто я уж всех виноватей.
А чулок у ней серый-серый.

В стихотворении имеются в виду события 1905—1906 гг. в Эстонии — в частности, может быть, кровавая расправа над участниками массовой демонстрации рабочих и митинга, организованного ими в Таллине (тогда — Ревеле) на Новом рынке 16 октября 1905 г. В результате нескольких залпов из винтовок было убито и тяжело ранено 89 человек. Расстрел был произведен в тот момент, когда на место митинга вернулась посланная к губернатору делегация, получившая от него лицемерное обещание — выполнить требования рабочих. Похороны убитых, происходившие 20 октября, вылились в могучую демонстрацию протеста против царского правительства; с речами у могил убитых выступали большевики. После ряда революционных выступлений эстонских рабочих и крестьян, происходивших в декабре 1905 г., в дальнейшем, в конце 1905 — начале 1906 г., по всей Эстонии действовали карательные отряды, зверски расправлявшиеся с населением: с конца декабря 1905 г. по начало февраля 1906 г. в Эстонии, по неполным данным, было расстреляно 300 человек, а свыше 600 человек было подвергнуто порке. («Революция 1905—1907 гг. в национальных районах России». М., 1955, стр. 377—398.)

«Но для меня свершился выдел...» (стр. 218). Печ. впервые по автографу ЦГАЛИ, 59. Наброски этого стихотворения с заглавием «Царь миражей» — в одной из записных книжек поэта (ЦГАЛИ, 14).

К моему портрету (стр. 218). Впервые — ПС, стр. 144.

К портрету А. А. Блока (стр. 219). Печ. впервые по автографу ЦГАЛИ, 59; было включено в машинописный наборный оригинал ПС, стр. 83, но в окончательный текст книги не вошло. В своей

статье «О современном лиризме» Анненский дает очень высокую оценку А. А. Блока как поэта и вскользь говорит о его внешности: «Это в полном смысле слова и без малейшей иронии краса подрастающей поэзии, что краса! — ее очарование... Напечатанные на карт-посталях черты являют нам изящного Андрогина, а голос кокетливо, намеренно бесстрастный, белый, таит, конечно, самые нежные и самые чуткие модуляции. Маска Андрогина — но под ней в самой поэзии ярко выраженный мужской тип любви» («Аполлон», 1909, № 2, стр. 7). Четверостишие, возможно, относится к портрету К. Сомова, репродукция которого была помещена в журнале «Золотое руно», 1908, № 1.

«Грозою полдень был тяжелый напоен...» (стр. 219). Печ. впервые по черновому автографу ЦГАЛИ, 32.

Поэту (стр. 219). Печ. впервые по черновому автографу ЦГАЛИ, 58.

НАДПИСИ НА КНИГАХ И ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

<Надпись на «Сочинениях» Островского> (стр. 221). Печ. впервые по записи, сделанной В. Кривичем, — ЦГАЛИ, 6.

<Надписи на книге «Тихие песни»>

1. «Тому, кто зиждет архитрав...» (стр. 221). Впервые — ПС, стр. 143, где опубликовано со ссылкой на список А. А. Мухина. *Бальмонт* Константин Дмитриевич (1867—1942), поэт-лирик, один из основных представителей русского символизма. *«Придорожные травы»* — стихотворение Бальмонта в книге «Будем как солнце» (1902). Стихотворение посвящено «полумертвым увядшим цветам», не узнавшим «расцвета красоты». *Никто* — см. стр. 586.

2. «Меж нами сумрак жизни длинной...» (стр. 221). Впервые — ПС, стр. 143, где приведено редактором по памяти (см. ПС, стр. 163). *Гумилев Н. С.* — см. стр. 597.

3. «И от песни, что сердце лелеет...» (стр. 221). Впервые — ПС, стр. 143, где опубликовано со ссылкой на список Е. М. Мухиной и с указанием, что «строки никуда не занесены» (ПС, стр. 163). Последнее, однако, не подтверждается, так как в автографе ЦГАЛИ, 1(2), л. 39, это четверостишие зафиксировано как самостоятельное стихотворение (без посвящения). Печ. по автографу ЦГАЛИ, 1(2). *Мухина Е. М.* — см. стр. 605.

Все три надписи предположительно датируются 1904 г. — по времени выхода в свет «Тихих песен».

Мифотворцу на башню (стр. 222). Впервые — ПС, стр. 149. Автографы — в ЦГАЛИ. «Башней» среди друзей В. И. Иванова называлась его квартира в Петербурге» (ПС, стр. 165).

Иванов Вячеслав Иванович (1866—1949) — поэт-символист, критик, филолог-классик; с Анненским его сближали литературные и филологические интересы. В поэзии В. И. Иванова большое место занимают античные темы и мифологические образы, с чем, по-видимому, и связано заглавие стихотворений. Поводом же для них послужили, надо полагать, какие-нибудь бытовые факты, относящиеся к жизни в квартире «на башне» и не поддающиеся выяснению.

Из участковых монологов (стр. 222). Впервые — ПС, стр. 150. Автограф — в ЦГАЛИ. Примечание В. Кривича: «Надпись — акростих на книге П. П. Потемкину. Кажется, на «Второй книге отражений». Последняя строка составляется из подчеркнутых букв: «Петру Потемкину на память книга эта». Датируется 1909 годом по времени выхода в свет «Второй книги отражений». *«Мозоль* — имевшееся у Анненского хроническое затвердение на верхнем суставе среднего пальца правой руки — от пера» (ПС, стр. 165). *Потемкин* Петр Петрович — поэт-сатирик, автор сборников «Смешная любовь» (1908) и «Герань» (1912). Заглавие стихотворения имеет в виду полицейский участок, где произносит свой монолог воображаемый захмелевший поэт, от лица которого сочиняется акростих. *Акростих* — стихотворение, в котором первые буквы или слоги каждой строки в их последовательности составляют словосочетание или предложение. *Пиччикато* (правильная форма: пиццикато) — игра на струнном инструменте с помощью одних только пальцев, без смычка. *Шато* — первая составная часть в названии многих французских вин; здесь, возможно, и название или часть названия ресторана или кафе. *Вальдшлесхен* — по-видимому, название ликера. *Крестовский* — Крестовский остров, один из Кировских островов современного Ленинграда. *О, це бис* (украинское) — вот черт!

«Ни яркий май, ни лира Фруга...» (стр. 223). Печ. впервые по автографу ЦГАЛИ, 1(2). *Фруг* Семен Григорьевич (1860—1916) — второстепенный поэт, пользовавшийся в конце XIX — начале XX вв. некоторой популярностью.

Из Бальмонта (стр. 223). Печ. впервые по автографу ГПБ. Пародия на стих. К. Д. Бальмонта «Воспоминание о вечере в Амстердаме. Медленные строки» в книге «Горящие здания» (1899), которое начинается так:

О тихий Амстердам,
С певучим перезвоном
Старинных колоколен!
Зачем я здесь, — не там,
Зачем уйти не волен,
О тихий Амстердам,
К твоим церковным звонам,
К твоим, как бы усталым,
К твоим, как бы затонам,
Загрезившим каналам...

В пародии высмеивается «демонизм» Бальмонта, его увлечение экзотикой и любование «страшными» образами. Эпиграф, по-види-

мому, вымышленный (т. е. не цитата) и высмеивает увлечение Бальмонта поэзией и памятниками письменности древнего Востока. *Валаам* — монастырь на острове Валаам в северной части Ладожского озера, привлекавший большое количество паломников. Упоминание о нем носит иронический характер в связи с пристрастием некоторых русских декадентов (Бальмонт, Брюсов, Коневской) к образам северной природы. *Далай-Лама* — верховный правитель Тибета (духовный и светский); упоминание также, очевидно, представляет иронический отклик на интерес Бальмонта к темам Востока. *Скорпион* — вероятно, намек на стих. «Скорпион» в той же книге Бальмонта, где поэт сравнивает себя со «скорпионом — гордым, вольным»; может быть, также и намек на издательство символистов «Скорпион», возглавлявшееся В. Брюсовым и выпускавшее в свет книги Бальмонта. *Козою сокрушенным, ...козой доволен* — намек на опубликованное В. Брюсовым в 1906 г. стихотворение «в античном духе», где имелись строки: «Мы натешимся с козой, Где лужайку сжали стены», вызвавшие злую критику и издевательства в прессе. *Иль Бальмонта кинжалом* — намек на стих. «Кинжальные слова» в книге Бальмонта «Горящие здания». *Химеры* — возможно, намек на стих. «Химеры» в книге Бальмонта «Будем как солнце», посвященное изваяниям Химер на соборе Парижской богоматери. *Валерий* — Брюсов. *Роденбах* Жорж (1855—1899) — бельгийский писатель-символист, воспевший в своих стихах и в романе «Мертвый Брюгге» мечтательную тишину и заброшенность старинных городов Фландрии. *Один ты на бобах* — намек на то, что в пародируемом стихотворении Бальмонт заимствует образы и приемы поэтической композиции у Роденбаха (ср. также эпиграф). В автографе ЦГАЛИ, 59 — разночтения:

ст. 8—11: К твоим, о Валаам,
Грибам не иссушенным,
К твоим оладьям пшенным,
Квасáм багряно-алым
ст. 18—22: Что рыщет здесь и там
По дремлющим кустам
За трепетным удодом,
По комнатам для дам
За раненым Немвродом

Немврод — легендарный царь Вавилона, упоминаемый в Библии.

В море любви (стр. 224). Печ. впервые по автографу ЦГАЛИ, 59 (там же, на обороте листа, вариант). Заглавие представляет пародийный намек на заглавие одной из книг стихов Бальмонта «Только любовь» (1903). Эпиграф — первая строка стихотворения «Моя душа» в книге Бальмонта «Горящие здания». *Яр* — известный ресторан в Москве. *Твоя коза с тобою, мой Валерий* — см. примечание к предыдущему стихотворению.

<В. В. Уманову-Каплуновскому> (стр. 225). Впервые — ПС, стр. 148. Из примечания В. Кривича: «Страницы альбома были очень заполнены. Строки были написаны под углом к авто-

графу, кажется, Зинаиды Гиппиус. Приводятся на память» (ПС, стр. 164). *Уманов-Каплуновский* Владимир Васильевич (род. в 1865 г.) — мелкий поэт и прозаик, связанный с разнообразными литературными кругами.

Стихотворные переводы

ГОРАЦИЙ

Гораций Квинт Флакк (65—8 до н. э.) — римский поэт-лирик, автор од, сатир и посланий.

«Когда б измена красу губила...» (стр. 229). Перевод стих. «Ad Barinen». Впервые — ТП, стр. 91.

«Астерия плачет даром...» (стр. 230). Перевод стих. «Ad Asterien». Впервые — ТП, стр. 89.

«Давно ль бойца страшились жены...» (стр. 231). Перевод стих. «Ulxi puellis nuper idoneus». Впервые — ТП, стр. 87. *Рожденная в пене* — Афродита. *Радость Кипра* — она же.

ГЕТЕ
(1749—1832)

«Над высью горной...» (стр. 232). Перевод стих. Гете «Ein Gleiches», переведенного в свое время Лермонтовым («Горные вершины»). Впервые — ПС, стр. 137. Печ. по автографу ЦГАЛИ, 19, где совпадает с ПС. Перед переводом в автографе полностью выписан текст оригинала, но имя Гете не указано.

ВИЛЬГЕЛЬМ МЮЛЛЕР

Мюллер Вильгельм (1794—1827) — немецкий поэт-лирик.

Шарманщик (стр. 233). Перевод стих. «Der Leiermann» из цикла «Winterreise» («Зимний путь»), послужившего текстом для одноименного музыкального цикла немецкого композитора-романтика Франца Шуберта. Печ. впервые по автографу ГПБ; в подзаголовке содержится ошибочное указание: «Из „Winterreise" Шумана».

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ
(1797—1856)

Ich grolle nicht (стр. 234). Перевод стих. «Ich grolle nicht und wenn das Herz auch bricht» («Buch der Lieder», цикл «Lyrisches Intermezzo», 18). Впервые — ПС, стр. 136. Автограф — в ЦГАЛИ. Другой автограф (с разночтениями) — в ГПБ.

Мне снилась царевна (стр. 234). Перевод стих. «Mir träumte von einem Königskind» (оттуда же, 41). Впервые — ТП, стр. 82.

«О страсти беседует чинно...» (стр. 235). Перевод стих. «Sie saßen und tranken am Teetisch...» (оттуда же, 50). Впервые — ТП, стр. 88.

Двойник (стр. 235). Перевод стих. «Still ist die Nacht, es ruhen die Gassen» («Buch der Lieder», цикл «Die Heimkehr», 20). Впервые — ТП, стр. 85.

Счастье и несчастье (стр. 236). Перевод стих. «Das Glück ist eine leichte Dirne», служащего автоэпиграфом ко 2-й книге «Romanzero». Впервые — ТП, стр. 74.

<Из главы VIII поэмы «Атта Тролль»> (стр. 236). Перевод строф 9—20, от стиха «Werde nur kein Atheist» до стиха «Tanzen vor dem Thron des Herrn» (конец главы). Печ. впервые по списку ЦГАЛИ, 3(2). Автограф неизвестен. Почерк — неустановленного лица. Строфы 9, 12, 16 даны в двух вариантах — переделанном для цензуры и «по рукописи», что специально отмечено (номера этих строф подчеркнуты, сверху надписано: «строфы, переделанные для цензуры», а сбоку от соответствующих строф дан их первоначальный текст). Мы даем только текст «по рукописи», а не «для цензуры».

ГАНС МЮЛЛЕР

Мюллер Ганс (род. 1882) — австрийский поэт и новеллист-модернист, выпустивший в 1904 г. свою первую книгу стихов «Die lockende Geige» (Мюнхен), откуда Анненский перевел четыре стихотворения.

Мать говорит (стр. 238). Перевод стих. «Die Mutter spricht». Впервые — ПС, стр. 126. Автограф — в ЦГАЛИ, 17 — с неточным указанием фамилии автора: «Из Ганса Миллера», повторенным и в ПС.

Аретино (стр. 238). Перевод стих. «Aretino». Впервые — ПС, стр. 127. Автограф — в ЦГАЛИ, *Аретино* Пьетро (1492—1557) — итальянский писатель, автор сатир и произведений на эротические темы; пользовался репутацией человека беспринципного.

Говорит старая черешня (стр. 239). Перевод стих. «Der alte Kirschbaum singt». Впервые — ПС, стр. 128. Автограф — в ЦГАЛИ.

Раскаянье у Цирцеи (стр. 240). Перевод стих. «Reue bei Kirke». Впервые — ПС, стр. 130. Автограф — в ЦГАЛИ.

ГЕНРИ ЛОНГФЕЛЛО

Лонгфелло Генри Уодсворт (1807—1882) — выдающийся американский поэт.

Дня нет уж (стр. 241). Перевод стих. «The day is done». Впервые — ТП, стр. 101.

ФРЕДЕРИК МИСТРАЛЬ

Мистраль Фредерик (1830—1914) — французский поэт, писавший на провансальском языке, автор лирических стихотворений, трагедий, поэм.

Магали (стр. 243). Перевод отрывка из поэмы «Miréio» (1859), написанной на провансальском языке в подражание средневековой народной поэзии (французская форма «Mireille»). Печ. впервые по автографу ЦГАЛИ, 6.

ШАРЛЬ БОДЛЕР

Бодлер Шарль (1821—1867), французский поэт-лирик, положивший начало символизму во французской литературе, основатель группы так называемых «проклятых поэтов» (см. вступительную статью, стр. 57—58).

Искупление (стр. 247). Перевод стих. «Reversibilité». Впервые — ТП, стр. 86.

Привидение (стр. 248). Перевод стих. «Le revenant». Впервые — ТП, стр. 81, с подзаголовком: «(На мотив Ш. Бодлера)».

Совы (стр. 248). Перевод стих. «Les hiboux». Впервые — ТП, стр. 71.

Погребение проклятого поэта (стр. 249). Перевод стих. «Sépulture d'un poète maudit». Впервые — ТП, стр. 67.

Старый колокол (стр. 249). Перевод стих. «La cloche felée». Печ. впервые по автографу ЦГАЛИ, 58.

Сплин (стр. 250). Перевод стих. «Spleen» («Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle...»). Впервые — ТП, стр. 99.

Слепые (стр. 250). Перевод стих. «Les aveugles». Впервые — ТП, стр. 97.

ЛЕКОНТ ДЕ ЛИЛЬ

Леконт де Лиль Шарль (1818—1894) — французский поэт, глава так называемой «парнасской школы» (см вступительную статью, стр. 56—57).

Смерть Сигурда (стр. 252). Перевод стих. «La mort de Sigurd» из книги «Poèmes barbares». Впервые — ПС, стр. 121. Автограф — в ЦГАЛИ.

«Над синим мраком ночи длинной...» (стр. 254). Неоконченный перевод стих. «Christine» (оттуда же). Всего в стихотворении 13 строф. Печ. впервые по черновому автографу — ЦГАЛИ, 58.

Дочь эмира (стр. 255). Перевод стих. «La fille de l'émyr» (оттуда же). Впервые — ТП, стр. 126. *Гавриил* — по христианским верованиям, один из архангелов, возвещающий волю бога. *«Я царский сын, иду с востока, где на соломе свет узрел...»* Как этими, так и дальнейшими словами юноша хочет сказать, что он и есть Христос, по евангельскому преданию являющийся божьим сыном и родившийся в Палестине на соломе хлева.

«Пускай избитый зверь, влачася на цепочке...» (стр. 258). Перевод стих. «Les montreurs» — оттуда же. Впервые — ПС, стр. 114. Автограф — в ЦГАЛИ.

Последнее воспоминание (стр. 258). Перевод стих. «Dernier souvenir» (оттуда же). Впервые — ТП, стр. 96.

Из стихотворения «Призраки» (стр. 259). Перевод стих. «Les spectres» (оттуда же). В оригинале оно состоит из четырех частей; последняя из них в переводе опущена. Впервые — ТП, стр. 76.

Огненная жертва (стр. 260). Перевод стих. «L'holocauste» из книги «Poèmes tragiques». Впервые — ТП, стр. 119. *С тех пор как истины прияли люди свет.* Имеется в виду начало христианства.

Явление божества (стр. 262). Перевод стих. «Epiphanie» (оттуда же). Впервые — ТП, стр. 75.

Негибнущий аромат (стр. 263). Перевод стих. «Le parfum impérissable» (оттуда же). Впервые — ТП, стр. 92. *Лагор* — область и город в Индии (в настоящее время — в составе Пакистана).

Над умершим поэтом (стр. 264). Перевод стих. «Sur un poète mort» (оттуда же). Впервые — ТП, стр. 68.

Майя (стр. 264). Перевод стих. «La Maya» (оттуда же). Впервые — ТП, стр. 69.

«О ты, которая на миг мне воротила...» (стр. 265). Перевод стих. «Toi par qui j'ai senti pour des heures trop brèves» из книги «Derniers poèmes». Впервые — ПС, стр. 118. Автограф — в ЦГАЛИ.

Верлен Поль — см. стр. 608.

Сон, с которым я сроднился (стр. 266). Перевод стих. «Mon rêve familier». Впервые — ТП, стр. 80.

Le rêve familier (стр. 266). Вариация на тему того же стихотворения Верлена, далекая от точной передачи оригинала. Французское заглавие указано Анненским неточно (вместо «Mon rêve familier»). Впервые — ПС, стр. 112. Печ. по списку ЦГАЛИ, 27, где имеется подзаголовок: «(На мотив из П. Верлена)».

Colloque sentimental (стр. 267). Перевод стихотворения с данным заглавием. Впервые — ТП, стр. 84.

«Начертания ветхой триоди...» (стр. 267). Далекий от оригинала перевод стих. «Je devine à travers un murmure». Впервые — ПС, стр. 111. Печ. по списку ЦГАЛИ, 27.

Песня без слов (стр. 268). Вариация на мотивы стих. «Il pleure dans mon coeur». Впервые — ТП, стр. 98, с подзаголовком: «(На мотив П. Верлена)».

«Я долго был безумен и печален...» (стр. 268). Перевод стих. «O triste, triste était mon âme». Впервые — ПС, стр. 125. Автограф — в ЦГАЛИ.

Первое стихотворение сборника «Sagesse» (стр. 269). Подлинник указан Анненским в самом заглавии. Впервые — ПС, стр. 131. Автограф — в ЦГАЛИ.

Томление (стр. 270). Перевод стих. «Langueur». Впервые — ТП, стр. 109. *Эпоха Апостата* — эпоха императора Юлиана-Отступника (IV в. н. э.), отрекшегося от христианства и обратившегося к античной религии, время упадка римского государства. *Стиль* — здесь орудие письма у древних — металлический грифель, острым концом которого писали на навощенных дощечках. *Акростих* — см. стр. 615.

Преступление любви (стр. 270). Перевод стих. «Crimen amoris». Впервые — ТП, стр. 122. *Средь золотых шелков палаты Экбатанской.* Здесь имеется в виду город древнего Ирана Экбатаны, где, по преданию, жили волшебники — «волхвы». *Ахав* — древнееврейский царь, отличавшийся, по библейскому преданию, большой жестокостью.

Вечером (стр. 273). Перевод стих. «Pensée du soir». Впервые — ТП, стр. 65. *И наг и немощен был некогда Овидий.* В стихотворении имеются в виду последние годы жизни римского поэта Публия Овидия Назона (43 до н. э. — 17 н. э.), изгнанного по приказанию императора Августа из Рима и умершего в ссылке на западном побережье Черного моря.

«Я устал и бороться, и жить, и страдать...» (стр. 274). Неоконченный (а в пределах публикуемых строк — не вполне отделанный) перевод стих. «Car vraiment j'ai souffert beaucoup». Последняя строфа оригинала вовсе не передана в переводе. Печ. впервые по автографу ЦГАЛИ, 68. Там же еще и другой вариант перевода, по-видимому черновой по отношению к публикуемому тексту, судя по характеру рукописи и по рифмовке:

Я устал и бороться, и жить, и страдать,
Как затравленный волк от тоски пропадать.
[Вы по дебрям меня загоняли.]
Не изменят ли старые ноги,
Донесут ли живым до берлоги?
Мне бы в яму теперь завалиться и спать.
Нож или зубы — не всё ли равно?
А тут эти своры — рога на лугу
Истерзан и зол я по кочкам <бегу>
И напрасно в трущобе я прятал жилье,
У борзых на меня золотое чутье,
У Завистливой, Злой и Богатой.
Я мечусь среди стаи косматой.
Длится месяцы, годы томленье мое.
Там ужас на ужин, беда на обед,
Холодное ложе да ворог сосед.

[Наконец в глубине заповедных лесов
Убежать я успел от обманутых псов,
Только черная ведьма] осталась

Но в черной и грозной теснине лесной,
Борзыми оставлен, я схвачен иной
Огромной и мрачной собакой.

Я — маниак любви (стр. 274). Перевод стих. «J'ai la fureur d'aimer». Впервые — ТП, стр. 110.

Impression fausse (стр. 277). Перевод стихотворения с данным заглавием. Впервые — ПС, стр. 119. Автограф — в ЦГАЛИ.

Каприз (стр. 277). Перевод стих. «Caprice». Впервые — ПС, стр. 116. Печ. по списку ЦГАЛИ, 16, где имеется подзаголовок: «(На мотив Поля Верлена)».

СЮЛЛИ ПРЮДОМ

С. Прюдом (псевдоним Рене-Франсуа-Армана Прюдома, 1839—1907) — французский поэт, принадлежал к «парнасской школе»; значительная часть его лирики и поэм посвящена философским темам.

Посвящение (стр. 279). Перевод стих. «Au lecteur». Впервые — ТП, стр. 66.

Идеал (стр. 279). Перевод стих. «L'idéal». Впервые — ТП, стр. 63.

«С подругой бледною разлуки...» (стр. 280). Перевод стих. «Mal enseveliе». Впервые — ТП, стр. 83.

Когда б я богом стал (стр. 280). Перевод стих. «Si j'étais Dieu». Впервые — ТП, стр. 79.

Тени (стр. 281). Перевод стих. «L'ombre». Впервые — ТП, стр. 70.

Un bonhomme (стр. 281). Перевод стихотворения с данным заглавием. Печ. по ПС, стр. 138, где опубликовано впервые и помещено в отделе переводов без указания на автора оригинала, со следующим примечанием В. Кривича: «В отдел переводов включено предположительно. На единственном экземпляре стихотворения — беловой, с небольшими исправлениями автограф на отдельном листке — нет на этот счет никаких указаний. Лично мне не приходилось слышать от Анненского ни самого этого стихотворения, ни даже что бы то ни было о нем. Склоняюсь к мысли, что это перевод, не ввиду заглавия, конечно, а на основании самого характера вещи» (ПС, стр. 162). Предположение подтвердилось. Оригинал стихотворения был указан во вступительной статье к «Стихотворениям» Анненского в изд. Малой серии «Библиотеки поэта», Л., 1939, стр. 29. *Спиноза* Барух (1632—1677) — знаменитый философ, материалист и атеист, живший в Голландии. Его философские взгляды и отношение к религии отражены в стихотворении произвольно. *Пока гранению им стекла подвергались.* Спиноза изобрел оптический инструмент, имевший научное значение для его времени. *Синедрион* — название высшего судебного органа у евреев в древнем Иерусалиме, здесь относится к амстердамской синагоге, которая в 1656 г. предала Спинозу проклятию и изгнала его из еврейской религиозной общины.

Сомнение (стр. 282). Перевод стих. «Le doute». Впервые — ТП, стр. 73.

У звезд я спрашивал в ночи (стр. 282). Перевод первых трех строф стих. «La voie lactée». («Оригинал состоит из 7 строф.) Печ. впервые по черновому автографу ЦГАЛИ, 59.

Агония (стр. 283). Перевод стих. «L'agonie». Впервые — ТП, стр. 94.

АРТЮР РЕМБО

Рембо Артюр (1854—1891) — французский поэт-символист, один из так называемых «проклятых поэтов» (подробнее см. вступительную статью, стр. 57—58).

Впечатление (стр. 285). Перевод стих. «Sensation». Впервые — ТП, стр. 100.

Богема (стр. 285). Перевод стих. «Ma bohême». Впервые — ТП, стр. 107.

Феи расчесанных голов (стр. 286). Перевод стих. «Les chercheuses de poux». Впервые — ПС, стр. 120. Автограф — в ЦГАЛИ.

СТЕФАН МАЛЛАРМЕ

Малларме Стефан (1842—1898) — французский поэт-лирик, в первом периоде своего творчества примыкавший к «парнасцам», в дальнейшем — символист.

Дар поэмы (стр. 287). Перевод стих. «Don du poëme». Впервые — ТП, стр. 64. *Идумея* — в древности название одной из областей Палестины.

Гробница Эдгара Поэ (стр. 287). Перевод стих. «Tombeau d'Edgar Poe». Впервые — ПС, стр. 113. Автограф — в ЦГАЛИ. *По* (Поэ) Эдгар (1809—1849) — американский поэт и новеллист, оказавший сильное влияние на развитие символизма в европейской литературе. В его творчестве большую роль играют трагические мотивы, страшные сюжеты и демонические образы. *Что яд философа развел он в алкоголе* — намек на биографию поэта, страдавшего алкоголизмом, и на его творчество, в котором значительное место занимают философско-эстетические интересы.

ШАРЛЬ КРО

Кро Шарль (1842—1888) — французский поэт-символист.

Сушеная селедка (стр. 289). Перевод стих. «Le hareng saur». Впервые — ТП, стр. 112.

Смычок (стр. 290). Перевод стих. «L'archêt». Впервые — ТП, стр. 117. *Скрипка кремонская.* Итальянский город Кремона славился мастерством изготовления скрипок.

«Do, re, mi, fa, sol, la, si, do» (стр. 291). Перевод стихотворения «Intérieur». Печ. впервые по автографу ЦГАЛИ, 58.

МОРИС РОЛЛИНА

Роллина Морис (1846—1903) — французский поэт, вначале примыкавший к «парнасцам», в дальнейшем своем творчестве — символист.

Богема (стр. 293). Перевод стих. «Un bohême». Впервые — ТП, стр. 106.

Библиотека (стр. 293). Перевод стих. «La bibliothèque». Впервые — ТП, стр. 103.

Безмолвие (стр. 294). Перевод стих. «Le silence». Впервые — ТП, стр. 72.

Приятель (стр. 294). Перевод стих. «L'ami». Впервые — ПС, стр. 115. Автограф — в ЦГАЛИ.

ТРИСТАН КОРБЬЕР

Корбьер Тристан (1845—1875) — французский лирик-символист.

Два Парижа

1. Ночью (стр. 296). Перевод стих. «Paris nocturne». Впервые — ТП, стр. 104. *Уносит Диоген фонарь, на крюк надетый.* Имеется в виду античное предание, по которому Диоген (404—323 до н. э.), греческий философ из школы киников, днем с фонарем «искал человека», т. е. человека, достойного называться этим именем. *«Проклятые поэты»* — название группы французских поэтов-декадентов (см. вступительную статью, стр. 57—58).

2. Днем (стр. 297). Перевод стих. «Paris diurne». Впервые — ТП, стр. 105.

ФРАНСИС ЖАММ

Жамм Франсис (1868—1938) — поэт-лирик и автор романов, символист.

«Когда для всех меня не станет меж живыми...» (стр. 298). Впервые — ТП, стр. 108.

ВЬЕЛЕ-ГРИФФЕН

Вьеле Гриффен Франсис (1864—1937) — французский лирик-символист.

Осень (стр. 299). Перевод стих. «Automne». Впервые — ПС, стр. 133. Автограф — в ЦГАЛИ.

АНРИ ДЕ РЕНЬЕ

Ренье Анри (1864—1936) — французский поэт-лирик и автор многочисленных романов.

Прогулка (стр. 301). Перевод стих. «La promenade» из сборника «Les médailles d'argile». Впервые — ПС, стр. 135. Автограф — в ЦГАЛИ.

ТРАГЕДИИ

Меланиппа-философ

(стр. 305).

Впервые — отдельным изданием: Меланиппа-философ. Трагедия Иннокентия Анненского. СПб. 1901. *Варнеке* Борис Васильевич (род. 1878) — филолог-классик и историк театра, профессор Казанского и Новороссийского (Одесского) университетов. В тексте воспроизведены вводные замечания автора. Ниже приводятся авторские же «Примечания к лирическим партиям».

Примечания к лирическим партиям

1. Первый музыкальный антракт посвящен прославлению Аполлона. Этот бог был отцом Асклепия (Эскулапа), мифического существа и героя, столь сильного, что этот герой дерзнул даже воскрешать людей, не только исцелять их. За это Зевс, верховный бог и защитник миропорядка, соблюдая нарушенные права Смерти, убил Асклепия. Аполлон, рассерженный на отца, перебил его сыновей, киклопов, как исполнителей приговора верховного Кронида (Зевса, сына Кронова). Зевс уже собирался ввергнуть своего сына в Тартар, но жизнь ему вымолила его мать, Латона, и Аполлон, взамен смерти, должен был целый год быть в батраках у ферского царя Адмета (в Фессалии, около Бебидского озера). Аполлон, пася стада Адмета, играл на свирели, и слушать его собирались даже дикие звери.

В антистрофе упоминается о рождении Аполлона; он и его сестра, Артемида, родились на острове Делосе; Латона, рождая их, не страдала. — На Делосе запрещалось хоронить мертвых, их должны были увозить оттуда. — Сминтий — прозвище Аполлона, неясной этимологии.

2. Хор в четвертом явлении славит брак между Пелеем и одной из нереид, Фетидой; от этого брака впоследствии произошел Ахилл. Брак происходил на Пелии и отличался блеском. В числе гостей со стороны невесты были и кентавры. В представлении об этих сказочных существах слились представления аттические о грубом быте горных наездников и старые, еще арийские верования в горных или, может быть, облачных духов. Отсюда двойственное представление о побеждаемом грубом народе-наезднике (полуконь, получеловек) и о мудреце Хироне, который в своей пещере воспитал самого доблестного и совершенного представителя героической эпохи. — Нереиды это были дочери Нерея, отца невесты, так называемого «морского старика» (он был предшественником Посейдона как повелитель морей). Нереиды изображаются в хороводном танце: их быстро мелькающие ноги кажутся серебряными, — всех сестер было пятьдесят. Аониды — то же, что музы. — Властитель Эолиды — Эол. О его сражении с дочерью Хироиа уже говорилось.

3. Второй музыкальный антракт посвящен старой легенде о Гере и Ио, которая послужила в этом виде сюжетом для одной не дошедшей до нас и, вероятно, сатировской драмы Софокла.

В ней отразились природные явления, связанные с народным благосостоянием· с одной стороны — разлив илистой горной реки Инаха, с другой — засуха. Кроме того, здесь слышны отзвуки аргосского мифа об Инахе и Ио. Инах — царь Аргоса, а Ио — его дочь, красотой которой пленяется Зевс. Ревнивая Гера, жена Зевса, посылает Ириду (радугу), свою вестницу, в свой излюбленный край, Аргос, распорядиться. Плутос — бог богатства, который поселился было среди аргосцев, имевших обильный урожай после разлива, уходит. За ним уходит и Зевс, потому что Ио обратилась в телку. Гермес остается забавлять и утешать телку, играя ей на свирели. Инах от голода обратился в мумию.

Связь мифов о ревнивой Гере с несчастиями Меланиппы ясна. Ведь оиа также происходила от незаконного Зевсова потомка. Эол был внуком Зевса, но не от Геры.

4. Во второй строфе третьего музыкального антракта хор воспевает Геракла. Это сын Зевса от Алкмены и одна из жертв Геры. Он называется здесь «трехвечерним», потому что Зевс сделал брачную ночь с Алкменой втрое длиннее обыкновенной. Геракл должен был сделать ряд очень трудных дел, которые налагал на него аргосский царь Еврисфей по наущению мстительной Геры; между прочим он убил Гидру и перебил кентавров. Его первым оружием была палица. Гера преследовала незаконного сына своего мужа не только трудными задачами, но и несчастиями. Одна из греческих легенд передает, что, охваченный безумием, Геракл бросил в огонь своих малюток детей. В антистрофе третьего антракта является параллель к только что рассказанному: там был гордый герой-отец, бросающий своих детей в огонь; здесь нежная мать и ее смиренные подруги, которые хотят спасти детей от огня. Речь идет о том, чтобы Гера, которая вдохновляла Геракла на преступление, здесь восстановила нарушенную справедливость спасением других детей от той же огненной смерти, но на этот раз не ею решенной.

Вместо предисловия. *Еврипид* (480—406 гг. до н. э.). Из его 75 трагедий сохранилось 18. *Анаксагор* (500—428 до н. э.) — древнегреческий философ, взгляды которого представляют собой непоследовательный материализм. Это — учение о бесконечном качественном многообразии первичных элементов материи, из различного сочетания которых образуются все существующие вещи. Ум, по учению Анаксагора, тончайшее и легчайшее вещество, определяющее соединение и разделение элементарных частиц, движущая жизненная сила. Взгляды Анаксагора навлекли на него обвинение в безбожии, и он был приговорен к смертной казни, но спасся бегством из Афин. *Архелай* (V в. до н. э.) — македонский царь, много сделавший для развития культуры в своем государстве. При его дворе провел последние годы жизни Еврипид. *Перикл* (около 500—429 до н. э.) — крупнейший прогрессивный государственный деятель Афин в период их расцвета, сильно содействовавший их политическому и культурному подъему.

Действие второе, явление третье. *Срединный храм* — храм Аполлона в Дельфах (см. словарь мифологических имен).

Царь Иксион

(стр. 367).

Впервые — отдельным изданием: И. Ф. Анненский. Царь Иксион. Трагедия в пяти действиях с музыкальными антрактами. СПб., 1902. В тексте воспроизведена вводная заметка автора.

Вместо предисловия. *Схолия* — примечание к сочинению античного автора. *Arg. 3, 62* и т. д. -Argonautika, 3, 62, Scholia, confer W. H. Roscher. Ausführlicher Lexicon der griechischen und römischen Mythologie, siehe Vocabulum Ixion. Аргонавты, 3, 62, примечание. Сравн. В.-Г. Рошер. Подробный словарь греческой и римской мифологии, см. статью «Иксион» (лат. и нем.) *Гомер.* Эпические поэмы «Илиада» и «Одиссея», приписываемые ему, относятся к IX—VIII вв. до н. э. *Гесиод* (VIII—VII вв. до н. э.) — древнегреческий поэт. *Аристотель* (ок. 384—322 до н. э.) — крупнейший древнегреческий философ. *Poet. c. 18.* Поэтика, глава 18 (лат.). *Cf. W. H. Roscher* и т. д. -Confer W. H. Roscher. Ausführlicher Lexicon, siehe Vocabulum Ixion. Baumeister. Denkmäler des klassischen Altertums, siehe Vocabulum. Ср. В.-Г. Рошер. Подробный словарь..., см. статью «Иксион». Баумейстер. Памятники классической древности, см. соответствующую статью (лат. и нем.) *Эсхил* (ок. 525—456 до н. э.) — первый древнегреческий драматург-трагик. *Софокл* (ок. 497—406 до н. э.) — древнегреческий драматург-трагик. *Trag. gr. fragm. Lipsiae, 1889*[2], *pp 838, 490*-Tragediarum graecarum fragmentae, Lipsiae, 1889[2], paginae 838, 490. Фрагменты греческих трагедий, Лейпциг, 1889, 2-е изд., стр. 838, 490 (лат.).

Dindorff ad fragm. inc. 329-Dindorff ad fragmenta incertudo, 329. Диндорф. К фрагментам неизвестных трагедий, 329 (лат.). *Götting. Anzeig. 1827, S. 670*-Göttinger Anzeiger, 1827, Seite 670. Геттингенский указатель, 1827, стр. 670 (нем.). *Eumen*-Eumenides Евмениды (лат.). *Cf. F. G. Welcker. Die gr. Tr.*-Confer F. G. Welcker. Die griechische Tragödie. 1839, 1, 52. Ср. Ф.-Г. Велькер. Греческая трагедия, 1839. ч. I, стр. 52 (лат. и нем.).

Eur. restit.-Euripides restitutus. Восстановленный Еврипид. (лат.). *ad. v.*-ad versum. К стиху (лат.). *Apocol., p. 361-Apocolocyntosis, pagina* 361. «Превращение в тыкву», стр. 361 (лат.). Комедия под этим заглавием относится к 54 г. н. э. *Geogr*-Georgica. «Георгики» (лат.). *Alc. Bergk. fr. 13. B., 4. Aufl*-Alcaei, fragmenta poetarum graecorum, Bergk, 13. Band., 4. Auflage. Алкей. См. Фрагменты греческих поэтов, изд. Бергка, том 13, изд. 4-е (лат. и нем.). *Cf. Eur. Or. 9 sq*-Confer Euripides. Orestes, 9 sequentes. Ср. Еврипид. Орест, 9 след. (лат.). *Sqq*-sequentes — следующие (лат.).

Действие второе. Явление шестое. *Муза Лета.* Музы с таким именем античная мифология не знает. Имеется в виду одна из дочерей богини раздора Эриды — олицетворение забвения.

Лаодамия

(стр. 441).

Впервые — сб. «Северная речь». С.-Петербург, 1906, стр. 137—208. Точная дата окончания трагедии — 13 июня 1902 г. — устанавливается на основании письма Анненского к А. В. Бородиной от 14 июня 1902 г.: «Вчера я кончил мою новую трагедию и, как Вы желали, тотчас пишу Вам о ней. Ее названье «Лаодамия». Не буду рассказывать самого мифа, а передам содержание по действиям». Все дальнейшее в письме представляет подробный пересказ трагедии. В тексте воспроизведено предисловие автора. *Эпиграф* заимствован из произведения Овидия «Heroides» («Героиды»), послание 13, стих 108.

Предисловие. *Фессалийская Ленора.* Имеется в виду частичное сюжетное сходство между мифом о Лаодамии и балладой немецкого поэта Готфрида Аугуста Бюргера (1747—1794) «Ленора»: к Леноре явился призрак жениха, убитого на войне, и увлек ее за собой в могилу. *Cf. lat.* Confer latine. Ср. латинское, т. е. перевод данной в тексте греческой цитаты на латинский язык (лат.). *Каталог кораблей* — установившееся в классической филологии название той части II песни «Илиады» Гомера, где перечисляются участники похода против Трои и их корабли. *Лукиан* (ок. 120—180 гг.) — греческий писатель, автор прозаических диалогов и посланий. *Luc. op. ex. recogn.* Jacobitz, 1,177 sqq-Luciani opera ex recognicione Jacobitz, 1,177 sequentes. Сочинения Лукиана с пояснениями Якобитца, ч. 1, стр. 177 след. (лат.). *Maximilian Mayer* и т. д.-Maximilian Mayer Hermes, 1885, 20. Band. Der Protesilaos des Euripides, Seiten 101—143, und W. H. Roscher. Lexicon (siehe Vocabulum Laodamia). Максимилиан Майер. «Гермес», 1885, том 20. «Протесилай» Еврипида, стр. 101—143 и В.-Г. Рошер, Словарь (см. статью «Лаодамия») (нем.). *Отд. отт. из Ж. М. Н. Пр.* — Отдельный оттиск из «Журнала Министерства народного просвещения», в котором Анненский поместил целый ряд статей и переводы некоторых трагедий Еврипида. *Vv.* — стихи (лат.). *Hyg. CIV*-Hyginus, opus CIV. Гигин, сочинение 104 (лат.). *Rem. a. v. 723*-Remedium amoris, versus 723. «Лекарство от любви», стих 723 (лат.). *Выспянский* Станислав (1869—1907) — польский драматург. *«Protesilas i Laodamia»*. «Протесилай и Лаодамия» (польск.). *«Przegląd polski»* — «Польское обозрение». *Pro domo mea* — о себе (лат.). *In effigie* — в изображении (лат.). *Die gr. Trag. 2 Abt., 4971*-Die griechische Tragödie, 2. Abteilung, 4971. Греческая трагедия. 2-я часть, 4971 (нем.).

Действие второе, явление шестое. *Крылья надменного царя.* Намек на судьбу Икара (см. словарь мифологических имен), называемого надменным за то, что поднялся слишком высоко к солнцу. *Пред медными дверьми — твоих молений и жертвы ждет.* Медные двери — двери Аида (см. словарь мифологических имен). По верованиям античного мира душа умершего до тех пор не получала успокоения, пока за нее не начинали молиться и не

приносили положенной жертвы. *Каждый шаг седого старика* — т. е. время, которое олицетворялось в образе седого старца. *Крыло мечты разбито медною стеною.* Медная стена — стена Аида.

Действие третье, явление седьмое. *Дева, дочь невинная Кронида* — Артемида как богиня луны. Явление восьмое. *Сестра, чего не светишь.* Гермес, являющийся сыном Зевса, обращается с этими словами к Артемиде, дочери Зевса и богине луны. Явление девятое. *Когда коснется трость тебя златая* — т. е. когда к умершему прикоснется золотой жезл Гермеса, провожающего души в Аид.

Фамира-кифарэд

(стр. 509).

Впервые — отдельным изданием: Иннокентий Анненский. Фамира-кифарэд. Вакхическая драма. Издание посмертное. Москва, 1913 (тираж — 100 экземпляров). В письме от 2 августа 1906 г. к А. В. Бородиной Анненский сообщает: «Лет шесть тому назад я задумал трагедию. Не помню, говорил ли я Вам ее заглавие. Мысль забывалась мною, затиралась другими планами, поэмами, статьями, событиями, потом опять вспыхивала. В марте я бесповоротно решил или написать своего «Фамиру» к августу, или уже навсегда отказаться от этой задачи, которая казалась мне то непосильной, то просто нестóящей. Вот послушайте миф, в древности мало распространенный и, кажется, никого не пленивший в новые века. Сын фракийского царя Фамира (иначе Фамирид) был кифарэдом, т. е. музыкантом на кифаре. Его родила нимфа Аргиопа. Надменность и успех Фамиры довели его до того, что он вызвал на состязание муз, но был ослеплен ими на музыкальном турнире — ослеплен и лишен музыкального дара. Софокл написал на этот миф трагедию, которая до нас не дошла, но мы знаем, по преданию, что он был тогда еще молодым человеком, п<отому> ч<то> сам играл в своей пьесе роль Фамиры. Меня что-то давно влекло к этой теме. Между тем в этом году весной мой старый ученик написал на этот миф прелестную сказку под заглавием «Фамирид». Он мне ее посвятил. Еще года полтора тому назад Кондратьев говорил мне об этом намерении, причем я сказал ему, что у меня в голове набросан план Фамиры, — но совсем в ином роде, трагического. И вот теперь уже состоялось чтение моего Ф<амиры>. Ек<атерина> Макс<имовна Мухина> находит, что это безусловно высшая из моих трагедий. Но, кажется, покуда только ей да Арк<адию> Андр<еевичу Мухину> Фам<ира> мой и понравился. Жду Вашего суда — тем более, что в Фамиру вошли волнующие меня Grenzfragen[1] из области музыкальной психологии и эстетики». Эпиграф-посвящение представляет традиционную латинскую формулу — надпись на урнах с прахом умерших.

---

[1] Сопредельные вопросы (нем.). — *Ред.*

<О т а в т о р а> *Кондратьев* Александр Алексеевич (род. 1876) — поэт и прозаик, сотрудничавший в ряде модернистских изданий; постоянно обращался к темам из области античной мифологии. Окончил 8-ю гимназию в Петербурге в период, когда Анненский был там директором.

С ц е н а о д и н н а д ц а т а я. *Заклинаю тебя твоим вертепом Критским, царь* — намек на детство Зевса, проведенное на острове Крите, где его мать Рея скрыла его от гнева отца — Кроноса, пожиравшего своих детей, и где его воспитывали нимфы.

С ц е н а д в е н а д ц а т а я. *Титан, похитивший с небес огонь* — Прометей (см. словарь мифологических имен).

С ц е н а ш е с т н а д ц а т а я. *Потом Змеей и Рыбой хоры их и Обручем и Лирой тихо-тихо задвигались.* Имеются в виду названия созвездий.

СЛОВАРЬ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ИМЕН И ПОНЯТИЙ АНТИЧНОГО МИРА[1]

Авгур — в древнем Риме жрец, предсказывавший будущее по полету и крику птиц.

Авлида — гавань в Беотии, где собирались греческие корабли для похода против Трои.

Адмет — ферский царь, стада которого пас Аполлон во время своего изгнания с Олимпа. См. также стр. 626.

Аид — в веровании древних греков подземное царство мертвых, удел всех людей после их смерти. Входом в подземный мир мертвых служила, по античным верованиям, пещера, перед которой находился каменистый кряж, называвшийся медным порогом (в древнегреческом поэтическом языке «медный» употребляется в смысле «твердый», «крепкий»). Ср. Тартар.

Айлинон — жалобное причитание.

Актеон — молодой охотник, превращенный богиней Артемидой в оленя и растерзанный собственными собаками за то, что он смотрел на Артемиду во время купания, а по другому преданию — за то, что он хвастался, будто превзошел ее в искусстве охоты.

Алкид — первоначальное имя Геракла (от корня, означ. «сильный»).

Алфей — наиболее значительная из рек на Пелопоннесском полуострове.

Амалфея — символ изобилия, в контексте — богатства (от имени Амалфеи — козы, кормившей младенца Зевса своим молоком; когда она сломала себе рог, Зевс подарил его нимфам в залог исполнения всех их желаний; рог Амалфеи стал «рогом изобилия»).

---

[1] Большинство слов и названий относится к мифологии и быту древней Греции, что, как правило, не оговаривается ввиду преобладания их в словаре; во всех других случаях указывается, к мифологии или быту какого народа относится имя или название. В ряде случаев даются ссылки на авторские «Примечания к лирическим партиям» трагедии «Меланиппа-философ».

Амвросия — пища богов, дающая вечную юность и бессмертие.

Амимона — одна из жен Посейдона, бога морей.

Амур (римск.) — бог любви.

Амфиарай — царь, наделенный даром провидения; после поражения в битве под Фивами спасался от врагов бегством, во время которого земля расступилась под ним и приняла его вместе с его колесницей; боги сделали его бессмертным, и на месте его исчезновения был воздвигнут храм в его честь.

Андрогин — существо, которое, по верованию древних греков, дало жизнь человеческому роду и соединяло в себе черты мужчины и женщины.

Андромаха — жена Гектора, сына Приама, образ, воплощающий супружескую любовь и верность; героиня трагедий Еврипида и Расина.

Андромеда — дочь эфиопского царя Кефея, отданная в жертву морскому чудовищу и спасенная Персеем.

Аониды — музы.

Аполлон — бог солнца, света, культуры, искусства и поэзии, покровитель муз, сын Зевса и Латоны, дочери одного из титанов. См. также стр. 626.

Аргос — область и город древней Греции, одно из мест, излюбленных Герой.

Ариадна — дочь критского царя Миноса, спасла юношу Тезея, отданного ее отцом на съедение чудовищу Минотавру, бежала вместе с Тезеем и была брошена им на острове Наксосе, где ее встретил Дионис-Вакх, вступивший там с нею в брак.

Артемида — богиня охоты, гор и лесов, воплощение чистоты и непорочности, также — богиня луны, как благостного светила.

Астарта — у древних финикиян богиня любви, в верованиях древних евреев — злой дух.

Асфодели — растение из семейства лилейных с крупными цветами, распространенное в странах Средиземноморья; по верованиям древних греков, росло на полях подземного мира мертвых.

Атрид — Агамемнон, сын царя Атрея, вождь греческих войск во время Троянской войны.

Афродита — богиня любви и красоты, по одному из мифов — возникнувшая из морской пены и впервые вступившая на землю на острове Кипр, где особенно был развит ее культ (отсюда — другое ее имя: Киприда).

Ахилл — основной герой эпоса о Троянской войне, храбрейший вождь греков, сын главной из нереид — Фетиды и фессалийского царя Пелея; погиб от стрелы, пущенной Аполлоном (который покровительствовал троянцам). Воспитателем Ахилла был кентавр Хирон(см. стр. 626).

Ахейцы — жители Ахайи (области древней Греции), также вообще греки.

Барбитон — древнеримский струнный инструмент вроде лиры.

Баян — легендарный древнерусский певец.

Беллерофонт должен был бежать из своего родного города Коринфа к тиринфскому царю Прету, который оказал ему дружеский прием, но жена которого, влюбившись в Беллерофонта и

не встретив с его стороны взаимности, оклеветала его перед своим мужем; тот послал его к своему тестю царю Иобату с письмом, содержавшим поручение — убить подателя; Иобат послал Беллерофонта на разные опасные подвиги.

Борей — бог холодного северо-западного ветра.

Вакх — см. Дионис.
Вакханки — женщины, преданные культу Диониса-Вакха (то же, что менады).
Вакхическая драма — драма, в которой действуют участники культа Вакха — сатиры, менады.
Вифиния — область в Малой Азии.

Геба — богиня вечной юности, разносившая богам во время их пиров нектар и амвросию.
Геката — богиня ночных чар, обладающая даром вызывать души мертвых из подземного царства.
Гелий (Гелиос) — бог солнца.
Геллениды — потомки Геллена, фессалийского царя.
Гера — богиня, жена Зевса. Подробнее см. стр. 626—627.
Геракл — один из главных героев греческой мифологии, см. стр. 627.
Гермес — сын Зевса и Майи, вестник богов, бог-покровитель торговли и дорог, проводник душ умерших в Аид.
Гермий — Гермес.
Гефест — сын Зевса и Геры, в более ранних мифологических представлениях — могущественный бог огня, позднее — божественный кузнец на Олимпе.
Гименей — бог брака и супружеской любви; изображался со светильником в руке (отсюда — «огонь Гименея»).

Дельфиец — Аполлон (по имени его храма в Дельфах).
Дельфийский бог — Аполлон.
Дельфы — город в Фокиде в древней Греции, расположенный на склоне горы Парнас и знаменитый благодаря храму в честь Аполлона и оракулу (так называемому дельфийскому). Дельфы считались «средоточием земли», а в храме Аполлона стоял мраморный конус, обозначавший «средоточие земли» (отсюда название: «срединный храм»).
Димитра (Деметра) — богиня плодородия и земледелия.
Дионис, или Вакх — бог вина и возрождающейся природы.
Дионис-Загрей — бог мертвых, в культ которого входили и обряды, связанные с почитанием Диониса-Вакха.
Додона — место на северо-западе Греции, где находился древнейший в Греции оракул; в центре святилища находился Зевсов дуб, у подножия которого пробивался ключ; шелест листвы и журчание воды истолковывались жрецами как предсказания.
Дриады — нимфы деревьев.

Еврот — река на Пелопоннесском полуострове, протекавшая преимущественно по территории античной Спарты.
Евтерпа — муза лирической поэзии и музыки.

Елена — жена спартанского царя Менелая, прославленная своей красотой и похищенная сыном троянского царя Приама Парисом (что явилось поводом к Троянской войне); образ легкомысленной, непостоянной и обольстительной женщины.

Зевс — сын титана Кроноса, верховный бог, властелин неба и земли, отец большинства богов.

Зефир — бог, олицетворяющий теплый и легкий ветер.

Ида — гора и горная цепь во Фригии (в Малой Азии) над равниной Трои.

Изида (егип.) — богиня, мать природы, обычио изображавшаяся в длинной одежде и с покрывалом на голове.

Икар — сын легендарного зодчего и художника Дедала; когда они оба должны были бежать с острова Крит, спасаясь от преследования царя Миноса, Дедал сделал себе и сыну восковые крылья, с помощью которых они и улетели, но Икар поднялся слишком высоко, солнце растопило его крылья, он упал в море. По другой версии мифа — разбился о скалы.

Илион — другое название Трои.

Ио — см. стр. 626—627.

Инах — см. стр. 627.

Ирида — вестница богов, принимающая образ радуги.

Ифигения — дочь Агамемнона, который, следуя прорицанию жреца Калханта, должен был принести ее в жертву Артемиде, разгневанной тем, что Агамемнон убил одну из ее ланей, и наславшей на море полное безветрие, не позволявшее греческим кораблям отплыть из Авлиды к берегам Трои. В Авлиду Ифигения была доставлена под тем предлогом, что она должна вступить в брак с Ахиллом до его отплытия в Трою. По мифу, Артемида, тронутая покорностью Агамемнона, спасла Ифигению от заклания, подставив вместо нее лань под нож жреца, и перенесла ее в свой храм в Тавриде.

Калхант (Калхас) — жрец и прорицатель в греческом войске во время похода против Трои.

Кентавры — сказочные существа с туловищем коня и человеческой головой, отличавшиеся огромной силой.

Кинеи — кожаные или меховые шапки.

Киприда — одно из имен Афродиты.

Кифара — струнный музыкальный инструмент вроде лютни.

Кифарэд — музыкант, играющий на кифаре.

Коммос — название скорбной песни хоров в древнегреческой трагедии.

Корифей — предводитель хора, выступающий от его имени.

Латона — одна из жен Зевса до его брака с Герой. См. стр. 626.

Лель — в литературной традиции XVIII—XIX вв. считался богом любви у древних славян. *Лель-лели* — обращение к нему.

Лерна — заболоченное озеро, где обитала гидра — чудовище, убитое Гераклом.

Лета — «река забвения» в Аиде; испив ее воды, умершие забывали о своей прошлой земной жизни.

Лидийцы — обитатели Лидии (на западном побережье Малой Азии).

Майя — одна из жен Зевса, мать Гермеса.

Майя (инд.) — богиня, жена верховного бога Брамы, первопричина и движущая сила мироздания.

Марсий — сатир, мастер игры на флейте, решившийся вступить в музыкальное состязание с Аполлоном, который в наказание за эту дерзость содрал с него кожу.

Мегара — имя жены Геракла, своих детей от которой он убил в приступе безумия после того, как дельфийский оракул призвал его, по воле Зевса, совершить двенадцать подвигов и тем добиться бессмертия.

Мелос — песнь.

Мемнон — сын богини Эос, был убит Ахиллом под Троей.

Менады — то же, что вакханки.

Митра — широкая головная повязка.

Небрида — оленья шкура, служившая одеждой менадам (вакханкам).

Нектар — напиток богов, дающий вечную юность и бессмертие.

Нерей — морское божество, отец нереид. См. стр. 626.

Нереиды — нимфы моря. См. стр. 626.

Нимфы — низшие божества, воплощавшие в себе живые силы природы.

Нисса — легендарное место (по-разному определявшееся в мифологии), где рос и воспитывался Дионис-Вакх.

Нот — бог сильного южного ветра, приносящего с собой дожди и туманы.

Олимп — часть горной цепи на севере Греции; главное местопребывание богов античного мира.

Ореады — нимфы гор.

Орест — сын микенского царя Агамемнона, убитого своей женой Клитемнестрой; Орест, мстя за смерть Агамемнона, убил свою мать и ее любовника Эгиста; боги наказали его за убийство матери безумием: Орест подвергся преследованию богинь-мстительниц Эринний; от безумия Орест исцелился благодаря вмешательству Аполлона.

Орик — город на берегу моря в Иллирии.

Орфей — поэт и музыкант, очаровывавший своей игрой на лире и диких зверей, и неодушевленную природу.

Орхестра — место, предназначенное для хора в древнегреческом театре.

Палестра — место для гимнастических упражнений.

Пан — бог лесов и лугов, покровитель стад.

Парастат — участник хора, стоящий рядом с корифеем.

Парис — сын троянского царя Приама, похититель Елены.

Парки — в древнеримской мифологии три сестры-богини, прядущие нити человеческой судьбы.

Пелазги — древнейшие обитатели Греции.

Пелей — был оклеветан Астидамией, женой Акаста, царя Иолка, которая влюбилась в него и, не встретив взаимности, обвинила его в том, что он склонял ее к супружеской измене. Акаст во время охоты на горе Пелий оставил уснувшего от усталости Пелея среди кентавров и унес его меч; Пелей спасся благодаря помощи бога-кузнеца Гефеста, вооружившего его своим мечом.

Пеплос — широкое и длинное одеяние, скреплявшееся на груди застежками; его носили преимущественно женщины.

Персефона — жена Аида, царица подземного царства мертвых.

Пиериды — музы.

Пифон — дракон, стороживший Дельфы и убитый стрелой Аполлона.

Пифонисса — предсказательница, пророчествующая жрица Аполлона в Дельфах.

Плутон (римск.) — властитель подземного мира мертвых.

Понт — море.

Посейдон — бог морей; от него же, по античным верованиям, зависели и землетрясения.

Прет — см. Беллерофонт.

Приам — царь Трои. *Приамова столица* — Троя.

Прометей (Промефей) — один из титанов, покровитель людей, похитивший для них небесный огонь и в возмездие за это прикованный по приказанию Зевса к скале. Впоследствии Геракл убил орла, терзавшего Прометея, и освободил его.

Протесилай — буквально «Первоиолай», т. е. первым ступивший на вражеский берег Иолай.

Психея — олицетворение человеческой души.

Психопомп — буквально «провожатый душ», название бога Гермеса, который, по верованиям древних греков, сопровождал души умерших в подземное царство.

Пэан — радостный гимн в честь богов.

Рес — фракийский царь, сын одной из муз (Евтерпы или Каллиопы), в Троянской войне помогал троянцам и был вероломно убит; тень его (по Еврипиду) поселилась в пещерах Фракии.

Самос — остров в Эгейском море; на острове находился *самосский храм* Геры, считавшейся покровительницей острова.

Са́тиры — низшие горные и лесные божества, служители Вакха, составлявшие его свиту и участвовавшие в посвящаемых ему оргиях, любители вина. Изображались с козлиными ногами, хвостом и рожками.

Семела — одна из жен Зевса, мать Диониса-Вакха.

Сивилла — прорицательница будущего.

Сизиф — царь Коринфа, был обречен богами в Аиде вечно вкатывать на высокую гору камень, который с вершины катился вновь назад.

Силен — старый сатир.

Сигурд — главный герой скандинавского средневекового эпоса, воплощение силы и храбрости; вероломно убит по наущению любившей его Брунгильды, которая мстила ему за то, что он по-

бедил ее в единоборстве, явившись к ней под видом короля Гуннара и в его доспехах; Гуннар, для которого Сигурд победил Брунгильду, женился на ней. Сигурд женат был на сестре Гуннара Гудруне.

Сирены — полуптицы-полуженщины, жившие на острове в Средиземном море, своим пением приманивавшие мореплавателей и губившие их; в переносном смысле — соблазнительницы.

Сминтий — одно из имен Аполлона.

Спарта — одно из государств древней Греции.

Сперхай — река в Фессалии.

Сте́фана — диадема.

Стикс — подземная река, обтекающая Аид.

Тантал — царь, осужденный богами за совершенное им преступление томиться вечным голодом среди изобилия плодов, которые не давались ему в руки, и вечной жаждой среди воды, которой он не мог зачерпнуть. *Танталиды* — принадлежащие к роду Тантала.

Та́ртар — подземное царство, бездонная пропасть под землей и морем, предназначенная грешникам после их смерти.

Терпсихора — муза танца и хорового пения.

Тимпан — античный музыкальный ударный инструмент — котел, обтянутый кожей.

Тирс — жезл, обвитый плющом и виноградной лозой; его носили Вакх, вакханки и остальные его спутники.

Титаны — могучие божественные существа, дети Урана (неба) и Геи (земли), низвергнувшие Урана и вместо него утвердившие власть одного из титанов — Кроноса; последний был низвергнут своим сыном Зевсом, который потом победил всех титанов и заключил их в Тартар.

Тифон — сын троянского царя Лаомедона; один из мужей богини утренней зари Эос, похищенный ею и получивший в дар от Зевса бессмертие.

Триэра — судно с тремя ярусами весел.

Трофоний — вместе со своим братом пытался ограбить построенную ими для бэотийского царя Гирия сокровищницу. Брат Трофония оказался в западне, устроенной Гирием; тогда Трофоний отрезал брату голову, чтобы спастись самому, и бежал; по его молитве, под ним разверзлась земля и поглотила его. На месте исчезновения Трофония возник посвященный ему храм с оракулом.

Троя — древний город в Малой Азии, в поход против которого отправились со своими войсками греческие цари. Причиной похода послужило похищение Елены, жены спартанского царя Менелая, Парисом, сыном троянского царя Приама.

Фарос — плащ.

Феб — одно из имен Аполлона как бога солнца.

Фемида — богиня правосудия, изображавшаяся с повязкой на глазах — символом беспристрастия.

Феспрот — местность на северо-западе Греции, в Эпире.

Фессалия — область на северо-востоке Греции.

Фиас — хоровод и шествие в честь Вакха.

Фила — племя.

Филейский царь — царь Филаки (т. е. Иолай).
Фурии (римск.) — богини мщения.

Хариты — богини красоты и радости.
Химера — изрыгающее огонь чудовище с головой и грудью льва, туловищем козы и хвостом дракона; также — плод воображения, иллюзия.
Хитон — одежда в виде рубахи без рукавов, стянутой поясом.
Хлоя — героиня романа древнегреческого писателя Лонга «Дафнис и Хлоя», прекрасиая молодая девушка; имя, широко распространенное в античной лирике и в новых подражаниях ей.

Циклоп (киклоп) — великан с одним круглым глазом на лбу.
Цирцея (Кирка) — волшебница, владевшая островом, заманивавшая мореплавателей и превращавшая их в животных (спутники Одиссея, приставшие к острову, были превращены в свиней). Образ красавицы-соблазнительницы.

Эвий — обращение к Вакху, призываемому восклицаниями «Эвоэ», «Эван».
Эвоэ, эван — восклицания в честь Вакха.
Эолиды — потомки Эола, фессалийского царя.
Эос — богиня утренней зари.
Эпиталама — свадебная песнь.
Эпоним — в древних Афинах первый из архонтов, т. е. девяти высших должностных лиц.
Эрато́ — муза любовной поэзии.
Эреб — бог мрака; также название самой глубокой и мрачной части Аида.
Эрида — богиня вражды, раздора и борьбы, считавшаяся также матерью забвения.
Эрот — бог любви (то же, что Амур у римлян).
Эта — гора, наивысшая вершина горной цепи в Фессалии иа границе с Фокидой.

СЛОВАРЬ МАЛОУПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ И УСТАРЕВШИХ СЛОВ

Алмея — танцовщица и певица в странах Востока.
Анкилоз — сращение суставов.
Архитрав — каменная балка на колоннах.

Брашно — еда, кушанье.

Верея́ — каждый из двух столбов, на которые навешиваются ворота (за верею́ — за ворота).
Вертеп — убежище, пещера.
Виксатин — род клеенки, также — сделанный из виксатина откидной верх пролетки.
Волькамерия — тропическое растение с душистыми цветами.
Выя — шея.

Гашиш — наркотик.
Гейша — японская танцовщица.
Глагол — речь.
Глазет — золотая или серебряная парча с узором; *глазеты* — одежды из глазета.
Горний — небесный, вышний.
Гра́бары (обл.) — землекопы.
Груда́ (обл.) — промерзлая земля без снега, замерзшая грязная дорога.

Дед, деды́ — репейник, чертополох.

Жнивник — сжатое поле.

За́сенок — тенистое место.

Ипомеи — растение из семейства вьюнковых.

Кандило — подсвечник для нескольких свечей.
Капище — храм, святилище.
Кафизма — раздел псалтыри, читаемый на вечернем богослужении.

Кинамон — корица, ароматическое растение.
Кирьга́ (обл.) — кирка.
Консорты — товарищи, соучастники.
Контрафакция — незаконная перепечатка, подделка, также воспроизведение чьей-либо литературной манеры.
Крушина — высокий кустарник с ломкими ветвями.
Кэк-уок — модный в начале XX в. танец, заимствованный у американских негров.

Левада — в контексте: низина у реки, заливной луг.

Макадам — вид мостовой (по имени изобретателя — английского инженера Макадама).
Мета — цель, предмет стремлений.
Мускус — особое ароматическое вещество.

На́-пе — удвоение ставки в карточной игре.

Обада — утренняя серенада.
Оцет — скисшее вино, уксус, который, по евангельскому преданию, дали выпить распятому Христу.

Паладин — рыцарь.
Перуны — громы, молнии.
По́ножи — часть лат, покрывающая ноги от ступни до колен.
Посылка — заключительное четверостишие стихотворения, написанного в форме так наз. романской баллады с лирическим или философским содержанием (не смешивать с балладой, как повествовательным стихотворным произведением).
Потир — чаша, в которой находится вино и хлеб для причащения верующих во время православного богослужения.
Примас — первенствующий («первый») архиепископ в католических государствах.

Ронь — то, что обронено (в контексте — оброненные при уборке колосья).

Сарматы — древнеславянский народ, живший на пространстве между Доном и Вислой.
Свевы — древнегерманское племя, позднее — швабы.
Сиверкий — холодный, северный.
Степенство (с местоимением «ваше») — почтительное обращение к купцу в царской России.
Стик — тонкая трость, модная в конце XIX — начале XX в. (от английского «stick»; более распространенное произношение «стек»); характерный для Анненского случай нарочитого анахронизма.
Стрекало — острый колющий посох.

Табань — команда грести назад для поворота или для движения кормой вперед.
Талер — старая немецкая серебряная монета.

Твердь — небо.

Трен — конец длинного женского платья, тянущийся наподобие шлейфа.

Триада — сочетание воедино трех понятий или существ, «триединство».

Триодь — церковная книга, состоящая из трехпесенных канонов.

Тристен (обл.) — трехстенный сарай.

Фантóм — нечто кажущееся, призрак.

Фенóл — карболовая кислота.

Фиал — сосуд, чаша.

Франк — древний германец.

Халиф — титул духовного главы мусульман.

Хлороз — бледнокровие, «бледная немочь», также — болезнь растений, выражающаяся в пожелтении листьев.

Центифолия — садовая махровая роза, вообще — многолепестковый цветок.

Цитра — струнный музыкальный инструмент.

Эбеновый — из черного дерева.

Эмфаза — особая приподнятость в тоне речи.

Эфемер — живущий один день.

Эшафодаж — сложное многоярусное сооружение (в контексте — причудливая высокая прическа).

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис.* И. Ф. Анненский в последний период жизни. Фотография (Пушкинский дом).

2. *Между стр. 176 и 177.* И. Ф. Анненский в 1880-е годы. Фотография (Пушкинский дом).

3. *Между стр. 208 и 209.* Черновой автограф стихотворения «Поэту» (ЦГАЛИ).

4. *Между стр. 240 и 241.* И. Ф. Анненский в молодости (1870-е годы). Фотография (Пушкинский дом).

5. *Стр. 275.* Черновой автограф перевода стихотворения Верлена «Я устал и бороться и жить...» (ЦГАЛИ).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ И ТРАГЕДИИ

СОДЕРЖАНИЕ[1]

Стихотворения

ТИХИЕ ПЕСНИ

[1] Первая цифра указывает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечания.

КИПАРИСОВЫЙ ЛАРЕЦ

Трилистники

Складни

Разметанные листы

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В СБОРНИКИ

Надписи на книгах и шуточные стихи

СТИХОТВОРНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Гораций

Гёте

Вильгельм Мюллер

Генрих Гейне

Ганс Мюллер

Генри Лонгфелло

Фредерик Мистраль

Шарль Бодлер

Леконт де Лиль

Поль Верлен

Сюлли Прюдом

Трагедии

Анненский Иннокентий Федорович

СТИХОТВОРЕНИЯ И ТРАГЕДИИ

Редактор *В. О. Перцов*

Художник *И. С. Серов*
Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн. редактор *В. Г. Комм*
Корректор *З. Н. Петрова*

Сдано в набор 11/VI 1959 г. Подписано в печать 6/X 1959 г. Бумага $84 \times 108^1/_{32}$. Печ. л. $21^1/_4$ (34,85). Уч.-изд. л. 28,86 + 4 вкл. Тираж 15 000 экз. Заказ № 632.
Цена 10 р. 55 к.

Ленинградское отделение
издательства «Советский писатель»
Ленинград, Невский пр., 28

Типография № 5 УПП Ленсовнархоза
Ленинград, Красная ул., 1/3

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
42	4 св.	Дрожавшая	Дрожавшая,
57	15 сн.	большое	большее
78	14 св.	День	тень
124	12 св.	чадра	чадра?
138	13 св.	иду тогда своей	иду, но верною
194	2 сн.	кистях	пальцах
219	13 св.	пруда,	пруда
279	4 сн.	Призрачна	Прозрачна
334	3 сн.	рыбань	рабынь

